



Василий III

Из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. т. VA, СПб 1892

ВАСИЛИЙ ИОАННОВИЧ (1505–1533). Спор о престолонаследии, который возник в конце великокняжества Иоанна III и в котором бояре, из ненависти к супруге Иоанна III и матери Василия Иоанновича Софии Фоминичне Палеолог, держали сторону Дмитрия Иоанновича, отразился на всём времени великокняжества Василия Иоанновича. Он правил посредством дьяков и людей, не выдававшихся знатностью и древностью рода. При таком порядке он находил сильную опору в влиятельном Волоколамском монастыре, монахи которого назывались иосифлянами, по имени Иосифа Волоцкого, основателя этого монастыря, большого приверженца Софии Фоминичны, в которой он находил опору в борьбе с ересью жидовствующих.

К старинным и знатным боярским родам Василий относился холодно и недоверчиво, с боярами советовался только для виду, и то редко. Самым близким человеком к Василию и его советником был дворецкий Шигона-Поджогин, из тверских бояр, с которым он решал дела, запершись вдвоём. Кроме Шигоны-Поджогина советниками Василия были человек пять дьяков; они же были и исполнителями его воли. С дьяками и с незнатными своими приближёнными Василий обращался грубо и жестоко. Дьяка Далматова за отказ ехать в посольство Василий Иоаннович лишил имения и сослал в заточение; когда Берсень-Беклемишев, из нижегородских бояр, позволил себе противоречить Василию Иоанновичу, последний прогнал его, сказав: «Ступай, смерд, прочь, не надобен Ты мне». Вздумал этот Берсень жаловаться на великого князя и на перемены, которые, по мнению Берсеня, произвела мать великого князя — и ему отрезали язык. Василий Иоаннович действовал самовластно вследствие личного характера, холодно-жестокого и крайне расчётливого.

Относительно старого московского боярства и знатных родов от племени св. Владимира и Гедимины он был крайне сдержан, ни один знатный боярин не был при нём казнён; бояре и князья, вступившие в ряды московского боярства, то и дело вспоминали старину и старинное право отъезда дружины. Василий брал с них записи, клятвенные грамоты в Литву на службу не отъезжать, между прочим, князь В. В. Шуйский дал такую запись: «от своего государя и от его детей из их земли в Литву, также к его братьям и никуда не отъехать до самой смерти». Такие же записи дали князья Бельские, Воротынские, Мстиславские. При Василии Иоанновиче только одного князя В. В. Холмского постигла опала. Дело его неизвестно, и только отрывочные факты, дошедшие до нас, бросают на него некоторый слабый свет. При Иоанне III с Василия Холмского взята была клятвенная грамота не отъезжать в Литву на службу. Это не помешало ему при Василии занять первое место в ряду бояр и жениться на сестре великого князя. За что постигает его опала — неизвестно; но занятие его места князем Даниилом Васильевичем Щеня — Патрикеевым и нередкая смена на этом месте княжат от племени св. Владимира княжатами из рода Гедимины дают повод думать о разладе в среде самого боярства.

К отношениям Василия Иоанновича к знатному боярству вполне приложимы слова профессора Ключевского, что великий князь в полковых росписях не мог назначить верного Хабара Симского вместо неблагонадёжного Горбатого-Шуйского, то есть не мог столкнуться с первых рядов известные фамилии и должен был подчиняться порядку, с которым вступил в борьбу его сын.

К родственникам при малейшем столкновении он относился с обычной суровостью и беспощадностью московских князей, на которую так жаловался противник сына Василия князь Андрей Курбский, называя «издавна кровопийственным» род Калиты. Соперник Василия в престолонаследии, его племянник Димитрий Иоаннович, умер в заключении, в нужде. Братья Василия ненавидели людей, окружавших его, следовательно, и установившийся порядок, — а между тем, по бездетности Василия, эти братья должны были ему наследовать, именно брат его Юрий Близкие к Василию люди должны были опасаться при Юрии потери не только влияния, но даже жизни. Поэтому они с радостью встретили намерение Василия развестись с бесплодной супругой Соломонией из рода Сабуровых. Может быть, этими близкими людьми внушена была и самая мысль о разводе. Митрополит Варлаам, не одобрявший мысли о разводе, был удалён и замещён игуменом Волоколамского монастыря Даниилом Иосифлянин. Даниил, человек ещё молодой и решительный, одобрил намерение Василия. Но против развода восстал инок Вассиан Косой — Патрикеев, который и под монашеской рясой сохранил все страсти боярства, к нему пристал инок Максим, учёный грек, человек совершенно чуждый расчётам московской политики вызванный в Россию для исправления церковных книг. И Вассиан и Максим оба сосланы были в заточение; первый умер при Василии, а второй пережил и Василия, и митрополита.

При Василии присоединены к Москве последние удельные княжества и вечевой город Псков. С 1508 по 1509 г. наместником в Пскове был князь Репня-Оболенский, которого псковичи недружелюбно встретили с самого его приезда, потому что он прибыл к ним не по обычаю, не будучи прошен и объявлен, духовенство не выходило к нему навстречу с крестным ходом, как всегда делалось. В 1509 г. великий князь поехал в Новгород, куда Репня-Оболенский прислал жалобу на псковичей, а вслед за тем явились к Василию псковские бояре и посадники с жалобами на самого наместника. Великий князь отпустил жалобщиков и послал в Псков доверенных людей разобрать дело и помирить псковичей с наместником; но примирения не последовало. Тогда великий князь вызвал посадников и бояр в Новгород; однако не выслушал их, а велел всем жалобщикам собраться в Новгород к Крещенью, чтобы всех рассудить разом. Когда жалобщиков собралось весьма значительное число, то им сказали: «Пойманы вы Богом и великим князем Василием Иоанновичем всея Руси». Великий князь обещал им оказать милость, если они снимут вечевой колокол, чтобы вечно впредь не быть, а в Пскове и пригородах править только наместникам. Дьяк Третьяк-Далматов послан был в Псков, чтобы передать псковичам волю великого князя. 19 января 1510 г. сняли вечевой колокол у Святой Троицы. 24 января в Псков приехал Василий. Бояре, посадники и житые люди, триста семей, высланы в Москву, а в Пскове введены московские порядки.

Василий домогался избрания в великие князья литовские. Когда в 1506 г. умер его зять Александр, то Василий писал к сестре своей Елене, вдове Александра, чтобы она уговорила панов выбрать его в великие князья, обещая не стеснять католической веры; о том же он наказывал через послов князю Войтеху, епископу Виленскому, пану Николаю Радзивиллу и всей раде; но Александр уже назначил себе преемника, брата своего Сигизмунда.

Не получив литовского престола, Василий задумал воспользоваться смутой, которая по смерти Александра возникла между литовскими панами. Виновником этой смуты был князь Михаил Глинский, потомок татарского мурзы, выехавшего в Литву при Витовте. Михаил Глинский, любимец Александра, был человек образованный, много путешествовавший по Европе, отличный полководец, особенно прославившийся победой над крымским ханом; при образовании и военной славе ему придавало значение и его богатство, ибо он был богаче всех литовских панов — почти половина Литовского княжества принадлежала ему. Князь

пользовался громадным влиянием среди русского населения великого княжества, а потому литовские паны боялись, что он овладеет престолом и перенесёт столицу в Русь. Сигизмунд имел неосторожность оскорбить этого сильного человека, чем и пользовался Василий, предложив Глинскому перейти к нему на службу.

Переход Глинского к московскому великому князю вызвал войну с Литвой. Сначала эта война ознаменовалась большой удачей. 1 августа 1514 г. Василий, при содействии Глинского, взял Смоленск, но 8 сентября того же года московские полки были разбиты князем Острожским при Орше. После поражения при Орше война, тянувшаяся до 1522 г., не представляла ничего замечательного. При посредстве императора Максимилиана I мирные переговоры начались ещё в 1517 г. Представителем императора был барон Герберштейн, оставивший записки о Московском государстве — лучшее из иностранных сочинений о России. При всём дипломатическом искусстве Герберштейна переговоры были вскоре прерваны, ибо Сигизмунд требовал возвращения Смоленска; а Василий со своей стороны настаивал, чтобы не только Смоленск остался за Россией, но чтобы возвращены были России Киев, Витебск, Полоцк и другие города, принадлежавшие князьям от племени св. Владимира. При таких притязаниях противников только в 1522 г. заключено было перемирие. Смоленск остался за Москвою. Перемирие это подтверждено в 1526 г. при посредстве того же Герберштейна, вторично приехавшего в Москву послом от Карла V.

В продолжение войны с Литвой Василий покончил с последними уделами: Рязанью и Северскими княжествами. Рязанский князь Иван, говорили в Москве, задумал возвратить самостоятельность своему княжеству при помощи крымского хана Махмет-Гирея, на дочери которого он намерен был жениться. Василий позвал князя Ивана в Москву, где засадил под стражу, а мать его, Агриппину, заключил в монастырь. Рязань была присоединена к Москве; рязанцев же целыми толпами переселили в московские волости. В Северной земле было два князя: Василий Иванович, внук Шемяки, князь новгород-северский, и Василий Семёнович, князь стародубский, внук Ивана Можайского. Оба эти князя постоянно доносили друг на друга; Василий допустил Шемячицу изгнать стародубского князя из его владения, которое присоединено было к Москве, а через несколько лет заключил и Шемячицу под стражу, удел же его в 1523 г также присоединён был к Москве. Ещё ранее присоединён был Волоцкий удел, где последний князь, Фёдор Борисович, умер бездетным.

Во время борьбы с Литвой Василий просил помощи у Альбрехта, курфюрста бранденбургского, и у великого магистра немецкого ордена. Сигизмунд, в свою очередь, искал союза с Махмет-Гиреем, ханом крымским. Гирей, преемники знаменитого Менгли-Гирея, союзника Иоанна III, стремились соединить все татарские царства под властью их рода; поэтому крымский хан Махмет-Гирей становился естественным союзником Литвы.

В 1518 г умер бездетным казанский царь Магмет-Амин, московский подручник, и в Казани возник вопрос о престолонаследии. Василий посадил сюда на царство Шиг-Алея, внука Ахмета, последнего хана Золотой орды, родового врага Гиреев. Шиг-Алея возненавидели в Казани за его тиранство, чем и воспользовался Саиб-Гирей, брат Махмет-Гирея, и захватил Казань. Шиг-Алей бежал в Москву. После этого Саиб-Гирей бросился опустошать Нижегородскую и Владимирскую области, а Махмет-Гирей напал на южные пределы Московского государства. Он дошёл до самой Москвы, откуда Василий удалился в Волоколамск. Хан взял с Москвы письменное обязательство платить ему дань и поворотил к Рязани. Здесь он потребовал, чтобы воевода явился к нему, потому что великий князь теперь данник хана; но воевода Хабар-Симский потребовал доказательства, что великий князь обязался платить дань. Хан прислал данную ему под Москвой грамоту, тогда Хабар, удержав её, разогнал татар пушечными выстрелами. Саиб-Гирей вскоре был изгнан из Казани, где вследствие борьбы партий крымской и московской происходили постоянные смуты, и Василий назначил туда ханом Еналея, брата Шиг-Алея. В таком положении Василий оставил дела в Казани.

Власть отца Грозного была велика, но он не был ещё самодержцем в позднейшем смысле. В эпоху предшествовавшую и следовавшую за падением татарского ига, слово «самодержавие» противопоставлялось не конституционному порядку, а вассальству самодержец означал владыку самостоятельного, независимого от других владык. Исторический смысл слова «самодержавие» выяснен Костомаровым и Ключевским.

Книга первая. ВАСИЛИЙ III

Глава 1

Тихо в покоях великого князя Василия Ивановича. Ни звука вокруг великокняжеского дворца. Безмолвие по всей Москве, многоязыкой и шумной днём. Даже стражники, мерно вышагивающие по кремлёвской стене, стараются не греметь бердышами:[1] гневен и строг государь к нерадивым слугам. Оттого и тишина на Москве.

Почему же Василий Иванович спит беспокойно, то замотает во сне головой, то глухо застонет? Вот он открыл затуманенные сном глаза и испуганно оглядел стены опочивальни. Пелена сна, застилавшая глаза, прорвалась, князь увидел искусно выточенные балясы [2] своей кровати, ковёр, подаренный казанским ханом Шиг-Алеем, и облегчённо вздохнул. Рукавом исподней рубахи смахнул проступивший на лбу пот, тяжело поднялся с постели. Сердце билось учащённо, в ушах звенело, Василий долго вглядывался в озарённые подрагивающим светом лампад строгие лики святых.

«Господи, за что ты караешь меня, грешного, за что посылаешь мне это страшное испытание, терзая душу мою сомнениями и страданиями"».

С душевным трепетом вспомнил князь ужасные видения, явившиеся ему. Это был один из многих страшных снов, виденных им за последнее время. Будто шёл он в безлюдной пустыне один. Долго шёл. И когда стал выбиваться из сил, услышал тихие шаги за спиной. Оглянулся, видит — сухая сгорбленная старуха остановилась неподалёку от него. Присмотревшись, князь заметил, что зубов у неё не было, один только клык торчал из провалившегося морщинистого рта, отчего искривлённое лицо выражало угрозу.

Собравшись с силами, Василий торопливо зашагал вперёд. И снова сзади послышались тихие мерные шаги, своей неотвратимостью порождавшие страх и липкую слабость во всём теле. Князь оглянулся: старуха не отставала ни на шаг.

— Что тебе надо? Ответа не последовало.

— Ты нищая? Вновь молчание.

Дрожащей рукой нащупал полушку [3] и бросил её под ноги старухи. Та даже не глянула на неё. Когда же князь опять побрёл вперёд, шаркающие старческие шаги зазвучали отчётливее, громче. Окончательно выбившись из сил, Василий остановился возле одиноко росшего дерева, зажал уши руками. И всё равно он отчётливо услышал слова, произнесённые старухой:

— Ну вот, великий князь всея Руси, мы и встретились!

Подумалось Василию, что это его судьба, от которой никуда не уйти, ничем не загородиться. Князь понурил голову и тут только заметил под ногами огромную чёрную яму.

«Могила!» — мелькнуло в затуманенной голове. Померещилось князю, будто солнце вдруг померкло, а небо начало падать вниз. Нет, это вовсе не небо, а купол Успенского собора, в котором происходило поставление Василия в великокняжеский сан: те же ангелы в белых и розовых одеждах, тот же хор звучит под сводами.

«Господи, да они же отпевают меня! А я живой, живой, живой...» — Василий силился крикнуть — и не мог.

Старуха же совсем близко подступила к нему и вдруг захохотала дико и зловеще. От её отвратительного хохота, отражённого и усиленного сводами, задрожали стены Успенского собора. Неожиданно смех резко оборвался, хор умолк, установилась чуткая, пугающая тишина.

— Ну вот, Василий, мы и встретились. Ты, наверно, догадался, кто я. Отчего же трепещет сердце твоё? И последний смерд, и великий князь — все равны передо мной, все, умирая, становятся добычей червей и гадов земных. А ты решил откупиться от меня! И чем же? Полушкой! Не дорого же стоит твоя великокняжеская жизнь. Ха-ха... О, я знаю причину твоего трепета. Не я страшна для тебя. Ты думал обо мне, и не раз. Сына у тебя нет — вот что страшно! Кому доверишь царство-государство после себя? Братьям — Юрию или Андрею? Сам знаешь им цену через своих видоков [4] и послухов [5]. Взять хотя бы Юрия[6]: и с литовцами супротив тебя сносился, и деревни, тебе принадлежащие, разрешал грабить своим людям. Некому царством-государством после тебя править, вот ты и трепещешь передо мной. Ха-ха-ха. Ха-аа...

Снова храм загудел и задрожал от дикого хохота. Почудилось Василию, что проваливается он в тартарары. Тесно становится ему и душно. Из последних сил рванулся князь к свету и проснулся.

«Господи, Господи! Давно молю тебя послать мне сына, но ты не внимлешь стонам раба своего... У орла родится орлёнок, у червя — червь. Дуб рассыпает множество жёлудей, и из каждого жёлудя вырастает такой же дуб. И только я одинок в печали своей. Чего ради трудился я столько времени, воздвигая новые города, покоряя врагов своих, объединяя в великую силу русскую землю? Господи, ты даруешь жизнь всему новому. Молю тебя, не мучь пыткой жестокой душу мою, ведь и моя осень не за горами. Может, провинился я, в чём перед тобой? Но в чём же, в чём?..»

Мысли путались в голове.

«Да что же я, — вдруг пришло на ум, — словно еретик какой вопрошаю Господа Бога?»

Голубовато-сероватыми пятнами обозначились в душной опочивальне слюдяные окна. Таинственно перемигиваются подвешенные на золотых цепочках лампы. В голубоватых отсветах просыпающегося дня их свет стал рудо-жёлтым. Долго молился Василий Иванович, но молитва не принесла душе его успокоения, в висках стучало в теле ощущалась слабость. Трясущейся рукой князь толкнул дверь и прошёл на гульбище [7].

Свежий предутренний ветерок принёс аромат сена, сосновой смолы, речных испарений. Солнце показалось из-за дальнего леса. Подождённые снизу облака напоминали огромную стаю жар-птиц. Кажется, будто несутся они навстречу солнцу и чем ближе к нему, тем меньше и меньше их размеры, словно лучи солнца постепенно расплавляют их, превращают в капли золотого дождя.

Туман, распластавшийся над водами Москвы-реки, Яузы и Неглинной, постепенно редет. Рассеиваются и мрачные мысли в голове князя. Любит Василий Москву. Широко раздались её посады и слободы. Спокойно и плавно несёт свои воды, отражающие великий город, Москва-река.

Вот задымились волоковые оконца посадских изб. Поднимаясь выше, солнце добралось до слюдяных окон боярских хором, позолотив окна сначала третьего, а потом второго и первого жила [8].

Где-то хлопнула дверь. Василий, вспомнив, что стоит в непотребном виде, направился в великокняжеские покои.

Митрополит положил на стол чистый лист бумаги, намереваясь писать грамоту своему преемнику, игумену Иосифо-Волоколамского монастыря Нифонту.

«Благословение Даниила, митрополита всея Руси в пречистые Богородица обитель Иосифов монастырь игумену Нифонту, старцу Касьяну, старцу Ионе, старцу Арсению, старцу Гурию, старцу Геронтию, старцу Тимофею, старцу Тихону Ленкову, старцу Галасию, старцу Селивану, старцу Савве-келарю, старцу Зосиме-казначею, старцу Герасиму Ленкову, старцу Афанасию высокому, старцу Савве-уставщику и всем другим братьям во Христе...»

Даниил отложил перо в сторону и задумался. Ему вспомнились стены, купола, звонница Иосифо-Волоколамского монастыря. Высоко ныне вознёсся он, а нет-нет да и вспомнит годы, когда был игуменом обители, основанной самим Иосифом Волоцким. Попроще там было, поспокойнее. Здесь, в Москве, куда как трудно! Но митрополит доволен собой. За три года, прошедшие после падения его предшественника митрополита Варлаама, ему удалось сделать многое. Ныне среди архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов наиболее крупных монастырей почти не стало горлопанов нестяжателей [9]. Повсюду сторонники дела Иосифа Волоцкого. Только что церковный собор осудил Максима Грека, опасного для иосифлян [10] своими познаниями, вольнодумством. Заточение его в Иосифо-Волоколамский монастырь заставит и других нестяжателей, возглавляемых Вассианом Косым, поджать хвосты и прикусить языки. Теперь крепко подумают, прежде чем идти встречу [11] митрополиту!

Так же решительно действовал он и будучи игуменом: искоренял ересь, неукоснительно следовал в жизни мыслям Иосифа Волоцкого. Ему удалось собрать вокруг себя немало надёжных людей. Всем ли он послал своё благословение?

Даниил пробежал глазами написанное.

Заменивший его на посту игумена Нифонт хоть и немощен телом, да духом твёрд. Пастырское слово его не от собственного разумения, а всегда от Божественных писаний. Так же поучали паству и он, Даниил, и покойный Иосиф, приводивший в умиление слушателей прекрасным знанием священных книг. В любом начинании поддержит митрополита старец Нифонт.

Или вот братья Ленковы. Им поручен надзор за еретиками, упрятыми в темницу Иосифо-Волоколамского монастыря. Надёжные, проверенные люди. Правда, он отметил в своём послании только двоих: благообразного, розовощёкого Тихона, старшего из трёх братьев Ленковых, да высокого, рослого Герасима. Младшего из братьев Ленковых, Феогноста, Даниил не упомянул. Не раз доносили ему о прегрешениях Феогностовых. Нередко тайно покидал он святую обитель и под покровом темноты пробирался в близлежащее село Круговское, где его охотно принимали бабы-распутницы. Грешен Феогност, да и в богослужении не особенно ретив. Вот почему митрополит и обошёл его

своим благословением.

Даниилу вдруг припомнился гостиник [12] Иосифо-Волоколамского монастыря — высокий и тощий старец с редкой козлиной бородкой. Митрополит взялся было за перо, чтобы дописать и его имя, но раздумал. Гостиник чем-то не нравился ему, внушал неосознанное беспокойство.

«Прославленный, благочестивый и христоролюбивый великий самодержец и государь великий князь всея Руси Василий Иванович, — продолжал писать митрополит, — с нашим смирением, с епископами и со всем священным собором осудил богопротивного, мерзостного и лукаво-мудрого инока Максима Грека, который хулу возводит на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Даниил всегда неодобрительно относился к греческому монаху, явившемуся с Афона на Русь для перевода церковных книг. Максим Грек немало повидал на своём веку, много и охотно рассказывал о латинстве, о порядках, заведённых в греческих монастырях, о разных народах. Через надёжных послухов митрополит доподлинно знал о том, что говорилось в келье пришедшего монаха. Беседы, затягивавшиеся нередко до заутрени, вызывали у него глухое раздражение и лютую ненависть.

Не так давно Максим сказывал: церковь служит Богу красногласным пением, шумом dobroгласных колоколов и вонями благоуханными, облакает его в золотые ризы и золотой венец, но всё это приносится ему от неправедных и богомерзких лихв, от хищения чужих имений, дары эти смешаны со слезами сирот и бедных вдовиц да кровями убогих, получены путём обременения братии непосильной работой.

Гнусная клевета на святую церковь! Мерзкая ересь!

Митрополит резко поднялся из-за стола. Одетый во все чёрное, он казался нахохлившимся вороном. Крупный нос, резко выделявшийся на вытянутом бледном лице, усиливал это сходство.

Да, многие вины свойственны иноку Максиму. Утверждает он, будто русским митрополитам нельзя поставляться своими епископами, а следует ходить в мусульманскую турецкую державу, чтобы получить поставление от неверного и безбожного царя. Слово бы и не ведает, сколько бед выпало на долю Руси от нехристей бусурманских. Ныне, когда мы сбросили с себя татарское иго, когда Русь крепка и могуча, пастырь русской православной церкви не может обращаться за милостью к турку Сулейману — это было бы величайшим грехом! К тому же следует вспомнить, почему русские митрополиты перестали ходить за поставлением в Царьград: царьградский патриарх Григорий повиновался римскому папе на осьмом Вселенском соборе. Это он подталкивал проклятого Богом митрополита Исидора [13] к подписанию флорентийской церковной унии. За совершённое святотатство митрополита Исидора отринули от сана, и на его место собором русских епископов был возведён Иона [14]. С той поры русские митрополиты перестали ходить за поставлением в Царьград и никогда уже не пойдут туда. Справившись с волнением, Даниил сел за стол, вновь взялся за перо.

«Приказываем и повелеваем тебе, игумену Нифонту, а также всем старцам и братьям во Христе содержать его внутри монастыря с великой крепостью и множайшим опасением. Следует заточить еретика в глухую келью, откуда не распространялось бы его слово. Пусть не беседует ни с кем: ни с церковными, ни с мирянами, ни с монахами вашего или иного монастыря. Не разрешается ему писать, учить кого-либо, направлять кому-либо послания или получать их. Пусть сидит в молчании и кается в своём безумии и еретичестве. Дать ему из верных православных иноков священника, чтобы он исповедовался перед ним и каялся. А тот пусть смотрит и испытывает, насколько истинно и прилежно покаяние его. Если же заболит или будет при смерти, разрешаем причаститься. Когда же выздоровеет, да пребывает без

причастия. Разрешаем читать книги, только нами указанные. От других пусть воздержится и не мудрствует, ибо мудрствование есть козни демонские. Подобаает с большим вниманием следить за жизнью его. Тому, кто заключён вместе с ним будет, следует с великим опасением беречь себя от того, чтобы не быть прельщённым. Так же должен поступать и священник. Да не воспримут от него учения, писания, слова приказного или посьшаемого ни к инокам, ни к мирянам, ни в ближние, ни в дальние страны. Если будет обращение его к православной вере к Господу Спасу нашему Иисусу Христу истинным, тогда священный собор с советом православного и благочестивого самодержца великого князя всея Руси Василия Ивановича подумает о нём. Те же, кто через запрещение наше дерзнут к нему послания писать, беседовать, учиться или иначе приобщаться, пусть помнят слова священного Златоуста: «Если кто хочет другом быть безбожным, враг Божий есть». Тем от нашего смирения и от всего священного собора епитимья [15] и отлучение, а от православного и благочестивого великого князя всея Руси Василия Ивановича — страшная и грозная казнь без помилования».

Даниил ещё раз прочитал написанное и потянулся. Чуть слышно скрипнула дверь. На пороге показался верный чернец. Митрополит вопросительно взглянул на него.

— Великий князь потребовал к себе старца Чудова монастыря Вассиана.

Даниил досадливо крикнул.

«Вместо того чтобы посоветоваться о деле с митрополитом, великий князь приглашает к себе его злейшего врага, ближайшего сподвижника осуждённого нами еретика Максима Грека», — с горечью подумал он.

Митрополит отослал чернеца прочь и приблизился к окну. По направлению к красному крыльцу великокняжеского дворца, уверенно стуча по деревянной мостовой посохом, шёл Вассиан Патрикеев, представительный и крепкий ещё старик. Небольшие глаза его пытливо всматривались во встречных, которые; едва заметив старца, снимали шапки и низко кланялись.

Раздражённый митрополит сгрёб исписанные листы, швырнул их в стоявший на столе ларец.

Подойдя к красному крыльцу великокняжеского дворца, Вассиан замедлил шаги. Для чего государь позвал его? Ему, ближнему к Василию Ивановичу человеку, было привычным являться по зову великого князя. Но сегодня неясная тревога томила его. Отчего бы это? Может, старость даёт о себе знать? Ведь лет позади немало...

Деда своего, Юрия Патрикеева, выходца из рода знаменитых господарей литовских, Вассиан не помнил. Из рассказов отца знал, что дед породнился с московскими великими князьями, женившись на дочери Василия Дмитриевича Anne, и стал доверенным человеком сначала своего тестя, а затем его сына Василия Васильевича Тёмного.

К отцу Вассиан всегда испытывал чувство глубокого почтения. По-разному вспоминается он теперь: то облачённым в воинские доспехи, то вдумчиво читающим грамоты, то в окружении бояр, перебранивающихся из-за места. При великом князе Иване Васильевиче был он воеводой, вершил судебные и посольские дела. Иван Юрьевич Патрикеев участвовал в переговорах Москвы с Новгородом, закончившихся подчинением Новгорода Москве.

С отцом интересно было говорить обо всём. Любое его суждение отличалось особой ясностью, свойственной людям умудрённым жизнью, и в то же время обычно содержало нечто новое, о чём собеседник не успевал ещё подумать.

В те далёкие годы Вассиана звали Василием. Уверовав в непоколебимость своего положения при великокняжеском дворе, он был смел и дерзок. Ничто, казалось, не предвещало беды. Да

и мог ли думать о бедах лихой воевода, который вместе со своим двоюродным братом князем Даниилом Щеней водил русские полки на Вязьму и покорил этот город? После их удачного похода литовцы поспешили заключить с Москвой мир[16].

Едва завершились мирные переговоры с Литвой, он, Василий Патрикеев, вместе с князем Семёном Ряполовским ездили в Вильно для утверждения мирного договора. Этот договор надлежало скрепить браком дочери Ивана Васильевича Елены и великого князя литовского Александра.

Ах, какая это была замечательная поездка! Жених приветливо улыбался сватам, щедро одаривал русских послов дорогими поминками [17], вино лилось рекой. И у Василия и у Семёна в Литве имелось немало знакомых, каждый норовил зазвать их к себе. Особенно настойчиво набивался в друзья маршалок Станислав Петрович. В день Аграфены Купальницы [18] после обеда у великого князя Александра он пригласил к себе Василия Патрикеева. Изрядно же тогда они выпили! Не обошлось и без очаровательных литовских панночек, таких ласковых и щедрых на любовь.

Воспоминания о событиях тридцатилетней давности смутили старца, вызвали в душе волнение, но он справился с ним, и мысли его вновь устремились в прошлое.

Ему, Василию, сама мысль о возможной опале показалась бы тогда нелепой, вздорной. Думалось: вся жизнь его, так удачно начатая, будет сплошной чередой великокняжеских милостей. Государь и впрямь не скупился на них: через два года после похода на Вязьму Василий Иванович Патрикеев был пожалован в бояре.

В том же году началась война со шведами. Его, Василия, назначили воеводой большого полка. Он воспринял это назначение как должное, как признание своих заслуг в ратном деле. По его приказу русские полки выступили в поход зимой 1496 года, а в марте совершенно неожиданно для противника оказались в Финляндии. Побив немало шведов, они с большим полоном возвратились в Новгород. После этого великий князь поручил ему вместе с отцом вершить судебные дела.

Для тех, кто знал о верной службе Патрикеевых, о прочных связях их с великокняжеским домом, полной неожиданностью была опала, которая оборвала блестяще начатое молодым князем восхождение к власти. Да и сами Патрикеевы не ожидали этого.

Пожалуй, всё началось после скоропостижной смерти старшего сына Ивана Васильевича, тридцатидвухлетнего Ивана Ивановича. Иван Молодой разболелся ломотою в ногах и вскоре умер. Оказалось, что на великокняжеский престол претендуют двое: внук Ивана Васильевича Дмитрий и второй сын великого князя Василий. Страсти накалили их матери — Елена Волошанка и Софья Палеолог, вторая жена государя. Великий князь, казалось, равнодушно взирал на соперничество жены и невестки, поэтому бояре не ведали, какой стороны им держаться. Иные, по своему обыкновению, двурушничали, тайно клялись в верности и Елене и Софье. Взять, к примеру, Михаилу Тучкова. Хоть и говорят про него, будто он не боялся идти встречу самому великому князю Ивану Васильевичу, да Вассиан не особенно верит тем рассказам. Хитёр боярин Тучков, осторожен. Заведомо знает, когда встречу можно идти, а когда рот наглухо замкнуть.

Не то Патрикеевы. Посоветовавшись между собой, отец с сыном решили держаться Дмитрия Ивановича и Елены Стефановны. Ведь по закону так положено: сын наследует отцу. Выходит, внук имеет больше прав на великокняжеский престол, нежели второй сын великого князя, особенно если учесть, что Иван Молодой, отец Дмитрия, уже назывался великим князем.

Вообще-то Василий, как возможный великий князь, казался Патрикеевым, да и многим другим, более предпочтительным, нежели юный Дмитрий. Он был не только взрослее, но и

серьёзнее, дельнее великокняжеского внука. Но это в расчёт почти никем не принималось, потому как смотрели не столько на наследников, сколько на их матерей.

Пышнотелая Софья Фоминична знатным боярам была не по нраву. Они не могли простить ей введение новин, многие из которых были им ненавистны. С её появлением в Москве бояре связали перемену в Иване Васильевиче, ставшем гневливее и строже по отношению к ним. Немало людей казнил он после второго брака, и тень от тех казней несмываемым пятном легла на его велеречивую супругу. К тому же многие сомневались в истинности веры Софьи, зная, что длительное время она жила в Риме под покровительством папы Павла II, который и предложил её в жёны овдовевшему великому князю, лелея тайную надежду обратить русских людей в латинство.

Елена Стефановна казалась боярам совсем иной: проста, обходительна, новин не замышляет. С утра до вечера, как и подобает настоящей женщине, занята рукоделием. Её искусной рукой вышито немало пелен, поражавших своим совершенством. А по матери и сынок всем мил. Не беда, что молод, все равно всеми делами в государстве заправляет его дед Иван Васильевич.

К тому же Софья с Василием встали на путь заговора, а заговор тот в 1497 году был раскрыт. Иван Васильевич сильно разгневался на свою супругу, наложил на неё и сына опалу. Дмитрий же был объявлен наследником престола и торжественно венчан на царство.

Казалось, все совершается так, как предвидели Патрикеевы, но... прав оказался Михайло Тучков. Везёт же этому Тучкову! Вон и сын у него, Васька, совсем недавно под стол пешком ходивший, в какого красавца вымахал! Книжками зачитывается. Да к тому же скромненький, как девица. А он, Вассиан, как голый сук на дереве...

Лицо старца мгновение выражало досаду: щёки порозовели, тонкие ноздри узкого хрящеватого носа нервно затрепетали. Почему так властвует над человеком его прошлое?

Оно является в виде воспоминаний самым неожиданным образом: бессонной ночью или во время молитвы, в трапезной или, как сейчас, на крыльце великокняжеского дворца.

Недолго пришлось властвовать Дмитрию. Да и властвовал ли он? Но прежде чем его устранили от дел, великая опала постигла Патрикеевых и их зятя Семёна Ряполовского, с которым Василий ездил в Вильно для утверждения мирного договора. 5 февраля 1499 года на Москве-реке Семёну отсекали голову, а их, Патрикеевых, спасло от смерти лишь заступничество митрополита Симона. Отец с сыном стали монахами.

Как такое могло случиться? Почему они, с величайшим рвением служившие великому князю, имевшие во владении более пятидесяти вотчин, сёл, селец и деревень, оказались на краю пропасти? Долгими зимними вечерами молодой постриженник Кирилло-Белозерского монастыря, меряя убогую келью шагами, напряжённо искал ответы на эти не дававшие ему покоя вопросы.

Великий князь обвинил их в том, что они, находясь в Литве в качестве послов, высокоумничали, делали не так, как им было велено, пили вино небережно. Оттого поруху [19] и бесчестие ему учинили. Первоначально эти обвинения показались Василию смехотворными. Вино пили небережно? Так ведь кто его не пьёт по молодости лет? Неужто за это казнить нужно? Государю бесчестие учинили? Почему же им сразу не сказали об этом? Пять лет минуло с той поры, как они в Литве были. За это время государь не раз поощрял их.

Но чем больше размышлял он о делах минувших, тем всё отчётливее понимал: да, вина была, и немалая, причём провинность их стала очевидна лишь со временем.

...Отдавая свою дочь в жёны литовскому великому князю Александру, Иван Васильевич

потребовал от своего будущего зятя грамоту, что он не будет принуждать Елену к латинству. Александр не хотел давать такой грамоты. К тому же его тяготил титул тестя: государь всея Руси, великий князь владимирский, московский, новгородский, псковский, тверской, югорский, болгарский и иных. Сам же он был назван в грамоте лишь великим князем литовским. После длительных споров Александр обещал дать грамоту относительно непринуждения будущей жены к перемене веры. В свою очередь Василий Патрикеев и Семён Ряполовский согласились поступиться полным именем государя, полагая, что в том особой беды нет, поскольку и раньше грамоты так подписывались.

С того времени литовские послы стали называть Ивана Васильевича просто «великим князем». Как ни пытался он исправить ошибку, допущенную Семёном и Василием, ничего не получилось. К тому же и первое большое дело оказалось порушенным: до Москвы дошли достоверные слухи, будто Александр понуждает жену к перемене веры. При заключении договора он обещал построить в своём дворце православную церковь, чтобы Елена Ивановна могла пользоваться ею, но так и не выполнил своего обещания. Выходит, он вероломно обманул их, русских послов, и они ничего, кроме бесчестия государю, не добились. А ведь ко времени заключения мирного договора Литва была ой как слаба! Отнюдь не случайно Александр стал искать тогда руки дочери русского великого князя. Искать-то искал, а сам всё время мыслил, как бы навредить тестю. И, нужно сказать, преуспел в этом.

Вместе со своими братьями, королём польским Яном Ольбрахтом и королём венгерским Владиславом, Александр начал воевать Молдавию. Молдавский господарь Стефан, отец Елены — невестки русского великого князя, обратился к Ивану Васильевичу с просьбой о заступничестве, и тот направил к Александру своих послов с требованием, чтобы Александр и Стефан были в миру и докончанье [20]. Стремясь укрепить дружбу с Молдавией, Иван Васильевич провозгласил своего и Стефанова внука Дмитрия великим князем. Это случилось 4 февраля 1498 года, а в июле того же года Молдавия, потерпев сокрушительное поражение от трёх Ягеллонов — Яна Ольбрахта, Александра и Владислава, заключила с ними вассальный договор и не могла уже быть впредь союзницей Руси.

Иван Васильевич узнал о заключении этого договора от своего зятя Александра литовского и, читая его послание, полное ядовитой насмешки, не смог скрыть своего гнева.

«Как ты прежде через своих и наших послов наказывал нам быть со Стефаном, воеводой волоцким, в миру, в любви, в докончанье и в единстве, так мы и поступили по твоему, брата нашего, слову: учинили приязнь с ним и вечный — мир и докончанье взяли».

— Чего ради искал я союза со Стефаном и Александром, учинил с ними родство? — грозно вопрошал великий князь своих ближних бояр, среди которых был и отец Василия. — Для чего провозгласил своим наследником неблагодарного Стефанова внука, потребовавшего на днях, чтобы его величали не просто великим князем, а великим князем всея Руси? Но что он сам и все его родичи — господарь Стефан и мать Елена Волошанка — сделали полезного для Руси? Кто виноват во всём этом? Кто советовал мне искать дружбы и родства с вероломным Александром и беспомощным господарем молдавским?!

Так закатилась звезда Семёна Ряполовского и князей Патрикеевых. Да, это было тяжёлое время для Василия. Неожиданная опала, казалось, выбила почву из-под его ног. Пострижение в Кирилло-Белозерском монастыре было для него равносильно наступлению ночи среди бела дня. Однако молодость, избыток телесных и душевных сил помогли ему одолеть беду.

Вскоре после пострижения проведаль Василий, ставший в иночестве Вассианом, что в пятнадцати верстах от Кирилло-Белозерского монастыря живёт отшельник, основатель скитского жития Нил Сорский. Несколько лет провёл он на Афонской горе и в монастырях константинопольских, изучая творения отцов пустынных, призывавших к созерцательной

жизни. Возвратившись в отечество, он основал свой собственный скит и устав скитского жития.

Проведав о знаменитом старце, Вассиан загорелся желанием встретиться и поговорить с ним. Эти беседы навсегда запечатлелись в его сердце, ибо многое из того, о чём говорил Нил Сорский, совпадало с его собственными мыслями.

— В монастырях, — говорил Вассиану старец, — жительствоуют иноки, отказавшиеся от мира. Чем меньше иннок связан с миром, тем совершеннее жизнь в монастыре. Потому не должно быть у монастырей вотчин. Надлежит чернецам жить по пустыням и кормиться трудом рук своих.

Присмотревшись к монашеской жизни, Вассиан с удивлением обнаружил явное несоответствие между словом и делом. Проповедуя любовь к ближнему, монахи нещадным образом грабили крестьян, а тех, кто не мог заплатить долги, подвергали изощрённым и жестоким наказаниям. Многие монастырские старцы давали в рост деньги и хлеб. Святое ли это дело? А ведь иные из этих старцев ныне почитаются святыми угодниками. Взять хоть Пафнутия Боровского: и сёла держал, и слуг имел, и хлеб с деньгами в рост давал, а недоимщиков сам судил и кнутом бил. Вот так святой старец! И Вассиан под влиянием речей Нила Сорского и собственных наблюдений писал в своих трудах:

«Где в евангельских, апостольских и отеческих преданиях велено инокам иметь сёла многонародные, приобретать и поработать крестьян, с них несправедливо серебро и золото собирать? Вшедши в монастырь, не перестаём чужое себе присваивать всяческим образом, сёла, имения, то с бесстыдным ласкательством выпрашиваем у вельмож, то покупаем. Вместо того чтобы безмолвствовать и рукоделием питаться, беспрестанно разъезжаем по городам, смотрим в руки богачей, ласкаем, раболепно угождаем им, чтоб выманить или деревнишку, или серебришко. Господь повелевает раздавать милостыню нищим, а мы братьев наших убогих, живущих в сёлах наших, различным способом оскорбляем, если не могут заплатить — корову или лошадку отнимаем, самих же с жёнами и детьми как осквернённых от пределов своих отгоняем, некоторых же светской власти предавши, доводим до конечного истребления, обижаем, грабим, продаём христиан, нашу братию, бичом их истязуем, как зверей диких. Считающие себя чудотворцами повелевают нещадно мучить крестьян, не отдающих монастырских долгов, только не внутри монастыря, а перед воротами: думают, что вне монастыря не грех казнить христианина!..»

Да только не все церковники думали так, как он, Вассиан. Нашлись заступники и у новоявленных чудотворцев. Среди них главным был игумен Волоколамского монастыря Иосиф. Тому, кто ополчался против монастырских вотчин, он отвечал так:

— Если мы лишим монастыри наделов и имущества, то как честному и благородному человеку постричься? Не станет тогда добродетельных старцев для поставления в епископы, архиепископы и митрополиты. Уподобится православная церковь стаду без пастуха, и не будет в ней ни порядка, ни силы!

Выходит, бояре постригаются в монастыри не для смирения страстей и спасения души, а чтобы по-прежнему быть богатыми людьми. Как в миру, хотят они окружить себя роскошью, золотыми и серебряными украшениями, потому отписывают монастырям крупные вклады. Правильно ли это? И Вассиан пишет своему противнику:

«О том же пишу тебе, Иосифе, о чём и Иван Златоустый писал: не подобает церкви украшать, а нищих и убогих обижать, но лучше есть нищим и убогим давать, нежели церкви украшать».

Не об украшении церковей золотыми и серебряными побрякушками, не о подачках ей со стороны сильных мира сего думал Вассиан. Его привлекало другое богатство: неограниченная власть церкви над душами и судьбами людей. Посему всячески защищал он

независимость церкви от великокняжеской власти.

А что же Иосиф? Он стал утверждать, будто царь естеством сходен со всеми людьми, властью же подобен Всевышнему. Сам Бог посадил его вместо себя и передал ему власть над мирянами и духовными лицами. Никто не может перечить его суду.

Разошлись их взгляды и в отношении еретиков. Вассиан считал, что к раскаявшимся еретикам нужно быть снисходительными, их не следует предавать смертной казни. А Иосиф Волоцкий заявил, что для древних святых было едино — убить еретика руками или молитвою. Его противник не преминул язвительно посмеяться над этим: ты-то, Иосиф, не последуешь примеру древних святых, не взойдёшь вместе с еретиками на костёр, чтобы явить чудо — остаться невредимым. А мы бы тебя, из пламени исшедшего, приняли с почётом!

Десять лет минуло с той поры, как не стало Иосифа Волоцкого, но его последователи не только не ослабли, но и укрепились. Ныне митрополией завладел Даниил, бывший до этого игуменом Иосифо-Волоколамского монастыря, ярый продолжатель дела Иосифа. Вассиан неодобрительно глянул в сторону митрополичьего подворья. Вон ведь как иосифляне расправились с Максимом Греком: обвинили во всех смертных грехах. И хоть была бы в тех обвинениях крупица правды! С помощью гнусных видоков и послухов Даниил так сумел облить грязью премудрого старца, что тот долго ещё не отмоеся от неё.

Посох сердито застучал по ступенькам великокняжеского дворца. После долгих лет иноческой жизни сохранилось в высокой фигуре Вассиана нечто величественное, проскальзывающее порой и в гордой осанке, и в каком-то особом положении руки на посохе, и в выражении небольших косых глаз, которые, казалось, видели нечто такое, что простым смертным никогда не узреть.

Василий Иванович, узнав о прибытии старца Вассиана, поспешил встретить его и, приняв благословение, повёл во внутренние покои.

— Позвал я тебя, святой старец, ради беседы душевной, — тихо начал Василий Иванович. — Всё мне не в утешение, крутом одна скорбь. Но ты, великий старец, будь опорой державе моей и умягчением сердцу моему, дай истинное слово из уст своих...

Вассиан милостиво склонил голову.

— Великий государь, — мягким голосом отвечал он, — многие обители святых отцов просияли в державе твоей, измножились благодаря твоим заботам. Мне ли, недостойному, слушать речи твои?

— Не так давно привиделось мне во сне, будто ехал я в поле один-одинёшенек и встретил по дороге странного старца. Подошёл он ко мне и говорит: «Зачем ты женился на Соломонии Сабуровой? Ведь все потомки Рюрика были женаты всегда или на своих родственниках, или на дочерях царской крови, а Соломония ведь простая дворянка. Я тебе потому и не даю потомка. Сын Софьи Палеолог — и женился на простой дворянке! Великий князь не должен был так поступать!» — покачал старец головой и исчез. А когда я проснулся, великий страх напал на меня: неужели и вправду не буду иметь наследника?

Слова великого князя задели Вассиана за живое. Ему вдруг захотелось крикнуть в лицо Василию Ивановичу: «А разве я сам имею сына? Нет у меня никого: ни жены, ни детей! И только потому, что к власти пришёл ты, а не твой племянник Дмитрий!»

Сдержав себя, Вассиан вместо этого спокойно произнёс:

— Никогда в книжном писании не встречал я такого вопрошения, как ты просишь из уст моих,

а потому я, грешный, как разумею, так и отвечаю тебе, великому государю...

— Хочу разлучения первого брака с княгиней Соломонией ради бесчадия и хочу второй брак принять ради чадородия, чтобы семя владимирских прародителей наших не извелось, — перебил Вассиана Василий Иванович.

Поспешность великого князя не понравилась гордому старцу. Он твёрдо решил: что бы ни случилось, его благословения делу, задуманному Василием Ивановичем, не будет.

— Ой, не спеши, государь! Думается мне, что явился тебе ночью сатана в образе человеческом и начал смущать тебя своими сатанинскими искушениями. В Писании, государь, говорится: Бог сочелал, человек да не разлучает...

Вассиан знал: опасно в нынешние времена идти встречу великому князю. С тех пор как Василий Иванович dokonчил то, что начал отец его, Иван Васильевич, а именно — отнял у удельных князей их города и укрепления, перевелись в Москве люди, решавшиеся перечить ему. Даже на церковь распространялась его власть. Василий Иванович обращался с духовенством так же, как и с мирянами. И чем дальше, тем хуже. Будущее представлялось Вассиану ещё более мрачным. Он был глубоко убеждён, что во всём этом виноваты стяжатели-иосифляне, алчность и ненасытность которых способны подчинить церковь не только великому князю, но и самому сатане. За золото и земельные наделы они могут простить Василию Ивановичу любой грех, любое притеснение и оскорбление церкви.

— Если ты отлучишь от себя первый брак, а второй примешь, то наречешься прелюбодеем. За этот грех Бог наведёт варварский плен всем христианам. Воинству же твоему ратовать будет невозможно, ибо ничто не может устоять против силы Святого Духа. Придёт гнев Божий на град твой варварским нахождением, огненным падением или трясением. Куда главе твоей деться?

Вассиан говорил так, исходя из следующих соображений. Будучи влиятельным человеком, он не считал нужным скрывать своих мыслей и поступков. Откровенен был Вассиан и с великим князем. Милости и внимания к себе не просил, нестяжательство претило тому. Опалы его также не боялся, потому как однажды был уже пострижен в монахи. Бесчестных и неправедных поступков не совершал, мысли свои считал угодными Богу. Кроме того, он полагал, что лишь Бог ведаёт, быть бабе неплодной или способной родить, а сама мысль о расторжении брака из-за бесплодия казалась ему греховной.

— Если хочешь, государь, желаемый ответ получить, учини собор [21] с отцом митрополитом Даниилом о таком превеликом деле. Он, может быть, поколеблется в уме и сотворит тебе по твоей воле. — Вассиан явно издевался над митрополитом. Это не понравилось великому князю.

— Напрасно хулу возводишь на митрополита Даниила. Много печётся он о благе земли русской.

— Иосифляне денно и нощно пекутся о сохранении в неприкосновенности вотчинных прав монастырей!

— Слышал я то, и не раз. Но те же самые иосифляне власть великого князя утверждают в нынешнее смутное время. А что ж нестяжатели? Видать, им милее боярская смута, строптивость удельных князей да нестроение земли нашей.

— Неверно то, государь! — искренне воспротивился Вассиан.

— Нет, верно! Али забыл о недавнем соборе, осудившем Максима Грека? С кем якшался он? С проклятым Берсенем [22], ругательски поносившим своего государя.

Василий Иванович был прав и не прав. Действительно, поборник нестяжательства Максим Грек неоднократно беседовал в своей келье с Берсень-Беклемишевым. Но ведь ни Максим, ни он, Вассиан, никогда не были сторонниками боярской смуты и своеволия удельных князей, всегда поддерживали великого князя в его устремлениях создать прочную державу. Именно поэтому князья Патрикеевы в своё время твёрдо приняли сторону внука Ивана Васильевича Дмитрия, а не стали двурушничать, как другие бояре. За то и поплатились, когда Софья Фоминична с сыном Василием одолели Елену Волошанку с Дмитрием. Но лучше сейчас не говорить об этом случае приверженности Патрикеевых сильной великокняжеской власти.

— Нестяжатели, государь, всегда стояли и стоят на том, чтобы ты отобрал у монастырей их обширные владения. Эти земли ты мог бы раздать верным служилым людям, от того польза была бы тебе немалая.

— Дело это отнюдь не простое. Помнится, мой отец пытался убедить в том один из соборов [23], да собор не поддержал его. Прощай, святой старец, видать, зря я посылал за тобой.

Быстрее ветра, птицы и лесного зверя разносится по миру молва человеческая. Едва старец вышел из великокняжеских покоев, а митрополит Даниил уже знал о размолвке Василия Ивановича с Вассианом. Из приоткрытого окна ему хорошо было видно строптивного старца. С жадным любопытством вглядывался он в него, стараясь уловить на лице страх, — и не видел страха. Только посох чаще, чем обычно, стучал по деревянной мостовой Кремля.

— Ничего, ты ещё содрогнёшься у меня! — чуть слышно проговорил Даниил. Долго и упорно боролся он с нестяжателями, и лишь недавно ему удалось нанести им крупное поражение — заточить в Иосифо-Волоколамский монастырь одного из главных поборников нестяжательства Максима Грека. Тот был в единомыслии с Вассианом Патрикеевым. Велико было желание Даниила расправиться на соборе и с ним. Да, видать, его время ещё не пришло, большую силу имеет Вассиан над Василием Ивановичем. Великий князь и слышать не хотел о предании Вассиана Косого церковному суду. А грешков накопилось за ним немало.

Взялся старец с разрешения бывшего митрополита Варлаама и священного собора за составление новой Кормчей [24]. При этом указано было ему, чтобы из прежней Кормчей «ничего не выставляти». Этим указанием Вассиан безбожно пренебрёг, исключив из Кормчей те писания, на которые особенно опирались защитники монастырского землевладения. Вместо них он включил в новую Кормчую свой труд «Собрание некоего старца», в котором осуждал монастыри за то, что они владеют сёлами многолюдными, да ещё вставил «Сказание инока Святой горы» Максима Грека.

«Нестяжатели обвиняют нас в том, что мы власть над церковью отдали в руки великого князя, признав устами Иосифа Волоцкого, что сам Бог посадил его и суд и милость передал ему вместе с властью над церковью и государством. Но ведь сами мы не хотели этого. Однако нам пришлось говорить так ради спасения монастырского богатства, на которое не раз покушался отец нынешнего государя Иван Васильевич. И мы спасли монастырям вотчины и богатство! Ныне мы все ближе и ближе к своей цели. Максим Грек для нас уже не опасен. Вассиан поссорился с великим князем. Нужно как можно быстрее убедить самодержца и государя нашего в том, что Вассиан Косой — его недруг».

Тихо вошёл чернец.

— Владыка, прибыл архимандрит Чудова монастыря Иона.

— Зови.

В дверях показался низкорослый старец с жёлтым, словно восковым, лицом. Небольшие, беспокойные глаза его выражали подобострастие.

— Зачем изволил звать, святой отец? Даниил молча указал на лавку против себя.

— Позвал я тебя, Иона, чтобы благодарствовать за слова, сказанные на соборе против еретиков Максима Грека, Саввы Святогорцева да Михаля Медоварцева. Ересь надо искоренять полностью, без остатка. А что получается? Инок твоего монастыря Вассиан совокуплялся в единомыслии с еретиками, нами осуждёнными. Вместе с ними творил он укоризну государю нашему, вникал в мерзкие сословия, утверждал, будто имущество монастырей со слезами сирот, бедных вдовиц и убогих смешано. Это ли не богоотступничество? Это ли не ересь, Иона?

Архимандрит согласно кивал головой.

— Надлежит установить негласный и строгий надзор за старцем Вассианом и сообщать мне обо всём, что говорит он супротив государя нашего Василия Ивановича. А уж я постараюсь заставить великого князя по-иному взглянуть на злобствующего еретика. Аминь!

Митрополит Даниил вошёл в покои государя. Василий Иванович сидел, глубоко задумавшись, опершись правой рукой на подлокотник кресла. В этот миг он очень походил на своего отца: такой же крупный с горбинкой нос, те же огромные глаза, смотревшие на собеседника внимательно и строго. В отличие от отца Василий Иванович больше времени уделял своей внешности: волосы, усы, борода его были аккуратно подстрижены, даже широких бровей коснулись зубья гребешка. Длинные пальцы лежали на рукописи, в которой Даниил сразу же признал труд Спиридона «Сказание о князьях владимирских». После митрополичьего благословения речь зашла о творении Спиридоновом.

— Премного благодарен, отец Даниил, за эту рукопись. Очень полезна она для государства нашего.

— Не я трудился над ней, государь, не меня и благодарить.

— Не скромничай ложно, отец Даниил. Хоть и не ты писал сей труд, но мыслю, что и твоё старание к нему приложено. Обозначено на рукописи, что трудился над ней некто Спиридон. Хотел бы я знать, кто доброписец сей?

— Много всего пришлось испытать в жизни старцу Спиридону. Патриарх царьградский Кир Рафаил по благословию Вселенского собора поставил его митрополитом, но поставление это оказалось неудачным для Спиридона. Отправился он было в Литву, но король Казимир не принял его, приказал схватить и посадить за сторожи. Выбравшись наконец из литовского заключения, Спиридон с радостью в сердце возвратился на родину и принял пострижение в Ферापонтовом монастыре, где много и усердно занимался доброписью. Ныне он стар и немощен... — Даниил умолчал о том, что Спиридон, будучи в заточении, неоднократно обращался к отцу Василия Ивановича, но великий князь по совету митрополита и пальцем не шевельнул ради его спасения. Когда же старец «с радостью в сердце» возвратился на Русь, то и здесь угодил в заточение. В интересах ли митрополита посвящать государя в эти тонкости, порочить перед ним святую церковь? — Три года назад наведывался я в Ферапонтов монастырь, где мне привелось свидеться со Спиридоном. Большого ума старец! Не много встречал я таких на своём веку.

— И я так думаю, отец Даниил. Сей труд мог написать только человек, заботящийся о процветании государства нашего. Новые времена настали для нас, а многие удельные князья продолжают настаивать на своих правах, давно утерянных. Пределы владений наших вон как раздвинулись! Черниговские земли, Псков, Смоленск — везде ныне власть едина — от Москвы. На всей земле русской должен быть один хозяин. В этом — сила Руси. Пусть ныне меня вольным самодержцем и царём великой Руси называет монах Спиридон. Пройдёт

время, и новый государь будет править вместо меня, но он обязательно должен быть царём всея Руси. Никто не должен стоять на одной ступени с ним, ибо его власть от Бога.

— Великий князь всея Руси по праву называется царём. Ведь ещё Владимир Мономах венчался на царство.

— Но не всем пока ведомо об этом праве. Ещё раз хвала Спиридону за то, что он поведал это миру. Если представится okazия, не запамятуй, отец Даниил, передать мудрому старцу мой поклон и благодарность. Мало у нас таких людей.

— Ой мало, государь! — оживился митрополит. — Всё больше супротивников и еретиков проклятых. На днях ты, пресветлый, благочестивый и христоролюбивый государь, с нашим смирением и со всем священным собором покарал Максима Грека со товарищами. Но есть и другие, которые творят укоризну государству твоему, вникают в мерзкие сословия.

— Нещадно карайте еретиков!.. А ещё я хотел спросить тебя, святой отец, вот о чём...

Василий Иванович рассказал Даниилу свой страшный сон и попросил благословить расторжение брака с Соломонией Сабуровой.

— Ведаю, государь, о печали твоей и всей душой сочувствую тебе. Но не могу я дать благословения такому делу, потому как следует прежде обратиться к святым отцам — патриархам Антиохийскому, Иерусалимскому, Александрийскому и Царьградскому.

Князь понурил голову, но тотчас же выпрямился.

— Добро, отец Даниил, сегодня же пошлём к ним гонцов.

Глава 2

Скучно и душно. Узкое оконце открыто во всю ширь, но от этого ничуть не легче. За окном белесое, словно выцветшее от жары небо. Внизу, невидимая, звенит, скрипит, бранится, хохочет, многоголосо шумит Москва. И если бы не эти привычные звуки, можно было бы подумать, что за окном знойная степь, поросшая душистым разнотравьем. В степи бывало так тихо, что Соломонии — иногда казалось, будто она оглохла.

Два с половиной десятка лет прошло с той поры, как её отцу Юрию Константиновичу Сабурову было приказано оставить наместничество в Кореле [25] — самом северном крошечном городке Новгородского края — и перебраться на юг для охраны рубежей Руси от набегов татар. Тут-то она впервые и свиделась со своим будущим мужем Василием.

Великий князь Иван Васильевич, имевший обыкновение ежегодно объезжать свои владения, побывал у Сабуровых незадолго до своей смерти. Вместе с ним был сын Василий. Какая девушка не мечтала бы стать женой великого князя? Соломония и сейчас помнит, как забилося её сердце, когда она впервые увидела молодого княжича. А Василий как глянул на Соломонию, так и не сводил с неё своих огромных глазищ.

Ни слова не было сказано между ними в тот день. Наутро великий князь с сыном уехали. В щёлку своего оконца Соломония видела, как князь садились на коней, как Василий, насупив густые брови, грустно оглядывал окна их дома, а сердце её так сладко замирало, словно ему было тесно в груди. Сердце верило в новую встречу.

Целый год прошёл в томительном ожидании, в сомнениях, в тревогах, в слезах и сладостных

мечтах. Великий князь, однако, больше не приехал. Вместо него из Москвы прибыл гонец, поведавший о тяжёлой болезни государя. Гонец долго беседовал с отцом с глазу на глаз, а когда уехал, Юрий Константинович взволнованно произнёс:

— Ну, дочка, вынимай лучшие свои наряды. В Москву поедem, авось великой княгиней станешь.

Никто по-настоящему не верил, что она, дочь безвестного на Москве человека, который даже боярином-то не был, вдруг станет женой Василия Ивановича. Больше всех верила и суежилась, готовясь к поездке, тётка Соломонии Евдокия Ивановна, заменившая ей рано скончавшуюся мать. Вечерами, сидя у постели пятнадцатилетней девушки, она вытирала на её глазах слёзы неверия и шептала:

— Ну полно, полно тебе реветь, Соломония. Погляди-ка на себя в зеркало: и шейка у тебя лебединая, и губки как две алые ленточки, и глаза твои огнём сердце молодецкое обжигают. Не много таких красавиц в Русском государстве! Не беда, что нарядов маловато: ни каменье дорогих, ни тканей особенных. Истинную красоту каменья не украшают, а затмевают. Да и княжичу ты полюбилась. Сама, чай, помнишь, как он глазел на тебя в тот раз.

— Мало ли таких, как я! Забыл он меня. Кабы не забыл, приехал бы...

— Может, дела не позволили. Отец-то ныне плох стал. Гонец сказывал, будто прошлой осенью повздорил он по пустяшному поводу с троицким игуменом Серапионом, а после того отнялись у него рука и нога. Вот она, жизнь наша... — Евдокия Ивановна задумалась о чём-то своём.

Она родилась в Переяславле-Залесском, что притаился у озера в дремучих лесах. На всю жизнь запомнились ей поблёскивающие в лесной глуши маковки древнего Спасо-Преображенского монастыря. Город деревянный, с двойной стеной и двенадцатью башнями-стрельнями. А вокруг города сплошной земляной вал.

Соломония знает, как мила тётке далёкая родина. По рассказам Евдокии Ивановны тот лесной северный край казался ей царством, где живут добрые и злые духи: баба-яга, лесовик, водяной, русалки. А ещё знает Соломония: хоть недолго прожила тётка на рубеже с Полем, но всем сердцем возненавидела она степь, раскинувшуюся без конца и края. Вот и хлопочет теперь о поездке в Москву.

— Не бойся ничего, Соломонышка! — жарко шепчет в самое ухо девушки. — Заробеешь — всё пропало, никто тогда твоей красоты не заметит, а красоте той равной нет, поверь моему слову!

Но как было не заробеть скромной девице, явившейся из степной глуши в величественную Грановитую палату? Даже во сне никогда не видела Соломония такой роскоши и красоты. Поддерживаемая отцом, она прошла через обширные сени, с трудом поднялась по широкой лестнице, устланной мягкими пушистыми коврами, и очутилась в огромном сводчатом зале с четырёхгранным столпом в центре. Напротив входа у стены под изображением какого-то святого на возвышении стояли сиденья для великого князя и его сына. Вокруг Соломонии громко шушукались, шелестели богатые наряды, приятно пахло редкими благовониями.

Едва она огляделась и пришла в себя, шум неожиданно прекратился, а толпа раздвинулась. По образовавшемуся проходу, грузно опираясь на посох, волоча левую ногу, медленно шёл князь Иван Васильевич, сопровождаемый сыном Василием и толпой знатнейших бояр. Соломонию поразили вид великого князя, так сильно он изменился за два года!

Пока они шли, пока рассаживались по своим местам, Соломония украдкой следила — за молодым княжичем. Василий казался утомлённым и озабоченным. Он равнодушно покосился

в сторону притихшей толпы и сёл чуть ниже отца с левой стороны.

По знаку Ивана Васильевича появился высокий стройный дьяк в голубом кафтане и по списку стал громко вызывать невест для показа. Каждая девушка, совершая круг по палате, должна была пройти близко от князей и поклониться им.

У Соломонии рябило в глазах, в висках стучало. Не то от волнения, не то от усталости ноги подкашивались. Она даже не расслышала, когда дьяк в голубом кафтане выкрикнул её имя.

— Соломония Сабурова! — громко повторил он.

— Ну иди же, дочка, иди! — услышала девушка тревожный шёпот отца и, ни о чём не думая, неуверенно ступила вперёд. Ноги плохо повиновались ей. Пройдя несколько шагов, она попыталась оглядеться по сторонам, но ничего не увидела, кроме безликой разноцветно-пёстрой толпы. И вдруг Соломония заметила знакомые глаза, внимательно смотревшие на неё. Как заплутавшийся в зимней ночи путник спешит на огонёк, так и она быстро-быстро пошла навстречу обжигавшим её глазам. От её внимания не ускользнуло движение княжича, приподнявшегося со своего места. Вот он сел и что-то сказал отцу. Иван Васильевич, усмехнувшись в курчавую седую бороду, кивнул головой не то одобрительно, не то осуждающе. Безжизненный глаз его смотрел куда-то в сторону, и казалось, будто происходящее в зале государя вовсе не волнует.

Больше в этот день Соломония ничего не запомнила. А утром следующего дня стало известно, что из более чем пятисот явившихся на смотрины невест первоначально было отобрано десять девиц. Василий Иванович отдал предпочтение Соломонии, дочери неизвестного в Москве человека, который спустя семь лет [26] стал боярином и в том же возвысившем его 1512 году умер, намного пережив свою жену.

Душно в опочивальне великой княгини. С тревогой выглянула она в окно. Нагретый воздух струился от раскалённой земли, отчего все вдали казалось неясным, расплывчатым. Пахло гарью. Но в тусклом от дыма небе появились кучевые облака — предвестники скорой грозы. Вот было бы чудо! Шум внизу заметно утих, — наверно, весь народ попрятался от жары по домам. Отчётливо слышно, как звенят, разрезая воздух, стрижи.

Сердце защемило с новой силой. Соломония со стоном уткнулась в подушку, затем сползла на пол и встала на коленях перед иконой. Думала ли она тогда, двадцать лет назад, что её замужество окажется таким тяжёлым? Сначала — лютая ненависть завистников-бояр. Но, слава Богу, рука великого князя сильна, вовремя наказал врагов явных и припугнул тайных. Потом — бесплодие. Знает она, как желает иметь наследника Василий. Да и ей не первую ночь снится, будто рядом с ней шевелится родное дитё.

Сколько молилась Соломония, сколько поклонов отбила перед иконами, сколько даров пожертвовали они с великим князем в монастыри. Совсем недавно в Троицыну обитель подарили они покров с изображением основателя монастыря Сергия Радонежского да икону с молением о чадородии. На той иконе написано было: «Поддай же им, Господи, плод чрева». Сколько снадобий и святой воды приняла она ради чадородия, не счесть знахарок, коих переводила к ней тайно тётушка Евдокия Ивановна. Ничто не помогло. Как вешний снег — что ни день, то быстрее таяла любовь мужа, все реже встречались они, словно невидимая преграда возникла между ними.

«Что же дальше: монастырь или смерть?» — думала она, хотя в её представлении это было одно и то же. Ибо мало того, что Соломония, будучи великой княгиней, привыкла к своему высокому положению и утратила чувство смирения и кротости, она все ещё по-настоящему горячо и преданно любила Василия Ивановича.

За дверью слышались шаги.

«Он!» — мелькнуло в голове. Княгиня метнулась к двери, торопливо оправила летник [27].

В дверях показалась дородная фигура Евдокии Ивановны. Зоркими ещё глазами тётка строго посмотрела на Соломонию. Давно уже — поди, с той поры как брат стал боярином — переменяла она привычный убрусец [28] на нарядную высокую кикку [29] с крупным бисером, а сарафан — на тёмно-синий из фряжского сукна опашень, расшитый по подолу голубым шёлком. Громко стуча клюкой, Евдокия Ивановна прошла к скамье, застланной пушистым ковром, и, тяжело опустившись на неё, тихо, но отчётливо спросила:

— Опять, поди, убивалась?

Соломония, уткнувшись в её колени, громко всхлипнула.

— Ну полно, полно тебе реветь, Соломония! Погляди-ка на себя в зеркало, на кого похожа стала? Великой ли княгине так истязать себя. Не доставляй радости врагам нашим, крепись! Давно ли Василий Иванович не навещал тебя?

— Поди, уж седмицу...

— Да перестань ты реветь! Слезам горю не поможешь, мужнюю любовь не вернёшь. Не в слезах сила.

— Уж и не знаю, тётушка, что мне и делать. Может, к отцу Даниилу сходить, попросить у него помощи?

— Вряд ли поможет тебе митрополит. Он хоть и добр на словах, на деле поступает так, как великому князю желательно. Повстречала я нынче двоюродного братца твоего Ивана, сына Даниловича, он к иноку Максиму был вхож. Сказывал мне твой братец, будто сослали Селивана-чернеца в Соловки, а самого Максима Грека — в обитель пречистая Иосифова монастыря.

— За что же это их?

— Они будто бы книги церковные перевирали.

— Господи, до чего же крут стал государь, чуть что — в Соловки, в монастырь.

— А вчерась, говорят, Василий Иванович был гневен на старца Вассиана.

— Да за что же на него-то прогневался государь?

— Будто бы супротив воли великого князя пошёл, не хотел, вишь, с ним соглашаться. Крут, крут стал Василий Иванович! Слезам его не проймёшь. На днях поведали мне об одной старушке, коя заговор знает от бесчадия и мужнюю любовь приворожить может. Так Иван Данилович разыскал её и на своём дворе держит. Договорилась я, чтобы пришла она к тебе.

— Боюсь я, тётушка! Вдруг Василий Иванович проведаёт о ней? Пуще огня страшится он чёрного глаза и всякой нечисти. Коли дознается, не быть мне больше великой княгиней. Тогда уж ни Бог, ни сатана не поможет!

— А не страшно тебе, что наши родичи, приблизившиеся к государю благодаря твоим стараниям, ныне в безвестье уходят? Разошлют их по городам и весям вроде Корелы, где мы маялись, там они и сгинут. Видать, не жалко братца своего кровного Ванюшку, коего за красоту да стать Василий Иванович в рындах [30] пока держит. Пора бы знать тебе: великий князь добивается расторжения брака с тобой. Из-за тебя и старец Вассиан пострадал, не

согласился он благословить Василия Ивановича на такое дело.

— Господи, неужели это правда? — тихо проговорила Соломония, бледнея. — Не может быть, слышь, тётушка, не может этого быть! Всё сказанное тобой — неправда! Ну откуда тебе знать?

— Да тише ты... Земля слухом полнится. Так кликнуть, что ли, старушку-то?

— Зови... — почти беззвучно прошептала Соломония.

В опочивальню вошла чистенькая розовощёкая старушка. Низко поклонившись Соломонии, она проворно выпрямилась и по-свойски, как будто давным-давно знает её, улыбнулась. Много знахарок перебивало у княгини, но у тех глаза были либо злыми, либо хитрущими. Слова они произносили непонятные, плевались через плечо, многозначительно совершали своё дело. А эта старушка походила на обыкновенную крестьянку, ничто не указывало на её тайное ремесло. И говорила она совсем не так, как искушённые знахарки:

— Ведомо мне, государыня, о горе твоём. Просили меня помочь тебе, да сумлевалась я. А ныне решила попытать счастья. Известна мне земля целebная, коя силу свою бабам передаёт. На той земле трава особенная растёт, она тоже от бесчадия помогает. Ты, голубушка, сыми-ка наряды, чтобы дело своё я могла делать.

Евдокия Ивановна встала у дверей: не дай Бог, кто ненароком заскочит в палату! Соломония, смущённая своей наготой, предстала перед старушкой.

— Экая ты ладная да прекрасная! Сдаётся мне, должна ты принести Василию Ивановичу молодого княжича. — Старушка быстро ощупывала тело Соломонии мягкими тёплыми руками. — Верю я: поможет тебе моё средство. Ты уж не сумлевайся! А пока прими-ка вот это зелье.

Откуда-то появился небольшой глиняный горшочек, из которого Соломония отпила несколько глотков. Тотчас же по всему телу распространилось тепло. На душе стало легко и покойно.

— Ну вот и ладушки, — приговаривала старушка, — а теперь ложись.

Соломония прилегла на лавку. Краем глаза она видела, как старушка развязала уголок холстины, заключавшей в себе нечто тёмно-бурое.

«Да это же целebная земля, которая силу свою бабам передаёт», — догадалась княгиня.

Земля была жирная, влажная. Знахарка брала её в ладони, слегка разминала и прикладывала к животу Соломонии. Но та уже ничего не видела и не чувствовала. Лишь в ушах продолжало звучать: «Вот и ладушки, ладушки...»

Глава 3

Громадная чёрная туча быстро надвигалась на Москву со стороны Неглинной. Она охватила уже значительную часть неба, и, словно немея перед страшным чудовищем, Москва постепенно затихала. Замешкавшиеся торговые людишки, косясь в сторону тучи и торопливо крестясь, запирали лавки, разбегались по своим дворам. Приезжие крестьяне, нахлёстывая лошадей, спешили найти приют на время ненастья у знакомых.

Андрейка Попонкин даже рот разинул: так быстро в его отсутствие изменилась торговая

площадь. Увидев отца, суетившегося вокруг лошадей, он бросился помогать ему.

— И где только тебя леший носит? Не видишь, всё небо обложило, сейчас лить почнет, а ты всё шляешься да на купецкие терема любуешься! Али вожжей давно не пробовал? — на всю опустевшую площадь кричал Илья Попонкин.

Провинившийся вскочил на вторую телегу и в сердцах хлестнул сивую клячу вожжами.

— Эй, берегись! Не зевай! — предупреждал Илья запоздавших торговцев, спешно покидавших свои лавки.

Лошади старательно переставляли ноги, но ходу не прибавляли — мешали бесконечные повороты то в одну, то в другую сторону. Рядом с каменными погребями и лавками на московском торжище было много деревянных лавок и просто скамей. Казалось, в этом скопище торговых построек, ярком и пёстром, не существовало ни малейшего порядка. Так мог подумать несведущий человек. На самом деле здесь для каждого товара существовал свой ряд, своё место, минуя которое во всей огромной Москве нельзя было продать или купить этот товар.

Подковы лошадей бодро застучали по деревянной мостовой Варварки. По обе стороны улицы теснились лавки, относящиеся к москотильному, железному, седельному и масляному рядам. А вот и хорошо знакомый Андрею Варварский крестец [31] — самое оживлённое место московского торжища. Обычно здесь трудно протиснуться сквозь плотную толпу людей. Нынче же непривычно пустынно, можно спокойно рассмотреть всё вокруг. Напротив церкви Варвары стоит Панский двор [32] — большая усадьба, обнесённая забором с сосновыми воротами, возле которых подслеповато глядит на прохожих и проезжих приворотная избёнка для сторожа.

— Андрюха, смотри мешки не оброни с телеги].

Но Андрей не слышит: стоя на телеге, он рассматривает внутренность Панского двора. В середине палата и два жила с сенями и крыльцом, а рядом горница позёмная и многочисленные службы: две белые и две чёрные избы, поварни, конюшни. За постройками видны плодовые деревья — яблони, груши, сливы. Но самое интересное — на крыльце стоят два длинных тощих пана в непривычных для русского человека узких в обтяжку портах и коротких кафтанах. Озабоченно поглядывая на небо, они о чём-то тихо переговариваются между собой.

«Смешно, — думает Андрей, — такие же люди, как и мы, а одеваются совсем по-иному. Интересно было бы нарядиться в панскую одежду и с важным видом пройти по Морозову. Всё село сбегалось бы поглазеть на важного господина... Говорят, будто за литовской землёй, далеко-далеко от Москвы, лежит море. А что это такое — море?.. Хоть бы одним глазком взглянуть, как там живут. Наверно, не только одежда, а и дома там иные, чем в Москве...»

Далёкий гром, прозвучавший, казалось, из-под земли, прервал Андрюхины размышления. Он увидел отца, усердно отбивавшего поклоны в сторону ветхой древней церквушки Максима Исповедника, приютившейся на краю холма, круто подступившего к Зарядью. Церквушка была так стара, что Андрею почудилось: дунь ветер посильнее — и она покатится вниз по Васильеву лугу и шлёпнется в Москву-реку.

— Андрюха, пошевеливай лошадей, из-за тебя, поганца, под грозу угодим.

Лошади затрусили быстрее, и вскоре обе подводы выехали к Варварским воротам Китай-города, за которыми открылась обширная, хорошо утоптанная и унавоженная Конская площадь. Местность тут сырая, болотистая, но в то засушливое лето пересохла земля

уподобилась твёрдому камню. Обычно многолюдная и шумная, Конская площадь была непривычно тихой и пустынной. Лишь чья-то отбившаяся собачонка с обрубленным хвостом, скуля, бестолково металась из стороны в сторону.

За Конской площадью начался Большой Посад. В отличие от Китай-города дворы стоят здесь редко, деревянные избы отделены друг от друга садами. Обширные сады укрыли крутой склон, взметнувшийся за Конской площадью, напротив Варварских ворот. Лошади повернули направо и по Солянке вскоре выехали к Яузе.

Между тем туча заволокла уже большую часть неба. На мгновение стало удивительно тихо, словно вся природа насторожённо прислушивалась к чему-то такому, что недоступно человеку. От этого на душе Андрея стало тревожно. Сильный порыв ветра обрушился совсем неожиданно, пригнув деревья к самой земле. Вокруг засвистело, заухало, завывало. От поднятой пыли сделалось темно, как ночью. Лошади беспокойно заржали и остановились.

Андрей, протирая глаза, даже сквозь сомкнутые веки увидел зарево, охватившее всё небо. Почти одновременно так загремело, как будто с высоты посыпались огромные листы железа. При свете очередной молнии он увидел отца, яростно нахлестывавшего лошадей.

С нарастающим шумом что-то быстро нагоняло припозднившихся ездовых. Андрею сделалось страшно, он хотел было оглянуться, но тут словно река обрушилась на него. Вмиг на теле не стало ни единой сухой нитки. Подводы одна за другой въехали в предусмотрительно распахнутые ворота и остановились возле деревянной избы.

— Наконец-то приехали! А мы было отчаялись вас дождаться, думали, где-нибудь в другом месте решили переждать ненастье. Проходите, гости дорогие, в избу, небось до нитки промокли. Господи, да с вас так и льёт. Илюша, друг мой сердечный, давай по русскому обычаю облобызаемся... Сынок-то, сынок-то у тебя как вымахал. Вишь, какой красавец!

— Здравствуй, Петя! Из-за этого красавца мы и угодили под ливень. Большой вымахал, а разуму-то что у курицы. Гроза находит, а он по Москве шляется да на терема, разиня рот, смотрит.

— Да вы раздевайтесь, снимайте с себя всё. Жена, чего же ты стоишь, накрывай, скорее на стол, гости, поди, с голоду умирают. А ты, Ульяша, подай сухую одежду: рубахи, порты да ширинку [33], чтоб утереться.

Андрей, отвернувшись в угол, разделся. Ему было неловко своей наготы. Ульяна, подавая сухую одежду, тоже вся зарделась и голову опустила.

— Вы что же друг перед дружкой краснеете? Прошлым летом каждый день на Яузе нагишом купались, а ныне вдруг стесняться начали, — заметил хозяин.

— Значит, замуж выдавать да женить время, — усмехнулся Илья.

Между тем хозяйка проворно ставила на стол закуски, калачи и хлебы московские.

— Авдотьюшка как поживает?

— Живём Божьими заботами, не жалуемся, — с поклоном отвечала хозяйка. — Садитесь, гости дорогие, не побрезгуйте харчами нашими. Чем богаты, тем и рады.

— Да вы бы не хлопотали так по незванным да незнатным.

— Полно, Илюша, привередничать да глумиться. С каких это пор стал ты для нас незванным да нежданным гостем? Али думаешь, забыл я, чем обязан тебе? Нет, друг, такое не забывается! А потому мой дом — твой дом, мой хлеб — твой хлеб.

— Ишь, что помянул. С того смоленского походу, поди, поболе десятка лет миновало. Что было, то прошло да быльём поросло.

— Сколько бы лет ни прошло, а такое до гроба не должно забываться. Коли б не ты, как раз утоп бы я вместе со многими другими в реке Крапивне или в полон к литовцам угодил бы. А потому не перечь хозяевам, садись в красный угол, отведай хлебов наших.

Был Пётр Аникин сапожником, шил обувь на заказ, чинил старую. Ремесло своё ведал хорошо, потому московские щёголи, много забот проявлявшие о красоте сапожной, нередко заказывали у него «сапогы вельми червлены и малы зело, якоже и ногам своим велику нужу терпети от тесноты съгнетения их». Сапожный промысел позволял ему жить безбедно.

Андрей Попонкин с вожделением поглядывал на стол, уставленный едой.

— Вынь, мать, из тайника сулею [34] заветную!

— Бог с тобой, Пётр! А ну как кто ненароком увидит да голове [35] донесёт? [36]

— Авось не увидит да не донесёт. Выпьем же мы не для веселья, а чтобы гости наши дорогие, под дождь угодившие, не захворали.

— Ну смотри, Пётр, борони тебя Бог!

— Бог-то он Бог, да и сам не будь плох.

Мужики, крестясь, сели за стол. Ульяша примостилась в углу, за прялкой. Отсюда хорошо был виден стол, освещённый лучиной. Тихое жужжание веретена не заглушало слов говоривших. Гость в доме, кто бы он ни был, всегда вызывает живой интерес домочадцев, потому на Руси хлебосольство великое испокон веков. Девушка с любопытством рассматривала Андрея: до чего же изменился он за год, возмужал, раздался в плечах. Прошлым летом вместе с соседскими ребятами они бегали на Москву-реку и Язузу купаться. Накупавшись до синевы, до куриной кожи, зарывались в тёплый белый песок. Помнится, ещё раньше, когда они только что научились плавать, Уля едва не утонула, если бы не Андрюшка. Ох, и перепугалась она тогда! Чуть шагнула от берега, а вода уж по шейку. Хотела двинуться назад, да сил не хватает, течением потянуло на глубину. Девочка изо всех сил цеплялась ногой за подвернувшийся камень, но опора была ненадёжной, скользкой. Андрей, сам ещё только научившийся плавать, сильно ботая ногами, заплыл сзади и подтолкнул её к берегу. Ох, и смешной он тогда был. А теперь ну нисколечко не похож на того Андрюху.

Ульяне захотелось, чтобы Андрей оглянулся, посмотрел в её сторону, но он как будто забыл про неё, внимательно вслушиваясь в разговор мужиков.

— Хоть и строг великий князь, да всё не то ныне, как при удельных князьях. Во всём порядку больше. Вон и татары почти не докучают. А то ведь жизни никакой от них не стало, всё им, распроклятым, отдай. Людей русских, загубленных татарами, не счесть. Последний раз четыре лета тому назад были под Москвой из Крыма. Страсть, что творилось тогда в Москве! Множество людей устремилось в Кремль, и в воротах кремлёвских началась великая давка. Москва-то вон как разрослась, людей в ней видимо-невидимо. И всё в Кремле искали спасения. Многие из тех, кто через Фроловские [37] ворота хотел пройти, в ров попадали, а ломившиеся в Троицкие ворота — в Неглинной реке искупались. Много горя и бед принесло москвичам то татарское нашествие. Сколько людей в Крым угнали! Дома пограбили да подожгли. У соседней девка была на выданье, спряталась при виде татар среди дров в сарае. Так трое воров разыскали её, выволокли из сарая и... — Голос хозяина сделался тихим и неразборчивым. — Теперь вон бегают по двору татарчонок. А у неё какая жизнь? Замуж такую никто не возьмёт, разве горбун какой...

— Вы-то как от татар спаслись?

— Мы в ту пору в Андроньевом монастыре успели затвориться, там и переждали татарское нашествие. Возвратились домой, а дома-то ничего и нет, всё подчистую выгребли! Пришлось начинать всё сызнава. Если бы не было единовластия на Руси, до сих пор жили бы мы в полону у татар.

— Верно, Петя, молвил, немало заботится государь о защите отечества. Только и то следует помнить, что поборов у нас слишком много. Вот взять хоть нас, крестьян. Платим мы волостелю [38], тиуну [39], праветчику [40] и доводчику [41] три раза в год: на Рождество Христово, на Светлое воскресенье и на Петров день. Прошлым летом волостель у нас сменился, так новому опять неси, сколько можешь. Весной душегубство в волости [42] случилось, а душегубца не сыскали. Так опять нам, крестьянам, пришлось наместнику [43] четыре рубля виры [44] платить.

— Много поборов и у нас, Илюша. Да ты ешь побольше, вон окорок с хреном, огурчики солёные. Скоро, чай, свеженьких попробуем.

— Нынешним летом не особливо распробуешься. Сушь такая стоит, что всё повыгорело. Хлеба низкорослые, редкие. Третьего дня, на Николу Кочанного [45], пошёл в огород капусту проведать. Пора бы уж ей в вилки завиваться. Только вот беда — завиваться-то нечему. Не иначе как голод зимой случится...

При этих словах все притихли, задумались. В наступившей тишине Ульяна явственно услышала далёкий стон набата. Мужики поднялись из-за стола, перекрестились.

— Никак беда где-то случилась, — вздохнула Авдотья.

— Не приведи, Господи, пожару быть! Вся Москва как стог сена вспыхнет. — Хозяин посмурнел лицом. — Пойдёмте-ка на двор, узнаем, что там подеялось.

С шумом высыпали на двор. Ночь была такой тёмной, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Невидимые в темноте, мимо спешили люди.

— Что стряслось, братцы?

— Ослеп, что ли? Не видишь, пожар занялся!

Едва Андрей выскочил за ворота, толпа подхватила и понесла его к Китай-городу. На душе было тревожно, любопытно и даже весело. Не так уж часто бывает он в Москве, и, уж конечно, не каждый день случаются здесь пожары. В своём родном Морозове он не веселился бы во время пожара. Здесь же совсем не то. Его дело молодецкое. Где, как не на пожаре, показать свою силу да удаль? Пусть люди дивятся! И не просто люди, а та девица, которую давеча он увидел в Китай-городе. Из-за неё, признаться, они с отцом и угодили под ливень. Как узрел её на гульбище, так и глаз не мог отвести. Случись она сейчас там, на пожаре, Андрей, не задумываясь, шагнёт в самое пекло. Пусть видит, какой он отчаянный. А то заметила, что он ошалел от одного её вида, и давай потешаться: то язык высунет, а то обе руки к носу приставит. Экая срамота! Ему бы повернуться да уйти от бесчестья, а в ногах сил нет, будто они к земле приросли.

Чем ближе к пожару, тем больше было людей. Андрей с трудом протиснулся сквозь толпу и оказался поблизости от горевшего дома. Из темноты возникали и вновь исчезали озарённые багровыми отсветами фигуры с бадьями.

— Отчего загорелось-то?

— Говорят, молонья в конёк ударила.

Люди таскали из ближних колодцев воду, лили её на стены, но огонь не унимался.

Недалеко от горевшего дома Андрей увидел молодого человека в богатой и нарядной одежде. Он не глазел с любопытством, не суетился, как другие, а, казалось, напряжённо о чем-то думал. Внимательно присмотревшись к нему, Андрей с удивлением заметил на его щеках слезы.

— Кто это? — спросил он у пробежавшего мимо с пустой бадьёй парня. У того на вымазанном сажей лице весело сверкнули белки глаз.

— Никак с луны свалился?

— Не, я из Морозова, — простодушно ответил Андрей.

— То-то, что из Морозова. А это молодой княжич Василий, сын боярина Михаила Васильевича Тучкова. Слыхивал ли о нём?

— Как не слыхивать, слыхивал я...

Андрей, разумеется, не ведал о боярине Тучкове. А соврал он, чтобы отвязаться от насмешливого москвича. Его сейчас больше занимали переживания княжича. Добро бы все постройки сгорели, а то ведь одна изба только. Стоит ли нюниться из-за неё? У князей да бояр добра видимо-невидимо. Им и заново отстроиться нетрудно.

Откуда Андрею было знать, что горела не простая изба, а богатое и известное на Москве книгохранилище? Имелись в нём очень древние рукописи, ценившиеся чрезвычайно дорого. Ничто не могло утешить теперь княжича Василия. С малых лет полюбилось ему читать древние книги, впитывать хранившуюся в них мудрость.

До Василия доносится зычный голос отца, управляющего всей этой суматошной толпой людей, помогавших, с любопытством глазевших, мешавших друг другу. Взять хоть вон того парня, уставившегося на него с открытым ртом и не замечающего, что мешает людям тушить пожар.

Андрею и в самом деле всё было в диковинку. Увидев пробежавшего мимо насмешливого черномазого москвича, он несмело спросил его:

— Почто княжич так убивается? Подумаешь, изба какая-то сгорела...

— Ха-ха! Ну и сказанул, заселшина! [46] Это не изба, а терем, где грамотки дорогие хранились. Только теперь эти грамотки тью-тью... — И побежал дальше.

Андрей знал, о каких грамотках идёт речь. Сегодня утром, блуждая среди множества торговых рядов, он вышел к каменному мосту, перекинутому через ров возле Фроловских ворот. Здесь были лавки, в которых продавались книги. Одни были попроще, их с любопытством рассматривали. Внимание Андрея привлекла большущая книга в кожаном переплёте, украшенная драгоценными камнями. Рядом с ней лежала другая, открытая посередине. На левом листе под тонкой вязью заглавия, напоминавшего Андрею прозрачное розовое кружево, ровными стёжками пролегли мелкие буквицы. Особенно красивой была заглавная буква, изображавшая страшное чудище, опутанное жгутами. Чудище скалило зубы, изрыгая изо рта пламя, а из ноздрей клубы дыма. Всё тело его напряглось в тщетной попытке вырваться из надёжных пут. Видать, очень искусный писец трудился над этой книгой. А на правой стороне наверху было нарисовано множество церквей, к которым приближался важный всадник на белом стройном коне. Его почтительно приветствовали бородатые монахи в чёрных одеяниях. Один из них склонился перед всадником в земном поклоне. — То Дмитрий Донской едет к преподобному Сергию Радонежскому за советом, — проговорил

кто-то сзади Андрея.

Андрюха потянулся было посмотреть эту книгу, но купец сердито шикнул на него и отодвинул её подальше. Наверно, у княжича Тучкова в сундуках много таких красивых и дорогих книг. Ему жаль их, вот он и плачет.

Андрей понял, что нужно делать. Выхватив из чьих-то рук бадью с водой, он опрокинул её на себя и ринулся в огонь. От едкого дыма заслезились глаза, жар перехватил дыхание. Первое время юноша ничего не видел. Но вот посреди дыма проступили очертания сундуков, стоящих вдоль стен. Андрей откинул крышку ближайшего из них. Он увидел пожелтевшие от времени свитки и книги в позеленевших переплётках. Среди них не было ни одной, похожей на увиденную сегодня в книжной лавке. Не раздумывая больше, Андрюха сгрёб книги в охапку и кинулся сквозь огонь наружу.

Княжич стоял на том же месте, скрестив на груди руки. Андрей свалил рукописи у его ног, глотнул свежего воздуха и вновь устремился в пекло. Он не помнил, сколько раз побывал в книгохранилище: может быть, пять, а может быть, десять раз. Когда юноша в очередной раз хотел броситься в огонь, кругом закричали, и чьи-то руки крепко обхватили его за пояс. В это время стропила затрещали — и пылающая крыша рухнула.

Только тут Андрей понял, какой опасности подвергался. Тело его обмякло, ноги подкосились.

«Кто же это уберёт меня от гибели?» — подумал он и осмотрелся по сторонам. Рядом с ним стоял Василий Тучков.

— Спасибо тебе, добрый молодец. Много дорогих для меня книг спас ты. Как звать тебя да откуда ты родом?

— Андрюха Попонкин я. А родом из Морозова. Крестьяне мы.

— Хочется мне, Андрюха, отблагодарить тебя за смелость и отвагу. Пойдёшь ко мне послужильцем? На коня посажу, одежду дам, харч и плату назначу хорошую. Послужильцем быть — не навоз возить. Всяк бы рад.

Андрей обомлел от счастья: останется он в этой большой и красивой Москве, наденет сапожки с острыми носками, красный кафтан с узорами. Ну чем не добрый молодец? Все девки будут на него засматриваться, даже та насмешница. В Морозове ему никогда не видать такой жизни.

— Что же молчишь, Андрюха? Или не согласен?

— Я-то согласен, только ведь боярин меня не отпустит.

— Твой-то боярин Иван Григорьевич Поплевин-Морозов?

У Андрея от удивления даже рот открылся: как это княжич сумел узнать имя его боярина? От Москвы до Морозова путь не близкий, потому казалось ему, что о его родном селе мало кому известно. Уж не колдун ли княжич Тучков?

— Откуда тебе ведомо, кто мой боярин? — испуганно пролепетал он.

Вид юноши развеселил Василия, он впервые улыбнулся.

— Что ж в этом удивительного? Иван Григорьевич доводится мне родичем. Я его села наперечёт знаю. Так что мы с ним легко столкуемся.

Тяжело ступая, подошёл старый князь. Был он грузен и величав. Небольшие глаза

посматривали по сторонам внимательно, по-хозяйски.

— Ну вот, Вася, справились как будто с пожаром. С большим трудом, но отстояли хоромы. Да ты, я вижу, по книгам своим всё убиваешься. Не горюй, новые купим или доброписцу велим переписать.

— Много книг погибло, отец. И воротить из небытия некоторые из них уже не удастся, ибо нет больше нигде таких книг. Кое-что спас от огня этот молодец. Если бы не он, всё бы сгорело. Глянь, сколько вынес он из полымя. Хочу взять его в послужильцы.

— Этого-то? — Глаза Михаила Васильевича споткнулись на неказистой фигуре Андрея в обгоревшей и вымазанной сажей одежде. — Из грязи да в князи?

— Ничего, что из грязи. Был бы верным человеком, это главное.

— Поступай как знаешь, Василий. Только я бы не торопился. Человека можно отблагодарить по-разному. Излишняя доброта к добру не приводит.

— Знаю о том, отец. Только он ради бесценных для меня книг чуть было в огне не погиб.

В дальнем конце улицы послышался конский топот. Люди вокруг заволновались:

— Никак сам государь пожаловал!

Из-за поворота показалась группа всадников с факелами в руках. Впереди на белом коне ехал великий князь. Михаил Васильевич, ничего не ответив сыну, поспешил встретить его.

— Что сгорело-то? — не слезая с коня, спросил Василий Иванович.

— Сгорел терем с редкими книгами, государь. Сын мой, Васька, большой любитель их, уж больно убивается.

— Остальное всё цело?

— Цело, государь, не изволь беспокоиться. Благодарствую за внимание.

— Хорошо ли управились с огнём? Как бы не перекинулся он на другие строения.

— Пожар больше не опасен.

Василий Иванович удовлетворённо кивнул головой.

— А о книгах сын твой пусть не горюет. Утром велю прислать книги из моего книгохранилища. Государству нашему грамотные люди нужны.

— Премного благодарны, государь, за внимание и заботу. Василий Тучков обрадовался. Ему хорошо были известны богатства великокняжеского книгохранилища, в котором находились редчайшие латинские и греческие сочинения. Здесь можно было увидеть творения Тита Ливия, Цицерона, Светония, Юлия Цезаря, Полибия, комедии Аристофана, сатиры Сира, своды законов римских и византийских. Сам Максим Грек, долгое время живший в Италии, Франции и Греции, посетивший наиболее крупные книгохранилища Европы, с восхищением рассказывал Василию Тучкову о собрании книг Василия Ивановича.

Великий князь высоко ценил своего окольного Тучкова, посылал его с важными делами то в Крым, то в Казань. И каждый раз Михаил Васильевич добивался того, чего он хотел. Тем не менее между Василием Ивановичем и окольным особой близости не было. Иногда государя раздражало высокоумие боярина, однако это раздражение обычно не прорывалось наружу. Род Тучковых вёл своё начало от влиятельных Морозовых. Морозовы в свой черёд были в

родстве со столь же знатными Захарьиными, Курбскими, Патрикеевыми...

— Покойной ночи, боярин! — Василий Иванович развернул коня, и всадники, освещённые неровным светом факелов, устремились по направлению к Кремлю.

Василий Иванович подъехал к великокняжескому дворцу успокоенным. Страшная гроза промчалась, пожар удалось предотвратить. Теперь можно и отдохнуть. Приблизившись, однако, к своей опочивальне, князь остановился, а затем нерешительно пошёл дальше по слабо освещённым сеням.

«Поди, и не ждёт меня», — подумал он, отыскивая ручку двери, в которую давно уже не заходил.

Дверь легко подалась, и Василий Иванович сразу же понял, что его ждут. Мягкие руки обвили шею, волосы, пахнувшие благовониями, захлестнули лицо. Голова захмелела от запаха волос, тело, как в молодости, налилось силой. Василий Иванович подхватил Соломонию и понёс её в глубь покоев точно так же, как носил когда-то сразу же после свадьбы.

И не понять, почему всё так произошло. Может быть, виновата эта гроза, пронёсшаяся над Москвой, или эта тёплая, благоухающая после ливня июльская ночь. Впервые за много дней государь почувствовал в душе спокойствие. Он спал без тревожных сновидений, и рядом с ним была Соломония, которая не сомкнула глаз, охраняя его сон.

Глава 4

Вот и стал Андрюха послужильцем князей Тучковых. Натянул малиновый с золотым шитьём кафтан, сапоги остроносые, шапку, отороченную мехом. Лепота![47] Одно плохо: новые товарищи в свой круг не принимают, насмешничают над ним, разными ехидными прозвищами обзывают.

Да и может ли он, заселшина, со щёголями городскими тягаться? Раньше ему думалось, что красные остроносые сапоги — несбыточная для него мечта. Оказалось, что у его сослуживцев сапоги особым образом шёлком шитые. У многих на руках перстни, а под рубахами пояса с золотом и серебром. Очень удивился Андрюха, узнав, что некоторые щёголи при помощи особых щипчиков удаляют с корнем волосы на лице, румянятся, обливают себя благовониями, словно девицы.

Плохо одинокому человеку. Раньше в Морозове у Андрея было много друзей, а здесь, в большой и многолюдной Москве, как в глухом лесу: вроде бы кругом люди и в то же время нет никого. Каждый сам по себе. Хорошо хоть, что княжич Василий его из всех послужильцев выделяет, часто приглашает в свои покои. Пока он читает, Андрюха занятые картинки в книгах рассматривает. Окликнет его Василий Михайлович, попросит подать ему ту или иную книгу, а прежнюю на место положить. Иногда начнёт рассказывать о разных чудесах, в книгах описанных, о далёких странах и народах. Только Андрюха не всё понимает, о чём княжич говорит. Однако внимание его ему приятно. Да и сам княжич люб: высокий, стройный, лицом бел, смотрит на собеседника внимательно, движения неторопливые, голос спокойный, мягкий. Иной раз, кажется, будто и не похож он вовсе на отца своего Михаила Васильевича.

Предан ему Андрюха как верный пёс, всё готов сделать для своего благодетеля. Тот видит его усердие и поощряет. Иной раз начнёт объяснять, как книги читать следует. Сначала

Андрюха не мог взять в толк, что от него требуется, уловил лишь, что слова из букв и складываются, но никакого смысла в том не видел. Потом вдруг как-то неожиданно понял суть дела. Едва кликнет его Василий Михайлович, усядется Андрюха в укромном уголке и читает по толкам [48]книги. Оказывается, в них не только картинки занимательны.

Вот и сегодня, войдя в боярские покои, отбил поклон и хотел было книжицей завладеть. Однако Василий Михайлович остановил его и, пристально посмотрев в глаза, спросил:

— Верно ли ты служишь мне, Андрюха? Тот от удивления даже рот открыл.

— Всю жизнь готов служить тебе. Вместо отца ты мне стал. Всё, что велишь, исполню.

— Верю тебе, Андрюха. Пойдёшь сейчас, никому не говоря о том, в Чудов монастырь. Там разыщешь юродивого Митю и передашь ему незаметно для других вот эту грамоту. Затем поедешь в Волоколамск, в Иосифов монастырь. Найдёшь там гостиника и после поклона спроси: «Не жительствоет ли в монастыре старец Никодим?» Гостиник должен ответить тебе: «Старец Никодим живёт здесь, да отлучился, будет к вечеру». Как получишь такой ответ, попроси гостиника передать Никодиму вот эту грамоту. Если же ответ будет иным, грамоты не передавай. Понял?

Далеко убежала окрест слава Иосифо-Волоколамского монастыря. Был он знаменит и богат. Множество товаров закупали монахи этой обители в разных местах: сукна — в Можайске, рыбу — в Москве, поделки из кожи — в Волоколамске, мыло, олифу, сохи деревянные и скалки — в Твери. Кое-что покупалось также в сёлах Стратилатском, Покровском и многих других. Иосифову монастырю принадлежало Круговское село, жители которого продавали ему драницы, доски и тесины. В самом монастыре работало около трёх десятков ремесленников: шесть портных, четыре сапожника, три плотника, два кожевника...

Едва Андрюха миновал ворота монастыря и спешился, к нему с ласковой улыбкой направился благообразный старец.

— Откуда пожаловал, добрый молодец?

Андрей, решив, что это и есть гостиник, чуть было не сказал правды, но вспомнил о наставлениях княжича Василия и ответил по-иному:

— Из Твери я.

— Да что ты говоришь! Вот радость-то! Неужто из самой Твери?

— Ну да, из Твери, — неуверенно произнёс Андрей.

— Так ведь и я тоже оттуда. Земляк, значит... — Старец весь светился от радости видеть земляка-тверитина — А ты у кого там служишь?

— Боярина Аввакума Григорьевича Сильвестрова послужилец я.

— Боярина Сильвестрова, говоришь? Что-то такого я не припомню, хотя всех тверских бояр знаю.

— Так он ведь в Твери-то без году неделя. Из Пскова туда перебрался. — Довольный своей выдумкой, Андрюха весело засмеялся.

— Из Пскова, говоришь, родом боярин Сильвестров? Во Пскове будучи, никогда не приходилось мне слышать о боярах Сильвестровых.

— Да ты в здравом ли уме, дед? Бояр Сильвестровых во Пскове всяк знает. Кого хошь спроси, любой псковитин их дом покажет!

— А ты не шуми, не шуми. Вижу, верный ты слуга своего господина. А зачем, добрый молодец, к нам пожаловал?

— Переночую у вас и снова в путь отправлюсь. Не ты ли гостиником тут служишь?

— Не... Гостиник — вон тот долговязый старец. К нему обратись, он скажет тебе, где переночевать. А куда путь-то ты держишь, добрый молодец?

— Еду в Вязьму к родственникам боярина Сильвестрова. Известие везу им: внук у него родился.

— Вона какое дело... Ну, будь здоров. — Старец увидел въезжающего во двор монастыря нового всадника и, казалось, утратил интерес к Андрюхиной особе.

Андрей, ведя в поводу коня, приблизился к высокому тощему гостинику с редкой, но длинной бородкой.

— Не жительствоет ли в монастыре старец Никодим? Гостиник насторожённо осмотрелся по сторонам и сквозь зубы чуть слышно произнёс:

— Потише ори, не глухой, чай.

Андрюха оглянулся. Лёгкость, с которой он отделался от любопытного старца, сделала его неосмотрительным. Тот стоял довольно близко и внимательно прислушивался к их разговору.

— Если кого ищешь, добрый молодец, то опосля найдёшь. А пока отведи лошадь в конюшню да устраивайся на жительство в келье. Скоро ужинать будем.

По выходе из конюшни Андрей вновь столкнулся с долговязым гостиником. Проходя мимо, тот негромко произнёс:

— Старец Никодим живёт здесь, но отлучился, будет к вечеру.

Андрюха вытащил из-за пазухи небольшую грамоту и молча передал её гостинику. Едва уловимым движением тот подхватил её и спрятал под рясой.

Юноше вовсе не хотелось ночевать в этом мрачном монастыре. То ли дело в развесёлой Москве! Он вернулся в конюшню и, забрав своего коня, выехал на московскую дорогу. Даже натупающая ночь не испугала его.

После вечерней трапезы и молитвы в келье старца Герасима Ленкова собрались его братья. пышная белая борода придавала старшему из них, Тихону, благодушный и благообразный вид. Сложив на выпирающем животике короткопалые розовые ручки, он внимательно прислушивался к тому, что говорил хозяин кельи, средний брат Герасим. Тот ростом повыше, с мосластыми крупными руками. Младший из Ленковых, Феогност, казалось, не принимал участия в разговоре. Он с нетерпением поглядывал в узкое окно кельи.

«И чего рассудачились? Как будто важные государевы дела решают. Не сбежит отсюда ни Максим Грек, ни кто иной. Кончайте уж скорей свои тары-бары. А то ведь Марьюшка-вдовица в Круговском селе, поди, совсем заждалась своего Феогностушку». — Тут младший из Ленковых вспомнил горячие Марьюшкины ласки и нетерпеливо заёрзал по лавке.

— Митрополит Даниил, — говорил в это время Герасим, — строго-настрого приказал нам

зорко следить за Максимом. У него в миру много доброхотов. Денно и ночью думают они, как бы послать весточку своему возлюбленному еретику.

— Ну и пусть себе посылают! Сбежать-то он всё равно не сбежит, — не выдержал Феогност.

— Сбежать не сбежит, так ведь мыслями своими еретическими через доброхотов навредить может и государю, и митрополиту, благодетелю нашему. Надо бы нам узнать, кто эти доброхоты, а уж государь с митрополитом жестоко их покарают. Ты, Феогност, посерьёзнее будь!

— Так я и стараюсь...

— Знаю я, как ты стараешься! Поди, опять к своей Марье-срамнице сигануть собрался. Только кто за тебя проверять ночных сторожей будет?

— Сам проверю. Головой поручусь, не сбежит отсюда инок Максим.

— То-то, что головой. Ну, а ежели сбежит? Хорошо это будет для благодетеля нашего митрополита Даниила?

— Даниил был игуменом нашего монастыря и хорошо ведаёт: сбежать отсюда невозможно. Сам он порядки устанавливал для стражи.

В пререкания младших братьев вмешался Тихон:

— Будет вам перечить друг другу. Ты, Феогност, послушайся Герасима, дело он говорит. Нужно зорко следить за супостатами. А ты всё о жёнках бесстыдных думаешь.

— Сами-то хороши! — рассвирепел Феогност. — Давно ли ты, Тихон, к своей Аннушке бегать перестал?

Тихон сделался красным как рак.

— Полно тебе дурь-то молоть! Согрешил раз в жизни, так после того сколько уж лет прошло? Нечего старшего брата срамить. Я о том говорю, что осторожность не помешает. Сегодня под вечер появился у нас на подворье конный молодец. Сказался послужильцем тверского боярина Сильвестрова. Так ведь я поимённо всех тверских бояр ведаю, нет среди них оного. Когда я сказал о том молодцу, он мне ответил, будто боярин Сильвестров из Пскова в Тверь не так давно перебрался. Чудно это: не слышал я, чтобы из Пскова в Тверь в последнее время кто-то из бояр переезжал. К тому же и среди псковских бояр Сильвестровых как будто нет. Может, ты, Герасим, о таковых наслышан?

— Нет, не припомню среди псковских и тверских бояр Сильвестровых.

— Странно и то, что добрый молодец намеревался в монастыре ночевать, а сам на ночь глядя из обители выехал.

— Не иначе как по тайному делу в монастырь приезжал. С кем он разговаривал в монастыре?

— Я его к гостинику направил, тот с ним и говорил. И опять есть над чем подумать. Подошёл он к гостинику и спросил, не проживает ли в монастыре старец Никодим.

— А тот что ответил?

— Ежели кого ищешь, добрый молодец, потом найдёшь. А пока, говорит, устраивайся на ночлег.

— Ничего такого особенного в их разговоре нет, — сердито проговорил Феогност, — в каждом прохожем видите вы тайного супостата!

— Не горячись, Феогност, ишь, взбеленился! Может быть, и не враг тот молодец, да только бережёного Бог бережёт, — рассудительно заметил Герасим. — Ты, Тихон, утресь проверь, уехал ли молодец из монастыря. Может, на ночь глядя он все же в обитель вернулся. Заодно загляни в келью гостиника, не оставил ли гость какой грамоты для старца Никодима. Я же проведу Максима Грека.

Максим Грек проснулся, когда первый свет серого сентябрьского утра едва озарил землю. По тревожному гусяному гоготу он догадался, что сегодня день Никиты-репореца, или Никиты-гусятника [49]. По всей Руси в этот день подаются к обеду жареные гуси. А ему, как обычно, принесут мутную бурду, приготовленную невесть из чего.

Но не от недостатка пищи телесной страдает Максим в Иосифо-Волоколамском монастыре. Гораздо большую нужду терпит он от отсутствия пищи духовной. Митрополитом Даниилом разрешено ему читать лишь немногие книги духовного содержания. Другие же книги, имеющиеся в монастыре, недоступны для него. Не позволил митрополит Максиму и излагать свои мысли на бумаге. А мысли его обильные текут одна за другой, словно льдины во время ледохода по Москве-реке. Мысли эти незаметно поглощают время, и, занятый ими, Максим не замечает ни убогости своего жилища, ни скудости пищи, ни грубости тюремщиков. Сожалеет он лишь о том, что мысли его уходят в небытие, как льдины, растаявшие в тёплой воде. Память человеческая убога: что помнил вчера, сегодня подверглось забвению. И горько Максиму оттого, что свои плавно бегущие мысли не может он закрепить на бумаге.

Много диковинного повидал инок на своём веку, испытал он и удачи и ужасающее горе. Как было бы хорошо возвратиться в далёкие счастливые годы детства, прошедшие в знатной и богатой греческой семье Триволисов, проживавшей в солнечном адриатическом городе Арте! Звали тогда Максима Михаилом.

Тринадцать лет Михаил Триволис учился в университетах Италии и Франции, жадно поглощая крупницы знаний. Что осталось в памяти от тех давних лет? Наверно, ощущение безбрежности познания. Читаешь один трактат за другим и в каждом находишь для себя нечто новое. И чем обширнее становятся свои собственные познания, тем яснее осознаёшь, как ничтожны они по сравнению с истинным знанием о травах, звёздах, реках, самом человеке. Ты словно песчинка, а истинное знание — безбрежное море.

Так и продолжал бы Михаил Триволис учиться всяким премудростям, если бы не эта встреча в прекрасном итальянском городе Флоренции. До него уже доходили слухи о проповеднике монастыря Святого Марка Джироламо Савонароле, но когда он сам услышал его пламенную речь, она поразила его подобно молнии. Да, истина, написанная на бумаге, и истина, произнесённая с кафедры собора, отнюдь не одно и то же. Совершенно по-разному могут звучать и одинаковые слова, сказанные двумя людьми. Слова, вырвавшиеся из уст Савонаролы, словно раскалённые угли, жгли душу, заставляя людей плакать и смеяться. Как гневно бичевал он пороки высшего латинского духовенства! Как был непримирим к сребролюбию, чревоугодию, пьянству, разврату. Речи Джироламо оставили глубокий след в душе впечатлительного и легко увлекающегося Михаила Триволиса. Как губка впитывал он его мысли. Но вскоре случилась беда: папа Александр VI Борджиа предал главного своего обличителя огню.

Трагическая и мученическая смерть потрясла Триволиса. Мысли Савонаролы упали на благодатную почву и проросли мыслями самого Михаила, решившего навсегда порвать с миром и стать монахом того же флорентийского монастыря, в котором совсем недавно

проповедовал Савонарола.

Память, память! Ты и учитель, и судья, и великая радость. Не будь тебя, человек совершал бы одну и ту же ошибку множество раз. Но ты же нещадно казнишь человека за совершённые им ошибки, за минуты слабости и падения духа. Казнишь всю жизнь!

Первоначально Михаил думал, что нужно во всём следовать примеру Савонаролы, так же решительно обличать перед народом князей церкви, искоренять свойственные им пороки. Но всё оказалось куда сложнее. Едва осмелился он в своей первой проповеди заикнуться об этом, как тут же кто-то подбросил ему грамоту, в которой было написано: «Не миновать тебе огня Божьего!»

Нет, он не устрасился этой грамоты и продолжал следовать примеру учителя. И тогда трое неизвестных в сутанах подстерегли его, возвращающегося поздним вечером из древней церкви Сан-Миньято аль Монте, и избили так, что он только под утро пришёл в себя. Флоренция была по-прежнему прекрасна: ярко светило солнце, весело пели птицы, а цветы распространяли удивительные ароматы. Первые торговцы спешили с корзинами на торжище, и их шаги гулко отдавались в пустынных ещё улочках. Но ему, такому жадному до жизни, любопытному ко всему совершающемуся в мире, впервые ничто не было мило: ни величественная пьядца делла Синьория, ни возвышающиеся на ней прекрасные сооружения — лоджия деи Ланци, дворец Медичи-Риккарди, палаццо делла Синьория. Мрачным исполином возвышалась посреди площади не завершённая ещё скульптура Давида, над которой усердно трудился молодой, но уже прославившийся Микеланджело Буонарроти. Едва доплёлся Михаил до монастыря Святого Марка, а вскоре решил навсегда расстаться с латинством и вернуться в лоно православия, став монахом афонского монастыря.

На Афоне встретили его приветливо. Михаил был человеком общительным, незлобивым, умеющим живо и интересно рассказывать. А рассказать ему было о чём. Неудивительно, что афонским старцам он пришёлся по нраву.

Неспешно текла жизнь в афонском монастыре, совсем не так, как во Флоренции. И все было бы хорошо, не загорись он желанием пуститься в новое путешествие, на этот раз в Москву.

Все началось с того, что русский государь Василий Иванович десять лет назад отправил на Афон своего посла Василия Копыла с грамотой к настоятелю афонской горы Симеону с просьбой прислать на время в Москву из Ватопедского монастыря старца Савву для перевода греческих книг, имевшихся в книгохранилище великого князя. В ту пору в Москве и Новгороде укрепились еретики, которые в спорах нередко ссылались на церковные книги, малоизвестные русскому духовенству.

Савва был стар и немощен, болен ногами, а потому не решился отправиться в столь далёкое путешествие. И тогда афонские старцы, посоветовавшись между собой, договорились послать в Москву монаха Максима, молодого, но уже прославившегося своей учёностью. Максим был лёгок на подъём, а потому охотно согласился отправиться в Москву по зову великого князя. На Руси пришлось испытать ему и успехи, и жестокие поражения. Здесь он написал основные свои труды.

Поселили Максима в кремлёвском Чудовом монастыре. Разные люди посещали его келью. Были у него не только духовные, но и миряне: двоюродный брат великой княгини Иван Данилович Сабуров, князь Андрей Холмский, двоюродный брат опального боярина Василия Даниловича Холмского, князь Иван Токмак, боярин Иван Никитич Берсень-Беклемишев, сын боярина Михаила Васильевича Тучкова Василий. Среди ближайших друзей Максима Грека был Вассиан Патрикеев, переведённый из Кирилло-Белозерского монастыря сначала в Симонов, а затем в Чудов монастырь.

О чём они говорили? О разном. Обсуждали древние и новые книги, царьградские обычаи,

порядки в афонских монастырях. Особенно запомнились Максиму горячие речи Берсень-Беклемишева. Поблѣскивая тѣмными татарскими глазами, он запальчиво ругал существующие на Руси порядки, обвиняя во всѣм мать Василия Ивановича Софью Фоминичну Палеолог.

— Как пришли сюда греки, так наша земля и замешалась, а до тех пор жили мы в тишине и в миру. Но вот явилась сюда мать великого князя, великая княгиня София с греками, так и начались большие нестроения, как у вас в Царьграде.

Непристойно было Максиму слушать такие речи, и он возражал Берсеню:

— Господине! Мать великого князя, великая княгиня София, с обеих сторон была рода великого, по отце царского рода константинопольского, а по матери происходит от великого герцога Феррарского Итальянской страны.

Берсень распался пуще прежнего:

— Какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла. Которая земля перестраивает свои обычаи, та земля стоит недолго, а здесь у нас старые обычаи великий князь переменял. Так какого добра от нас ждать? Лучше старых обычаев держаться и людей жаловать. А теперь государь наш, запершись сам-третей, у постели всякие дела делает. Отец его, Иван Васильевич, был добр и до людей ласков, а потому и Бог помогал ему во всѣм. А нынешний государь не таков, людей мало жалует, упрям, встречи против себя не любит и раздражается на тех, кто ему встречу говорит.

Случалось, строптивый боярин ругал в присутствии Максима митрополита.

— Вот у вас в Царьграде цари теперь бусурманские, гонители; настали для вас злые времена. И как-то вы с ними перебиваетесь?

— Правда, — отвечал на это Максим, — цари у нас нечестивые, однако в церковные дела они не вступаются.

— Хоть у вас цари и нечестивые, но ежели они так поступают, стало быть, у вас ещё есть Бог. А вот у нас Бога нет. Митрополит наш в угоду государю не ходатайствует перед ним за опальных.

Порицание Берсенем великого князя и митрополита вызывало в душе Максима новые опасения, поэтому он старался говорить с ним наедине, без видоков и послухов. Но это и было поставлено ему в вину, когда судили строптивца. Во время допросов о речах Берсеньевых Максим перепугался и рассказал всё как было, без утайки. И вот Берсень не стало. Кат [50] отрубил ему голову.

Узнав об этом, Максим опечалился. Умолчи он о его крамольных речах, и, кто знает, может быть, боярин остался бы в живых. Но мог ли он не сказать обо всѣм, когда страх сковал его разум и волю, тот самый отвратительный и ужасный страх, который заставил его отступить от заветов учителя Джироламо Савонаролы. Никто не ведаёт, почему он переменял веру, никто не обвиняет его в гибели Берсеня, но собственная память всё знает. Словно раскалённым железом жжёт она душу бессонными ночами за слабодушие.

«Доверчив я был по прибытии на Русь, — с сожалением думает Максим, сидя в убогой келье Иосифо-Волоколамского монастыря. — Не ведал, что каждый мой шаг, каждое моё слово становились известными митрополиту Даниилу. А ведь мы говорили обо всѣм, и отнюдь не всегда наши речи были угодны ему и великому князю».

Вскоре после суда над Берсень-Беклемишевым церковный собор осудил и его, Максима. И

вновь на душе беспокойно: достойно ли вёл он себя на этом судилище? Память не спешит с успокоительным «да», но где-то в глубине души набатом громыкает: «Нет, нет, нет!» Считая себя невиновным, Максим пытался отказываться от некоторых своих суждений. Он не предполагал тогда, что митрополит Даниил через своих видоков и послухов столь осведомлён обо всём, говорившемся в его келье.

«Келейник-то мой, Афанасий, каков? Всё выложил на соборе и приврал немало, не покраснев. Лишь о своём спасении мыслил. А ведь тоже грек!»

Как монах греческого монастыря, Максим был подсуден только суду вселенского патриарха, но не суду русских епископов. Даниил презрел это правило. Он выдвинул против монаха обвинение в общении с опальным Берсень-Беклемишевым и турецким послом Скиндером, которые поносили великого князя. И хотя в самом этом общении ничего преступного не было, оно позволило Даниилу, вопреки существовавшим правилам, поставить его перед собором русских епископов.

«Да, хитёр и коварен митрополит Даниил! Вельми жесток он в борьбе с инакомыслящими. Мольбы поверженных противников не проникают в его сердце. А потому надлежит укреплять дух свой, чтобы достойно встретить новые притеснения митрополитовы».

Тут мысли Максима направились по иному пути. В споре между стяжателями и нестяжателями он недвусмысленно высказался против иосифлян.

«Можно ли согласиться с митрополитом, ратующим за обогащение монастырей? Иосифляне говорят, будто богатства монастырей принадлежат не одному, а всем инокам. Это, как они мыслят, оправдывает монастырскую роскошь. Но ведь точно так же и лихие разбойники оправдываются на пытке. Вступив в шайку и награбив богатства, они, будучи пойманными, говорят, а я, дескать, для себя ничего не брал...»

Размышления Максима прервали осторожные шаги за дверь. Едва слышно прозвучал троекратный условный стук в дверь. Монах приглушённо кашлянул в ответ. Тотчас же в дверную щель просунулась небольшая, свёрнутая в рулон записка и покатила к ногам узника.

«Благодарение Господу Богу, благодетели не забывают обо мне и справляются о моём здравии. А мне и написать-то им нечем. Грамотку эту, однако, надобно припрятать подальше. Беда приключится, ежели её духовный отец Иона или братья Ленковы обнаружат. Со света сживут, окаянные!»

Максим спрятал грамоту в потайном месте очень кстати. Неожиданно дверь распахнулась, и в келью кошачьей походкой вошёл Герасим Ленков. Внимательно осмотрев все щели, он приблизился к узнику.

— Как спалось, Максимушка?

— Как всегда, Герасим. Что это ты ищешь?

— Весточку для старца Никодима. Не слыхивал ли о таком?

— Нет, не слыхивал.

— А правду ли говоришь, Максимушка?

— Всю жизнь стараюсь говорить правду.

— Знаем мы, какую правду вы, нестяжатели, говорите! До сих пор мы милостиво относились к тебе, Максимушка, но можем и по-другому поговорить. Скажешь тогда и подлинные речи, и

подноготную правду [51]. А молчать будешь, железом раскалённым отметим...

Максим с омерзением смотрел на этого ката в монашеском одеянии.

— Бог милостив, не допустит несправедливости.

— Верно, Бог милостив. Только милость его на еретиков не распространяется. Калёным железом велел он ересь-то выжигать. Так что мы караем еретиков по воле Божьей.

— Бороться с ересью нужно, да не так, как вы, иосифляне. Вы ведь давно настаиваете на том, чтобы еретиков казнить — жечь да вешать. А вот старец Вассиан Патрикеев по-иному мыслит: надобно наказывать еретиков, говорит он, но не казнить смертью. Скажите нам, которого из древних еретиков или мечом убили, или огнём сожгли, или в глубине утопили? Не всех ли святые отцы собором анафеме предавали, а благочестивые цари заточали?

— По твоему дружку, такому же еретику, как и ты, давно верёвка плачет!

— Не там, Герасим, ты ересь ищешь. Вот послушай и поразмысли, где ересь-то. Бог повелел монастырям раздавать имущество на прокормление голодающим и нищим. С этим и Иосиф Волоцкий был согласен. Но он же призывал монастыри к обогащению. К чему монастырю сохранять свои поместья, коли он обязан всё раздать нищим? Выходит, монастырь сам есть суть нищий, коему властелины дают имения.

Герасим озадаченно уставился на узника.

— Вздор ты мелешь, Максимушка, монастырь не может быть нищим.

Максим с тоской подумал о том, насколько бесполезно убеждать в чём-либо этого недалёкого монаха-тюремщика, монаха-ката. Можно было бы вести спор с самим Иосифом Волоцким, но не с его тупоумными последователями. Между тем Герасим вновь стал наскокивать на него.

— Ты мне зубы не заговаривай! Скажи лучше, куда грамоту припрятал?

— Да какую грамоту ты ищешь?

— Не прикидывайся невинной овечкой! Ту, что тебе гостиник передал. Люди видели, как он около твоей двери шастал.

— Сюда никто, кроме тебя, не заходил.

— Знаем мы вас, еретиков! Доброхоты ваши не дремлют. Только ведь и мы не лыком шиты.

— Будет тебе, Герасим, глумиться, не заходил сюда гостиник. Исполни лучше мою просьбу: вели принести перо да чернила с бумагой, хочу написать прошение митрополиту о помиловании.

— Прощение о помиловании, говоришь? — Герасим довольно ухмыльнулся. — Так уж и быть, Максимушка, принесу тебе чернила и бумагу.

Монах-надзиратель знал: митрополит Даниил бессонными ночами любит читать прошения узников Иосифо-Волоколамского монастыря. Обычно они свидетельствуют о крахе его противников.

Вассиан бодро прошёлся по небольшой келье. Хоть лет позади и немало, он не чувствовал ещё старческой усталости в своём теле. Вассиан не иссушал плоть, как некоторые фанатики, длительными постами, непосильной работой, но и не грешил, как многие монахи, ибо

полагал, что поучать других может лишь тот, кто сам безупречен.

Через узкое, закрытое толстой решёткой окно в келью вливается свежий сентябрьский воздух. Пахнет увядающей травой, спелыми яблоками, дымом и ещё чем-то непонятным, осенним. Эти запахи бередают душу, напоминают о днях молодости, о том, что безвозвратно ушло в прошлое.

Прислушавшись, Вассиан уловил за дверь тихое движение. Мягкой походкой старец приблизился к двери и резким движением распахнул её. На пороге стоял известный всем москвичам юродивый Митяй. Взглянув на Вассиана безумными глазами, он молча сунул ему крохотную записку и удалился.

В записке сообщалось:

«Святые отцы, патриархи Антиохийский, Иерусалимский, Александрийский и Царьградский, отказались благословить дело, задуманное великим князем. Митрополит Даниил взял грех на себя. Ныне золотую пташку хотят упрятать в клетку, мастерами суздальскими изготовленную. Новая пташка совсем близко».

Полученное известие взволновало Вассиана. Оно означало: несмотря на возражения вселенских патриархов, великий князь собирается в скором времени заточить свою жену в какой-то суздальский, скорее всего в Покровский женский, монастырь. На самое ближайшее время назначена новая свадьба.

«Митрополит-то каков! Вопреки воле вселенских патриархов благословил великого князя на столь постыдное деяние. Вот они, стяжатели: за золото и поместья готовы простить государю любой грех, любое оскорбление и притеснение церкви. Благословение Даниилово — что поцелуй Иуды. Едва ли оно принесёт государю счастье. Поправ устои святой церкви, Василий Иванович обретёт лишь беды: дурные деяния отцов — соблазн и гибель для детей. Омут вседозволенности дна не имеет... Нужно как можно быстрее оповестить доброхотов, пусть берегут Соломонию от всякой всячины. Много бед подстерегает человека, попавшего в опалу...»

Вассиан повертел записку в руках, пытаясь узнать, кто же из доброхотов прислал её.

«С тех пор как случилась размолвка с великим князем, многие из бывших друзей отшатнулись от меня. Никто из знатных бояр не заглядывает в мою келью. Совсем недавно не так было: всяк искал моей милости. Ныне же многие не боятся идти встречу. А иные, оставшись верными мне, вступают в сношения лишь тайно. Виной тому слуги митрополитовы. Распустили они слух, будто государь грозился сослать меня в заточение. Стяжателям не привыкать говорить кривду. Отринув от меня знатных, они чернь против себя настроили. Благословение Даниилом расторжения брака великого князя многим людям откроет глаза...»

Вассиан вновь осмотрел записку со всех сторон. «Думается мне, что писал её Василий Тучков с ведома своего отца. Дивиться тому не следует: Тучковы с давних времён в родстве с Патрикеевыми. Только тут дело не в родственных узах. Чего-то страшится Михайло Тучков! Но чего?..»

Глава 5

Соломония проснулась с ощущением большой радости. Снилось ей, будто шли они вместе с Василием посреди огромного цветущего луга. А рядом с ними с венком из

пронзительно-синих васильков на голове резвился крошечный мальчонка. Счастливые, они оба внимательно следили за ним. Сердце Соломонии беспокойно замирало, когда головка, украшенная васильками, вдруг исчезала в высокой траве.

Но не этот сон был причиной радости Соломонии. Такие сны она видела не раз и раньше. И всегда просыпалась с ощущением несбыточности своих желаний, внутренней пустоты, недоступности счастья. Сегодня совсем не то. Незадолго до рассвета она почувствовала лёгкие толчки в левом боку и вся замерла, не веря своему счастью. Толчки повторились ещё раза три. Соломония стала тщательно вспоминать другие приметы, о которых в молодости дотошно расспрашивала рожавших женщин. Все они указывали на то, что в её теле зародилась новая жизнь.

Соломония осторожно поднялась с постели, подошла к окну. На дворе было белым-бело от первого снега, а он всё падал и падал на истомлённую летним зноем землю. От этого бесконечного падения снежинок на душе было тепло и покойно. После жестокой засухи обильный снегопад был очень кстати. «Снегу надуёт, хлеба придёт, вода разольётся, сена наберётся», — говаривали в народе.

Скоро уж седмица, как великий князь возвратился из объезда своих владений. Соломонию больно задело и обеспокоило, что государь отправился в поездку по монастырям один, без неё. Во время его отсутствия, продолжавшегося целых два месяца, она измаялась, плохо спала по ночам. При встрече Василий был хмур и неприветлив, за всё время ни разу не навестил её. Теперь Соломония надеялась, что всё станет по-прежнему, как в молодости.

«Но отчего так тихо во дворце, словно все поумирали? Почему тётушка долго не заявляется? — Тревога закралась в сердце княгини, но она отмахнулась от неё, радость была так велика! — Вот уж порадует моя разлюбезная тётушка приятной вести. А Василий Иванович и того больше!»

К дворцовому крыльцу подкатил чёрный, какие бывают лишь в монастырях, возок. Сердце Соломонии сжалось от недоброго предчувствия. С тревожным виманием наблюдала она, как двое в чёрных облачениях выбрались из возка и направились во дворец.

«Господи, да есть ли кто живой во дворце? Почему такая тишь в сенях? Чу! Шаги чьи-то... Это те двое приближаются сюда. Неужели ко мне?»

Дверь распахнулась. Двое в чёрном вошли в покои великой княгини. Присмотревшись, в одном из них Соломония признала князя Ивана Юрьевича Шигону-Поджогина, самого ближнего к Василию Ивановичу человека.

— Иван Юрьевич, отчего во дворце тишь такая? Уж не случилось ли что с великим князем?

— Собирайся, государыня, с нами поедешь, — не отвечая на вопрос, сухо промолвил Шигона.

— Нет, ты скажи, жив ли великий князь? — Напуганная Соломония не уловила особого смысла в словах Шигоны. Только бы поскорее увидеть ей великого князя, рассказать ему обо всём. То-то он обрадуется! И тогда всё образуется, дворец наполнится привычным шумом, появится её тётка Евдокия Ивановна, исчезнет этот мрачный возок. Соломония стала бестолково одеваться, прикладывая к себе наряды, отбрасывая их в сторону и примеряя новые.

— Побыстрее, государыня, — поторопил её Шигона.

Наконец сборы закончились. По пустынным сеням вышли они на крыльцо. Свежий, пахнущий первым снегом воздух наполнил грудь, но Соломония, тревожась, не заметила этого. Едва

она села в чёрный возок, он тотчас же покатил по припорошенной снегом деревянной мостовой Кремля.

Соломония не знала, что ей никогда больше не придётся увидеться с мужем. Василий Иванович был во дворце и из окна своей опочивальни наблюдал, как растерянная княгиня вышла на крыльцо и села в монастырскую повозку. Сердце его сжалось от предстоящей разлуки. Позади двадцать лет совместно прожитой жизни. За это время они научились с полуслова понимать друг друга. Любил ли он Соломонию? Конечно же любил! Из пятисот явившихся на смотрины невест он выбрал её ради лепоты лица и стати, презрев настойчивые уговоры ближних бояр, советовавших ему жениться на девице знатного рода, а не на дворянке. Казалось, он не ошибся. Сколько счастливых дней и ночей провели они вместе! Как тягостны были даже самые непродолжительные разлуки! Будет ли ему так же хорошо с новой женой?..

Рядом с Соломонией видит князь Шигону. Долгое время был он в опале, но остался предан ему и за то снова вошёл в милость. Ещё в начале лета Василий Иванович спросил своих ближних людей: «Кому по мне царствовать на Русской земле и во всех городах моих и пределах? Братьям отдать? Но они и своих уделов устроить не умеют». И Шигона, преданно глядя ему в глаза, чётко ответил: «Государь, князь великий! Неблудную смоковницу посекают и измещут из винограда». Этот совет был по душе ему. С тех пор приблизил он к себе Шигону, поручает ему такие дела, которые не всякому можно доверить.

Чёрный возок скрылся за поворотом. Василий Иванович отошёл от окна, взял в руки зеркало. На него глянули встревоженные, блестящие от волнения глаза. Князь потёр пальцами виски, провёл под глазами.

«Завтра же велю поправить усы, укоротить бороду. Хоть ты и великий князь, — обращаясь к своему отражению, мысленно говорил Василий Иванович, — однако молодая жена должна любить тебя не за титул высокий, а за самые обычные человеческие достоинства...»

Насчёт Соломонии всё было решено давно и обстоятельно. Ничто не должно помешать её пострижению. Хотя святые старцы — патриархи Антиохийский, Иерусалимский, Александрийский и Царьградский, как и следовало ожидать, ответили отказом, однако митрополит Даниил решил не препятствовать ему в расторжении брака с Соломонией и взять грех на свою душу. Прочитав послание Марка Иерусалимского, в котором тот писал, что не подобает государю творить такое, что и челяди правила святых отцов запрещают, митрополит произнёс:

— В своей стране имеет нечестивого царя и блажит его, а нашего государя православного укоряет. Тебе, сын мой Василий, говорю: учиним мы тебе благословение, возьмём грех на себя и всем Вселенским собором благословим тебя делать так, как хочешь.

Василий Иванович понимал: митрополит и ближние бояре хотят, чтобы престол наследовался его сыном, а не братьями. Приход их к власти означал бы для большинства его приближённых устранение от государственных дел. Так что, потрафляя великому князю, они, скорее всего, заботились о себе.

С митрополитом и ближними боярами был решён и вопрос о будущей жене. По совету Ивана Юрьевича Шнгоны он остановил своё внимание на Елене Глинской, дочери умершего князя Василия Львовича Глинского. Седмицу назад, на Филиппово заговенье [52], Шигона устроил встречу Василия Ивановича с Еленой. Это произошло в церкви, куда великий князь пришёл помолиться и раздать милостыню нищей братии. Елена стояла на женской половине чуть сбоку от толпы, гордо держа красивую голову. Короткая соболья шубка, сшитая наподобие летника, без разреза спереди и с такими же висячими рукавами, не скрывала, а, напротив, подчёркивала красоту её стана. В отличие от других женщин, лица которых были густо

покрыты белилами и румянами, Елена лишь слегка подрумянила щёки. Белила же ей совсем не потребовались. Да и соболиных бровей не коснулся уголёк. После этой встречи князь просыпался и отходил ко сну с думой о молодой жене. Василий вновь посмотрел в окно. Чёрного возка уже давно не было видно. Мягкие пушистые хлопья снега запорошили его следы, как будто он и не проезжал вовсе. Только вот сердце почему-то ноет...

Чёрный возок выехал из Кремля и, переваливаясь с боку на бок, медленно пополз по неровной грязной московской улице. Довольно скоро лошади остановились возле мрачных ворот. Соломония выглянула наружу и ойкнула. Она сразу же поняла, куда и зачем её привезли. За мрачными воротами виднелись постройки Рождественского девичьего монастыря, где они не раз бывали вместе с Василием.

— Да куда же вы меня привезли? Не хочу я, не хочу!.. — закричала она и упала в беспамятстве.

Ворота монастыря медленно, со скрипом отворились, возок проследовал во двор и остановился у крыльца. Сильные руки подхватили Соломонию, понесли в церковь.

Очнувшись, Соломония прежде всего увидела митрополита Даниила. Холодный и неприступный, с отрешённым взглядом он стоял возле иконостаса. Рядом с ним были Иван Юрьевич Шигона и игумен Давид. У дальней стены, куда едва проникал колеблющийся свет лампад и свечей, словно нахохлившиеся вороны чёрных мрачных куколях [53], стояли монахини.

Игумен Давид с ножницами в руках приблизился к великой княгине.

— Святой отец, — с дрожью в голосе обратилась Соломония к митрополиту, — умоляю тебя не совершать задуманное. Не хочу и не могу я быть инокиней.

— Грешны слова твои, дочь моя. Каждый человек должен быть рад и счастлив от сознания, что посвящает себя служению Господу Богу. А ты противишься этому.

— Великий князь хочет моего пострижения, потому что я бесплодна. Но это не так. Пройдёт немного времени, и все убедятся в этом.

— Великий князь ждал наследника двадцать лет. Больше ждать он не в силах, да и ни к чему это.

— Но ведь в моём чреве зародилось дитё! — со слезами в голосе выкрикнула Соломония и упала к ногам митрополита. — Не за себя, за него прошу, святой отец, отложи пострижение в иночество!

Даниил заколебался.

«А вдруг окажется, что великая княгиня и в самом деле носит в своём чреве дитё? Святое ли дело свершится? Только вряд ли правдивы её слова. Если бы всё было так, как она говорит, великий князь во время вчерашней беседы обмолвился бы об этом. Скорее всего, она придумала эту ложь только сегодня в надежде помешать пострижению. Хитро удумала: ежели я отложу пострижение, она попытается умолить Василия Ивановича совсем отменить его. Едва ли государь будет доволен таким оборотом дела. К тому же всё многократно обдуманно, всё идёт своим чередом. Изменить ничего уже нельзя...»

— Господь Бог изъявил свою волю, и воля его в том, чтобы быть тебе бесплодной во веки веков и служить ему до окончания дней своих молитвами. Аминь!

Игумен Давид понял слова митрополита как приказ начать пострижение. Он подхватил русые волосы Соломонии и стал быстро отрезать их.

— Да что же вы делаете? Не хочу я, не хочу!.. — громко кричала княгиня. Слёзы лились из её глаз.

Закончив своё дело, Давид встал на прежнее место. К Соломонии, держа на вытянутых руках куколь, приблизился митрополит. Безысходное отчаяние и ярость родились в душе постригаемой. Она вырвала из рук Даниила куколь и стала топтать его ногами.

Первосвященник пополовел [54] от такой дерзости. Монахини громко и возмущённо зароптали. К Соломонии скорым шагом подошёл Шигона и огрел её плёткой.

— Да как ты смеешь противиться воле государя и не слушать его повеления!

— А ты, — дерзко отвечала Соломония, — по какому праву смеешь бить меня?

Тело её дрожало, огромные глаза полыхали гневом.

— По приказанию государя!

— Свидетельствую перед всеми, — громко сказала тогда княгиня, — что не желаю пострижения и на меня насильно надевают куколь! Пусть Господь Бог отомстит за такое оскорбление!

— Помолимся, братья и сёстры, за рабу Господа Бога Софью, — перебивая Соломонию, громко произнёс игумен Давид.

Печальное пение огласило церковь, приглушив стоны и рыдания бывшей великой княгини Соломонии Сабуровой, ставшей в иночестве Софьей.

Через несколько дней, едва установился санный путь, из ворот Рождественского монастыря выехал каптан [55], в котором инокиню Софью везли в Суздаль, в Покровский девичий монастырь. Возок проследовал через Мясницкие ворота, мимо Красного Села, выбрался на Стромынку, которая вела к Юрьеву-Польскому и Суздалю. На всём пути на почтительном расстоянии его сопровождал одинокий всадник. Это был Андрюха Попонкин, которому Тучковы поручили зорко оберегать от всяких случайностей опальную жену великого князя. Ничего неожиданного, однако, не произошло. Возок и всадник вскоре прибыли в Суздаль.

Глава 6

Игуменя Покровского девичьего монастыря Ульянея во время заутрени почувствовала боль в стегне [56]. Боль всё усиливалась, и мать Ульянея с большим нетерпением ожидала конца службы. Было душно. Золотисто-жёлтое пламя множества свечей озаряло церковь, а игуменья почему-то казалось, будто наступил вечер знойного летнего дня и всё вокруг залито неповторимым светом вечерней зари.

«Видать, старость пришла, выстоять службы и то стало трудно. Ах, как было бы славно, если бы на дворе и впрямь стояла летняя теплынь! Идёшь себе посреди поля, вдыхаешь запахи трав, касаешься босыми ногами прогретой земли, и кажется, будто ничего лучше на свете нет. — От этой мысли у Ульянеи защемило сердце. — Сколько ещё мне осталось ходить по

земле? Может быть, прошедшее лето было последним, вон ведь как стегно-то разболелось!»

В это время служба закончилась, и Ульянея, облегчённо вздохнув, направилась во главе процессии к выходу. Около церковных ворот её поджидала молчаливая рябая келейница с чадящим витенем [57], который едва-едва освещал дорогу. Две юные белицы [58] подхватили игуменью под руки, чтобы она, не приведи Господи, не поскользнулась.

Справа шла Марфуша, стройная миловидная девушка. Длинные ресницы у неё обычно скромно опущены вниз, но, когда распахнутся, открываются большие серые глаза. Марфуша — любимая белица Ульянеи. Никто не слышал, чтобы игуменья, не очень-то любезно обходившаяся с монахинями и белицами, повысила на неё голос.

Марфушина подружка Аннушка отличалась озорством, непоседливостью. Всем она весело и открыто улыбалась. За озорство нередко попадало Аннушке от матушки Ульянеи, но зла между ними не было.

— По всему Суждалю, матушка, только и разговоры, что об Афоньке-разбойнике. Позавчерась, говорят, опять купчишек пограбил да и наозоровал вволю. Двоих убили, а троих поранили. Кровищи на Московской дороге было!

Тут из темноты вынырнул незнакомый, нарядно одетый молодец. Аннушка дурашливо вскрикнула, за что получила от матушки Ульянеи два увесистых тумака.

— Полно тебе глотку-то драть, будто и впрямь испужалась. Знаю я тебя! А ты куда прёшь, не видишь, игуменья идёт?

Андрюха, почтительно склонившись перед Ульянеей, незаметно озорно подмигнул Марфуше. Ту как огнём обдало.

— Старец Филофей с Белоозера просил передать тебе, матушка, низкий поклон.

Никакого старца Филофея Андрюха никогда и знать не знал. Это была условная речь, на которую игуменья отвечала так же условно:

— Старца Филофея я почитала и почитать буду. В добром ли он здравии?

— Жив-здоров, матушка, чего и тебе желает.

— Ну и слава Богу. Пойдёшь в мою келью и доподлинно расскажешь мне о нём.

В келье, куда они вошли, было тепло и уютно. Мать Ульянея сбросила шубу на руки шустрой келейницы и взглядом указала ей на дверь. Повторять приказание не пришлось. Игуменья села на обитую красным аксамитом [59] скамью и застонала от боли.

— Стегно что-то ноет, сил нет, — пожаловалась она Андрюхе. — Присядь-ка рядом, расскажи что к чему. Да не ори на весь монастырь.

— Велено мне, матушка, передать грамотку.

— И только-то?

— Больше ничего.

— Ну так давай её.

Андрюха вытащил из-за пазухи тщательно завёрнутую в тряпицу небольшую грамоту и

передал игуменью. Та приблизила к себе свечу и, шевеля губами, стала с трудом разбирать написанное.

— Стара стала, глаза совсем ничего не видят, — проворчала она и вдруг вся преобразилась: глаза по-молодому заблестели, на щеках проступил румянец. — Ты ступай, ступай, добрый молодец. Завтра после заутрени зайдёшь за ответом. Келейница Евфимия проводит тебя в трапезную.

Ульянея хлопнула в ладоши и торопливо распорядилась насчёт трапезы.

Едва Андрей вышел, игуменья так и впилась глазами в каждую буквицу. Да и как было не впитаться, если грамота была написана самим Василием Патрикеевым, первой и последней любовью боярыни Агриппины Пронской, в иночестве Ульянеи!

Какой же он был тогда статный да удалой, когда они встретились в Москве, весёлый, сильный, насмешливый. Агриппина с первой же встречи без памяти влюбилась в Василия. Как жаль, что их счастье было таким коротким!

«Сколько лет минуло с той поры, казалось бы, всё поросло травой забвения, горькой полынькой-травой, ан нет, сердце ничего не запамятовало, словно вчерась была эта Сырная седмица [60]...»

Она увидела его во встречу — в первый день масленицы. Шла с подругами по Лубянке и возле Гребенской церкви повстречала ватагу добрых молодцев. Тот, что был впереди, заступил ей дорогу.

— Куда спешишь, красавица?

— К дружку своему косолапому, — созорничала она, а сама ошалела от хмельного взгляда слегка раскосых глаз.

— Косолапый далеко живёт, пока дойдёшь, ноги натрудишь.

— Я мигом домчу и устать не успею.

— А ежели я не пушу тебя к косолапому?

— Где уж тебе за мной угнаться? В шубе ногами запутаешься, грохнешься об дорогу, да и дух вон.

Кругом все весело засмеялись.

— Ай да боярышня! Такой палец в рот не клади.

— А ну, красавица, давай потягаемся! — Василий, сбросив шубу, остался в белой сорочке из тончайшего батиста и в чёрных портах, заправленных в зелёные сафьяновые сапожки.

Девушки загалдели, заверещали. Воспользовавшись суматохой, Агриппина спряталась за спины подруг, а потом припустилась бежать к дому. Только было вознамерилась проскользнуть в калитку, да сильная рука преградила дорогу.

— Неужто здесь твой косолапый живёт?

— Ну да, вишь, он на тебя оскалился.

Василий заглянул во двор и невольно отпрянул: возле крыльца на задних лапах стоял медведь и внимательно смотрел круглыми блестящими глазками в их сторону. Она отпихнула опешившего Василия и, юркнув во двор, задвинула засов.

— Ну и ловка девка! — Как приятен ей его голос! — Придётся завтра на Неглинную?

Агриппина ничего не ответила. Сердце её бешено колотилось в груди.

Странное дело: куда бы она ни направлялась на той седмице, всюду появлялся и Василий.

На заигрыши пошли они с подругами на горку кататься на санках. Огляделась по сторонам — нигде его нет. Перекрестившись, села в сани и устремилась вниз. От встречного ветра глаза заслезилась. Протёрла их варежкой, глянула, а он уж тут как тут, катит с друзьями в санках. Сани столкнулись, опрокинулись. Что крику-то, смеху-то! Она и не разобрала сначала, что это её губы обожгло. А потом ещё раз. Тут Агриппина Василия от себя отпихнула, он покатился под горку да угодил головой в сугроб. Вот хохоту-то было!

На лакомку отправились они на Пожар [61]. Там скоморохи с медведями людей потешали. Агриппина до слёз хохотала, глядя на косолапого, который по просьбе хозяина показывал, как тёща про зятя блины пекла, как у тёщи головушка болит, как зять-то удал тёще спасибо сказал. И вот когда медведь пнул лапой скомороха под зад, а тот кубарем покатился по снегу, она почувствовала сзади горячее дыхание и сразу же догадалась, кто это объявился. Догадалась, потому что всё время ждала Василия. Толпа, глазевшая на скоморохов, качнулась и сдавила их, и Агриппина почувствовала, как сильно бьётся его сердце. Василий нежно сжал её руки, и она впервые не воспротивилась ему.

А в широкий четверг Агриппина была грустной: отец велел ей не отлучаться из дома. После обеда к крыльцу подкатили сани, запряжённые разукрашенными лошадьми. С какой радостью в былые годы ждала она этой поездки всей семьёй по праздничной Москве! Сегодня же ничто не было мило: ни толпы скоморохов, ни кулачные бои на Москве-реке, ни резвый бег лошадей. На Варварском крестце саней скопилось великое множество, и они долго ждали, когда можно будет проехать в Замоскворечье. И только тут Агриппина вновь испытала радость: оглянувшись, она увидела улыбающегося Василия. Он ехал в лёгком возке совсем рядом и показывал руками, что вечером будет ждать её около дома.

Агриппина знала, что уже четвёртый вечер Василий сторожит её у ворот их дома, но страшилась выйти к нему. Не отца с матерью страшилась, боялась себя, своей впервые вспыхнувшей страсти. Да только, видать, чему быть, тому не миновать: в тёщины вечерки она пришла к нему...

А на золовкины посиделки на Неглинной реке ребятня выстроила огромный снежный город с высокими стенами, башнями-стрельнями и воротами. Едва Агриппина с подругами закрылась в этом городе, как со стороны Тверской улицы и Арбата стали надвигаться толпы «ворогов». Сердце девушки радостно забило, когда она увидела Василия. Ей вдруг подумалось, что он спешит ворваться в снежный город, чтобы спасти её от похитителей. И тогда Агриппина полезла на стену и стала размахивать оттуда руками, чтобы Василий знал, где она. Он, конечно же, увидел её и побежал ещё быстрее, хотя комья снега градом осыпали его. Казалось, Василий не замечал их, радостно улыбался ей, махал рукой. Вот под напором тел рухнули снежные ворота. Слёзы радости застили глаза. Где же он? Ах вон, в самой середине городка, совсем близко от неё.

Но что это? И нападавшие и осаждённые перестали швырять снежки, кинулись на Василия Патрикеева и поволокли его к проруби. Таков обычай: воевода одолевшей стороны должен побывать в ледяной купели. Агриппина знает, что ничего с её возлюбленным не случится, но она всё равно тревожится за него. Вот его искупали, вот вынули из дымящейся проруби, вот завернули в медвежью шкуру и положили в сани. А он лишь смеётся, норовит глянуть в её сторону, вырваться из цепких рук. Кто-то взмахнул кнутом, лошади понеслись и исчезли за поворотом.

Сколько раз после этого видела Агриппина один и тот же ужасный сон: Василий радостно

улыбается, тянется к ней руками, он совсем близко, но откуда-то появляется толпа разъярённых людей, которые хватают его, куда-то волокут. И Василий бесследно исчезает.

Никогда больше не привелось Агриппине Пронской увидеться со своим возлюбленным. Дошёл до неё слух, будто насильно постригли его в монахи. А когда слух этот подтвердился, она и сама последовала в монастырь. До Ульянеи доходили вести о возвращении Василия, ставшего в иночестве Вассианом, в Москву, где он, будучи монахом Чудова монастыря, стал оказывать большое влияние на государя. Несколько раз приезжала она в Москву по монастырским делам, но встретиться им не привелось. Да и не очень она, признаться, хотела увидеться с ним. Особые заботы загородили от неё Василия Патрикеева.

Воспоминания взволновали Ульянею. Голова её горела, но сознание было ясным. Она всё более удивлялась своей памяти, которая, оказывается, сохранила в течение десятилетий каждый миг той давней счастливой седмицы, каждый взгляд Василия, каждое прикосновение его сильных, жадных рук. Игуменья закрыла глаза и застонала не то от воспоминаний, не то от боли.

«Господи, прости меня, грешную! Помоги мне одолеть козни демонские...»

Немного успокоившись, Ульянея вновь принялась за чтение письма. Вассиан заклинал её всячески оберегать от бед и напастей опальную жену великого князя Соломонию.

«Не сумлевайся, сокол мой ясный, все сделаю, как велишь!» Тут только Ульянея подумала о том, что её «ясный сокол», наверно, как и она, стар и немощен. Горько усмехнувшись и покачав головой, она кликнула келейницу Евфимию и приказала привести новоприбывшую инокиню Софью.

Софья бесшумно вошла в келью игуменьи, молча поклонилась и застыла у дверей. Игуменья с трудом поднялась с лавки и, прихрамывая, приблизилась к ней.

— Что молчишь-то? Вижу, не рада пострижению. Только ведь назад в мир отсюда пути нет. Так что хоть плачь, хоть смейся, ничего не изменишь. Вот так-то... — Губы Ульянеи задрожали, и она на мгновение отвернулась к стене, чтобы справиться с волнением, вызванным собственными воспоминаниями. — Ну ничего, жить везде можно. Тепло ли у тебя в келье?

— Тепло, матушка, благодарю за заботу. Только и вправду немило мне пострижение...

— А я тебе говорю: жить везде можно, не только в великокняжеских палатах. Чего их жалеть? Одна маета там, мышинная возня боярская. Не так ли? А тут ты успокоишься наедине с Господом Богом, силу духовную обретёшь.

— Не о великокняжеских палатах сожалею я, матушка, не о нарядах и драгоценностях. Дитё своё кровное мне жаль!

— Какое ещё дитё? Да ты в уме ли, Софья? Великий князь отринул тебя и возвёл в иноческий сан из-за того, что ты стала заматеревшей [62]. О каком же дитё ты говоришь?

— О том, что в чреве моём, — ответила Софья и прикрыла живот рукой.

— Не может этого быть. Двадцать лет дитё не рождалось, и вот, когда заматеревшую жену решили отправить в монастырь, она вдруг понесла? Ты говорила об этом при пострижении?

— Я говорила, да митрополит Даниил не внял моим речам. — Голос Софьи задрожал, из глаз полились слёзы.

— И правильно сделал, что не внял. Байки всё это. Ты могла говорить эту кривду при

пострижении, дабы остаться в миру. Неясно, зачем мне-то ты её повторяешь? Если бы даже я поверила тебе, всё одно ничего не изменить.

— Матушка, да правду, правду я говорю, а не кривду! Провалиться мне сей же миг в геенну огненную, если это не так!

Ульянея оторопело уставилась на Софью, словно ожидая жестокой кары. Ничего, однако, не произошло, и игуменья успокоилась.

— А откуда тебе ведомо, что в чреве твоём дитё зародилось?

Соломония подробно рассказала о приметах, явившихся ей. Ульянея понимающе кивала головой. Когда та кончила говорить, она с возмущением запрочитала:

— Ах, еретики, постригли в монастырь мать с дитем. Вот беда-то на мою головушку! Как же быть-то теперь?

— Может, дать знать о том великому князю? Игуменья прекратила причитать. Голос её зазвучал вдруг зловеще и строго:

— Ежели мы обнаружим, что у тебя дитё должно родиться, не сносить тебе, голубушка, головы. Да и дитё твоё, едва на свет появившись, смерть примет. Это уж верно. Не успеет государь и рта открыть, как сюда враги устремятся искать твоей гибели. Да и не ясно, как к этой вести великий князь отнесётся. Он уж, поди, сватов к молодой невесте послал. Захочет ли вмешиваться? А ежели и захочет, то сделать ничего не сможет: ты теперь невеста Христова и путь в мир тебе заказан. К тому же великий князь может не признать твоё дитя своим сыном, дабы не было в государстве смуты. Так что куда ни кинь, везде клин.

— Не может быть, чтобы Василий Иванович не признал своё дитё, — он так жаждал иметь наследника!

— А как ты докажешь, что это его сын? Может, ты по дороге сюда с кем дело имела.

— Клянусь Господом Богом — ни в чём не виновна я перед государем. К тому же монахиня теперь я.

— Монахини тоже живые люди. Поживёшь в обители, убедишься в том. Ты вот что сделай, сшей манатью [63] пошире, в ней никто до поры до времени не проведаёт о твоём деле. А я постараюсь отвадить любопытствующих от твоей кельи. Когда же дитё родится, тогда что-нибудь придумаем. А пока ступай в свою келью и успокойся.

Глава 7

Андрей проснулся от хорошо знакомых звуков: струя молока со звоном мерно ударяла в дно деревянной бадьи. Точно так же и его мать в эту раннюю пору доила корову, ласково приговаривая:

— Ну будя, будя тебе лизаться! Ишь ведь как за ночь соскучилась...

В ответ корова лишь шумно вздыхала.

Вот скрипнула дверь — и вместе с морозным воздухом в избу вошёл хозяин Фёдор Аверьянов, принёсший полную бадью воды. Андрей припомнил, что сегодня Васильев день

[64], а это значит, хозяйка будет варить гречневую кашу. Куль с крупой, поди, уж возвышается на столе. Андрей приподнял голову — так и есть, тётка Лукерья ещё спозаранок позаботилась о крупе. Теперь не приведи Господи кому ненароком дотронуться до воды и крупы! Обязательно случится худое.

Всем домочадцам пора вставать, скоро начнётся обряд затирания каши. Лёгким движением Андрей поднялся с лавки, вставил в сапоги нож и в одной рубахе выскочил на двор. Здесь было ещё совсем темно, лишь кое-где подслеповато краснели оконца, пахло дымом, навозом, свежим снегом. Снег крупными хлопьями падал из невидимых облаков, и от этого все звуки — квохтанье кур, мычание коров, стук бадьи о сруб колодца — казались приглушёнными. Всё вокруг было точно таким же, как в его родном Морозове, всё совершалось по давно установленному порядку.

Андрей потянулся до хруста костей, глубоко вдохнул чистый, слегка морозный воздух. До чего же хорошо чувствовать себя в добром здравии, сильным и ловким! Где-то в глубине души юноша уловил ещё одну причину своей радости: вчера, покидая покои игуменьи Ульянеи, он лицом к лицу столкнулся с озорными белицами.

— Марфуша, глянь-ка на этого москвитя, у него уши на затылке растут!

— А у тебя, суждальская затворница, на носу бородавка вскочила. Здоровущая!

— Ой, — вскричала Аннушка, хватаясь за нос, — брешешь ты. Ишь, какой враль!

Андрея рассмешила её простота.

— Не вралее тебя!

Во время их перепалки Марфуша стояла потупившись, но когда Аннушка стала ощупывать свой нос, прикрыла лицо рукавицей и сдержанно рассмеялась. Андрею вдруг показалось, будто где-то далеко-далеко рассыпалась нежная соловьиная трель. Он хотел было сказать девушкам что-то ласковое, приятное, но тех уж и след простыл. И лишь откуда-то издалека до него донёсся звонкий голос Аннушки:

— Пошли, Марфуша, погадаем на Васильев день [65], авось всё сбудется, что привидится.

«Сегодня я обязательно должен их увидеть!» — подумал Андрюха и только тут почувствовал знобящий холод во всем теле. Он радостно засмеялся и толкнул ногой дверь избы. Там все уже собрались вокруг стола.

Едва постоялец присоединился к домочадцам, тётка Лукерья приступила к обряду затирания каши. Она размешивала её в большом горшке и тихо, но отчётливо произносила:

— Сеяли-растили гречу во всё лето; уродилась наша греча и крупна и румяна; звали-позывали нашу гречу во Царь-град побывать, на княжеский пир пировать; поехала греча во Царьград побывать со князьями, со боярами, с честным овсом, золотым ячменём; ждали гречу, поджидали у каменных врат; встречали гречу князя и бояре, сажали за дубовый стол пир пировать; приехала греча и к нам гостевать.

С этими словами все встали из-за стола, а хозяйка, предварительно поклонившись, сунула горшок в печь. Домочадцы снова сели за стол в ожидании каши.

Младший сын Лукерьи и Фёдора пятилетний Гришутка дёрнул мать за рукав.

— Ма, расскажи, как греча на Русь попала.

— Некогда мне, отец пусть расскажет.

Фёдор долго отнекивался, его смущало присутствие в избе постояльца из Москвы. Дети, однако, настойчиво упрашивали, и он уступил.

— За синими морями, за крутыми горами жил-был князь с княгиней. На старости лет родилась у них дочь несказанной красоты. Стали родители думу думать, как назвать своё детище. Долго они спорили, так и эдак прикидывали. Все имена, которые князь предлагал, княгиня отринула, дескать, боярские дочки точно так же прозываются. А ей хотелось дать такое имя, которого ну ни у кого бы не было. Порешили тогда князь с княгиней снарядить ближнего боярина на перекрёсток дорог узнать имя первого встречного человека. Два дня сидел боярин на перекрёстке. На исходе третьего дня на дороге показалась древняя старуха, направлявшаяся в град Киев. Он и говорит ей:

— Бог в помощь, старый человек. Скажи, как тебя звать по имени да величать по отчеству?

Молвила в ответ старушка:

— Осударь ты мой, боярин милостивый, как народилась я на белый свет, нарекли меня отец с матерью Крупеничку, а имени батюшки родимого я в сиротстве не помню.

Удивился боярин необычному имени, усомнился в словах старухи и стал пытаться её:

— Уж не выжила ли ты из ума, старая? Или, может, на тебя дурь нашла? Да слыхано ли, чтобы человека таким именем называли? Лучше покайся, что неправду сказала, иначе не ходить тебе по сырой земле!

Взмолилась старушка:

— Осударь ты мой, боярин милостивый! Не вели казнить, вели слово молвить. Поведала я тебе всю правду без утайки. Клянусь тебе всеми святыми угодниками. Пусти душу на покаяние, не дай в грехах умереть.

Подумал боярин: никак правду говорит старая. Отпустил её в Киев-град, наделив золотой казной. Возвратился он в боярские палаты и рассказал боярам всё как было. Подивились те и решили доложить князю. Выслушал их князь и молвил: быть делу тому так, как всё вышло. И нарекли князь с княгиней детище своё Крупеничкой.

Росла Крупеничка не по дням, а по часам, на лету схватывала мудрость книжную. Мудростью своей она превзошла древних стариков. Задумались князь с княгиней, кому отдать своё детище в жёны. Снарядили они послов во все царства-государства и королевства искать себе зятя, а Крупеничке мужа.

В это время, однако, напала на князя Золотая Орда бусурманская. Вместе со всеми боярами выступил князь в поход супротив Орды. Да не посчастливилось ему: сложил князь голову вместе со всем своим воинством. Ворвались татары в град княжеский, увели в полон всех женщин вместе с детьми и стариками. А дома их предали огню. Так что пусто стало на том месте. Досталась Крупеничка злому татарину. Начал он понуждать её перейти в веру бусурманскую. За это обещал татарин: будешь ходить в чистом злате, спать в пуховой постели, есть яства лебединые. Но не смутили Крупеничку речи татарина, ни словом не ответила ему. И тогда решил он отдать её в неволю, сломить упорство тяжкой работой. Три года, поди, страдала Крупеничка, но так и не сменила своей веры. В ту пору проходила древняя старуха из Киева через Орду Золотую. Увидела она Крупеничку в тяжёлой работе и пожалела её. Превратила старуха Крупеничку в гречишное зерно, положила его в свою калиту [66]. Дальняя дорога вывела её наконец на Русь. Здесь старуха схоронила гречишное зерно в землю, на широком поле привольном. И учало [67] то зёрнышко в рост идтить. Вот и выросла из него греча о семидесяти семи зёрнах. Повевали ветры со всех четырёх сторон, разнесли те семьдесят семь зёрен на семьдесят семь полей. С той поры на святой Руси

расплодилось греча.

— А дальше-то что было, тятя?

— А дальше тебе мать расскажет.

Тётка Лукерья засуежилась возле печки. Вынимая горшок с кашей, хозяйка каким-то не своим тонким голосом пропела:

— Милости просим к нам на двор со своим добром. Все привстали с мест, чтобы лучше рассмотреть кашу в горшке. Не приведи Господи, если каша вылезает из горшка вон. Это предвещает скорую и неминуемую беду всему дому. Ещё хуже, если горшок треснул.

Андрей с облегчением вздохнул: трещин нет, и каши в горшке в самый раз.

Хозяин дома взял ложку и стал снимать пенку. Все вновь наострили уши: если под пенкой каша окажется мелкая, белая, то это опять-таки предвещало беду, такую кашу обычно выбрасывали в реку. Когда Фёдор снял пенку, домочадцы довольно заулыбались: каша оказалась красной, полной. Это обещало всему дому счастье, хороший урожай или умную красивую дочь.

Ложки дружно застучали по горшку.

Когда Андрей, нарядившись в лучшие свои одежды, вышел из избы Аверьяновых, ярко светило солнце. Нестерпимо полыхали белые-белые снега. Их огненное сияние придавало всему городку праздничный вид.

Андрюха неторопливо прошагал вдоль торговых рядов и через северные ворота вышел к городскому рву. Прямо перед ним высилась колокольня Ризположенского монастыря. Чуть левее и дальше выделялись постройки Александровского монастыря. А ещё дальше и левее на низменном берегу реки Каменки виднелись стены Покровской обители.

Но тут внимание Андрея привлекли две цепочки людей, двигавшихся за рвом навстречу друг другу. Со стороны Ризположенского монастыря цепочка была чёрного цвета, то шли монахи. Со стороны посада цепочка была пёстрой. Это были городские жители. Справа и слева от них расположились зеваки: бабы, дети, старики, девки в нарядных платках. Вот противники вплотную приблизились друг к другу, взметнулись вверх кулаки, и началась потасовка. Зеваки громкими криками подбадривали кулачных бойцов.

Сначала обе стенки бились на равных, то одна двинется вперёд, то другая. Но издали Андрею хорошо видно: монастырские дерутся более слаженно. Среди них выделялись трое, которые составляли как бы костяк стенки монастырских бойцов. Они в трёх местах таранили стенку городских, разрывая её, сея беспорядок. Постепенно преимущество монастырских стало явным, они всё дальше и дальше теснили городских в сторону посада.

Андрей не раз участвовал в кулачных боях у себя в Морозове. Но там драка была не такой яростной. Здесь же и постороннему человеку нетрудно было заметить: вражда между городскими и монастырскими не шутейная. Уж очень ожесточённо кидались друг на друга противники. Там и тут пламенели на снегу пятна крови.

— Не на жизнь, а на смерть бьются удатные! Оглянувшись, Андрей увидел стоявшего поблизости от него горбуна в монашеской рясе, который с явным удовольствием смотрел в сторону кулачного боя. Рот его приоткрылся, обнажив щербатые жёлтые зубы.

— Чего это они так?

— Ты, мил человек, видать, не тутошний?

— Из Москвы я.

— То-то, что из Москвы. Впервой тебя вижу. — Взгляд у горбуна цепкий, прилипчивый. Андрюхе стало даже как-то не по себе. — Монастырские с городскими давно враждуют. Ещё дед мой, пока его монахи не изувечили, в стенке бился. Он у меня кожевником был, в Каменке скотьи кожи вымачивал. А от тех кож рыбка в реке дохнет. Раньше, сказывают, какой только рыбы тут не водилось. Ныне же одни пескаришки с окунишками остались. Монахам оттого большая поруха. Они-то ведь рыбицу для трапезы добывают. Сколько раз дрались они смертно с кожевниками! А те, хоть и битыми многожды были, на своём стоят. Им ведь тоже жить надо. Ты, мил человек, не удумай в драку лезть — изувечат, убьют!

Андрей поначалу и не думал в кулачный бой ввязываться, не для того отправился он за город. Но как удержаться в сторонке, если чувствуешь в руках недюжинную силу, а в сердце — удаль молодецкую? Не утерпел он, перескочил через ров, вклинился в цепочку городских.

— А ну, ребята, бей монастырских!

Крики бойцов, рёв зевак оглушили его, но довольно быстро он стал различать в этом шуме отдельные слова, предостережения соседей по стенке.

— Ой, смотри-ка, москвич вместе с городскими бьётся! Хотя Андрею и было не до зевак, он все же успел глянуть в их сторону и даже рассмотреть две знакомые фигуры. Кровь прилила к его лицу. С ещё большей яростью напал он на монастырских, нанося удары направо и налево. Вокруг него собрались самые отчаянные из городских. Они дружно вклинились в стенку противника — и казалось, вот-вот обратят его в бегство.

Монахи, однако, сумели перестроиться. Андрей не заметил, как переглянулись между собой те трое и начали пробиваться к нему с трёх сторон. Почти одновременно они оказались рядом с ним. Монах, появившийся справа, свирепо оскалился и изо всех сил замахнулся своим кулачищем. Андрей ловко увернулся, но в тот же миг неожиданный удар слева опрокинул его навзничь. Падая в снег, он отчётливо услышал пронзительный крик:

— Убили!

Красные круги поплыли перед глазами. Кто-то совсем тихо произнёс:

— Москвича убили!

Сперва Андрюха не понял, о ком идёт речь. Потом подумал: москвич — это ведь он и есть. Почему-то вдруг стало очень жаль себя.

«А каша-то была красной, — пришло на ум, — видать, не сбылось предсказание...»

Больше он ничего не помнил.

Очнувшись, Андрей прежде всего ощутил ласковое прикосновение к своей щеке. Чья-то лёгкая рука нежно поглаживала его лицо. Первой явилась мысль о матери, так ласкала она его, когда он был совсем маленьким. Но как же матушка оказалась здесь, в Суздале? Ощущение было совсем необычным, и Андрей весь сжался, боясь вспугнуть ласкавшую его руку, прервать миг блаженства. Осторожно приоткрыл один глаз. Вокруг было совсем темно, лишь напротив обозначились рудо-жёлтые полосы. Значит, на дворе уже вечер.

Затем Андрей ощутил тонкий аромат сена и догадался, что находится в каком-то сарае. Свет зари проникает через щели в стене, вот она и разрисована рудо-жёлтыми полосками. Лёгкая рука оказалась возле самого носа, она едва уловимо пахла ладаном. Сердце Андрея

радостно дрогнуло. Кто это: Марфуша или Аннушка? Юноша внимательно всмотрелся в наклонённое над ним лицо и чуть не задохнулся от счастья: рядом была Марфуша!

Теперь каждое прикосновение нежной руки приобрело особый смысл. Оно рождало в его теле ни разу не испытанное волнение, нервную дрожь. Больше всего он боялся не выдержать при очередном прикосновении Марфушиной руки, громко закричать от переполнивших его чувств, и тогда всё кончится.

Неожиданно рука перестала двигаться. Марфуша как будто к чему-то прислушалась. Потом стала тормозить его голову.

— Очнись, молодец, очнись! Ты слышишь меня? Андрей старательно хранил молчание.

— Господи, да он же умер, дышать совсем перестал! — Голос у Марфуши жалобный, беспомощный, как у совсем ещё маленькой девочки. Вот она наклонилась над ним. Что-то солоноватое упало ему на губы, и Андрей догадался, что девушка плачет. Больше он не мог уже притворяться, это было выше его сил. Отыскав в темноте пухлые девичьи губы, попытался поцеловать их. Марфуша ловко увернулась.

— Так ты, оказывается, притворился мёртвым, а сам ишь что удумал! — Но тотчас же радость переполнила её. — Живой, живой! Как же я испугалась, решив, что ты умер!

Андрей едва не задохнулся от нахлынувших чувств. Он хотел что-то сказать, но девушка приложила палец к его губам.

— Чу! Сюда кто-то идёт.

Дверь сарая скрипнула. В проёме двери показалась Аннушка:

— Марфуша, ты тут?

— Тут.

— Не очухался ещё москвич?

— Очухался, только плох ещё. — Марфуша тоненько рассмеялась.

— А в обители матушка Ульянея такой переполох устроила, такой переполох, ну прямо страх! Тебя, поди, по всему Суждалю ищут.

— Ой, я и забыла обо всем на свете. Андрей, обопрись на меня, мы тебя до Аверьяновых проводим.

— Ничего, я сам.

Едва они вышли из сарая и направились в сторону посада, как их сразу же окружили всадники с чадящими витенями в руках.

— Вон они, оказывается, где, а мы-то их по всей округе ищем! Быстрее садитесь в сани да поспешим к матушке Ульянее, она так гневается, ну просто беда.

— Надо бы проводить москвича в посад, он ещё плох.

— Пусть москвич тоже едет в монастырь, мы его быстро поставим на ноги!

В ответ раздался озорной смех монахов. Андрей всмотрелся в лицо говорившего и признал в нём того самого кулачного бойца, который давеча напал на него с озверевшим лицом. Сейчас монах глядел на него доброжелательно, улыбочиво.

Всех троих усадили в сани. Около Александровского монастыря всадники свернули направо, в сторону Спасо-Евфимиевской обители, а сани проследовали в ворота Покровского девичьего монастыря. Монастыри располагались по разные стороны реки Каменки. При прощании было сказано немало шуточных слов и весёлых приглашений.

Едва Евфимия доложила о прибытии запропадившихся белиц, Ульянея велела немедленно позвать Марфушу. Робко потупившись, та скромно встала возле самых дверей. Игуменья приподнялась с лавки и, прихрамывая, приблизилась к провинившейся.

— Ну, рассказывай, что там подеялось?

— С утра мы с Аннушкой пошли посмотреть на кулачный бой. Монастырские одолели городских, но тут вмешался наш гость московский. Монахи так озверели, что чуть было не убили его. Мы с Аннушкой оттащили москвича в сарай, там он лишь к вечеру очухался. А когда пошли проводить его в посад, то повстречали людей, тобой, матушка, посланных. Они нас и привезли в обитель.

— Всё ли поведала, дочь моя?

— Всё, матушка.

— А отчего у тебя губы покусаны? Или вы с Аннушкой тоже на кулачки дрались?

— Как можно, матушка? Не девичье это дело, на кулачки драться. Мы с Аннушкой так за московского гостя переживали, что все губы себе перекусали.

— Скажи, дочь моя, почему это вы за московского гостя так волновались? Может, приглянулся он вам?

— Ну как же, матушка, не волноваться, коли человека чуть было не сгубили? Жалко ведь всякого.

— Ну не скажи... А что это московский гость таким слабаком оказался, что его монастырские чуть не убили?

— Он совсем не слабак, матушка. Когда городские монастырским спину показали, он чуть было всё не переиначил. Как пошёл молотить монастырских, те едва было не побежали. Но тут на него сразу с трёх сторон напали. Это же нечестно — троим одного избивать!

— Ну ладно. Эй, Евфимия, кликни ко мне московского гостя.

— Мне можно удалиться, матушка?

— Нет, останься. Хочу его спросить кое о чём в твоём присутствии... Ну хорош! Ишь ведь как тебя монастырские иконописцы расписали! И поделом: где две собаки дерутся, третьей делать нечего. Вельми болит, чай?

— Нет, матушка, совсем уж зажило.

— Видать, хороший лекарь попался тебе, быстро поставил на ноги. А у меня стегно разболелось, мочи нет терпеть. Так ты присоветуй, к какому лекарю мне пойти.

— Лекаря я никакого не ведаю. Мне Марфуша с Аннушкой дюже помогли.

— Чем же они тебя выходили? Нет, ты скажи, скажи! Чего потупился? Али стыдно стало? Поди, любовными зельями поили? Тебя сюда по делу послали, а ты в драку полез, с белицами по тёмным сараям шастаешь. Хорош гусь! Ты вот завтра назад в Москву

отправишься, а им-то куда от сраму податься? Поди, не думал о том?

Андрей стоял потупившись, красный как рак. Ему показалось, будто игуменья проведала обо всем, что было у них с Марфушей. И как бы оправдывая её и себя, вдруг бухнул:

— Матушка, не изволь гневаться, но я так люблю Марфушу, сил моих больше нет!

Игуменья опешила от столь простодушного и неожиданного признания.

— Да ты в уме ли, голубчик? Здесь ведь Божья обитель, а не... — Ульянея замешкалась, подбирая нужное слово. — Да ведаешь ли ты, что такое любовь? Сильно сумлеваюсь я в твоей любви, потому как ты лишь раз узрел девицу — и сразу же голову потерял. Не любовь это, а блажь. Вот тебе, добрый молодец, грамотка, передай её кому надобно. Завтра же отправишься в Москву. А пока ступай, не оскверняй грешными речами стены святой обители.

Едва Андрей вышел, Ульянея повернулась к Марфуше.

— А тебе, ослушнице, вздумавшей обманывать меня, впредь запрещаю покидать пределы монастыря. Ступай в келью и моли Господа Бога о прощении своих прегрешений.

Глава 8

Подъезжая к Москве, Андрей всё время слышал скрип полозьев, всхрапывание лошадей, разговоры возниц, отправившихся в город ни свет ни заря, чтобы пораньше попасть на торг. Зимний день короток: едва распродал товар, купил, что нужно по хозяйству, надо спешить домой, иначе возвратишься далеко за полночь. А это по нынешним временам небезопасно. Год выдался трудный, голодный, по окрестным лесам волков расплодилось видимо-невидимо. Да и лихие люди стали пошалить.

Полная луна далеко высветлила наезженную Стромынку. Голубовато-серые тени деревьев пролегли среди снегов. Андрею, однако, не до красот земных: ушибленные места побаливали, да и разлука с Марфушей бередила душу. И хотя матушка Ульянея строго-настрого приказала как можно быстрее передать грамоту князю Михаилу Васильевичу, ему сейчас очень не хотелось являться на тучковское подворье.

Как хорошо было бы оказаться в родном Морозове, где всё мило его сердцу! Уже полгода минуло с той поры, как он последний раз видел своих родных. Что-то сейчас поделывает его милая матушка? А отец? Может быть, он приехал в Москву на торг и, как всегда, остановился у Аникиных?

Месяц повис над самым краем неба и стал туманно-красным. Оттого вокруг потемнело, но зато заметнее обозначились в небе звёзды. Казалось, будто они подвешены к чему-то невидимому на тонких золотых нитях. Впереди вдоль дороги загорелись редкие огоньки. Рядом кто-то произнёс:

— А вон и Красное Село показалось!

Андрей вспомнил: недалеко от Красного Села можно свернуть на дорогу, ведущую в Сыромятники, и стал пристально всматриваться в темноту, чтобы не пропустить поворот.

К дому Аникиных Андрей подъехал ещё затемно. Войдя в избу, он застал всех домочадцев за столом.

— Хвала дому сему.

При виде гостя все встали, а Пётр Аникин, раскинув руки и радостно улыбаясь, поспешил к Андрею.

— Здравствуй, здравствуй, добрый молодец! Рады видеть тебя в нашем доме. Ишь ведь какой нарядный да статный стал!

Андрей попытался было прикрыть рукой синяк на правой щеке, но внимательный хозяин уже успел всё подметить.

— Да на тебя никак лихие люди напали?

— Не... В кулачном бою поколотили.

— Ах вон оно что! Ну, в кулачном бою и не то бывает. Хорошо хоть, что голова цела. Сымай-ка кафтан да садись вместе с нами за стол. Ульяна, помоги гостю умыться.

Во время разговора отца с Андреем Ульяна стояла к ним боком, слегка потупившись, зардевшись, растерянно теребя пышную косу. Когда отец обратился к ней, она поклонилась Андрею как положено, коснувшись рукой пола. Одной рукой девушка зачерпнула братиной [68] из бадьи ледяной воды, другой высвободила из светца [69] горящую лучину и стала лить воду. Вода стекала с Андреевых рук в кадку под горячей лучиной.

— Не обессудь, Андрюшка, скудость и убогость нашу. Нынче на торгу всё страшно вздорожало. Прошлой зимой пирог с вязигой стоил две деньги, теперича гони десять, а то и больше. Даже нам, умельцам-сапожникам, жить стало трудно. Видать, чем-то шибко прогневили мы Бога.

— Вестимо дело, прогневили, — вмешалась в разговор немногословная жена Петра Авдотья, — великой-то князь Василий Иванович уж столь греховное дело удумал, аж волосья на голове дыбком встают. Законную свою супружницу Соломонию, с которой, поди, два десятка лет прожил, в монастырь заточил, а сам на молоденькой девице, говорят, женится. Благочестивое ли то дело? Оттого и беды мы терпим...

— Нынче как раз и свадьба, — прервал жену Пётр. — Всем на свадебный поезд великого князя поглазеть охота. Оттого и поднялись ни свет ни заря.

— Тогда и мне поспешать нужно, иначе я князей Тучковых не застаю, а у меня к ним срочное дело.

Все уважительно посмотрели на него и тоже поднялись из-за стола.

— Коли у тебя срочное дело, задерживать не буду. Но помни: ты для нас всегда гость дорогой и желанный.

На подворье князей Тучковых царили суматоха и бестолковая суета. Окольный Михаил Васильевич Тучков вместе с сыном и женой были приглашены на свадьбу великого князя. Оттого и суетились все вокруг: вынимали из сундуков рухлядь [70], снаряжали самых лучших лошадей, до блеска чистили предназначенные для особо торжественных выездов сани. Неудивительно, что никто не заметил появления на подворье Андрея Попонкина. Тот отвёл в конюшню притомившегося коня, задал ему корму и направился в горницу княжича.

Василий сидел за столом нарядный, красивый и внимательно читал древнюю книгу, словно вся эта суматоха, царившая в доме, его совершенно не касается.

Андрей остановился у порога и, чтобы привлечь к себе внимание, кашлянул. Василий поднял голову. Его лицо несколько мгновений выражало неудовольствие, потом прояснилось. Брови вопросительно поднялись вверх.

— Матушка Ульянея просила срочно передать Михаилу Васильевичу вот эту грамоту.

— Не до грамот сейчас батюшке, видишь, кутерьма какая заварилась. Вперёд сам прочту, а там посмотрим, как поступить.

Прочитав грамоту, Василий торопливо направился к двери, но та распахнулась раньше, чем он коснулся её. Тяжело ступая, в горницу вошёл окольниковый.

— Готов ли к выезду, сын мой?

— Давно готов, отец. Да тут вот Андрюха привёз тебе грамоту от матушки Ульянеи, игуменья просила срочно передать её тебе.

Михаил Васильевич молча указал Андрею на дверь.

— Что же пишет нам матушка Ульянея?

— Дивную весть поведала она, будто инокиня Софья, бывшая великая княгиня Соломония, на сносях.

Старый князь подошёл к оконцу, затянутому слюдой, и, далеко отставив от себя грамоту, стал внимательно читать.

— Ну и дела!

— Отец! Нужно как можно скорее сообщить эту весть великому князю. Ведь он так жаждал иметь наследника!

Михаил Васильевич задумчиво барабанил пальцами по слюде.

— Нет, сын мой, мы не скажем великому князю о том, что инокиня Софья на сносях. Она — инокиня! И никакая сила уже не возвратит её в мир. Мы с тобой не можем предотвратить этой свадьбы. Всё идёт своим чередом. Митрополит Даниил в Успенском соборе уже приготовился венчать молодых. Ежели мы сейчас обнародуем полученную от матушки Ульянеи весть, Соломония вскоре погибнет от рук Глинских и дитё её никогда не появится на белый свет. Да и нам с тобой не поздоровится. Вот почему, — Михаил Васильевич стал мерно расхаживать по горнице, — мы должны, напротив, сберечь тайну, поведанную нам Ульянеей. Кто знает, может быть, новая жена великого князя тоже окажется бесплодной. Сохранив сына Соломонии и заручившись его расположением, мы после смерти Василия Ивановича можем стать первыми из первых среди бояр. Имей в виду, сын мой, что после свадьбы Глинские постараются отпихнуть от государя тех, кто был рядом с ним раньше. Родится сын у Елены — власть Глинских ещё больше укрепит. Сын Соломонии — да пошлёт ей Господь именно сына — поможет нам в будущей борьбе с Глинскими. Борьба же та неизбежна, и мы должны готовиться к ней заранее.

Михаил Васильевич приблизился к сыну, крепко сжал его плечи.

— Любезный сын мой! Все мои помыслы направлены на процветание рода нашего. Жизнь человеческая скоротечна. Но и после смерти моей Тучковы должны быть в числе первых людей при государе. Верю, ты успешно продолжишь дело, начатое мною, и пойдёшь дальше, чем я.

Князь вновь отошёл к окну и раздумчиво произнёс:

— В той борьбе, которую ведём мы, нельзя забывать о черни. Чернь должна делать грязную, чёрную работу, а мы — собирать сочные, зрелые плоды. Сегодня великий князь женится на Елене Глинской. Чернь должна быть против этого брака. Глинские неприятны нам, да и всем другим знатным боярам, ибо государь предпочёл исконно русской невесте дочь перебежчика литовского. Тем самым он оскорбил и унизил родовитых бояр русских. Оскорбление для нас и в том, что великий князь насильно постриг свою законную супругу Соломонию. Понял ли ты меня?

— Понял, отец.

— Ну вот и хорошо. А теперь пора ехать на свадьбу.

Василий Иванович вместе со своим свадебным поездом находился в Столовой брусняной избе, соединённой сенями со Средней Золотой палатой, предназначенной для свадебного обряда. В ожидании известия о прибытии в Среднюю царскую палату невесты ближние бояре вели негромкую беседу, вспоминали разные истории, случавшиеся во время свадеб известных им людей.

— Собрался Константин Острожский вступить во второй брак с княжной Александрой Слуцкой, а тут как раз пришёл от Жигамонта [71] приказ: немедленно выступить к Минску. Что было делать храброму гетману? Решил он отложить свадьбу. Невесте же дал записку, дескать, он обязывается вступить в брак сразу же, как только возвратится с королевской службы, если тому не воспрепятствует болезнь или новое королевское дело...

Василий Иванович внимательно посмотрел в сторону сидевших рядом братьев Бельских: Семёна, Ивана и Дмитрия. Криво ухмыляясь, о Константине Острожском рассказывал Семён. Будучи выходцем из Литвы, он хорошо знал людей из окружения Сигизмунда. Верная служба гетмана Острожского, его высокое положение при дворе литовского князя вызывали раздражение и зависть у Семёна. Ему, уверовавшему в свои исключительные способности, всегда казалось, что ни Сигизмунд, ни он, Василий, не оценили по достоинству его заслуг. Неудовлетворённое тщеславие побуждало Бельского к злословию относительно более удачливых придворных. Бельские почитают себя потомками великого князя Гедимина, оттого они и спесивы, особенно Семён, с давних пор нелюбовь у них с Шуйскими. Род Шуйских не менее древен и знаменит, ведёт своё начало от самого Рюрика, поэтому братья Василий да Иван Шуйские не намерены склонять голов перед Бельскими, явившимися к нему на службу из Литвы.

— Прохвост этот Острожский, — чуть слышно проворчал Иван Бельский — Угодив в засаду на Митьковом поле, на речке Ведроше [72], Константин присягнул служить великому князю всея Руси Ивану Васильевичу, а сам при первой же возможности убежал в Литву к Жигимонту.[73]

Василий Иванович уловил в словах Ивана Бельского слабый намёк на допущенную его отцом оплошку, но смолчал.

«Хотелось отцу привлечь храброго гетмана на свою сторону, да он оказался верен Жигимонту, не прельстили его ни деньги, ни земли. Так ли верны мне мои воеводы, как предан Константин Острожский королю? Василий Шуйский неплохо показал себя под Смоленском, когда Острожский попытался отнять у него этот город, да ныне стар стал. Иван Бельский вроде бы и дельный воевода, однако менее удачлив, чем Василий Шуйский, не всегда ратное дело до удобного мне конца доводит. Много пагубы терпим мы от несогласия между воеводами. Почему Острожский, имея в два раза меньше ратников, одолел русское войско под Оршей?[74] Да потому, что он напал сначала на войско Михаила Голицы, а Иван Челяднин из зависти не помог ему. Когда же гетман стал биться с Челядниным, Голица не

пришёл Ивану на помощь. Можно ли одолеть врагов при таком несогласии?»

Рассказ о свадебной записи литовского гетмана не вызвал интереса у находившихся в Столовой избе. Упоминание же о княжне Александре Слуцкой направило разговор по иному пути. Друга со стороны жениха, добродушный, толстяк Дмитрий Фёдорович Бельский, более других братьев нравившийся Василию Ивановичу осторожностью в суждениях и поступках, произнёс:

— Константину Острожскому удалось миром взять то, что не пришлось добыть Михаилу Львовичу Глинскому силой оружия. Уж как ему хотелось овладеть Слуцком и жениться на княгине Анастасии!

— Ещё бы не хотеть, — перебил брата Семён. — Ведь предки князей Слуцких некогда владели Киевом! Доведись Михаилу Глинскому жениться на Анастасии, право на владение Киевом перешло бы к нему.

Упоминание о Глинском заставило Василия Ивановича призадуматься. Новая жена доводится Михаилу Львовичу племянницей. Сразу же после свадьбы она наверняка станет просить выпустить своего родственника из темницы, где он томится уже десять лет[75] после неудачной попытки переметнуться на сторону Жигимонта. А и без племянницы ходатаев за Михаила Львовича предостаточно. Человек он бывалый, известный во многих землях. Император Максимилиан через своего посла Сигизмунда Герберштейна просил его, Василия Ивановича, выпустить Михаила Глинского из темницы. Император напомнил, что князь воспитывался при его дворе, а затем служил верную службу родственнику его, Альберту, курфюрсту саксонскому. Если Глинский и виноват, говорил Герберштейн, то уже довольно наказан пребыванием в темнице. Василий Иванович, однако, не спешил удовлетворить просьбу Максимилиана: выпустить-то Михаила Львовича легко, да как бы хуже не получилось. Потому велел он Сигизмунду Герберштейну передать императору:

«Глинский по своим делам заслуживал большого наказания, и мы велели уже его казнить, но он, вспомнивши, что отец и мать его были греческого закона, а он, учась в Италии, по молодости лет отстал от греческого закона и пристал к римскому, бил челом митрополиту, чтоб ему опять быть в греческом законе. Митрополит взял его у нас от казни и допытывается, не поневоле ли он приступает к нашей вере, уговаривает его, чтоб подумал хорошенько. Ни в чём другом мы брату нашему не отказали бы, но Глинского нам отпустить к нему нельзя...»

Жене своей, Елене, так не скажешь. На первых порах придётся приказать снять с Михаила Львовича оковы, а затем уж, если будет к тому повод, даровать полную свободу.

Василий Иванович прикрыл глаза и мысленно представил ход событий, связанных с его собственной свадьбой, который он тщательно обдумал вместе с митрополитом Даниилом и ближними боярами.

...Вот окольный Михайло Тучков вошёл в покои невесты и, поклонившись, передал ей просьбу великого князя явиться в Среднюю царскую палату. Невеста, выслушав гонца, встала и рука об руку с женой тысяцкого направилась к выходу. Тысяцким был назначен брат Андрей Иванович, но, поскольку он оказался ещё неженатым, пришлось попросить быть женой тысяцкого дородную княгиню Тучкову. Рядом с невестой и женой тысяцкого идут дружки невесты, князя Михаил Васильевич и Борис Иванович Горбатые, свахи Авдотья Шуйская, жена Ивана, и жена Юрия Захарьина Варвара, а также наиболее знатные боярыни. Перед свадебным поездом невесты несут огромные — одна в два, а другая в три пуда — брачные свечи в фонарях и каравай с золотыми монетами, положенными сверху. Свадебный поезд невесты проследовал по Боярской площадке, повернул к Красному крыльцу и направился в сени, ведущие в Среднюю Золотую палату.

Василий Иванович мысленно обогнал поезд невесты, и перед ним предстала палата,

предназначенная для свадебного торжества. Здесь по его приказу было сооружено возвышенное место, обтянутое бархатом и камками [76], с широкими изголовьями, на которых лежало по сороку соболей.

Елену Глинскую посадили на приготовленное возвышение. Рядом с ней на место, которое должен занимать он, Василий, временно пристроили сестру невесты Анастасию. По левую сторону встали боярыни, нёсшие караваи. Все остальные боярыни сели по лавкам.

Вот в палату вошёл брат государя Юрий Иванович, назначенный на время свадьбы посажённым, и стал приглашать явившихся с ним бояр сесть на то или иное место. С давних пор на время великокняжеской свадьбы строжайшим образом запрещены перебранки из-за места. Ослушавшегося можно предать смерти. И тем не менее Василий Иванович, перекрестившись, мысленно пожелал брату, которого не очень-то жаловал, успеха в его деле.

Дверь брусной избы распахнулась, и на пороге показался дородный окольный Тучков. Михаил Васильевич, низко поклонившись великому князю, произнёс:

— Государь, князь Юрий Иванович велел тебе говорить: иди с Богом на дело.

Василий Иванович легко поднялся и, продолжая тревожиться, спросил:

— Всё ли совершается по нашему усмотрению?

— Всё идёт хорошо, государь.

Чёткий ответ Тучкова успокоил князя. Свадебный поезд жениха также направился в Среднюю царскую палату.

Войдя в палату, Василий Иванович свёл Анастасию с занимаемого места и сел рядом с Еленой. Монотонно звучал голос священника, читавшего молитву, да потрескивали свечи.

Князь искоса взглянул на невесту. Она была более бледной, чем обычно, а оттого казалась совсем юной, хрупкой и такой красивой, что ему, представившему на мгновение себя рядом с ней, стало неловко.

Сегодня утром Василий Иванович приказал сбрить бороду, чего никогда не делал ни он сам, ни его отец, ни дед. Можно было бы велеть брадобрею повыдергать из головы седые волосы, но страшно стало: вместо великого князя явилась бы на свет Божий ошипанная курица! И от морщин никуда не денешься... Много всяких снадобий для омоложения предлагают простачкам шарлатаны, да не бывало ещё такого, чтобы старый человек опять молодым стал.

Василий Иванович вновь покосился на невесту. Та сидела совершенно прямо, вперив взор в стол, уставленный калачами и солью. Мысли великого князя всё о том же: уж слишком юна для него невеста, ей бы в мужа кого помоложе. Князь пристально посмотрел в тот конец палаты, где толпились дети боярские. Первым, кого он заметил, был Василий Тучков: княжич выделялся тем, что не пялил глаза на новобрачных, а о чём-то сосредоточенно думал.

«Добрый сын растёт у окольного Тучкова. В грамоте толк понимает, древними книгами зачитывается. Ой как нужны мне такие люди для устройства Руси!..»

Рядом с Василием Тучковым великий князь увидел сына конюшего [77], воеводу Фёдора Васильевича Овчины-Телепнева-Оболенского Ивана. Иван Овчина был на голову выше своего друга Василия Тучкова и шире в плечах. Задорная улыбка озаряла его чистое мужественное лицо, от которого Василию Ивановичу трудно было оторвать глаза.

Недалеко от Ивана стоит его сестра, дородная красавица Аграфена Челяднина, недавно схоронившая своего мужа Василия Андреевича.

В это время жена тысяцкого княгиня Тучкова приблизилась к новобрачным, чтобы расчёсывать им волосы. Хотя священник протянул между женихом и невестой кусок тафты, на обоих концах которого вышито по большому кресту, государю видно, что волосы у Елены пышные, длинные. При расчёсывании под ними временами открывалось маленькое розовое ушко. Оно словно дразнило Василия Ивановича, привлекало его внимание. Но вот княгиня Тучкова надела на голову Елены кичу с навешенным на ней покровом, а затем осыпала жениха хмелем из большой миски, в которой кроме хмеля лежали соболя и шёлковые платки. Теперь можно отправляться в Успенский собор.

Путь до Успенского собора был недалёким: предстояло лишь пересечь Соборную площадь, однако жених пожелал, чтобы свадебный обряд, установленный с незапамятных времён, был соблюден полностью. Возле Красного крыльца конюший Фёдор Васильевич Овчина подал ему коня. Невесту вместе с женой тысяцкого и большими свахами усадили в сани.

Венчание совершал митрополит Даниил. Поздравив молодых, он поднёс им стеклянный бокал с фряжским вином. Великий князь выпил вино до дна, бросил бокал под ноги и сапогом раздавил осколки. Стройные голоса певчих зазвучали под сводами Успенского собора.

В этот январский день, казалось, все москвичи высыпали на узкие улочки города. Всем хотелось поглазеть на свадебный поезд жениха и невесты. Едва государь покинул пределы Успенского собора, нищая братия, похватав разбросанные на снегу монетки, устремилась к ближайшим монастырям в надежде воспользоваться великокняжеской милостью дважды. Туда же потянулись и другие москвичи.

Андрей Попонкин решил податься в сторону Чудова монастыря. Уж его-то великий князь никак не минует. Любопытных, однако, оказалось так много, что он с большим трудом протиснулся к дороге, ведущей в монастырь.

Напряжённно ожидая появления свадебного поезда, москвичи не сразу заметили, что из монастырских ворот показался странный человек в драной накидке, наброшенной на одно плечо. Босые ноги его привычно ступали по снегу.

— Митяй, блаженный Митяй идёт! — слышалось в толпе.

Юродивый громко разговаривал сам с собой:

— Идёт Митя — князь грязи. Сердцем ликую: грязи-то вона сколько! — Остановившись недалеко от Андрея, юродивый широко распахнутыми безумными глазами впился в толпу.

От его пристального взгляда люди попятились, стали прятаться друг за друга.

— Вот и я глаголю: грязи-то ой как много! Всю грязь соберу я в единую кучу... — Митяй расселся посреди дороги и стал складывать в кучу лошадиные катыши. В это время из-за поворота показался свадебный поезд жениха.

— С дороги, с дороги! — тревожно закричали со всех сторон.

Юродивый, однако, продолжал спокойно сидеть посреди улицы и собирать конский навоз. Когда же свадебный поезд остановился, плечи его зашлись мелкой дрожью.

— Гля-кось, как блаженный-то плачет, — скорбно прошептала стоявшая рядом с Андреем старушка, — видать, не рад этой свадьбе!

Но тут юродивый поднял голову, и все увидели, что Митяй смеётся. Показывая в сторону кучи собранного им навоза, он громко закричал:

— Зрите, люди добрые! Великий князь грязи боится! Ха-ха!.. — Юродивый резко оборвал смех и, повернувшись к жениху, совсем другим, каким-то утробным голосом произнёс: — А может, тебе, Василий, княгинюшка Соломония привиделась? Вот ты и застыл как вкопанный.

У Андрея от этих слов мурашки побежали по спине. Он успел приметить, что лицо у великого князя пошло красными пятнами. Василий Иванович глянул на появившегося возле него Шигону и слегка кивнул головой. Тот махнул рукой, стражники устремились к юродивому.

— Помогите, люди добрые! — громко закричал Митяй, набрасывая на себя лохмотья.

Толпа прихлынула к нему и на какое-то мгновение закрыла от стражников. Когда же стражники разогнали людей, на месте, где он только что был, валялась лишь драная накидка. Один из стражников концом бердыша брезгливо перевернул её, и все воочую убедились: юродивый исчез.

Андрюха пристально всматривался в толпу, стараясь по малейшему движению в ней обнаружить след Митяя, но безуспешно.

— Гля-кось, вознесён! — услышал совсем близко от себя Андрей. Рядом стоял лысый старик, указывавший заскорузлым пальцем в небо. Все стали пристально всматриваться туда, куда показывал старик.

— И правда! Вознёсся наш Митяй во-о-н с тем облачком, — убеждённо произнесла старуха, которой только что показалось, будто юродивый плачет.

Андрей, как ни всматривался в небо, никакого облачка не обнаружил. Он подозрительно покосился на старика и в уголках его глаз заметил хитрую усмешку. Старик показался ему удивительно похожим на юродивого Митяя.

«Взбредёт же в голову всякая дурь», — подумал Андрей и на всякий случай перекрестился.

— Не бывать добра русским людям от этой нечестивой свадьбы, совершаемой в неделю блудную! [78] — прозвучало вслед поезду.

Свадебный поезд жениха возвратился из поездки по монастырям лишь к вечеру. Василий Иванович сразу же приказал Михаилу Тучкову звать Елену вместе с её поездом к столу.

Государь слез с коня, взял его под уздцы и передал старому, но статному ещё воеводе Фёдору Васильевичу Овчине-Телепневу-Оболенскому. Вместе с сопровождавшими его боярами он прошёл в палату, где были накрыты свадебные столы. Проголодавшиеся бояре дружно принялись за еду. Но вот перед новобрачными поставили блюдо с жареной курицей. Добродушно улыбаясь, с места поднялся дружка жениха Дмитрий Фёдорович Бельский. Он завернул курицу в ширинку и, переваливаясь с боку на бок, направился в спальню. Это означало, что молодым пора уединиться.

Постель для них была постлана на двадцати семи снопах в особой горенке, называемой «сенник». Стены её обтянуты тканями, а по углам воткнуты стрелы, на которых висело по сороку соболей. Под соболями на лавках возвышались оловянные сосуды с пивным мёдом. У постели молодых поджидала жена тысяцкого. Пышнотелая княгиня в двух шубах, одна из которых была вывернута наизнанку, показалась Василию Ивановичу похожей на пузатую кадку с пшеницей, стоявшую в изголовье постели. Боярыня Тучкова осыпала молодых хмелем.

Наконец жених с невестой остались наедине друг с другом. Они сидели на лавке совсем рядом, но казалось, будто глухая стена разделяет их. Длительный и утомительный свадебный обряд отнюдь не способствовал сближению. Оттого, наверно, в душе Василия Ивановича возникло едва уловимое чувство досады. Ему вдруг вспомнилась первая брачная ночь с Соломонией. Тогда его не особенно занимали тонкости свадебного обряда. Почему же сейчас он был таким ретивым и предусмотрительным во всем? Наверно, потому, что жизнь научила его делать любое дело, пусть даже самое ничтожное, основательно, тщательно. А может, он просто опасался, что малейшее отступление от установленного порядка каким-то образом повредит его будущему наследнику? Но будет ли у него наследник?

Первой молчание нарушила Елена. Она повернулась к мужу, ладонями обхватила его лицо и несколько мгновений молча пристально разглядывала. Потом бережно провела ладонями по щекам.

— Любезный муж мой, — взволнованно произнесла она, — отныне надлежит мне стремиться облегчить бремя забот твоих. Всегда и во всем я буду послушна тебе. Я стану любить тебя до конца дней своих!

Елена обняла Василия, прильнула к его губам...

Всю ночь конюший Фёдор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский кружил на жеребце вокруг сенника с обнажённой саблей, охраняя покой новобрачных.

Наутро Василий Иванович с самыми ближними боярами отправился в мыльню [79]. Среди бояр был молодой сын конюшего Иван Овчина, отличавшийся красотой, статью, недюжинной силой. В глубине души государь мечтал о том, чтобы иметь такого же стройного с мужественным и ясным лицом сына. По этой причине он всегда отличал Ивана от других боярских отроков.

Глава 9

На Егорьев день [80] великий князь назначил посещение древнейшего в Москве Богоявленского монастыря. Дорога предстояла недалняя, но, как всегда, выезд великокняжеской четы был торжественным и неспешным. Василий Иванович, сопровождаемый ближними боярами, ехал на коне, а Елена — в колымаге, покрытой красным сукном и украшенной мехами.

Путники покинули Кремль через Фроловскую башню. От Фроловских ворот до Китай-города дорога была выстлана обтёсанными плоскими брусьями, поэтому колымага некоторое время катила довольно плавно. В самом же Китай-городе, где улицы вымощены кругляшами, её трясло немилосердным образом.

Направо от дороги теснились многочисленные купеческие лавки. Когда показались лавки ветошного ряда [81], процессия остановилась — ветошный ряд находился в непосредственной близости от стен Богоявленского монастыря.

Василий Иванович слез с коня и об руку с Еленой в сопровождении небольшой свиты направился к воротам. Монастырский двор хорошо прогрелся солнцем, стены задерживали тепло, поэтому здесь особенно чувствовался приход весны: на пригорках нежно зеленела трава, а деревья украсились узорчатым кружевом листвы.

— Дух-то какой хороший! — умилился Василий Шуйский.

— Теплынь! — в тон ему произнёс Дмитрий Бельский.

Василий Иванович с улыбкой покосился в их сторону.

Оба боярина дородны, грузны, идут вперевалочку в толстых бобровых шубах, словно две копы. Только у Шуйского борода во всю грудь, а у Бельского свисает вниз наподобие мартовской сосульки.

— В народе говорят так ежели на Егория лист в полушку, на Илью клади хлеб в кадушку. — Это голос Михаила Тучкова.

— Хорошо бы так-то, Михайло Васильич. А то ведь летось такая сушь была, в поле всё повыгорело. Людишки совсем оголодались, озлобились.

— Правду ли слышал я, Василий Васильевич, будто в твоих заволжских владениях зимой народ взбунтовался?

— Было такое дело: разграбили людишки амбары, а тиуна порешили.

— Неужто бунтовщикам всё сошло с рук?

— У меня не сойдёт! — Короткопалая пятерня сжалась в кулак. — Как проведаль я о смуте, тотчас же послал в Заволжье верных людишек. Они бунтовщиков вмиг усмирили: кого в поруб бросили, а иных кнутьем били. Надолго запомнится им боярское добро, на которое они прельстились! Жаль только, что самый главный их заводила, Елфимом его кличут, в леса утёк. Таких смертию казнить нужно, чтоб других в искушение не вводили!

— Это ты верно молвил. Бунтовщикам спуску давать не следует. У меня под Ростовом в селе Дебала зимой тоже было беспокойно.

Василий Иванович внимательно прислушивался к разговору бояр. Год и впрямь выдался трудным, голодным. Озловившиеся люди во многих местах покушались на боярское добро. Но не они беспокоили князя, с бунтовщиками бояре и сами совладают. Послухи доносили: появились в Москве невесть откуда старцы и старицы, возводящие хулу на него, Василия. Будто народ терпит беды за его прегрешения, за то, что он заточил в монастырь жену Соломонию.

Внимание Василия Ивановича привлёк человек, сидевший возле дороги, ведущей к церкви. Он занимался тем, что складывал в кучку камешки. Сердце князя сжалось от недоброго предчувствия, но он продолжал идти к церкви.

— Все наши беды от ведения и неведения. Кто много ведаёт, тот ничего не ведаёт, — донёсся приглушённый голос юродивого. — Песчинки ведения рассеяны в море неведения. Но я соберу их вот так... Соберу я крупичицы ведения и вымощу ими дорогу в неведение. Нет, лучше разрушу я всё! Мне страшно... Мне страшно, когда начинает редеть туман неведения. Уж лучше не знать ничего!

Сопровождавшие великокняжескую чету с жадностью внимали словам юродивого. Тот вдруг вскочил и оглядел всех безумными глазами.

— Государь! — заорал Митяй на весь Китай-город. — Радость-то какая приключилась! Соломоньюшка-то, жена твоя, Богом данная, нынешней ночью принесла на свет Божий младенца. Зришь ли, как все радуются вокруг: и солнце, и трава, и вода. А ты-то чего посмурнел? Али не рад сыну своему кровному?

Василий Иванович искоса взглянул на жену. Та стояла бледная, с трясущимися губами. Князь бережно взял её за руку и повёл в церковь.

— Не следует слушать его, пса ехиднина, ядом рыкающего, ибо устами его враги наши глаголют.

Поездка в монастырь омрачила великого князя. Он верил в сказанное Елене: устами юродивого говорят враги если не его самого, то по крайней мере Глинских. А потому веры его словам нет. Однако в душе осталось сомнение: вдруг юродивый сказал правду? Василий Иванович не любил сомнений. Сомнения проистекают из неведения. Но может ли быть достойным правителем государства несведущий человек? Выходит, нужно установить истину. Кому же поручить дело, не требующее огласки? Не мчаться же сломя голову в Суздаль самому? Перебирая в памяти своих приближённых, князь остановился на молчаливом и исполнительном Иване Юрьевиче Шигоне и велел немедленно позвать его.

— Слышал ли ты, Шигона, что давеча в монастыре блаженный глаголил?

Шигона помолчал, выбирая ответ, угодный великому князю. Он мог бы сказать «нет», дескать, был в это время далеко. Но этот дурак так орал, что его слова, поди, и глухие услышали.

— Да, я слышал, мой государь.

— Что же ты думаешь по этому поводу?

— Надо бы его сначала на дыбу, а потом глотку расплавленной смолой залить, чтобы не нёс всякую околесницу.

— Я не о том, Шигона. Могла ли Соломония родить сына?

Шигона вновь задумался. Он хорошо помнил день пострижения Соломонии, как яростно противилась она принятию иноческого сана, как настойчиво говорила митрополиту о беременности. Ведает ли обо всем этом великий князь? Митрополит Даниил едва ли посвящал его в тонкости пострижения Соломонии. Ни к чему это ему. Да и он, Шигона, ничего не рассказал тогда Василию Ивановичу. Побывав в немилости, Иван Юрьевич стремился лишь к тому, чтобы как можно лучше исполнить любое приказание государя. А тут открылось такое дело... Скажи о нём великому князю, тот мог бы разгневаться тем, что его беременную жену в монастырь заточили. Вот все и молчали, и он, Шигона, в том числе. Но дело сейчас не в этом. Государь спрашивает: могла ли Соломония родить сына. А почему бы и нет?

— Думается мне, Соломония могла принести младенца.

Глаза Василия Ивановича расширились, он пристально уставился в лицо Шигоны.

— А почему тебе так думается?

— Сегодня из Суздаля возвратились с богомолья жены казначея Юрия Малого да постельничего Якова Мансурова. Трезвонят они, будто видели Соломонию и от неё самой достоверно проведали о рождении сына.

Василий Иванович резко поднялся со своего места.

— Вот, оказывается, кто пустил вредоносный слух! Блаженный лишь вторил злоязычным бабам. Сегодня же велю бичевать их!

Князь вплотную приблизился к Шигоне, внимательно глянул в глаза. Иван Юрьевич боялся этого испытующего взгляда. Так государь смотрел на тех, кем был недоволен.

— Ну а ты, Шигона, разве ничего не ведал о Соломонии? Ведь тебе, ближнему к государю человеку, положено знать всё!

Иван Юрьевич не выдержал пристального взгляда Василия Ивановича, отвёл глаза в сторону.

— Вижу, что-то ты знал, да утаил от меня. Говори!

— Соломония Юрьевна сказывала при пострижении, будто ждёт дитё, да никто тому не поверил.

— Вон оно что! Оказывается, она уже тогда знала, что будет младенец. Как же вы могли постричь её в инокини?

— Не я, государь, постригал, а митрополит Даниил. Ему-то Соломония Юрьевна и сказывала про младенца.

— Митрополит, может быть, и виноват, но и ты, Шигона, не меньше! Тебе, как самому ближнему человеку, доверял я свои тайны. Потому всегда и во всем обязан был ты блюсти интересы государя. Сам я не мог присутствовать при пострижении, но ты-то ведь был! Почему не отложил пострижения, проведав о таком деле? Мало того, ты утаил от своего государя поведенное Соломонией! Нет тебе прощения!

Иван Юрьевич всем телом ощутил гнев великого князя. Бледное лицо его стало серым.

— Виноват я, государь! Не по злomu умыслу, а по недомыслию умолчал о словах Соломонии, думал, неправду она говорит, желая избегнуть пострижения...

— Ступай прочь, Шигона! Ты мне не надобен.

После ухода Ивана Юрьевича Василий Иванович успокоился не сразу. Он долго ещё ходил по палате, раздумывая о случившемся.

«Шигона, конечно, достоин опалы, да и митрополит Даниил не без вины. А я сам разве не виноват в случившемся? Почему не попрощался с Соломонией перед пострижением, как положено было проститься людям, прожившим в любви и согласии два десятка лет? Испугался её слёз? Трусость никогда до добра не доводит! Но в самом ли деле она родила младенца? Не ложный ли слух распустили Сабуровы? Хотел было послать в Суздаль Шигону, да ненадёжным он оказался...»

Мысли Василия Ивановича вновь о Соломонии. Виноват он перед ней, ой как виноват! Может, Господь Бог смилостивился наконец над ними, послал им сына, да он поторопился заточить свою жену в монастырь. Князю вспомнилась вдруг кратковременная ужасная гроза, приключившаяся посреди засушливого лета, тёплая июльская ночь, запах волос Соломонии, её нежные ласковые руки. Будет ли у него сын от Елены? Кто знает! А Соломония родила сына, о котором он столько лет мечтал, которому мог бы передать своё государство. Но может быть, всё это неправда, может, придумала Соломония байку о сыне, желая навредить ему, поссорить с Еленой? Кого же ему послать в Суздаль? Лучше всего снарядить кого-то из дьяков. Дьяки народ дотошный, обо всем проведают досконально. К тому же и неприметны они.

Мысленно перебирая придворных дьяков, Василий Иванович остановил свой выбор на двоих: умном, исполнительном Григории Меньшом Путятине и молчаливом, немного угрюмом Третьяке Ракове. Их-то он и пошлёт в Суздаль разузнать правду. Если же дьяков спросят, зачем они посланы в Суздаль, пусть отвечают: государь пожаловал старицу Софью селом Вышеславским до её живота. Так он и напишет в своей грамоте.

Василий Иванович сел за стол, взял в руки перо. «Се яз князь великий Василий Иванович всея Руси пожаловал есми старицу Софью в Суздале своим селом Вышеславским с

деревнями и с починками, со всем тем, что бы к тому селу и к деревням и к починкам исстари потягало, до её живота; а после её живота, ино то село Вышеславское в дом Пречистые Покрову святой Богородице игуменье Ульяне и всем сёстрам, или по ней иная игуменья будет в том монастыре, в прок им».

В это же время в покоях Елены собрались близкие родственники великой княгини: мать Анна, сестра Анастасия и трое братьев — Юрий, Михаил и Иван. Тихий и молчаливый Иван пристроился на лавке в дальнем углу. Непоседливый и решительный Юрий, заложив за спину руки, расхаживал по палате из угла в угол. Михаил задумчиво смотрел в оконце. Среди братьев он слыл за самого дельного, движениями и внешностью был похож на знаменитого дядю Михаила Львовича.

Лицо у Елены бледное, осунувшееся, сидела она прямо, напружинившись. Рядом с ней пристроилась с рукодельем Анастасия. Напротив Елены, под образами, положив на стол беспокойные руки, сидела их мать княгиня Анна. Временами она поводила крючковатым носом, словно принюхиваясь, при этом чёрные выпуклые глаза её торопливо обегали присутствующих.

— Да, — прервала она, наконец затянувшееся молчание, — не хватает здесь славного Михаила Львовича. Муж он многоопытный, а потому очень помог бы нам своими дельными советами.

— В нашем деле, матушка, дядя Михаил Львович мало чем мог бы помочь, — возразила Елена.

— Ты, дорогая, плохо знаешь своего дядю. Его достоинства воистину велики.

— Если бы дядюшка действительно, был столь умён, как все в нашей семье говорят, он едва ли угодил бы в темницу.

— А ты не хули его, не хули! Всяк в беду попасть может. Ты бы лучше умолила муженька освободить Михаилу Львовича из темницы. До сих пор не чувствую я, что моя дочь стала великой княгиней!

— Говорила я Василию Ивановичу о бедствиях, которые Михаил Львович терпит в заключении, и великий князь незамедлительно велел снять с него оковы.

— И только-то?

— Василий Иванович сказал также, что скоро выпустит его на поруки, а затем и вовсе помилует.

— Хитёр государь! Вроде бы и уступил жёнушке, а сам своё гнёт.

— Великий князь московский, — вмешался в разговор Михаил, — не чета ясновельможным панам литовским, многие из которых под каблуками своих жён находятся.

— Не о том вы все говорите! — закричал Юрий.

— Тише ты! — шикнула на него княгиня Анна и, уставившись пронзительным взглядом на Михаила, спросила: — Веришь ли ты в поведенное блаженным? Не выдумка ли это ворогов наших?

— А почему бы не верить, матушка? Надёжные люди сказывали, будто при пострижении Соломония уверяла митрополита Даниила, что беременна, только митрополит, торопясь

выполнить волю государя, не внял её словам.

— О рождении Соломонией сына известно не только со слов блаженного. — Анастасия отложила в сторону рукоделье. — Мои сенные девки слышали об этом от жены казначея Юрия Малого, только что возвратившейся из Суздаля с богомолья.

— Что же мы должны делать?

— А разве ты, матушка, не знаешь, что нужно делать? — ехидно спросила Анастасия. — И ты, и дядюшка наш разлюбезный, Михайло Львович, поднаторели в подобных делах. Или забыла, как дядюшка поступил со своим заклятым врагом Яном Заберезским? [82] Жигимонт до сих пор уверяет всех, будто Михаил Львович посягнул на здоровье его брата, Александра, и своими чарами свёл в могилу.

— Ушам бы моим гнусных речей твоих не слышать!

— Опять вы не о том судачите! — вмешался Юрий. — Мы должны решить, кто должен ехать в Суздаль.

— Уж не желаешь ли ты сам помчаться сломя голову в Суздаль, чтобы лишить живота Соломонию вместе с её младенцем?

При этих словах Анастасии Иван боязливо поёжился в своём углу.

— Я думаю, — продолжала Анастасия, — у нашей матушки найдутся для этой цели подходящие люди. Не так ли, матушка?

— Люди-то у меня найдутся, да не ведаю я, как ими лучше распорядиться.

— А чего тут думать? Пусть дадут они Соломонии зелья, от которого заснёт она на веки вечные.

Михаил недовольно поморщился.

— Много ли в том проку, если Соломонии не станет? Дело сейчас не в ней, а в младенце, если он действительно родился, а не является злым вымыслом Сабуровых. Грудного младенца кормят материнским молоком, его не так-то просто опоить зельем. К тому же, если Соломонии не станет, великий князь, вполне возможно, захочет взять младенца на воспитание. Это не в наших интересах. Мне думается, следует похитить дитё у Соломонии.

— И я так же думаю, дети мои. Есть у меня на примете одна бывшая монашка. Сегодня же пошлю её в Суздаль.

Михаил Васильевич Тучков не любил делиться своими мыслями с кем бы то ни было, кроме сына. Так казалось ему безопаснее. Князю вскоре стало известно, что Глинские собрались в покоях Елены. Не осталось тайной и решение, принятое ими.

— Сын мой, нужно срочно послать верного человека в Суздаль оповестить матушку Ульянею о беде, грозящей Соломонии. Пусть поспешает.

Василий согласно кивнул головой.

— Как же матушка Ульянея отведёт от Соломонии беду?

— Мне видится только один путь к тому: надо разлучить Соломонию с младенцем. Его следует спрятать у надёжных людей в местах, где некогда жила Соломония. У неё, думается

мне, остались там и родичи и верные люди.

Даниил был сильно обеспокоен словами юродивого. Если сказанное им окажется правдой, ему не миновать гнева великого князя. От этой мысли митрополиту стало холодно и неуютно. Успокаивало его лишь то, что от игуменьи Ульянеи до сих пор никаких вестей не поступало. Случись такое в монастыре, митрополита обязательно оповестили бы.

«К тому же сам государь ратовал за пострижение Соломонии, а я лишь выполнил его волю. Не послать ли своего человека в Суздаль? Нет, лучше пока выждать. Ни к чему плодить пересуды и домыслы».

В палату тихо вошёл чернец.

— Что нового у великого князя?

— Государь беседовал с глазу на глаз с Иваном Юрьевичем Шигоной.

— Не собирается ли Шигона куда-нибудь ехать?

— Ехать он не намеревается. По выходе из покоев государя на нём лица не было. После встречи с Шигоной Василий Иванович приказал явиться к нему дьякам Григорию Меньшому Путятину да Третьяку Ракову.

Митрополит понимающе кивнул головой.

— А у Глинских как?

— Княгиня Анна в своей горнице вела тайную беседу с инокиней Аглаей.

— Не та ли это инокиня, которую обвиняли в употреблении приворотных да ядовитых зелий?

— Она самая.

«Нужно сделать так, чтобы Григорий Путятин и Третьяк Раков не очень спешили в Суздаль».

Даниил мысленно представил себе весь путь от Москвы до Суздаля. Где же удобнее всего задержать дьяков? Красное Село... Черкизово... Стромынь... Киржач... Не так давно митрополиту пришлось побывать в киржачском Благовещенском монастыре, вести длительные доверительные беседы с игуменом Саввой, горячим сторонником дела Иосифа Волоцкого.

— Немедля отправись к игумену киржачского Благовещенского монастыря Савве с грамотой.

Чернец низко поклонился.

Митрополит перекрестился и окончательно успокоился.

Весть о рождении ребёнка инокиней Софьей взбудоражила обитателей Покровского монастыря. Слыханное ли дело, чтобы в святой обители дети рождались? Тревога, ожидание чего-то необычного охватили всех. И лишь игуменья Ульянея казалась внешне спокойной, будто ничего не случилось. Это многих удивило — игуменья отличалась крутым нравом и твёрдо придерживалась установленных порядков. Любопытным инокиням не терпелось проведать, что же думает о случившемся их грозная игуменья. Та отрезала:

— Я, что ли, вводила в иночество Софью? Её сам митрополит Даниил постригал! Пусть он и

думает теперь, как поступить. А ежели вам не терпится узнать его мысли, скатертью дорога: ступайте в Москву и спросите отца нашего Даниила, что он намерен делать.

От этих слов монашки поёжились.

— На всё воля Божья! А вам, ударившимся в искушение, следует больше о своих грехах мыслить и молить Господа Бога нашего об их прощении!

С тем и ушли от неё многодумные монашки.

В душе же Ульянея сильно тревожилась. Шила в мешке не утаишь. Поди, по Москве уже трезвонят о случившемся, о том, что инокиня Софья в ночь на Зелёного Егория разрешилась от бремени. Теперь с минуты на минуту жди гостей прошеных и непрошеных, тайных и явных.

Ульянея и так и эдак прикидывала, как можно помочь Соломонии, уберечь чадо её от верной гибели, но ничего не предпринимала, выжидая, пока доброхоты не присоветуют что-нибудь. Вынужденное бездействие тяготило игуменью. Вот почему, едва рябая Евфимия сообщила о прибытии из Москвы Андрея, она велела незамедлительно позвать его.

Андрюха вошёл в знакомую палату сильно волнуясь. Грузная игуменья, легко поднявшись — болезнь к весне отпустила её, — приблизилась к нему и благословила. Она молча приняла тайную грамоту и, быстро пробежав глазами, швырнула на стол с таким видом, будто ничего интересного в ней не содержалось. Ульянея вновь подошла к Андрею, пытливо уставилась в его глаза.

— Как живёшь-поживаешь, добрый молодец? Давненько не навещал нас. Поди, забыл, по весёлой да шумной Москве гуляючи, о любви своей?

— Нет, матушка, не забыл. Днём и ночью о славной Марфуше думаю, даже во сне не раз её видел.

— Ну? — удивилась игуменья. — Неужто в Москве пригожее нет?

— Нет, матушка.

Ульянея помолчала минуту, потом, впившись в него глазами, спросила:

— А по-серьёзному ли ты любишь её? Хочешь ли ты в жёны взять Марфушу или просто так побаловаться решил?

— Если бы Марфуша стала моей женой, то о большем счастье я не мечтал бы.

— Коли так, ступай пока и будь готов выехать из обители в любой миг.

Едва Андрей вышел, игуменья приказала Евфимии позвать Марфушу.

— Что-то ты бледной да печальной стала, дочь моя?

— Отчего же мне веселиться, матушка? Наказано мне не отлучаться из кельи ни на один миг. С утра до вечера всё одна да одна, даже милой Аннушке не велено навещать меня. По указанию твоему все книги священные читаю. Тем только и занимаюсь.

Ульянея нежно обняла Марфушу.

— Не печалься, навеселишься ещё вволю. Поди, не забыла московского молодца, в кулачном бою побитого?

Марфуша покраснела до корней волос и промолчала.

— Он вон вновь заявился, говорит, жить без тебя не может.

От этих слов из глаз Марфуши полились слёзы.

— Что ж ты, глупая, плачешь? Радоваться должна, что добрый молодец по тебе так страдает.

— Радости мало в том, матушка, всё равно не сможем мы быть вместе. Ждёт меня пострижение в инокини и служение Господу Богу до конца дней своих.

— Пока что ты не инокиня, а белица, потому путь в мир тебе не заказан. А может, не люб он тебе? Что ж ты молчишь? Говори: люб или не люб?

— Люб, люб, матушка! Каждый день молюсь о том, чтобы забыть о нём, а он всё на уме. Грешна я!

Ульянея прошла по палате, пыталась справиться с охватившим её волнением. Потом приблизилась к Марфуше, обняла её и зашептала:

— Дочь моя милая, горячо любимая! Жаль расставаться с тобой, да, видать, иначе быть не можно. Отпускаю тебя в мир вместе с Андреем, мужем твоим, будьте счастливы до конца дней своих, живите в любви да согласии!

Марфуша ничего не могла понять.

— Правду ли, матушка, слышат уши мои?

— Правду, правду, Марфушенька! Беру грех тяжкий на душу, чтобы избежать ещё большего греха, злодейства великого. — Игуменья протёрла глаза. — Будь внимательна, дочь моя, и сделай так, как я велю. Поклянись прежде, что никто и никогда не проведаёт о словах моих.

— Христом-Богом клянусь, матушка!

— В нашей обители грех приключился. У одной из монахинь дитё народилось. Ведаешь ли о том?

— Ведаю, матушка. Почудилось ночью, будто где-то поблизости младенец плачет.

— Младенцу этому, чаду беззащитному, беда грозит неминуемая. Ежели оставить его в монастыре, погибнет он. Ты должна взять дитё с собой в мир и заботиться о нём как родная мать. Согласна ли поступить по воле моей?

Марфуша помолчала, обдумывая слова игуменьи.

— Я согласна, матушка, только смогу ли сохранить его в живых?

— Я научу тебя, как заботиться о нём, как кормить и пеленать. Нынешней ночью Евфимия принесёт младенца в твою келью, и вы с Андреем тайно покинете обитель.

— А согласен ли Андрей заботиться о младенце?

— О том я с ним ещё не говорила. Но чует моё сердце: человек он добрый, сильный, и тебе и младенцу станет надёжной опорой и защитой. А пока ступай, дочь моя, собирайся в дорогу. Вечор я позову тебя и скажу, куда вы должны путь править, покинув обитель. Денно и ночью помни: ежели младенец погибнет, грех тяжкий, незамолимый падёт на твою душу!

Закрыв глаза, игуменья некоторое время сидела неподвижно, потом встряхнулась и хлопнула в ладоши. В дверь заглянула келейница Евфимия. Ульянея поманила её пальцем.

— Ты вот что сделай сейчас. Пойдёшь на торг, в тот ряд, где игрушки продают. Купи куклу, на дитё человеческое похожую. По дороге загляни к плотнику и вели до заутрени доставить на монастырский двор гроб самый малый.

Келейница, привыкшая беспрекословно выполнять любые поручения игуменьи, не стерпела и спросила:

— Да разве у нас кто умер, матушка?

— Не твоего ума дело! — отрезала игуменья. — После плотника наведишь каменщика. Прикажи явиться ко мне до заутрени. Да пусть что нужно для работы захватит с собой. Всё ли вспомнила?

— Всё сделаю, матушка, ничего не забуду.

— Ступай с Богом.

Ульянея покинула свои покои вслед за Евфимией и направилась к келье, расположенной в дальнем конце монастыря. Прислушиваясь, постояла возле двери, затем шагнула через порог.

Соломония повернулась на скрип двери и, увидев игуменью, встала, чтобы принять благословение.

— Спит? — Ульянея кивнула головой в сторону ребёнка.

— Спит, матушка.

— Не надумала, как назвать его?

— Хочется мне назвать его Георгием в честь святого, в день которого он явился на свет Божий.

— Хорошо удумала, Софья, пусть неборим сын твой будет, как Георгий Победоносец! Сама-то как?

— Благодарствую, матушка. Ниспослал мне Господь радость великую, словами трудно выразимую. Никогда ранее, даже в палатах великокняжеских живучи, не ведала я такого счастья. Раньше вот мужа своего, Василия Ивановича, власти да богатства лишиться боялась. Ныне ничего мне не надобно, был бы лишь он рядом. Прижму сына к себе и нежность чувствую великую, небывалую!

— Понятно мне счастье твоё, Софьюшка! Только чует моё сердце: быть беде великой, несправедливой. Дошли до меня вести, будто Глинские замышляют против сына твоего недоброе. Им ведь он поперёк горла встал, потому готовы они на любую мерзость.

— Да я каждому, кто на сына моего покусится, горло перегрызу, глаза выцарапаю!

— Верю, Софьюшка, словам твоим. Только не сможешь ты противостоять всем врагам, сил у нас с тобой мало, ох как мало! Много ли нужно, чтобы жизнь у младенца отнять? Ты вот по нужде отлучишься, а тут зайдёт кто да отравит его, или задушит, или с собой унесёт.

Глаза Соломонии тревожно расширились, светлое лицо посмурнело.

— Что же мне делать, матушка? Научи, как беду отвести от безвинной души.

— Видится мне лишь один путь к спасению его: нужно вам разлучиться.

— Ну уж нет, никогда не бывать тому! Кто его защитит и спасёт, как не я? Если нас разлучить, от тоски я умру!

Соломония как ни крепилась, не смогла сдержать рыданий.

— Да не плачь ты, слезами горю не поможешь! Человек ты не глупый, а потому, подумав, согласишься со мной. Тебе ли не знать наших бояр — зверей лютых? Вот почитай, что доброхоты мне из Москвы пишут.

Соломония внимательно прочитала тайную грамоту, присланную Тучковыми.

— Поняла ли теперь мой умысел?

— Начинаю понимать, матушка.

— Вот и хорошо. Подумай, кто из твоих родичей живёт от Москвы подальше. Да выбирай побезвестнее, ибо ежели младенец окажется в семье знатных Сабуровых, на это все обратят внимание, будут думать: а не сын ли это Соломонии?

— Есть у меня такие родичи в граде Николы Зарайского [83].

— Ты напиши им грамоту, а в той грамоте поведай: придут в град Николы Зарайского верные люди с сыном твоим кровным. Пусть помогут им избу срубить да прижиться на новом месте. Мы же скажем всем, будто дитё твоё скончалось от болести, и схороним вместо него куклу.

— Грех-то какой, матушка!

— Ещё больший грех совершим, ежели позволим лихим людям лишить живота безвинного младенца. А как схороним куклу, все вороги от нас отринут. Только дело это непростое!

Ещё до заутрени в келье инокини Софьи раздался громкий плач. Все обитатели монастыря насторожились и готовы были незамедлительно устремиться к дальней келье, чтобы удовлетворить своё любопытство. Но в это время раздался зычный голос игуменьи:

— Куда это ты торопишься? Не видишь, горе приключилось, дитё малое Богу душу отдало! Ступай в келью и молись Господу Богу о спасении сей души. Эй, Евфимия, тащи сюда гроб. После заутрени хоронить будем.

Вот гроб установили в церкви. Всем не терпится поглазеть на малютку. Но там, где должно быть личико младенца, всё закрыто тонкой кружевной тканью. Хор монашек жалобно вытягивает:

— Господи, помилуй...

При этих словах подобает глаза устремлять под купол церкви на изображение Бога, а они так и норовят заглянуть под кружевное покрывало.

Вся напряжённая, словно клуша над цыплёнком при виде ястреба, Ульянея готова отпихнуть от гроба всякого, кто осмелится прикоснуться к нему. До чего же медленно совершается отпевание «умершего»!

Внимание игуменьи привлекла незнакомая баба в монашеском одеянии с бегающими воровскими глазами, выглянувшая из-за спины Соломонии. Вот она уже рядом с гробиком, жёлтая жилистая рука норовит откинуть кружевную ткань. Ульянея опустила свою тяжёлую

стопу на монашкину ногу. Та застонала от боли и присела.

«Будешь знать, ведьма, как лезть куда не просят, — злорадно подумала игуменья. Недалеко от входной двери она заметила высокого человека в чёрном одеянии. От его пронизательного изучающего взгляда Ульянее стало не себе. — Неспроста, ой неспроста пожаловал сей человек в монастырь! Да он, оказывается, не один, а с дружкой. Рядом с ним звон какой бирюк, так и буравит всех своими глазницами... Слетаются вороны на пир кровавый. Только поздновато вы прилетели, жертва ваша уже далече».

Наконец-то священник закончил отпевание и бросил в гроб горсть песку, тело предано земле. Ульянея взмахнула рукой. Незамедлительно появилась крышка гроба. Вот гроб закрыли. Гулким эхом прокатились по церкви удары молотка, забивающего гвозди.

Игуменья, облегчённо вздохнув, приблизилась к Соломонии, взяла её за руку и повела следом за гробом в подклет [84]. Здесь было сумрачно. Свет едва проникал сквозь небольшие оконца. Гробик опустили в углубление. Тяжёлая плита из белого камня придавила его, схоронив великую тайну. Соломония была неутешна в своём горе.

Глава 10

Долог и труден был путь Марфуши и Андрея к Зарайску. По дороге приходилось делать частые остановки в селениях, чтобы напоить Георгия молоком кормящей женщины. В середине лета путники покинули Коломну и, переправившись через Оку, оказались в рязанских местах. Июльская жара изнуряла, обессиливала, не верилось, что когда-нибудь дорога приведёт наконец к незнакомому и чужому для них Зарайску.

Незадолго до полудня беглецы вышли к небольшой речке, поросшей ольхой. Здесь, в кустарниковых зарослях, они решили переждать полуденный зной. Марфуша с Георгием на руках задремала под кустом, а Андрей, решив выкупаться, сбросил с себя одежду и зашёл в воду. Дно реки оказалось илистым, поросшим корневищами кувшинок, от прогретой воды пахло водорослями.

— Ой, да тут кто-то есть! — слышался на берегу женский голос.

Андрей оглянулся. Недалеко от берега стояли два воза, гружённые снопами ржи. На переднем возу сидел высокий молодой крестьянин в синей рубахе и таких же портах. Андрей, выбравшись из воды, торопливо оделся и поспешил к тому месту, где были Марфуша с Георгием. Возле них он застал крестьянку в белой сорочке, украшенной вышивкой.

— Видать, издалека идёте?

— Издалека, — тихо ответила Марфуша.

— Гринька, подь сюды, — закричала женщина, — отдохни маненько, а то ить жара какая.

Подошёл Григорий, степенно поклонился Андрею с Марфушей.

— Ты бы корзину со снедью принёс, вишь, люди издалека идут, отощали, поди.

Григорий кинулся к возу.

— Меня Парашей кличуть. Да вы садитесь вместе с нами, не стесняйтесь.

Параша вытащила из корзины краюху хлеба, кринку топлёного молока, пучок зелёного лука, варёные яйца. Григорий острым ножом нарезал духовитые ломти хлеба.

— Ешьте, ешьте, дорогая, — приговаривала Параша, жалостливо поглядывая на крохотного Георгия. — Дожили мы до Силина дня [85], тепереча засилья прибавится, всякой еды вволю. А откелева вы идётея?

— С Владимирщины мы, из Юрьева-Польского, погорельцы. На Фёдора Стратилата [86] изба наша загорелась.

— Фёдор Стратилат угрозами богат. Поди, от грозы изба-то занялась.

— Кто его знает, ночью загорелась, спали мы. В чём спали, в том и на двор выбегли. Хорошо хоть сами спаслись.

— А ныне куда путь держите?

— Идём в Зарайск, там хотим остановиться. Говорят, под Зарайском земли свободной, никем не занятой много.

— Земли-то у нас много, да и земля всё добрая, хлебородная. Пашем мы её наездом, всей семьёй выезжаем за десять, а то и больше вёрст от Зарайска, выбираем поле с хорошей землёй подальше от людей. Только вот татарва замучила. Что ни год, пруть, окаянные, из Крыма. Коли прихватят в стороне от города — бяда, в полон угонять. Ой, — встрепенулась Параша, — пора нам в путь, не то затемно домой воротимся. Нынче ведь день не простой, в Силин день ведьмы коров до смерти задаивают. Боюсь я за нашу бурёнку.

— Не бойся, — успокоил Парашу Андрей, — ежели ведьма молоком обопьётся, то обязательно обомрёт. Тут её ничем не разбудить. Хватай тогда солому и жги ведьме пяты, будет впредь знать, как коров доить!

Параша с уважением посмотрела на него.

— Садитесь-ка с нами, люди добрые, доведём мы вас до Зарайска да и ночевать у себя оставим, а то куда вы на ночь глядя пойдётея?

Она пристроила возле себя Марфушу с Георгием. Андрей сел рядом с Григорием. Поскрипывая осями, тяжело гружённые телеги медленно покатали по узкой и пыльной просёлочной дороге.

Впервые за весь долгий путь на душе Андрея стало покойно и хорошо. Ему было приятно сидеть рядом с молчаливым крестьянским парнем, который совсем ненамного старше его, нравилось, как тот уверенно держит в крупной мосластой руке вожжи. Андрей родился и вырос в крестьянской семье, хорошо знал и любил нелёгкую сельскую работу.

— Далеко ли нам ещё ехать? — спросил он, прервав затянувшееся молчание.

Григорий глянул на него немного смущённо. Андрей совсем близко увидел чистое сухощавое остроносое лицо, обрамлённое тёмно-русой бородкой.

— Да нет, вон уж церковь Николы видна.

Внимание Андрея переметнулось на город, открывшийся перед ним. Он стоял на правом высоком берегу реки, окружённый деревянными стенами с воротами и башнями. В самой середине города среди сотни дворов возвышался громоздкий и внушительный храм Николы Зарайского. В отличие от других городов, возникших по соседству с Полем, Зарайск имел большой посад. За пределами крепостной стены располагалось не меньше полутора сотен

дворов. Среди посадских изб выделялись монастырские постройки — церковь, кельи, трапезная палата.

— То Рождественский монастырь, — пояснил Григорий.

— А речку как называют?

— Осётром величают. По ней купцы до Каширы, Коломны и даже до самой Москвы добираются.

Лошади повернули к ближним воротам и остановились возле одной из изб.

Наутро Андрей с Марфушей и Георгием отправились к наместнику, двор которого находился недалеко от храма Николы. Около церкви они увидели небольшую толпу людей, окруживших седовласого гусяра в серой от пыли однорядке. Морщинистой рукой он касался струн, заставляя их издавать глухие и печальные звуки. Хрипловатым голосом он вторил им, нараспев произнося слова:

Уж что это у нас в Москве приуныло,

Заунывно в большой колокол звонили?

Уж как князь на княгиню прогневился,

Он ссылает княгиню с очей дале,

Как в тот ли во город во Суздаль,

Как в тот ли монастырь во Покровский...

— Грех-то какой сотворил великий князь! — произнесла стоявшая поблизости старушка. — На днях был у нас человек, ходивший на богомолье в Троицын монастырь, так он сказывал, будто по прибытии в Суздаль великая княгиня Соломония дитё родила, наречённое Георгием. Да только дитё скончалось то ли от болести, то ли от злых происков людишек новой жены государя. И Василий Иванович по тому случаю повелел поставить в Москве у Фроловских ворот церковь каменную во имя Георгия.

При этих словах Марфуша перекрестилась и потянула мужа за рукав.

— Как-то там матушка Ульянея поживает? Она хоть и строгая на вид, но такая добрая! — прошептала Марфуша. — А ты видел великую княгиню, ту, что в опалу попала?

— Видел.

— А ведомо ли тебе, что сын у неё родился?

— Слышал о том.

— Так вот он!

От удивления Андрей даже рот открыл.

— Вишь, крест на нём такой необычный, на кресте буква «С» обозначена, «Соломония» или «Софья», значит. Только ты никому-никому не говори об этом, не то беда приключится!

— А не врѣшь ты, Марфуша? Неужто великая княгиня нам сына своего доверила?

— Матушка Ульянея сказывала: она страсть как боялась за малютку, в монастыре его обязательно бы прикончили.

— Да за что же губить дитѣ несмышлѣное? Кому помешало оно?

— Глинским, родичам новой жены государевой, вот кому. Они, говорят, люты как звери, а мать великой княгини Елены суцая ведьма.

Андрею вспомнился день великокняжеской свадьбы. Завидев свадебный поезд невесты, кто-то в толпе громко произнёс:

— А мать-то, мать-то невестина — суцая ведьма! Старуха, с важным видом шествовавшая позади невесты, повела крючковатым носом, словно принюхиваясь, пронзительный взгляд чѣрных выпуклых глаз впился в толпу.

— Вишь, как зыркает, чернокнижница! — не унимался смельчак.

Да, от таких людей, как княгиня Анна, всего можно ожидать. У Андрея даже испарина проступила на лице, когда он осознал, — какую ношу они с Марфушей взвалили на свои плечи. Покидая Суздаль, Марфуша сказала ему о Георгии, что его мать умерла при родах, родственников у неё не оказалось, поэтому посторонние люди принесли младенца в монастырскую странноприемницу и оставили там в надежде на помощь. Матушка Ульянея проведала, однако, что в Зарайске живѣт сестра скончавшейся, и велела Марфуше отнести младенца к его тѣтке. А тут вон что открылось! Ну а ежели дитѣ умрѣт? Вон оно какое слабенькое, истощѣнное, заморѣнное дальней дорогой.

— Как же ты, Марфуша, решилась взять сына великокняжеского? А ну как он скончается по болести? Не сносить тогда нам головы!

— Всю дорогу лютый страх одолевал, потому и таила от тебя правду. К чему обоим-то было тревожиться? Не чаяла дойти до этого самого Зарайска. — Марфуша извлекла из-за пазухи небольшую грамоту. — Эту грамоту передашь наместнику зарайскому, родственнику инокини Софьи. Теперь нам нечего бояться, самое трудное мы одолели.

Изба наместника в два яруса с высоким крыльцом посередине, к которому с двух сторон великыя крытые лестницы. Окна избы украшены резными наличниками, а охлуп [87] — русалкой с чешуйчатым хвостом. Ко второму ярусу прилепились крошечные башенки.

Данилу Ивановича Ляпунова, рослого и сурового на вид, гости застали в небольшой и небогато обставленной горнице. Он вопросительно глянул на вошедших.

— Мы пришли из Суздаля с грамотой от инокини Софьи.

Наместник распахнул дверь и зычно позвал:

— Евлаша!

Тотчас в горнице показалась жена его, двоюродная сестра Соломонии.

— Тут тебе весточку от Соломонии принесли. Евлампия засуетилась, поудобнее усаживая гостей, неловко приняла грамоту, повертела в руках и передала мужу.

— Стара стала, буквиц разглядеть не могу. Ты уж почитай мне, Данилушка.

Данила Иванович сорвал с грамоты печать и, сдвинув густые брови, начал читать. Вскоре

лицо его пошло пятнами, руки задрожали.

— Что-нибудь случилось, Данилушка?

— Да нет, ничего пока не случилось. Я тебе потом всё расскажу. — Наместник подошёл к Марфуше, пристально уставился на спящего Георгия. Потом заговорил непривычно мягким и ласковым голосом: — В грамоте велено мне позаботиться о вас. Сегодня же плотники начнут рубить вашу избу. Пока же вы у нас поживёте седмицу. Евлаша вас и накормит, и напоит.

Новая изба получилась на славу. Она состояла из двух покоев. В первом громоздилась печь, топившаяся по-чёрному. Второй, задний покой, или горница, был в полтора раза больше первого. В избе стоял духовитый запах свежеструганого дерева. Вокруг дома возвышался забор из вбитых в землю заострённых в верхней части брёвен. Возле забора строители соорудили погреб для хранения снеди.

Счастливые новосёлы обошли все постройки, любовно расставили по избе столы и лавки. Выглянув в раскрытое оконце, Марфуша заметила гостей.

— Никак Данила Иванович с тётушкой Евлампией идут. Пойдём-ка их встречать.

Наместник провёл через распахнутые ворота резвого коня.

— Вот тебе, Андрей, верный друг. Будешь любить да холить, из любой беды выручит.

Следом показалась Евлампия. Она вела чёрную с белыми пятнами корову. По старинному крестьянскому обычаю Марфуша до земли поклонилась корове со словами:

— Матушка-корова, на старый двор не ходи, у нас живи!

Андрей удивлённо глянул на жену: ну откуда бы монастырской затворнице знать крестьянские обычаи? Между тем слуги посадника принесли всякую снедь, впустили во двор кур, свинью и козу.

Едва наместник с посадницей ушли, Марфуша заволновалась:

— Андрей, живности у нас цельный двор, а вот чем кормить её будем? Да у нас вся живность с голоду ноги протянет! Ты бы хоть травы накосил.

— Какая ты у меня заботливая! — Андрей, подхватив Марфушу, стал целовать её.

— Пусти, пусти, не слышишь, корова хозяйку зовёт? — Лёгкая Марфушина рука нежно гладила его по спине.

Андрюха схватил мешок и хотел было побежать на луг, но тут в ворота постучали.

— Эй, хозяева, пустите на одну ночку переночевать! Марфуша выглянула за ворота и рассмеялась, увидев Парашу и Григория рядом с возом сена.

— А мы прослышали, что у вас живности полон двор, и решили помочь сенцом.

Марфуша кинулась обнимать подругу. Андрей с Григорием степенно поклонились друг другу, коснувшись рукой земли.

Дел в новом доме было немало. Бабы подоили корову, накормили живность, вымыли полы, а потом принялись готовить еду для мужиков. У тех свои дела: коня осмотрели, загоны построили. Андрею было любо смотреть, как ловко молчаливый Григорий работает топором,

очищая жердь для загона. Он делал всё основательно, как будто для самого себя. Глядя на него, Андрею стало так хорошо, что комок подступил к горлу.

— Спасибо тебе, Гриша, — сказал он, взяв его за руку.

— Чего там, — Григорий смущённо глянул Андрею в глаза, — у нас здесь все друг другу подсобляют, потому как живём всегда по суседству с бядой.

— Эй, мужики, куда вы запропастились? Идите-ка за стол.

После трапезы завязалась беседа. Хозяева рассказали о злоключениях, выпавших на их долю по дороге к Зарайску.

— А однажды нам пришлось заночевать в лесу. Шли, шли и ни одной избушки за целый день не встретили. Темно стало. Мы залезли под ёлку, прижались друг к другу и затаились. Андрей уснул, а у меня от страха зубы стучат. Вдруг вижу: в небе огненная птица показалась. Села на верхушку соседнего дерева, потом прыг да скок, стала все ниже и ниже спускаться. Ну, думаю, не иначе как жар-птица пожаловала. Толкнула локтем Андрея. Тот проснулся да понять ничего не может, думал, ему всё ещё сон снится. А птица совсем уж близко. Осторожно так к нам подкрадывается. Тут Андрей выскочил из-под ёлки, чуть-чуть не схватил её за крыло, да жар-птица ловчей его оказалась: вспорхнула и улетела.

— Надо же, — восхищённо произнесла Параша, — а я думала, жар-птицы только в сказках бывают. Счастливые вы: саму жар-птицу видели да чуть было не добыли её. А со мной однажды вот что приключилось. Иду как-то под вечер из лесу. Вдруг слышу, скрипнуть что-то, скрип да скрип. Я перепугалась и припустилась бежать. Бежала, бежала, аж задохлась. Только встала дух перевести, а рядом как скрипнуть! Я так и обомлела. Опять побежала. До самой опушки как на крыльях летела. Ну, думаю, теперича меня скрип-скрип не догонит. Остановилась я, хотела отдышаться. А тут опять как скрипнуть! Помнилось, конец мне пришёл. Вознамерилась бежать, а ноги как тряпичные, ни взад ни вперёд. Домой чуть не на карачках приползла.

— Нашла чего бояться, — добродушно улыбаясь, вмешался в разговор Григорий, — в лесу всегда есть деревья, которые скрипят. Старухи бають, будто в тех деревьях душа человеческая мучится. Ежели кто срубит скрипучее дерево, душе негде будет жить, и она может изувечить или даже сгубить того человека.

— Не дай Бог, ежели скрипучее дерево положено в стену новой избы. — Параша испуганно осмотрелась по сторонам.

Андрей кашлянул.

— Ой, он уже кашляет! В вашей избе наверняка есть скрипучее дерево.

Андрей рассмеялся.

— Да я понарошку кашлянул, хотел тебя испугать.

Параша недоверчиво посмотрела на него.

— А ещё бають, — продолжал Гриша, — ежели на дереве наросты есть, то у кого-то из семьи обязательно появятся колтуны [88]. А вот когда избу построить из дерева со снятой корой — скот будет падать. Когда же избу сложить из сушины — в семье заболеют сухотами [89].

— Ещё страшней, — перебила Гришу Параша, — ежели избу сложить из деревьев, бурей поваленных: обязательно изба загорится или развалится во время грозы. Когда мы поехали к вам, Гринькина матушка строго-настрого приказала положить вот это в передний угол. Тогда

ничего с вами не приключится.

Параша достала что-то завёрнутое в тряпицу и положила в красный угол.

— Ну, нам пора. Благодарим хозяев за хлеб да соль. Будьте счастливы в новом доме.

Гости уехали. Марфуша с Андреем уселись на крыльце своего дома, прижались друг к другу. Где-то далеко звучала песня. Это молодые девушки и ребята вышли в поле провожать закат солнца [90]. Вечер пришёл росный, прохладный. Крупные звёзды высыпали в тёмном августовском небе. Пахло спелыми яблоками.

— Смотри, Андрюшенька, звезда с неба упала?

— Ты что-нибудь загадала?

— Я подумала о том, чтобы всю жизнь, до конца дней наших, было бы нам так же хорошо, как нынче!

Глава 11

Спустя ровно год, в августе 1527 года, через Зарайск проследовали послы крымского хана Саадат-Гирея. Они вели себя развязно и надменно. Глава посольства Чабык с любопытством рассматривал стены крепости.

— Не к добру то, — тихо промолвил Данила Иванович, — теперь жди непрошенных гостей.

— Может быть, обойдётся, — попытался успокоить его Андрей.

— Вряд ли. Знаю я этих татар. После того как Мухаммед-Гирей захватил Астрахань, они опять подняли голову. Правда, ногайские князьки, помогавшие Мухаммед-Гирею, вскоре изменили ему. Прикончив хана, они вторглись в Крым и разорили его. Да ныне в Крыму укрепился брат убиенного Саадат-Гирей. Требует он от великого князя Василия Ивановича уплаты шестидесяти тысяч алтын да покоя для казанского хана Сагиб-Гирея. Государь, думается мне, не согласится ни на то, ни на другое. А потому прихода татар нам не миновать.

И в самом деле, через две седмицы тревожные огни запылали в степи, а утром к дому наместника на взмыленном коне примчался воин из полевой охраны.

— Беда, Данила Иванович! Племянник хана Саадат-Гирея Ислам-Гирей с большой силой идёт на Русь. Мне едва удалось уйти от татарского разъезда.

Наместник круто повернулся к Андрею.

— Ты ведь в Москве жил и знаешь, поди, московских воевод. Поспешай, друже, в Коломну, там сейчас наша рать должна быть. Передай большому воеводе грамоту да и устно скажи: татары близко! Чует моё сердце, сюда направляется главная вражья сила. Мы тут продержимся — сколько сможем.

Каждую весну, лишь только южные окраины Русского государства становились доступными для конных набегов татар, значительные силы собирались на Оке на «береговую службу». В Серпухове, Калуге, Кашире, Коломне и Алексине располагались русские полки: большой,

правой руки, левой руки, передовой и сторожевой. Если татарского набега не случилось, эти полки стояли в указанных местах до глубокой осени, пока распутица не являлась им на смену посторожить Русь от внешних врагов.

В Луков день [91] Андрей подъезжал к Коломне. Ещё издали он увидел каменные стены кремля, возведённые лишь наполовину [92]. К крепости примыкали многочисленные слободки посада. Миновав их, всадник оказался перед воротами, возле которых толпились ратники.

— Эй, вой, как мне проехать к большому воеводе?

— А пошто тебе? — ответил рослый ратник, с любопытством оглядывая Андрея.

— У меня к нему срочное дело.

— Татары, что ли, пожаловали?

— Они самые.

— Давненько их ждём. А ты сам-то откуда?

— Из Зарайска.

— Дня через два будут здесь, окаянные.

Ратники загалдели, обсуждая новость, и, казалось, забыли о гонце.

— Так как же мне проехать к большому воеводе? — напомнил о себе Андрей.

Ему ответил ратник, державший в поводу небольшого лохматого конька. Огромные усы придавали ему суровый и даже устрашающий вид.

— Поезжай, друже, прямо, пока по правую руку не повстречаешь двор воеводы Ивана Бельского. Завернёшь за угол и увидишь Девичий монастырь. Только в том монастыре доброму молодцу делать нечего: жительствоует в Девичьем монастыре брадатая братия. Недалече от монастыря стоит владычин двор. От него рукой подать до государева двора. Минуешь его, тут тебе и будет двор большого воеводы. Спросишь воеводу Фёдора Васильевича Лопату. Он вчера приехал от великого князя из Коломенского.

Поблагодарив воя, Андрей тронул коня. Вскоре он увидел большие хоромы со множеством пристроек. Большинство этих пристроек пустовало, а сами хоромы были запущенными, ветхими. Повернув за угол, Андрей приметил монастырскую ограду, за которой конному человеку был виден десяток убогих келий. А вот и двор коломенского епископа, окружённый заметом [93]. За заметом была брусая изба, а рядом с ней амбары, сараи, конюшня.

Чуть дальше Андрей обнаружил государев двор с обширными хорами. Проезжая мимо него, гонец подивился столовой брусаяной избе, сложенной из огромных брёвен, что придавало особую внушительность всей постройке. Брусаяная изба стояла на подклети. В неё вели сени, перед которыми помещалось красное крыльцо с шатровым верхом. Переходы вели в сложенный из дубовых брёвен летний светлый покой с двумя десятками больших окон. Под ним находилась каменная палата, а перед ней — другое красное крыльцо с тремя шатровыми верхами. Брусаяная изба и летний покой были окружены строениями, соединёнными переходами. К хоромам примыкала дворцовая церковь.

Двор большого воеводы Андрей узнал по скоплению людей воинского чину. Одни выходили из хором, другие входили, поспешно бежали к лошадям гонцы. Звенело оружие, всхрапывали пришпоренные лошади. Андрей растерянно остановился посреди двора, намереваясь спросить кого-нибудь, где ему отыскать воеводу. Но тут на высоком крыльце показалась

толпа нарядно одетых людей, среди которых Андрей признал Ивана Овчину, которого нередко видел вместе с Василием Тучковым. Лил проливной дождь, а он, словно не замечая его, нёс в правой руке блестящий шлем. Рядом с Иваном грузно шагал его двоюродный брат Фёдор Васильевич Лопата. На нём были латы, поверх которых накинут охабень [94] из дорогого шёлка розовой окраски, отороченный горностаевым мехом. Сбоку висели меч, лук и колчан со стрелами. Воеводы продолжали беседу, начатую ещё в хоромах. До Андрея доносились обрывки слов.

— Великий князь повелел узнать, в каком месте Ислам намерен перелезть Оку. К тому месту тотчас же должны устремиться полки из Каширы и Коломны. Так ты бы, Иван, послал людей проведать наши заставы на перелазах, пускай не дремлют. Враг вот-вот должен объявиться.

Лицо у старого воеводы, помеченное шрамом, озабоченное, хмурое. Иван, напротив, улыбочив и как будто доволен приближением драки.

— Не так-то легко будет Исламу перелезть через Оку, прибыльной воды в реке многовато.

— Что верно, то верно, видать, Бог нам помогает, третий день подряд льёт как из ведра, оттого и вода в реке поднялась. И всё же, надеясь на Бога, нужно и самим не плошать. Надлежит нам укрепить Коломну — так повелел Василий Иванович. Сегодня же прикажи всем посажанам перебираться в город. Перелезет Ислам через Оку, они могут не успеть засесть в крепости.

Взгляд воеводы остановился на Андрее, который тотчас же шагнул вперёд.

— Чего тебе, молодец?

— Я гонец зарайского наместника. Данила Иванович просил срочно передать грамоту.

— Грамоту я потом прочту. Татар видел?

— Когда выезжал из Зарайска, они приближались к городу.

— Выходит, дня через два враги выйдут к Оке. Мы должны точно узнать, где Ислам намеревается перелезть реку. Слышишь, Иван?

— Сегодня же пошлю за Оку воев проведать, где татары и куда они путь правят.

— А можно мне с воями отправиться за Оку?

— Куда тебе? Отоспись прежде. — Старый воевода с сожалением смотрел на Андрея.

— Мне в Зарайск позарез нужно.

— Ты послужильцем у Тучковых служишь. Так ведь? — Иван пристально глянул Андрею в глаза. Тот, удивлённый памятью молодого воеводы, кивнул головой. — Что за нужда гонит тебя в Зарайск?

— Жена у меня там.

— Ах вон оно что... Понять тебя можно, добрый молодец, но разрешить возвращаться в Зарайск я не могу. Понимаешь: татары там повсюду рыщут. Говорят, тыщ пятьдесят ведёт Ислам к Оке. — Фёдор Васильевич тяжело вздохнул. — Поедешь — обязательно угодишь в полон или смерть примешь. Так что лучше тебе побыть пока здесь. А как разобьём врагов, скатертью дорога, скачи к своей милой в Зарайск.

Андрей, понуря голову, покинул двор воеводы.

— Что приуныл, друже? — услышал он знакомый голос. Рядом стоял усатый ратник, который давеча подробно рассказывал ему, как найти двор главного воеводы.

— Спешил я из Зарайска с вестью о приходе татар, намеревался сразу же обратный путь держать. Воевода же говорит: поживи здесь. А у меня душа болит за жену с дитем малым. Как-то они там, в Зарайске?

— Не тужи, друже, может, всё обойдётся. А воевода тебе правду молвил: минуя татар, в Зарайск не проехать. Да что же мы стоим? Пойдём со мной, у костерка покалякаем.

Они вышли за пределы крепости. Здесь, на берегу Оки, расположилась конница — главная сила русского войска. В середине лагеря стояли нарядные шатры начальных людей. Ратник, с которым познакомился Андрей, жил в шалаше, сплетённом из ивовых прутьев. Поверх прутьев был наброшен войлок.

Хозяин извлёк из шалаша сухие щепки, трут, медный котёл и мешок с мукой. Долго раздувал огонь — нудный холодный дождь мешал заняться ему. Но вот щепки всё же разгорелись. Ратник поставил на огонь котелок с водой, затем бросил в воду головку лука и горсть муки.

— Меня Афоней кличут, — представился он, помешивая болтушку деревянной ложкой.

— А меня Андреем, — отозвался гость и посетовал: — Когда только лить перестанет?

— Дождь для нас благо. Вишь, как Ока вздулась? Татарам не так-то легко будет одолеть её. Ты, видать, с татарами никогда в бою не сходилась?

— Ни разу не доводилось. А тебе, Афоня?

— Да почитай, каждый год, как на службу пошёл. Если не с крымцами, то с казанцами. Три года назад ходил на Казань.

— С Овчиной?

— Не, воеводой у нас Иван Фёдорович Бельской был. Да ты ешь, дорогой, не стесняйся. Мы, вой, снedyю не избалованы. Чем богаты, тем и рады.

Андрей взял протянутую ложку и только тут осознал, как он проголодался. Нехитрое варево показалось ему очень вкусным.

— Ты бы, Афоня, рассказал, как на Казань ходил.

— Коли охота, слушай... Сели мы в Нижнем Новгороде на суда и поплыли к Казани. Воевода Хабар Симской с конницей выступил сухим путём, а Иван Палецкий должен был следом за нами идти на судах, в коих везли наряд [95] да снedyю. Прибыли мы на место, разбили стан у Гостиного острова и три седмицы ждали, когда придёт конница. А её всё нет и нет. Тут татарам на беду занялась огнём деревянная стена Казань-города. Нам бы воспользоваться этим, ан нет: воевода Бельской сидит как пень-колода и ни туда и ни сюда. Лишь в конце июля приказал перенести стан на берег Казанки. Между тем конница как в воду канула. Да и судов с нарядом и снedyю нет. Прокормиться же на месте не стало никакой возможности: черемисы опустошили всё вокруг и нападали на ратников, пытавшихся добыть еды.

— Да куда же конница и суда с нарядом запропались?

— А вот слушай. Рать Хабар Симского дважды боролась с татарами на Свяиге и оба раза их одолела, вот и припозднилась. До нас же дошёл слух, будто конница разбита и ждать её не

след. От этого слуха большое брожение приключилось среди ратников. Многие упали духом и говорили: нужно отступить от Казани. Князь Бельской так и хотел сделать, да тут конница подоспела. Тогда Бельской всё же решил воевать Казань, велел обложить город. Татарва отстреливалась, да нам опять повезло: кто-то пушкаря ихнего уколошил. А был тот пушкарь, говорят, единственный на всю Казань. Тут казанцы мира запросили, поклялись сейе час отправить послов в Москву с челобитьей. Бельской уши развесил да и поверил им, велел снять осаду. А в народе трезвонят, — Афоня заговорил в самое ухо гостя, — будто переметнулся Бельской на сторону татар.

— Да как же так можно?

— А вот как. Кое-кто видел, будто казанцы послов тайных снарядили к Бельскому. Те пообещали ему много дорогой казны, ежели он не причинит их городу большого вреда. Вот он и поспешил отступить от Казани.

— Не верится мне, — раздумчиво возразил Андрей, — ведь всё у человека есть: и власть и богатство. Великий князь ему вон какую честь оказал! Да к тому же и русский он, за землю свою должен стеной стоять.

— Эх, мил человек, богатство, оно как хмельная брага: чем больше пьёшь, тем сильнее пить хочется. Оттого, наверно, бояре и падки на казну. И дела им нет, откуда та казна: от великого ли князя русского, от литовского ли господаря или казанского царя, им всё равно. Ох, заболтались мы с тобой, Андрюха! Глянь, почти все уже спят. И нам пора. Перед дракой с татарами надо обязательно хорошенько выспаться.

Наутро по-прежнему лил дождь. Ратники сидели по шалашам, лениво переговариваясь, и, если бы не вереница посажан, устремившихся к распахнутым воротам крепости, можно было подумать, что никакой опасности не существует. К полудню поднялся ветер. Он растрепал набухшие от воды облака, и между ними проглянуло бирюзовое, сочное, словно тщательно отмытое перед праздником небо. А когда появилось солнце и на дальних косогорах чистейшим золотом засияли клёны и берёзы, стало совсем празднично. Глядя на эту красоту, Андрей никак не мог представить себе, что там, за речными лесами, спешат к Оке жестокие и жадные вороги.

— Не могу я так больше, Афоня, душа совсем истерзалась. Поеду к своим в Зарайск!

— Куда же ты, друже, поедешь? Да тебя сразу же татары прикончат или в полон возьмут. Их ведь тьма идёт!

— Завижу татар, под кустом отсижусь. Мало ли в лесу тайников, где схорониться можно!

— У татар леса и впрямь не в чести. Только ведь до Зарайска путь по открытым местам лежит. А в чистом поле от врагов не схоронишься. Хорошие леса лишь в начале пути от Коломны до Луховиц тянутся. Дальше же только изредка попадаются.

— Так я сторожко поеду. К тому же и путь предстоит недалёкий. За полдня одолеть можно.

— О том подумай ещё, Андрюха: ну явишься ты к своим в Зарайск, а дальше-то что? Неужто один оборонишь жену с дитем от тьмы врагов?

— Поеду я, Афоня! — упрямо мотнул головой Андрей — Будь что будет. Прощай!

— Прощай, друже. Вижу, не отговорить тебя ничем. — Серые глаза Афони смотрели из-под густых бровей жалостливо, по-доброму. — Авось когда свидимся.

— Доведётся проезжать Зарайском, разыщи мою избу, рад буду тебе, Афоня! — Андрей взметнулся в седло, махнул рукой другу и устремился к перелазу через Оку.

За Окой начинался большой путь к Переяславлю-Рязанскому [96]. Год назад, когда они с Марфушей шли к Зарайску, этот путь поразил их многолюдством, шумом. Взад и вперёд катили возы со всякой всячиной, шли монахи и монахини, калики перехожие, крестьяне из окрестных селений. Сегодня же было совсем не то. И хотя в сторону Коломны катили телеги с беженцами и убогим скарбом, а в придорожных кустах то и дело мелькали головы торопливо шагнувших людей, чуткая тишина царила вокруг. Стоило хрустнуть сухой валежине, звякнуть подкове, как люди испуганно вздрагивали, оглядывались и пристально всматривались в даль, готовые в любое мгновение юркнуть в лес. Они с удивлением рассматривали одинокого всадника, направлявшегося в противоположную сторону, откуда вот-вот должны были показаться татары.

Чем дальше ехал Андрей, тем меньше попадалось ему беженцев. Безлюдными были придорожные селения. Хозяева покинули свои избы и притаились в лесной чащобе, среди болот, куда можно было пробраться только по трудно проходимым, едва заметным тропкам. От этого безлюдства и чуткой тишины всаднику стало не по себе. Но вот и Луховицы. Переяславль-Рязанская дорога надвое рассекла это шумное село. Ныне же в домах ни души, на дверях церкви — увесистый замок. Заслышав цокот копыт, луховицкие собаки устроили переполох.

Миновав Луховицы, Андрей повернул направо. Дорога на Зарайск была совсем безлюдной, лошадиные ноги вязли в грязи, пришлось держаться дерновины. Выметнувшись на высокое место, он вдруг оторопел. Внизу, насколько видели глаза, ползло нечто тёмно-бурое, ужасное в своей неотвратимости. Казалось, будто огромная змея распростёрла своё жирное тело с севера на юг. Головы и хвоста змеи не было видно, они находились за краем неба. Словно зачарованный смотрел Андрей, как движется татарская конница. Она шла по открытому месту, огибая лес.

«Напрямик к Оке прут. Хотят перелезть через реку выше Коломны. Проведали ли о том воеводы?»

Размышления его прервал странный звук, как будто кто-то тоненько свистнул над самым ухом. Оглянувшись, Андрей увидел троих татар, натягивавших тетивы луков. Не раздумывая, пришпорил коня. Тот рванулся под уклон, где татарские стрелы не могли их достать, затем повернул налево и устремился к ближнему лесу.

«Спасибо тебе, Данила Иванович, хорошего коня подарил. Коли б не он, не уйти бы мне от ворогов».

То, что Андрей принял за лес, оказалось небольшой рощицей, довольно редкой. Проехав две версты, он очутился на опушке, откуда виднелся настоящий лес, в котором можно было укрыться от татар.

Андрей осторожно тронул коня, но в это время неведомая сила вырвала его из седла, повлекла по кочкам и лужам. Перед глазами мельтешили копыта лошади. Вот она встала, татарин соскочил на землю, наклонился над пленником, зацокал языком:

— Якши, бик якши [97], урус!

Подъехал второй татарин, поймавший Андреева коня. Оба были довольны добычей.

— Вставай, урус!

Андрей, пошатываясь, поднялся. Татарин накинул ему на шею петлю, тронул коня.

Вечерело, когда они прибыли в какое-то селение. Андрея толкнули в сарай, наполненный людьми.

— Ещё кого-то привели нехристи, — слышалось в темноте. — Ты откуда будешь, полоняничек?

— Из Зарайска я.

— А говоришь не по-нашенски, не по-рязански.

— До Зарайска в Москве жил.

— То-то, что в Москве. Мне сразу же подумалось, что оттелева ты. Сам я из Венева-городка родом.

— Слышь, рязанец, а далеко ли отсюда до Коломны?

— Да вёрст сорок будет.

— Господи, Господи, за что ты караешь меня, грешного? За что посылаешь мне столь тяжкие испытания? — Голос был старческий, жалобный, со слезой.

— Не одного тебя, старче, карает Господь Бог. Вона сколько нас тут набилось.

— Никому из вас, сердешные, не выпало столько горя, сколько мне испытать пришлось. Шесть лет назад приходил на Русь царь Магмет. Помните ли то нашествие?

— Помним, старче.

— Как не помнить!

— Так в ту пору я в Коломне жил, в Свищовской слободке. Там что ни двор, все плотницкий. Струги мы рубили. Отлучился я, сердешные, за город, лес нужно было привезти, а татары тут как тут. Схватили меня и уволокли в свой поганый Крым. Уж чего только я там не натерпелся! Туда нас, русских, видимо-невидимо пригнали. Многих в Кафе в неволю продали, в туретчину или ещё куда, где русскую речь вовек не услышишь. Вот и я был продан купцу-турку. Посадил он меня на судно за вёсла. Да тут буря налетела. Судно наше на скалу швырнуло, оно и потопло. Чудом выбрался я на берег и устремился на Русь святую. Сколько всего перетерпел, чтобы её увидеть! И вот после шести лет скитаний пришёл я на Рязанщину. Как глянул на маковки церковные, аж прослезился. Иду- и всему-то душа радуется: и русской речи, и летнему дождю, и избам, и плачу дитяти. До родной Коломны всего лишь сорок вёрст осталось. И на тебе: опять в татарский полон угодил! Видать, судьбина у меня такая: подохнуть подобно бездомной собаке на чужбине.

В наступившей тишине слышны были всхлипывания коломенского плотника.

— Да не плачь ты, сердешный, — заговорил рязанец, — может, всё обойдётся. Бывает, великий князь выкупает полоняников. А иные сами из полона убегают.

— Когда я был помоложе да посильнее, тоже всё надеялся из полона вырваться. А теперь-то разве по силам мне убегнуть из Крыма? Ой, горе мне, горемычному...

— Хватит, старче, причитать! — строго прозвучал молодой голос. — Не зря говорят: утро вечера мудренее. Придёт утро, там посмотрим, как быть. За шесть лет после нашествия Магмета мы, русские, многому научились. Слышал я, хорошие поминки приготовлены для Ислам-Гирея на Оке. Так что рано нам с жизнью прощаться.

Наутро после поднесеньева дня [98] на берегу Оки под Коломной взревели трубы и сурны [99], загрохотали литавры. Воины повыскакивали из своих укрытий, стали поспешно вооружаться да снаряжать лошадей. Никто толком не знал, чем вызвана тревога. Ясно было одно: татары близко. Но где они?

В окружении небольшой свиты из ворот крепости выехал Иван Овчина и направился к конникам. Воевода весело улыбался, и при виде его спокойной улыбки у многих воинов отлегло от сердца.

— Что, молодцы, заждались дорогих гостей?

— Ой заждались, воевода!

Афоня ухмыльнулся: всегда среди воинов отыщется острословец, готовый поддержать шутку начальника.

— А хорошо ли столы накрыты?

— Лучше некуда! Так и ломятся от изысканных яств.

— Зря старались, хозяева. Вои Фёдора Мстиславского ловчей вас оказались. К ним и пошли гости дорогие.

— Так у них и есть-то нечего, воевода!

— А мы поможем воям Фёдора Мстиславского накормить гостей так, чтобы им после обеда земля стала пухом! Вперёд, други!

Вновь взревели трубы и сурны. Конница устремилась по берегу Оки к перелазу под Ростиславлем. Там вовсю уже кипел бой. Воины Фёдора Мстиславского, молодого ещё воеводы, год назад отъехавшего на Русь из Литвы, храбро бились с наседавшими на них татарами. Весь противоположный берег реки до самого края неба был тёмным от скопления всадников. Казалось, будто грязно-бурый поток вливается в Оку. Те, кто только что зашёл в воду, не могли уже повернуть назад, напором сзади их несло сначала на середину реки под ливень русских стрел, а затем дальше, к левому берегу реки, где шла жестокая сеча. Звенело оружие, вопили раненые, надрывно ржали перепуганные кони, лишившиеся седоков. Не сразу можно было заметить, что татары постепенно оттесняют русских всадников, стоявших в воде, к берегу.

Прибывшие из Коломны ратники Ивана Овчины натянули луки и стали осыпать неприятеля стрелами, а когда стрелы кончились, пошли на подмогу тем, кто бился в воде.

Афоня рубился недалеко от Овчины и дивился тому, как ловко молодой воевода справляется с татарами. Его меч без усталости разил их. Да только незаметно было, что ворогов убыло. Много трупов плыло вниз, к Коломне, но всё новые и новые всадники сходили с берега в воду. Высокая вода мешала татарам быстро преодолевать реку, и это было на руку русским.

К полудню подоспела подмога со стороны Каширы, но лишь к вечеру татары повернули восвояси.

С наступлением дня в сарае посветлело, и Андрей смог рассмотреть полоняников. У коломенского плотника, сидевшего с закрытыми глазами, лицо измождённое, жёлтое, волосы

седые. Рязанец устроился в своём углу домовито, как будто татарская неволя его не особенно пугала. Но больше всех Андрея поразил широкоплечий молодец, сидевший рядом с рязанцем. Лицо у него открытое, смелое, а глаза какие-то странные, словно он давным-давно знаком со всеми обитателями сарая и хорошо знает свойственные им слабости. Потому, наверно, хотя и был он самым молодым, если не считать Андрея, все относились к нему с почтением.

— Ты бы, мил человек, рассказал нам о себе, — любопытствовал рязанец.

— А что обо мне рассказывать? Елфимом меня кличут. Из Заволжья я. Жил в поместье московского боярина Василия Шуйского да утёк от него.

— Пошто утёк-то?

— Красного петуха ему подпустил, вот и пришлось в леса податься. Из заволжских лесов сюда, в рязанские места, решил уйти. Сказывали, будто по соседству с Полем бояре не так своевольничают.

— Раньше, мил человек, в рязанских местах повольнее жилось, потому как земли свободной, никем не занятой, много было. А ныне совсем не то стало. Великий князь свободные-то земли норовить своим служилым людям роздать. В прошлом году прибежал к нему на службу от Жигимонта князь Мстиславский, так ему в наших рязанских местах немало вотчин перепало. В том граде, где я живу, в Веневе, вотчины у него на посаде и около посаду.

— Вот и я так же мыслю: мало стало воли по соседству с Полем. К тому же и крымцы донимают. Бежал я от боярских оков, угодил в оковы татарские.

— За что же ты петуха-то боярину своему подпустил?

— А вот за что. Позапрошрое лето, коли помнишь, сухменным было. Ни в поле, ни на огороде ничего не уродилось. Народ от голоду помирать стал. А боярский тиун своё гнёт: дать-подать боярину жита. Люди ему говорят: нешто не видишь, что с голодудохнем, креста на тебе нет! А он в ответ: не для себя собираю, а для боярина, не соберу подати, мне Шуйские голову сымут. Тут людишки совсем обозлились, боярские житницы открыли да и взяли жита себе на прокорм. Не успели поесть как следует, скачут из Москвы блюдолизы боярские. Кого в поруб побросали, кого плетьюми выпороли. Тогда-то я и ушёл в лес.

— Смелый ты, видать. А ну как кто на тебя донесёт?

— Уж не татарам ли? Вперёд выбраться отсюда нужно.

— Тише вы там! — заволновался коломенский плотник. — Нешто не слышите, шум какой-то?

— И впрямь шумят где-то. Андрюха, что там в щёлочку-то видать?

— Татары сюда скачут.

— Чует моё сердце, быть беде!

— Да перестань ты, верста коломенская, скулить! Послушай лучше, о чём они там кудахчут. Или татарскую речь в полоне не усвоил?

— Усвоил, усвоил, любезный... О, горе нам, горемычным!

— Чего опять прослезился?

— Да они... они хотят нас живьём спалить!

Все насторожились. Андрею в щёлку было видно, как татары, спешившись, торопливо таскали из ближнего стога к стенам сарая солому.

— Торопятся, окаянные. Что же нам делать-то?

— Солому запалили!

— А ну, ребяташки, навалимся дружно на дверь! — приказал Елфим.

Под тяжестью тел дверь закрипела, но не поддалась. Через щели повалил едкий дым. Татары, видать, чуяли, что полоняники попробуют выломать дверь, поэтому запалили сарай со стороны входа. Вот уж не дым, а языки пламени начали проникать в сарай.

— Чтоб вам самим сгореть в геенне огненной, душегубцы! Елфим тронул Андрея рукой.

— Давай попробуем разобрать крышу.

— Достанем ли?

— А ты становись мне на плечи.

Андрей взобрался на Елфима, упёрся руками в тесину. Напрягся так, что в глазах потемнело. Скрипнули гвозди, тесина приподнялась. Вторая подалась легче. Через образовавшуюся дыру проник свежий воздух.

— Лезь на крышу и тащи полоняников. Я их тебе подавать буду. Коломна, ты где?

— Тут я.

— Лезь на крышу!

— Боюсь я, боюсь...

Елфим легко приподнял коломенского плотника, подал его Андрею. Так вытащили на крышу всех полоняников. Елфим выбрался из сарая последним.

— Куда татары-то запропалились?

— Ты, рязанец, видать, сильно соскучился по ним! Прыгай подальше в лужу. В солому не угоди, Коломна!

Не успели очухаться, слышались громкие крики, топот множества лошадей. Из-за ближней рожицы показались всадники.

— Наши, наши едут! — радостно завопил рязанец. Впереди на резвом рыжем с белыми ногами коне ехал воин в блестящем шлеме. Присмотревшись, Андрей признал в нём воеводу Ивана Овчину. Сзади на татарском гривастом коньке скакал знакомый усатый ратник.

— Афоня!

Воин, услышав крик, подъехал к Андрею.

— Вот уж не ждал увидеть тебя здесь, друже! Думал, в Зарайске ты. Рад, что живым остался и в полон к татарам не угодил. Очень тревожился за тебя.

Андрей смущённо хмыкнул.

— Чуть было живьём не спалили нас в сарае. Вовремя вы прогнали нехристей, иначе не быть

бы нам живу.

— От татар милости ждать не приходится. Дали мы им по мослам на перелазе под Ростиславлем, не скоро очухаются. А теперича к твоему Зарайску путь правим. Ежели дальше, на Дон, не пойдём, погощу у тебя. А пока прощай.

— Прощай и ты, Афоня! — Андрей повернулся к Елфиму — Эх, жаль, татары коня увели, придётся пешим домой возвращаться. А ты, Елфим, куда пойдёшь? Может, по пути нам?

— Нет, Андрей. Ворочусь я к Оке, она тут недалече, спушись по ней до матушки-Волги. Там, говорят, воли побольше. Да к тому же и казанцы посмирнее крымцев. Так что прощай, друг.

Глава 12

Вечером следующего дня Андрей подходил к Зарайску. Ещё издали он увидел церковь Николы, одиноко торчащую из безжизненной черни пожарищ. Через пролом в стене прошёл на пепелище. Странная тишина, прерываемая лишь вороньим граем да печальным скрипом качающейся на ветру двери, встретила его. Возле церкви вперемешку лежали тела русских воинов и татар. В тени церковной ограды Андрей обнаружил несколько полуобгорелых обнажённых женских тел. Среди них было тело наместницы Евлампии. По-видимому, женщины закрылись в каменной церкви. Татары долго не могли проникнуть внутрь и стали швырять через окна горящие поленья и доски.

Не найдя возле церкви тела Марфуши, Андрей поспешил к своей избе. Там, где она стояла, валялись чёрные головешки. Среди множества трупов лежало тело Данилы Ивановича, израненное во многих местах. Губы наместника плотно сомкнуты, некогда сильная рука продолжала сжимать меч. Рядом распростёрся воин в хорошо знакомой синей рубахе.

— Гриша, славный друг мой! — тихо простонал Андрей. Слёзы полились из его глаз.

Григорий лежал, раскинув руки, и словно удивлялся чему-то неведомому. Андрей никак не мог поверить в его смерть. Ему всё казалось: Гриша крепко уснул, утомлённый боем, но вот-вот откроет глаза и посмотрит на него добрым, немного смущённым взглядом. Холодный сентябрьский ветер шевелил мягкие русые волосы. Андрей протянул руку, намереваясь погладить их, и только тут заметил тело Параши. Правая рука её обнимала шею мужа, а левая сжимала рукоятку острого кинжала, кончик которого обозначился на спине, окружённый красным пятном.

Сражённый горем, Андрей в беспамятстве повалился на землю. Очнулся он то ли от прикосновения чьей-то руки, то ли от обращённого к нему старческого голоса.

— Что же ты стонешь? Поди, раны покоя не дают. Хорошо хоть, что очухался, когда эти злыдни утекли в свой поганый Крым, а то бы и тебя прикончили. Теперича с Божьей помощью отхожу травами.

Андрей приподнял голову и увидел мать Григория с растрёпанными волосами, с блуждающим взглядом. Горький комок подступил к горлу.

— Молоденький ещё совсем, моложе моего Гришутки... Да ведь это никак Андрюшка? Где рана-то твоя, добрый молодец?

— Нет у меня, тётя Мокрида, никакой раны. Душа моя надрывается при виде всего этого.

— А у меня уж и слёз нет, — сурово произнесла мать Григория, — вчерась все слёзы выплакала. Хотела вот Гришутку с Парашей земле предать, да сил не хватает: ни поднять, ни потащить не могу.

— Ты-то как спаслась, тётя Мокрида?

— Уж лучше бы мне умереть вместе со всеми и не видеть ничего. Я уж давно свою смертушку повстречать хочу. Позапрошлой зимой приказала Гришутке домовину [100] мне сколотить. С тех пор и стояла она на чердаке. Как татары полезли через стену, я в домовину свою забралась и крышкой закрылась. А в щёлочку за всем наблюдаю, мне с чердака далеко было видно. Наши все отчаянно дрались, да татар-то видимо-невидимо, так и лезут, так и лезут, окаянные, со всех сторон. Один за другим попадали наши вой на сыру землю. Наместник Данила Иванович с самыми удатными ратниками, среди коих и Гришутка мой был, отошли к твоей избе. Место там не особенно удачное для драки, да, видать, делать было нечего. Мой Гришутка хоть тихий, а в ратном деле преуспел. Много ворогов пало от его меча. Парашка вместе с Марфуткой твоей и дитем в погребе сховались. Вдруг вижу: дверь погреба распахнулась, и Парашка стрелой за ворота выскочила. Узрела, родимая, что Гришутку вороги подсекли. Обхватила за шею мужа, да, видно, поздно было, смертушка его прибрала. Тут Парашенька острый нож выхватила, наставила его на сердце и со всего маху на землю грянулась. Не захотела принять татарского полону, с Гришуткой навек осталась, родимая...

Мокрида замолчала, словно забыв, о чём она говорила. Глаза старухи безумно блуждали. Андрей никак не решался спросить её о своих, всё боялся услышать самое страшное.

— Любила она Гришутку беспамятно, — вновь услышал он старческий голос, — дня без него прожить не могла. Слово не в себе была, ежели он куда отлучался. А уж как ласкалась к нему! Дивилась я любви той. Гришутка хоть и не слабак, да всё ж не красавец писанный. Да к тому же и тихий, мухи, бывало, не обидит. Нынешние девки не таких любят. Им подавай статных, купавых да удатных.

— Ну а с Марфушей-то что случилось?

— С Марфушей, говоришь? А с ней вот что было. Как все наши вой полегли на сыру землю, тут татары по избам да амбарам полезли. Всё подчистую повыгребли. Один из них, рослый такой, не в пример другим, сунулся в погреб и выволок оттуда Марфушу с дитем. Вырывалась она, бедная, да рази сладишь. Одел татарин Марфуше петлю на шею да и поехал, поволок её в свой поганый Крым. А тут и до меня черёд дошёл. Слышу, по чердаку нашему двое татар шастают. Сняли они крышку и вытряхнули меня из домовины. Думали, поди, невесть какое богатство в домовине спрятано. Не найдя ничего, антихристы домовину мою осквернили. Дух нехороший по всему чердаку пошёл. Пришлось мне с чердака во двор спуститься. Только я с чердака сползла, занялась наша изба, да и другие избы тоже, огнём.

Андрей вместе с Мокридой до самой ночи сидели молча, понутив головы. К утру из окрестных лесов пришли в город уцелевшие во время нашествия люди. С их помощью Андрей похоронил павших. Долго стоял он над могилой друзей своих Гриши и Параша, над могилой Данилы Ивановича и Евлампии. Горестные мысли его прервал призывный стон набата. Все поспешили к церкви Николы Зарайского. На церковном крыльце стоял похожий на грека долгоносый поп с чёрными как смоль волосами. Он тихо переговаривался о чём-то с приезжим дьяком. Дьяков конь стоял у коновязи. Мокрые бока его тяжело вздымались. Когда все собрались, поп произнёс густым басом:

— Внемлите, жители Зарайска! Великий князь всея Руси Василий Иванович, много заботящийся о процветании своего отечества, явил нам свою милость!

Приезжий дьяк шагнул к краю крыльца.

— Великий князь и государь всея Руси Василий Иванович повелел: поставить в Зарайске, сожжённом татарами, крепость каменную. Быть Зарайску надёжным щитом Руси от набегов вражеских!

Радостные крики зарайцев огласили пепелище.

Холодный октябрьский ветер гонит совсем низко над землёй стаи набухших, тяжёлых облаков. Они цепляются за купола церквей и, будучи вспороты укреплёнными на них крестами, обдают москвичей потоками ледяных брызг. В такую непогоду хорошо сидеть в натопленной избе, коротать время за бесконечными разговорами о житье-бытье, о далёкой старине и новинах. Москвичам, однако, не до мирных бесед возле тихо потрескивающей лучины. Возбуждённые и озлобленные, они толпами бредут по грязным улицам к Крымскому двору, притаившемуся на многошумной и людной Ордынке.

Крымский двор — пристанище приезжающих в Москву посланников и гонцов крымского хана. Для них и была сооружена украшенная затейливой резьбой изба в три жила. Напротив этой избы построено несколько одноярусных изб, крытых дранкой, а также множество сараев, амбаров, клетушек, расположенных в страшном беспорядке. На Крымском дворе останавливались не только послы, но и татарские купцы, привозившие в Москву восточные товары. Сюда же доставлялись освобождённые русские пленники. Здесь они жили несколько дней, пока их не забирала родня или знакомые.

Увидев толпу людей, осадивших Крымский двор, Андрей, медленно ехавший по грязной Ордынке на попутной телеге, соскочил на землю. Слабая надежда затеплилась в его сердце: если москвичи собрались возле Крымского двора по случаю прибытия освобождённых пленников, то, может статься, и Марфуша с Георгием тут! Вид толпы, однако, отрезвил его. Кругом озлобленные, искажённые гневом лица. Люди громко кричали, чего-то требовали. Наконец стало ясно: москвичи требуют выдачи послов хана Саадат-Гирея.

— Чабыка! Чабыка сюда! — сжимая огромные кулачищи, хрипло орал стоявший рядом с Андреем кожемяка.

Андрей вспомнил, как надменно и развязно вели себя в Зарайске послы крымского хана. Яростная злоба опалила его.

— Чабыка, Чабыка сюда! — закричал он, охваченный одним желанием — отомстить кому-то за крах своей семьи, за порушенные мечты о счастье.

Вместе с десятком дюжих молодцов он ворвался в трёхъярусную избу. Узкие лесенки застонали под могучими ногами. Андрей поочерёдно заглядывал во все покои, но они были пусты: слуги заранее покинули своих господ. Наконец в одной из горниц он увидел на смерть перепуганного плюгавенького человечка с плоским носом, крохотными глазками и редкой, словно выщипанной бородёнкой.

— Вот он, Чабык! — заорал Андрей.

Москвичи подхватили упавшего, жалобно скулившего посла, выволокли его на улицу.

Едва толпа отхлынула от Крымского двора, в трёхъярусную избу ворвались люди, явившиеся сюда ради грабежа. Они вспарывали тюки, запихивали за пазуху дорогие ткани, жадно хватили серебряные и золотые кубки, набивали карманы монетами и пряностями.

На улице Чабыка вместе с другими людьми крымского хана связали и поволокли к Москве-реке. С середины моста их швырнули в студёную воду. Толпа притихла, жадно

всматриваясь в глубину реки. Но лишь пузырьки воздуха долго буравили свинцовую воду.

Только тут Андрей понял, как он устал. Возбуждение покинуло его, и он разрыдался, уткнув лицо в колени.

На подворье Тучковых Андрей прибыл уже под вечер. В горнице княжича Василия, куда он вскоре вошёл, было тепло и уютно. Трепетное пламя десятка свечей озаряло горницу. Отец с сыном вели неторопливую беседу о событиях минувшего дня.

— Был я нынче, отец, у друга своего Ивана Овчины. Он только что воротился с береговой службы. Рассказывал, будто русские вои, преследуя татар, достигли самого Дона. Побили они врагов видимо-невидимо, весь полон отбили. А в бою под Зарайском полонили любимца Исламова мурзу Янглича. Так что с великим срамом воротился Ислам в Крым. Иван слышал от угодившего в полон Янглича, будто Ислам жаловался ему, что мы, русские, провели о его нашествии за две седмицы, а потому успели хорошо подготовиться к драке.

— Не совсем так, сын мой, — лукаво улыбнулся отец — Ты, может быть, помнишь, что когда-то я сопровождал в Крым царицу Нур-Салтан и пробыл в логове вражеском целых четыре года. Всё это время татары не беспокоили Русь, и великий князь успешно воевал с Жигимонтом, взял Смоленск. Главнейшей моей заботой в Крыму были вестовщики, которые оповещали бы великого князя о намерениях татар. Едва Ислам замыслил своё чёрное дело, как путивльские казаки, бывшие для вестей в Черкассах, прознали об этом от полонянников, пришедших из Царьграда, и через вестовщиков дали знать государю, что Ислам готовится к нападению на русские уkraine. Так что мы давно уже ведали о замыслах Ислама, потому и успели хорошо подготовиться к встрече врагов. Удача сопутствует на поле брани тому, кто много знает о помыслах неприятеля.

— Довелось нам с Иваном увидеть, как чернь Крымский двор разоряла. Чабыка, посла крымского хана, в Москве-реке утопили.

— На то была воля великого князя, сын мой. Василий удивлённо глянул на отца.

— Боюсь, как бы Саадат-Гирей в отместку за это на Русь не пошёл.

— Великое зло учинили татары по южным уkraine государства нашего. Мог ли Василий Иванович оставить то зло неотмщенным? Когда же наши послы пойдут к Саадату, государь велит сказать крымскому хану. «Как Ислам приходил на государя нашего уkraine, и тогда государь сам вышел на своё дело, а Чабыка с товарищами приказал своим приказным людям беречь. Да пришли чёрные люди, силой забрали Чабыка у приказных людей и побили, а рухлядь их всю разнесли. И ныне ту рухлядь где сыскать? А государя нашего посла Ивана Колычёва в Крыму ограбили. И то теперь где сыскать?»

Отец с сыном засмеялись, представив русских послов, оправдывавших в Крыму убийство Чабыка. В это время и вошёл в горницу их бывший послужилец.

— Никак Андрюха к нам заявился! Каким ветром принесло тебя из Зарайска в Москву? — весело спросил Василий, но, всмотревшись в его лицо, сменил тон на серьёзный. — Что стряслось, Андрюха?

Тот коротко рассказал о своих злоключениях.

— Говорил я: опасно посылать их на уkraine по соседству с Полем, — недовольно проворчал Михаил Васильевич.

— На то была воля инокини Софьи, — оправдывался княжич. — Да ты успокойся, Андрей,

может, всё обойдётся. Ведомо ведь тебе, что полоняники нередко возвращаются из неволи в родные места. Одни убегают из полона, других великий князь откупает у крымского хана. К тому же воевода Иван Овчина, преследовавший крымцев до самого Дона, заверил меня, будто русские вои весь полон у татар отбили. Может статься, что, пока ты добирался до Москвы, твоя жена уже воротилась в Зарайск. Вновь заживёте в любви и согласии. Если же она не вернулась, мы постараемся помочь тебе. При случае отец попросит Аппак-мурзу отыскать в Крыму твоих близких.

Василий вопросительно глянул на отца. Тот неопределённо махнул рукой и, сутулясь, вышел из горницы. Игра, затеянная вокруг сына Соломонии, казалась ему безнадежно проигранной.

Глава 13

В потайной келье Иосифо-Волоколамского монастыря братья Ленковы пытали гостиника. Возвращаясь ранним утром из Круговского села от вдовицы Марьюшки, Феогност неожиданно увидел старца и затаился. С чего бы это гостинику шататься по монастырю в эдакую рань? Уж не уподобился ли он ему, Феогносту? Монах-надзиратель ухмыльнулся, представив, как будут поражены братья во Христе, прознав о любовных похождениях гостиника. Уж он-то сумеет расписать их так, что после его рассказней бедным монахам долго придётся маяться бессонными ночами!

Проходя мимо кельи Максима Грека, гостиник подозрительно кашлянул и на мгновение остановился. Феогност напряжённо следил за ним. Он увидел, как монах наклонился, что-то поднял с пола и быстро спрятал под одеждой. Когда гостиник подошёл к своей келье, его уже поджидали братья Ленковы. Герасим скрутил руки, а Тихон, быстро ощупав монаха, извлёк тайную грамоту. Кому предназначалась она, из написанного в ней было неясно. Этого и допытывались у гостиника братья Ленковы.

— Скажешь ты наконец, пёс смердящий, кому должен был передать эту грамоту?

Гостиник стонал от длительных побоев, но не называл доброхотов Максима Грека: он не знал, кто должен был явиться за грамотой и кому она предназначалась.

— Феогност, подпали-ка дружку еретика бороду!

Младший из Ленковых взял со стола свечу, поднёс к лицу гостиника. В келье запахло горелыми волосами. Дикий вопль огласил стены подземелья.

— Так ты всё молчишь, козлиная борода? Сейчас и пониже подпалим, не так взвоешь!

— Не ведомо мне, кто должен за грамотой явиться. Невиновен я!

— Это ты-то невиновен! Вот тебе, вот! — Увесистым кулаком Герасим наносил удары по лицу и в живот. Гостиник без чувств рухнул на пол.

— Феогност, плесни-ка водицы... Довольно, вишь глазки-то открыл. Будешь молчать или скажешь всю правду? Не скажешь, раздавим тебя как вошь! Подтащите-ка его к двери... Теперь суй пальцы в щель, а я прикрою.

Раздался хруст костей. Гостиник вновь лишился чувств. Феогност вылил на его голову бадью холодной воды. Пытаемый приоткрыл глаза и, едва раздирая спёкшиеся губы, прошептал:

— Кровопийцы вы, душегубы, а ещё в обители Божьей живёте!

Герасим так и подскочил от возмущения.

— Ах ты, иуда! Да твоё ли дело судить нас, верных слуг митрополичьих? Навек запомнятся тебе твои слова. Подай, Феогност, смолу кипящую, а ты, Тихон, потяни за бороду, открой рот богохульный...

Странный звук раздался в подземелье и резко оборвался. Некоторое время тело гостиника судорожно извивалось по грязному полу, а потом застыло. Только пальцы рук продолжали сжимать горло.

Чем внимательней вчитывался митрополит в донесение братьев Ленковых о поведении Максима Грека, тем больше злоба охватывала его. Швырнув грамоту, Даниил подошёл к окну.

«Как случилось, что злобствующий еретик вопреки моему строжайшему запрещению получил в руки бумагу и чернила? Сегодня же пошлю игумену Нифонту грамоту с указанием установить надзор за братьями Ленковыми и духовным отцом еретика Ионой. Не впали ли они в искушение, не поддались ли вредоносному влиянию?»

Даниилу представился вдруг гостиник, которого он хорошо знал, будучи игуменом Иосифо-Волоколамского монастыря. Тот всегда внушал ему неосознанное беспокойство, недоверие, хотя никаких доказательств неверности гостиника у Даниила не было.

«Собаке собачья смерть. Так мы поступим с каждым, кто встанет на нашем пути!»

Дверь тихо скрипнула, на пороге появился чернец. Митрополит вопросительно глянул на него.

— Дьякам Посольского приказа стало ведомо о скоропостижной кончине в нашем граде посла турецкого султана Скиндера.

— Искандеря? — Митрополит сделал круг по палате, мысли вихрем замельтешили в его голове.

«Максим Грек не раз встречался с послом Искандерем. Но когда церковный собор судил его, нам, по правде говоря, не удалось доказать его вины. Ныне, когда посол турецкого султана мёртв, вина инока Максима может стать очевидной, а это позволит нам вторично поставить еретика перед церковным собором. И не только его. Вместе с ним мы будем судить и дружка Максимова Вассиана Косого. Уж теперь-то великий князь не станет его защищать!»

Сердце Даниила билось учащённо. Наконец-то он окончательно разделается с ненавистными ему нестяжателями!

— Вели дьякам хорошенько обыскать двор Искандеря. Пусть досконально проведуют, не имел ли он грамот к турецкому султану от Максима Грека и его сообщников. Да загляни ещё на двор князей Тучковых и передай мой приказ Михаилу Васильевичу немедля явиться ко мне. Надлежит ещё вызвать из Пафнутьева-Боровского монастыря Афанасия — бывшего келейника Максима Грека. Снаряди также гонца ко владыке крутицкому Досифею. Пусть прибудет ко мне.

Михаил Васильевич был озадачен приглашением срочно навестить митрополита. Уж не проведаль ли Даниил о его сношениях с Максимом Греком или Вассианом?

Первосвященник сухо встретил Тучкова, его голос гулко звучал под сводами палаты:

— Ведомо ли тебе, князь, что в нашем граде преставился посол турецкого султана Искандерь?

— Слышал о том, святой отец.

— У этого самого Искандеря дьяки нашли грамоты известного тебе еретика Максима Грека, в коих он хулил государя нашего, великого князя всея Руси Василия Ивановича, и призывал турецкого султана к войне с нами. Находясь в заточении в Иосифо-Волоколамском монастыре, Максим Грек не исправился, а продолжает, как пишут о том верные люди, пребывать в ереси. Вопреки строжайшему моему запрещению, посылает он своим доброхотам тайные грамоты. — Митрополит указал на записку, лежащую на его столе.

«Не нам ли писана сия грамота?» — испугался Михаил Васильевич.

— Всё это побуждает меня обратиться к великому князю с просьбой вторично судить Максима Грека на церковном суде. Всем ведомо: до осуждения, будучи иноком Чудова монастыря, еретик многократно принимал в своей келье сына твоего Василия и совокуплялся с ним в единомыслии. — Даниил сделал многозначительную паузу и угрожающе закончил: — Мыслю я, великий князь наложит на сына твоего за его дружбу с Максимом Греком опалу.

Окольничий стоял красный как рак, пот струйками стекал по его спине.

— Мой сын по недомыслию, по молодости лет в самом деле бывал в келье Максима Грека. Это, однако, не означает, что он вредил государю нашему Василию Ивановичу. Да разве он один заходил к нему? Ведомо ведь тебе, святой отец, многие люди навещали Максима до его осуждения.

— Те, кто бывал в келье еретика, давно уже покаялись перед государем в своей вине и поведали ему о пагубе, распространяемой Максимом Греком. Сын же твой, впав в гордыню, до сих пор у государя не был, хотя наверняка слышал хульные речи Максима и видел, как и многие другие, греческие грамоты в его келье. Вина Василия явная, а потому опала неизбежна.

Митрополит говорил так уверенно, что у князя Тучкова не возникло ни малейшего сомнения в правдивости его слов.

— Святой отец! Мой сын совершил дурное не по умыслу, а по глупости, по молодости лет. Молю тебя, помоги избежать ему опалы государя нашего Василия Ивановича. Век буду благодарен тебе!

— Так уж и быть, боярин, помогу я тебе, — снисходительно ответил митрополит, — ежели сын твой, осознав великую вину свою перед государем, преступит через гордыню. Сегодня же ударь челом великому князю, скажи: сын мой хочет покаяться перед тобой. Пусть Василий признается, что видел у инок Максима греческие грамоты и слышал от него хульные речи о государе. Великий князь вельми добр к тем, кто винится перед ним. Мыслю я, он простит твоему сыну его вины за молодостью лет.

Михаил Васильевич, тяжело ступая, вошёл в горницу сына. Василий, едва взглянув на отца, сразу понял: случилось нечто неприятное.

— Что-то ты сегодня невесел, отец, уж не наложил ли на тебя государь опалу?

— От этого пока Бог уберёт, но, чует моё сердце, до беды недалеко.

Княжич вопросительно посмотрел на отца.

— Был я сегодня у митрополита, сильно гневается он на Максима Грека за его проступки. Говорит, будто у скончавшегося вчера турецкого посла Скиндера нашли грамоты инока Максима к султану, в коих он побуждал нехристя начать войну против нас. Грех-то какой! Мы с тобой и не ведали, что Максим Грек — враг Руси. Беда приключится, ежели митрополит докопается до наших грамот в Иосифо-Волоколамский монастырь.

— А может, и нет никаких грамот Максима к турецкому султану? Не верю я, что премудрый старец изменником стал. Всегда при мне он добрым словом отзывался о земле нашей, думал, как одолеть нам нехристей татарских, опустошающих Русь.

— Митрополит Даниил уверил меня, будто грамоты те найдены, а потому государь непременно наложит на тебя опалу.

— Да за что же?

— За то, сын мой, что ты видел у Максима греческие грамоты, а государю о том не сказал. Потому, говорит Даниил, ты являешься сообщником еретика и изменника.

— Да не видел я у старца Максима никаких грамот к турецкому султану!

— А ты припомни хорошенько, не было ли у него на столе греческих грамот?

— Греческие грамоты у него были, но все они церковные, писано в них о порядках, установленных в греческих монастырях.

— А не слышал ли ты от Максима хульных слов о государе нашем Василии Ивановиче?

— Максим всегда одобрительно отзывался о великом князе. Тот, кто говорит противное, — бесчестный человек.

— Может быть, Максим и не имел злого умысла против великого князя, однако он человек открытый и мог при случае высказаться о нём неодобрительно. Не припомнишь ли такого?

— Да, был такой случай. Много раз просился он у государя нашего, Василия Ивановича, отпустить его на Афон, а тот всё не отпускает, говорит, поживи ещё. Однажды, получив такой ответ, Максим закручинился и сказал, что не думал он, будто наш государь может поступать так, как иные государи — гонители христианства. Много ли хулы в его словах, отец?

— Это как посмотреть... Собирайся, поедем к великому князю.

— Зачем, отец?

— А затем, чтобы оправдать себя. Митрополит Даниил сказал так: кто бывал в келье Максима Грека, давно уже покаялся перед великим князем и тот простил их. Один ты, выдавший у еретика греческие грамоты и слышавший хульные речи Максима о государе, не повинился, а потому гнев Василия Ивановича может пасть на тебя. Сейчас мы поедем к нему, и ты скажешь всё, что поведал мне.

— Да как же так можно, отец? Ведь я глубоко уважаю мудрость старца Максима. И мне и тебе ведомо: пострадал он безвинно из-за нелюбви к нему митрополита. Зачем же нам рыть ему яму?

— Время сейчас такое, сын мой... Коли ты не выроешь кому-то яму, выроют её тебе. Грозит нам беда неминуемая, если ты сей миг не поедешь со мной к государю. Никогда не простит тебе митрополит Даниил твой отказ копать яму для Максима Грека.

— Но ведь это бесчестно, отец, посылать льстивые грамоты Максиму Греку и вместе с тем доносить на него великому князю!

— В том, сын мой, я не вижу большого греха. Мудрый человек всегда должен так поступать. Когда был жив отец нынешнего государя Иван Васильевич, между его невесткой Еленой Волошанкой и женой Софьей Фоминичной приключилась свара. Каждая из них считала, что наследовать Ивану Васильевичу должен её сын. Многие бояре твёрдо встали на сторону Дмитрия Ивановича, а потом, когда великим князем стал Василий Иванович, горько сожалели о том. Мы же, Тучковы, были в дружбе и с Еленой Стефановной и с Софьей Палеолог, оттого и не пострадали от их межусобицы... Вассиан Патрикеев после опалы вон как высоко вознёсся, а ныне опять не в чести. Но, может статься, и он войдёт ещё в силу. Потому мы и держим с ним связь, хотя и хороним её от людей. Так что не тумань голову сомнениями, а собирайся не мешкая да пойдём к государю.

Василий Иванович был занят чтением грамот Скиндера, которые тот намеревался отправить турецкому султану. Чтение не доставляло ему радости. Напротив, он всё более и более приходил в ярость от несправедных слов неблагодарного посла. Доносит Скиндер своему государю: когда пришёл в Москву полоняник из Азова и поведал, что венгерский король одолел турок, то будто бы великий князь очень обрадовался и велел звонить в колокола.

«Я давно добиваюсь дружбы с турками, чтобы обезопасить Русь со стороны Крыма, а этот мерзостный человечешко каждым своим словом норовит посеять вражду между мной и Сулейманом. Когда впервые Скиндер прибыл к нам в лето 7030 [101], мы были искренне рады его приезду и с честью встретили посла султана, приставили к нему пристава, указали подворье для жительства, дали корма великие. Он же нашу милость ни во что поставил. Корм продал, а пристава сказал, будто корму мало, чем немалое бесчестье нанёс нам. А после того как мы отпустили Скиндера, наградив великим жалованьем, он повсюду трезвонил, что государева жалованья ему мало. Говаривают, будто грозился проклятый Скиндер: пусть борода моя будет привязана к собачьему хвосту, ежели я не приведу султана на землю великого князя. И ныне он пишет в грамоте государю своему Сулейману, чтобы не верил ни одному моему слову, а всеми силами поддерживал царей крымского и казанского, которые своими враждебными деяниями ослабляют нас, отчего польза туркам великая».

Василий Иванович, с гневом швырнув грамоту турецкого посланника, поднялся из-за стола. Кто-то тихо вошёл в палату. Оглянувшись, князь признал в вошедшем окольничего Тучкова.

— Чего тебе?

— Бью челом, великий государь Василий Иванович. Соизволь выслушать сына моего Ваську.

— Пусть войдёт.

Несмело ступая, в дверях показался Василий Тучков.

— Великий государь! В бытность на Москве Максима Грека я заходил в его келью...

Василий Иванович поморщился: Максим Грек был в Москве давно, навещали старца многие, к чему этот разговор?

— Видел я у него греческие грамоты...

— А что в тех грамотах было писано, ведаешь?

— Нет.

— Ещё что скажешь?

— Однажды я пришёл в его келью, когда старец Максим только что возвратился от тебя, государь. Просился он отпустить его на Афон, а ты ответил: поживи ещё здесь. Максим Грек был опечален твоим отказом и говорил так: я думал, Василий Иванович благочестивый государь, а он похож на прежних государей, гонителей христианства.

Василий Иванович был взбешён. Только что он познал хулу Скиндера — и вот новое поношение! Успокаивало его лишь то, что один из оскорбителей уже мёртв, а другой терпит лишения за свои зловерные речи в монастырской темнице. Чего же ещё нужно Тучковым?

— Всё?

— Всё, государь.

— Чего же ты хочешь?

— Хочу, чтобы ты простил меня.

— Прощаю тебя, ступай прочь.

Едва Тучковы удалились, в палату государя вошла улыбающаяся Елена. Василий Иванович тут же забыл и о грамотах Скиндера, и о бестолковом доносе Василия Тучкова. Он поспешил навстречу своей жене.

— Как спалось, государыня?

— Прекрасно, муж мой.

Елена приблизилась к нему, взяла его за руку и приложила к своему животу. Василий Иванович уловил слабые толчки.

— Что же ты молчишь, или не рад, что скоро у тебя будет наследник?

— Сомнения мешают мне радоваться.

— И я сама сначала сомневалась, потому долго не решалась поведать тебе о младенце. Ныне сомнений больше нет.

— Береги себя, государыня! — с чувством произнёс великий князь и повернулся к иконам. — Ежели наградишь меня, Боже, сыном, щедро отблагодарю тебя: построю новые храмы, осыплю милостями многие монастыри. Лишь бы сын в здравии появился на свет Божий!

Неожиданно вспомнилась Соломония. Четыре года назад по Москве прошёл слух, будто родила она сына Георгия. Он сразу же послал в Суздаль дьяков Григория Меньшого Путятина да Третьяка Ракова разузнать правду. Вернувшись, дьяки поведали: сын Соломонии после рождения скончался по болести, они самолично видели, как его хоронили. Да, Соломония безвозвратно ушла из его жизни. И хотя он пожаловал старицу Софью селом Вышеславским и, может быть, не раз пожалует впредь, она существовала в каком-то другом мире, с иными надеждами и заботами.

Так размышлял Василий Иванович, направляясь к митрополиту, чтобы поделиться с ним своей великой радостью.

Митрополит Даниил после беседы с Тучковым почувствовал недомогание. Голова его горела, а тело знобило.

«Ох, некстати лихоманка меня одолела! Дел невпроворот, а тут с лекарем придётся беседу держать».

И Даниил приказал позвать к нему Николая Булева.

В палату вошёл старик с тёмным морщинистым лицом, на котором выделялись светло-голубые, словно выцветшие, глаза. Пышные седые волосы придавали ему внушительный вид. В руках старик держал большую книгу в кожаном переплёте.

— Позвал я тебя, Николай, вот почему. С утра здоров был, а потом вдруг сделалось худо. Никогда ещё не было такого: голова огнём горит, а тело от холода стынет, болит вот тут. — Даниил приложил руку к левой стороне груди.

— Знакома мне, святой отец, твоя болезнь. Много помышляешь ты сделать, потому и горит огнём твоя голова. — Николай говорил спокойно, уверенно, глаза смотрели на больного не мигая. Митрополиту вдруг почудилось, будто заморский лекарь и вправду проведал об его истинных намерениях, и это смутило первосвященника.

— Верно ты, Николай, молвил: многое хочется успеть сделать на благо отечества. Ведомо, наверно, тебе, что доброписцы Чудова монастыря денно и ночью трудятся над временными книгами [102]. А за доброписцами глаз да глаз нужен. Вознамерился я с Божьей помощью создать великую временную книгу [103].

— Многие большие дела замыслены тобой, святой отец. Но брэнное тело наше, постоянно разрушаемое временем, не поспевает за помыслами души. Вот и знобит его. К тому же и сердце поражено недугом. Есть травы, унимающие страдания человеческие. Они описаны в сей премудрой книге, о которой упоминал я святому отцу в прошлый раз. Знакомый ганзейский купец привёз мне её как память о моей далёкой родине. — Глаза придворного лекаря увлажнились, он с благоговением подал книгу первосвященнику и, пока тот рассматривал её, невольно погрузился в воспоминания.

Любчанин Николай Булев приступил к изучению лекарского искусства в Ростке в 1480 году. Через четыре года получил звание магистра и вскоре начал служить при папском дворе.

В 1489 году великий князь Иван Васильевич отправил своего посла грека Юрия Траханиота к императору Фридриху и сыну его Максимилиану с объявлением, что хочет быть с ним в дружбе. Траханиоту был дан также наказ просить Максимилиана, чтобы послал к великому князю лекаря доброго, который бы умел лечить внутренние болезни и раны. Пути молодого папского магистра и Юрия Траханиота пересеклись, и вскоре Николай Булев оказался в Новгороде, где некоторое время служил при дворе архиепископа Геннадия. После составления пасхалии [104] он собирался покинуть пределы Руси, но оказался в Москве. И вот в течение уже сорока лет служит при московском великокняжеском дворе в качестве лекаря и толмача. Родственники Николая Булева через императора Максимилиана, папу, ганзейские города и магистра ливонского ордена пытались добиться возвращения его на родину, но все их попытки оказались тщетными. Впрочем, сам Николай давно уже смирился со своей участью. Ему совсем неплохо жилось при великом князе. С большим уважением относились к нему не только Василий Иванович, но митрополит Даниил и бояре. Правда, митрополит порицал его за пристрастие к астрологии и неоднократно говорил ему, что никакие звёзды не могут предсказать судьбу человека. То же самое писал в своих посланиях к лекарю-астрологу и Максим Грек.

— Описана в сей книге трава, вельми помогающая при болестях сердца. Леон Фукс назвал сию траву дигиталис [105]. Цветки её очень похожи на напёрстки. Слышал я в детские годы от матери, будто те цветки носят вместо шапочек крошечные эльфы.

— Есть ли у тебя сия трава, Николай? Немчин развёл руками.

— Просил я ганзейских купцов привезти той травы, но пока не получил её. Искал возле Москвы — не нашёл. Травознаи вместо дигиталиса употребляют настой цветков крина полского [106]. Так называют его русские ведуны. А мои соотечественники посвящали эту траву богине восходящего солнца и лучезарной зари Остаре.

Лекарю вдруг припомнился очень давний тёплый майский вечер, когда он, совсем ещё молодой паренёк, вместе с друзьями и милой его сердцу Мартой отправился в лес под Любеком. Там и тут полыхали костры, вокруг которых парни и девушки танцевали, зажав в горячих руках пучки цветков крина полского. И они с Мартой лихо отплясывали до тех пор, пока цветки не завяли. Нет, они не пожалели об этом, а, напротив, обрадовались. Швырнув завядшие цветки в горящий костёр, они принесли их в жертву Остаре, а потом...

— Ересь впустил в голову, Николай! Есть один только Бог, а Остара — это мерзкое язычество.

— Прости, святой отец, за оплошку. Настойка цветков крина полского дороже есть злата драгого и пристойит ко всем недугам. Ту настойку тотчас же доставлю тебе. Она хорошо помогает от болей в сердце.

— Да пошлёт тебе Господь Бог милость свою. А книга эта вельми полезная. Не мог бы ты, Николай, переиначить её с латинского на русский лад? Нашим лекарям надлежит знать, какие травы от каких болестей помогают.

— Сделаю, как велишь, святой отец.

— А читал ли ты, Николай, наши отечественные травники?

— Читал, святой отец, только в них туману много. Иная трава, хорошо всем известная, так описана, что и не узнаешь её.

Митрополит взял со стола книгу, протянул её Булеву.

— А сей травник тебе ведом?

Лекарь открыл книгу и прочитал заглавие: «Алимма». Книга была незнакома ему.

— Нет, святой отец, впервые вижу сей труд. Кто творец его?

— Это очень редкая книга, Николай. Давно была она написана, очень давно. Может, приходилось слышать тебе, что у киевского князя Владимира Мономаха была внучка Евпраксия. Так эта самая Евпраксия с юных лет познавала целебные травы, употребляла их для лечения раненых воев. Потом её выдали замуж за сына византийского императора Алексея Комнина. Когда короновали Евпраксию в Константинополе, то дали ей греческое имя — Зоя. Та Зоя и сотворила сей труд.

Лекарь с удивлением рассматривал травник, написанный женщиной, притом из такого почитаемого во всех странах рода.

Поспешно вошёл чернец, взволнованно произнёс:

— Государь направляется сюда.

— Прощай, Николай. Не запомяуй о моей просьбе.

Даниил встретил государя, как никогда, торжественно, а узнав, что Елена понесла, взял Василия Ивановича за руку и повёл к иконостасу.

— Помолимся Господу Богу, чтобы дело то превеликое свершилось успешно.

После молитвы первосвященитель усадил великого князя рядом с собой для беседы.

— Нынче принесли дьяки грамоты турецкого посла Скиндера, сильно огорчившие меня. Печёмся мы о дружбе с турецкой державой, а посол клинья вбивает между мной и Сулейманом.

— Премерзостный человек этот Искандерь! Мыслю я, однако, что не своим умом писал он грамоты турецкому султану Сулейману. Ведь кто он есть, Искандерь? Греческий князь Мангупский! Трижды приезжал он к тебе, государь, и всякий раз до заточения в Иосифов монастырь у него бывал инок Чудова монастыря Максим Грек. И не токмо бывал, но и приносил ему поминки. Вот откуда все беды наши! Ведомо стало мне, что Максим Грек посылал через Искандеря грамоты турецкому султану, призывая его начать войну против нас.

Василий Иванович вспомнил о доносе Василия Тучкова.

— Был у меня сегодня сын окольного Михаила Тучкова. Поведал, будто видел у Максима какие-то греческие грамоты.

— И другие о том же говорят. А вот почитай, государь, грамоту, присланную старцем Тихоном Ленковым да духовным отцом Максима Ионой, о поведении строптивного старца в Иосифовой обители. Оказывается, инок Максим наши с тобой, государь, приказания презрел и связь с доброхотами установил. Грамоты от них получает тайные, да и сам пишет. Одну из его грамот удалось перехватить, вот она. А эта грамота от новгородского архиепископа Макария. В ней изложены показания старца Вассиана Рушанина против Максима Грека и Вассиана Патрикеева, переводивших житие Богородицы Симеона Метафраста. Много хульных слов в том переводе! Старые вины Максим не замолил, а новые добавил. Потому бью челом, государь: вели поставить Максима Грека перед собором для осуждения его за старые вины, которые он не исправил и исправлять не хочет, и за новые, ныне открывшиеся вины.

— Согласен, святой отец.

— Премного благодарен, пресветлый, благочестивый и христоролюбивый великий государь! Бесстрашно вступаешь ты на защиту православной церкви от покушения со стороны еретиков!.. И ещё об одном слёзно молю тебя, государь. Максим Грек прибыл на Русь, не зная наших обычаев и правил, потому приставили мы к нему Вассиана Патрикеева. Старец Вассиан должен был зорко следить за переводом греческих книг, преграждать путь ереси. Он, однако, нашими советами пренебрёг, злыми чарами одолел инока Максима, подчинил своей воле и довёл до грехов тяжких. Хорошо ли будет, ежели мы осудим на соборе одного Максима, а Вассиана оставим в почёте? Между тем за старцем Вассианом грехов накопилось немало. Поведали мне верные люди, будто юродивый Митяй часто бывает в келье Вассиана Патрикеева в Чудовом монастыре. И старец Вассиан, наведя чары на блаженного, внушает ему всякие мерзости. Выйдя на Пожар, выкликает тот Митяй речи, великому князю неугодные.

Точно рассчитанный удар угодил в цель. Василий Иванович вспомнил о мало приятных встречах с юродивым, в его душе родилось недовольство Вассианом.

— Старец Вассиан, — продолжал митрополит, — должен был следить за переводом греческих книг. Однако, презрев наши указания, он вместе с Максимом Греком вносил в церковные книги исправления по своему усмотрению. А то есть грех тяжкий! Потому молю, великий государь, предать церковному суду не токмо Максима Грека, но и Вассиана Патрикеева.

Василий Иванович надолго задумался. Ему припомнились продолжительные беседы с премудрым старцем, но этим воспоминаниям что-то мешало: мысль всё время перескакивала на юродивого Митяя.

— Добро, святой отец!

Келейник Максима Афанасий прибыл в Москву только к вечеру. Войдя в митрополичью палату, он распростёрся по полу и стал униженно целовать ноги Даниила.

— Встань, Афанасий! — строго приказал митрополит — Когда церковный собор в лето 7033 судил тебя, ты обещал нам сказать всю правду об иноке Максиме. Мы поверили тебе, а потому наказание твоё не было суровым. Ныне же оказалось, что о многих грехах Максимовых, известных тебе, ты умолчал. А потому намерены мы сызнова поставить тебя вместе с Максимом Греком перед церковным священным собором. И тот собор не будет к тебе столь милостивым!

Афанасий испуганно смотрел на митрополита и ничего не мог понять. Разве на прошлом церковном соборе он не сказал всей правды? Да и кривды, угодной митрополиту, пришлось поведать немало. И вот теперь его снова собираются судить за единомыслие с Максимом.

— Помилуй, святой отец! Всё, что ведомо было мне о старце Максиме, я рассказал на том церковном соборе без утайки. Ну а коли запомнил о чём, так это не по злому умыслу, а от хилости памяти человеческой, от глупости, от неразумения моего...

— Ныне в нашем городе скончался турецкий посол Искандерь. И у того Искандеря нашли тайные грамоты Максима к султану Сулейману. Ведомо ли было тебе о тех грамотах?

«Ни о каких грамотах Максима к султану Сулейману я и слыхом не слыхивал. Ежели, однако, сказать об этом митрополиту и церковному собору, мне ж будет хуже: грамоты найдены, поэтому моим словам никто не поверит, скажут, укрывает Максима его единокоронец и единомышленник. Упрячут тогда в такую келью, из которой света белого невзвидишь».

— Прости, святой отец, запомнил я о тех грамотах. Однажды Максим вместе с Саввою Святогорцем посылали грамоту кафинскому паше. Видел я их грамоту у дьякона Фёдора, да заглянуть в неё не пришлось. А вот старец Окатей читал её.

— Ну-ну, о чём же писали еретики в той грамоте? — Первосвяtitель был явно доволен находчивостью бывшего келейника.

— Говаривал мне старец Окатей, будто Максим с Саввою просили султана послать людей своих на великого князя морем в кораблях. Хотя людей у московского государя много, писали они, но воины из них плохие. И коли от крымского царя князь московский бежал, то от турецкого султана как ему не бежать? Пойдёт на Русь Сулейман, ему или дань платить, или в северных лесах прятаться.

— Да как же ты мог, Афанасий, запомнить такие зловерные речи? — Митрополит возмущался явно для вида.

— Грешен, святой отец, голова моя подобна дырявому сити: что нужно забывает, а ненужное — помнит. Да к тому же надеялся я на старца Окатея, он ведь сам хотел поведать тебе о той грамоте.

— Да, да, старец Окатей говорил мне о ней. Афанасий успокоился, ему стало ясно: сказанная им ложь устраивает митрополита. Вишь ведь как он ухватился за старца Окатея, благо тот далеко от Москвы и не скоро ещё возвратится из святых мест. На всякий случай келейник

решил, не прячась за дьякона Фёдора и старца Окатея, добавить кое-что от себя.

— Старец Максим говорил мне: быть на Русской земле Сулейману, потому что турецкие султаны испокон веков не терпят царьградских царей, а ведь князь великий Василий — внук Фомы Амореяского.

Даниил удовлетворённо кивнул головой.

— Всё это ты должен поведать церковному собору, и тогда благодать Господа Бога коснётся тебя!

Последние слова особенно обрадовали Афанасия. Они означали: чем больше он будет чернить на соборе Максима Грека, тем щедрее отблагодарит его митрополит.

Поздним вечером к Даниилу явился владыка крутицкий Досифей, ученик и племянник самого Иосифа Волоцкого. Старые друзья расцеловались и всю ночь провели в тайной беседе. А говорили они о том, как на предстоящем церковном соборе доконать своих недругов нестяжателей. Даниил и Досифей тщательно продумали все тонкости церковного разбирательства, чтобы у великого князя не возникло ни малейшего сомнения относительно виновности подсудимых. По этой причине среди участников церковного собора должны быть только сторонники Иосифа Волоцкого.

Стяжатели готовились во всеоружии сразиться со своими недругами на церковном соборе. Но государь всё откладывал его то в связи с походом на Казань, то из-за рождения сына. Церковный собор смог собраться только через полтора года.

Глава 14

Конец августа 1530 года выдался необычно тёплым. Золотые пряди украсили зелень берёз. Яркими огнями загорелись над заборами гроздь рябин. Тончайшие паутинки носились в воздухе.

В один из августовских дней вся Москва спешила в Рогожскую слободу встречать русское войско, вернувшееся из похода на Казань. Здесь, в Рогожской слободе, начинался дальний путь к Нижнему Новгороду и Казани.

Андрей вместе с толпой москвичей также отправился встречать русское войско. Но мысли его вовсе не о казанском походе. Бестолковая суета вокруг напоминала ему о делах трёхлетней давности. Вот в такой же августовский день он сидел вместе с Марфушей на порожке своей избы — и казалось, счастью его не будет конца. До сих пор он помнит каждое слово, сказанное Марфушей, каждый её взгляд, каждое прикосновение ласковой руки.

Воспоминания так взволновали его, что он обхватил голову руками и сел на землю. Около его ног струились воды Яузы. Толпы людей, спешивших по деревянному мосту в сторону Рогожской слободы, шли мимо, не замечая его. Им сейчас не до него. Каждый торопился узнать о судьбе своих близких или знакомых, отправившихся по велению великого князя под Казань. Многих из них ждёт печальная весть. Горе в обнимку с радостью движутся из Казани в Москву.

Чья-то рука легла на плечо Андрея.

— Ты чего тут уселся? Айда [107] в Рогожскую слободу, говорят, наши совсем уж близко! —

Ульяна говорила возбуждённо, радостное волнение переполняло её.

Андрей нехотя поднялся.

— Да ты чего такой кислый? Поди, опять по своей Марфуше убивался? Да нешто можно так печалиться?

Девушка хотела было ещё что-то сказать, но раздумала и, схватив Андрея за руку, повлекла за собой через мост в сторону Рогожской заставы.

А русское войско уже вступило в пределы Москвы. Впереди конной рати в нарядном чёрном кафтане, расшитом золотом, ехал воевода Михаил Львович Глинский. Три года минуло с той поры, как великий князь, уступив настойчивым просьбам жены, выпустил его из нятства [108]. На матово-жёлтом худощавом лице князя выделялись большие чёрные глаза, холодно смотревшие на толпу. Из-под аккуратной собольей шапки выбивались тёмные с проседью волосы. За воеводой беспорядочной толпой ехали всадники. Сзади конницы шла пешая рать, возглавляемая воеводой Иваном Фёдоровичем Бельским.

Из толпы то и дело окликали воинов, и те покидали войско, которое по мере продвижения по улицам Москвы постепенно таяло.

Андрей с Ульяной всматривались в лица воинов, хотя никто из их близких не ходил под Казань. Завидев знакомое усатое лицо, Андрей громко окликнул:

— Афоня!

Всадник, ехавший на небольшой лохматой лошади, оглянулся и, признав Андрея, подъехал к нему. Друзья крепко обнялись.

— Здорово, друже. Ты чего это в Москве, а не в Зарайске? — весело спросил Афоня, но увидев, как изменилось лицо Андрея, тотчас же заговорил серьёзно: — Али беда стряслась? В нашем деле беда всегда рядом.

— Жену у него татары в полон угнали, — вмешалась в разговор Ульяна.

— Ах ты, беда какая! — Афоня хотел было утешить друга, но никак не мог подобрать нужных слов. Серые глаза его из-под густых бровей смотрели растерянно, жалостливо. — Чего же теперича делать-то?

— А чего тут поделаешь? — рассудительно ответила за Андрея Ульяна — В Крымскую орду за женой не побежишь, сам в полон угодишь. Теперича о ней и думать не след, сгнула, и всё тут.

— Так-то оно так, да ведь память из сердца не выбросишь. — Афоня продолжал жалостливо рассматривать Андрея.

Ульяна дёрнула того за руку и тихо шепнула на ухо:

— Ты бы пригласил воя в наш дом, чего так-то стоять?

— И в самом деле, чего это мы встали посреди дороги. Ты, Афоня, откуда родом?

— Из Ростова, друже.

— Вот и хорошо, пойдём-ка к Аникиным, расскажешь нам о казанском деле. Они тут рядом живут.

Пётр Аникин обрадовался, увидев гостей. Во всех домах нынче только и разговору, что о

казанском походе. Вот и в его дом послал Бог интересного рассказчика. Правда, на вид гость не больно-то приглянулся сначала хозяину — немного страхолюдный. Да ведь в такой день не на рожу глаза пялить, а рассказ о походе слушать. Его же гость и на Казань не раз ходил, и с крымцами дрался, послушать такого воя одно удовольствие. Вот почему Пётр усадил Афоню рядом с собой в переднем углу и настойчиво потчевал отведать того или иного.

Одобряемый всеобщим вниманием, Афоня преобразился. Серые глаза его весело поглядывали из-под густых бровей на собеседников, но чаще останавливались на Ульяне, которая каждый раз смущённо краснела и опускала голову. Это, по-видимому, особенно забавляло гостя.

— Так вот, начали мы наш поход в день Марфы Рассадницы [109]. Конную рать вёл воевода Михаил Глинский, а пешая рать отправилась на судах с воеводой Иваном Бельским. Казанцы провели о нашем походе и около реки Булака, недалеко от Казани, успели воздвигнуть деревянный острог, окружённый рвами. Подошли мы к острогу, а там татар да черемис видимо-невидимо. От их завывания земля стоном стонет. Страшно подступиться. Да только молодой воевода Иван Овчина в ночь на Кирика и Улиту [110] овладел острогом. Лихой воевода! Иной из начальных людей норовит подальше от драки быть, а он всё впереди воев. За таким воеводой и на смерть идти не страшно.

— Да когда же он успел воеводой-то стать? Ведь совсем недавно вьюношей безусым был.

— Иван Овчина из молодых, да ранний. В ратном деле толк понимает. Иной воевода до седых волос доживёт, а ратного дела так и не усвоит. Вот послушайте, что дальше-то было. Много татар, черемис и пришедших к ним на помощь ногаев да астраханцев полегло в остроге. После этого начали добывать саму крепость. Тут казанцы били челом о прекращении осады, обещая исполнить волю великого князя. Наши же большие воеводы сплеховали. Им бы не тары-бары вести с татарами, а брать крепость, благо та совсем беззащитной осталась, все людишки из неё утекли. Часа три ворота крепости настезь были распахнуты. Да только у наших больших воевод мозги оказались куриные: затеяли перед воротами крепости спор о местах, кому первому въезжать в город. Пока эдак они пререкались на глазах простых ратников, огромная туча насунулась и такой сильный ливень приключился, коего я ещё не видывал. посошные [111] и стрельцы, привёзшие на телегах наряд к городу, испугались и убежали, оставив наряд казанцам. Так что те не только город за собой сохранили, но и пушки приобрели. К тому же в суматохе некоторых наших воевод загубили. Тогда Иван Бельской велел палить по городу из пушек, да было уже поздно, крепость взять нам не удалось. Говорят, казанцы дали воеводам клятву не изменять великому князю московскому, не брать себе царя иначе как из его рук. С тем мы и ушли от Казани. Да только, думается, мало пользы от нашего похода. Ведомо всем, как татары свою клятву блюдут. Случись что, опять пакостить начнут.

— Вестимо, начнут, — согласился Пётр, — от них добра ждать не приходится.

— Прошлый раз, говорят, государь был гневен на воеводу Бельского за то, что дела своего не довёл до конца. А и нынешний поход, поди, не в радость.

— Василию Ивановичу нынче не до казанского похода. Жена его, Елена, вот-вот родить должна. Пошли, Господи, государю нашему наследника! — Пётр перекрестился. Ему всё больше нравился этот рассудительный, суровый на вид воин. — Слыхал я, будто родом ты из Ростова?

— Оттуда, хозяин.

— Поди, жена с детишками заждались?

— Мать у меня там, два брата меньших да сестрица. Соскучился я по ним. А жениться пока

не привелось, всё в походах да в походах.

— Пора бы уж и жениться, не то все стоящие девки замуж выскочат, останутся одни бобылки. Да и детишек заводить следует, пока сам молодой.

— Да рази я старый?

— Три с половиной десятка, поди?

— Скинь десяток, в самый раз будет.

— Ну, — удивился Пётр, — твои усищи на десять лет потянули!

Все весело засмеялись.

— Не пора ли нам, гости дорогие, на боковую? День-то нынче вон какой маятной. Да и Афонюшка наш, наверно, притомился с дороги.

— Да, заболтались мы, не заметили, как ночь наступила. — Афоня потянулся до хруста костей.

— Авдотьюшка, ты бы постелила гостям на сеновале. Сено нынче сухое, духовитое. Там им вольготно будет.

— А не застудятся они на сеновале, Пётр? Днём-то вроде тепло, а ночью прохладно, дело-то к осени идёт. У меня с утра поясница ноет и ноет, видать, быть ненастью.

— Как, ребятки, не застудитесь на сеновале?

— Сеновал для нас, воев, лучше дворца великокняжеского, привычны мы и к голоду и к холоду.

На сеновале и в самом деле была благодать. Духовито пахли хорошо высушенные травы: подмаренник, лядник, поповник. Андрей повалился на холстину, наброшенную поверх сена, стал жадно вдыхать сенной запах. Где-то поблизости временами бормотали во сне куры, шумно вздыхала корова, гулко переступала по настилу лошадь. Сквозь щели вливался прохладный воздух, примешивая к аромату сена запах созревших яблок, укропа, речных испарений.

Андрею стало знобко, и он с головой укрылся полушубком.

— Великую силу имеет земля. — Афоня заговорил раздумчиво, тихо, как бы про себя. — Каждую осень гибнут все травы, а матушка сыра земля бережёт в себе семена, чтобы по весне напоить их своими соками и взлелеять новые травы. Любая трава хранит в себе великую тайну: та накормит голодного, другая спасёт от гибели болящего, третья девичью косу украсит, четвёртая дорогу к кладу укажет. У нас, в Ростове, в ночь на Ивана Купалу многие люди в леса отправляются искать цвет папоротника, яркий, как пламя...

— А приходилось ли кому находить волшебный цвет?

— Сам я не ведал такого человека, а вот сосед наш рассказывал про одного мужика. Тот накануне Иванова дня искал в лесу свою корову. В самую полночь зацепил он ногой куст папоротника, див-цвет и свалился ему в лапоть. Тотчас же прояснилось мужику всё прошлое, настоящее и будущее. Он легко отыскал пропавшую корову, сведал о многих сокрытых в земле кладах и насмотрелся на проделки ведьм. Когда же воротился в семью, домашние, слыша голос хозяина и не видя его самого, пришли в ужасное смятение, начали бегать по избе. Думали, это лукавый проказничает. Но вот мужик разулся и выронил из лаптя цвет

папоротника. И в тот же миг все узрели его. С потерей цветка окончилось и всеведение хозяина: позабыл он про те места, где только что любовался потайными сокровищами.

— Много удивительного про травы в народе бают. Когда мы в Зарайске жили, то слышали о чернобыльнике, будто он лишает человека памяти. Много лет назад русский парень угодил в полон к крымским татарам. Те продали его в рабство. Однажды полоняник увидел, что хозяин варит змею. Когда вода закипела, татарин сменил воду. Так он поступал семь раз. Облитая змеиным отваром трава почернела, превратилась в чернобыльник. Поев, хозяин приказал слуге вымыть горшок. Тот стал мыть и приметил на дне немного змеиной каши. Едва он её отведал, как сразу же стал понимать язык зверей, птиц и трав. Парень пошёл на конюшню и спросил стоявших там коней, какой из них вынесет его на волю. Один конь согласился спасти полоняника. Быстро помчались они по дороге. Хозяин устремился за ними следом, да не смог догнать. Тогда он крикнул:

— Слушай, Иван, как приедешь домой, отвари коренья чернобыльника и выпей, ещё больше ведать будешь, чем теперь!

Возвратившись на Русь, парень последовал худому совету татарина. Тотчас же он лишился волшебного дара, перестал понимать язык зверей, птиц и трав.

Афоня долго молчал, и Андрей начал уже дремать, но вдруг почувствовал прикосновение его руки.

— Ты спишь, Андрюха?

— Почти что заснул.

— А как ты думаешь, наш хозяин добрый?

— Пётр Никоныч? Очень даже добрый. И жена его тоже. Как приедем, бывало, с отцом из Морозова, всегда у них останавливались. И каждый раз они встречали нас как дорогих гостей.

— А Ульяша?

— И Ульяша девушка добрая.

Афоня помолчал, потом смущённо заговорил:

— Ульяна уж больно хороша собой. Как глянет, так и вспыхнет вся. Огонь-девка!

Андрей хотел было что-то ответить, но глаза его смежились, и он оказался в ином мире, мире сновидений.

Наутро москвичей взбудоражил радостный перезвон колоколов в Кремле. Люди высыпали на улицы и спрашивали друг у друга о причине торжества. Никто толком ничего не знал.

— Вы бы, добры молодцы, сбегали к Кремлю да доподлинно проведали бы, что там подеялось, — обратился Пётр к парням.

— Разреши, тятя, и мне к Кремлю сбегать.

— Тебе-то пошто? Ну да ладно, беги, авось все вместе быстрее с вестями воротитесь.

Открытое место около Кремля, именуемое Пожаром, быстро заполнялось народом. Все напряжённо всматривались во Фроловские ворота, ожидая появления бирича [112]. В

суматохе никто не заметил, что со стороны Воробьевых гор показалась серо-фиолетовая туча, похожая на разинутую пасть неведомого зверя.

Вот наконец из ворот Фроловской башни вышел бирич с белым знаменем в руках, сопровождаемый двумя десятками нарядно одетых и вооружённых людей. Поднявшись на возвышение, бирич высоко поднял знамя и прокричал:

— Внемли, народ московский!

Люди сгрудились вокруг возвышения, не замечая грозной тучи, охватившей уже полнеба.

— Великий князь Василий Иванович объявляет московскому люду и всему Русскому государству: после долгого и тягостного ожидания Бог явил наконец свою милость к великому князю и ко всем нам. От новой жены государя Елены Васильевны родился сын, которому после молитвы дали имя Иван!

Вестник принес имя новорождённого трижды, каждый раз поворачиваясь в новую сторону и осеняя людей белым знаменем. В это время раскат грома заставил всех поднять головы. Кое-кто поспешил покинуть Пожар.

— Не к добру то, — услышал Андрей громкий голос и, оглянувшись, узнал юродивого Митяя, — ой не к добру! Родилось дитё от иноземки Елены, а не от Богом данной Соломонии, кою в монастырь упекли. Вот Бог-то и гневается.

Стоявшие поблизости старушки запричитали:

— Господи! Спаси нас и помилуй!

Бирич вместе с провожатыми спустился с возвышения и торопливым шагом направился к Кремлю. Несколько молний в разных направлениях пронзили мрачную тучу. На мгновение стало светло, как в ясный солнечный день, и сразу же оглушительные раскаты грома сотрясли землю. Проливной дождь обрушился на толпу.

— Видать, грозный царь народился, — пошутил Афоня и, сбросив с себя лёгкий суконный кафтан, заботливо прикрыл им Ульяну. Лицо девушки зарделось, как маков цвет. Воин стоял в одной сорочке, которая, вмиг пропитавшись водой, плотно облегла его мускулистое тело. Но Афоня, казалось, не замечал непогоды. Он счастливо улыбался, отчего серые глаза его лучились под широкими бровями.

Андрею была приятна радость друга, но вместе с тем он ощутил в душе полынную горечь от неустроенности своей собственной жизни.

— Что же мы стоим? Айда на тучковское подворье, до него отсюда рукой подать.

— Не резон нам к Тучковым идти: отец с матушкой, поди, заждались нас- Ульяна лукаво глянула на Афоню. Тот благодарно сжал её плечо.

— Прощайте тогда...

Андрей свернул к тучковскому подворью, а Ульяна с Афоней медленно направились вдоль Варварки мимо ветхой церквушки Максима Исповедника, готовой вот-вот свалиться под порывом ветра в Москву-реку, через Конскую площадь в сторону Сыромятников.

В Золотой палате великокняжеского дворца собрались воеводы, участвовавшие в походе на Казань. Иные ждали пожалований, новых поместий, продвижения по службе, приближения к

великому князю, доброго слова. Другие боялись опалы за своё нерадение и оплошки, допущенные на поле брани. Хотя великий князь самолично не был под Казанью, но через своих видоков и послухов наверняка доподлинно знает обо всем. Одно утешало боявшихся гнева государя: жена его, успешно разрешившись от бремени, подарила Василию Ивановичу долгожданного наследника. Так, может быть, великая радость защитит их головы от опалы?

Иван Фёдорович Бельский стоял впереди других воевод рядом с Михаилом Львовичем Глинским, стараясь не смотреть в его сторону. Мысленно он продолжал спор, начавшийся перед распахнутыми воротами беззащитной казанской крепости. Мог ли он, потомок прославленного Гедимина, пропустить впереди себя этого колодника, которого великий князь освободил из нятства, лишь уступив настойчивым просьбам жены? Нет, он, Иван Бельский, никогда не уступит Глинскому, даже если Василий Иванович велит казнить его.

Дверь распахнулась. В палату ровной вереницей вошли рынды в белоснежных кафтанах, бесшумно встали позади великокняжеского кресла. А вот и сам государь. Воеводы низко склонили головы.

Василий Ивановичем был до глубины души взволнован рождением сына. То, о чём мечтал он столько лет, ныне свершилось. Казалось, будто совсем по-иному стали видеть его глаза; словно открылись перед ним новые, неведомые ранее дали, яснее представилась вся прожитая им жизнь.

Ему, второму сыну великого князя, нечего было и думать о великокняжеском престоле. Отец души не чаял в старшем сыне Иване, рождённом от первого брака. Иван женился на Елене, дочери Стефана, господаря молдавского, которая вскоре принесла ему сына Дмитрия. Поскольку Иван ещё при жизни их отца был объявлен великим князем, Дмитрий имел больше прав на великокняжеский престол, чем он, Василий. К тому же князья и бояре не любили вторую жену Ивана Васильевича, мать Василия, Софью Фоминичну Палеолог, женщину необычайно хитрую, оказывавшую большое влияние на мужа.

В 1490 году старший сын великого князя Иван Иванович Молодой в возрасте тридцати двух лет неожиданно разболелся ломотою в ногах и умер. Иван Васильевич должен был решить, кому после него управлять Русью. Несмотря на все ухищрения Софьи, добиться провозглашения великим князем Василия не удалось, отец назначил наследником Дмитрия.

До сих пор Василия мучает вопрос: почему отец предпочёл ему, своему кровному сыну, несмышлёныша внука? Ведь дело отнюдь не в преимуществе прав Дмитрия на великокняжеский престол. Великий князь мог презреть эти права, и никто, даже самые ярые ненавистники Софьи Палеолог, не смогли бы воспрепятствовать этому.

Василию припомнился отец таким, каким он был в год смерти старшего сына: рослый, статный, сильный. Едва ли в ту пору, в возрасте пятидесяти двух лет, он помышлял о смерти, об устранении от дел. Не испугала ли его серьёзность намерений Василия или чрезмерная напористость жены, решившей во что бы то ни стало добиться провозглашения её сына великим князем? Может быть, отца насторожила неожиданная смерть сына Ивана, в устранении которого он заподозрил Софью? Ведь таким же образом она могла убрать и его самого, провозгласи он наследником сына Василия. Отец частенько ссорился с матерью из-за ворожей, постоянно пребывавших в её покоях, он терпеть не мог всей этой нечисти, вооружённой подозрительными зельями, и, по-видимому, побаивался своей пышнотелой велеречивой супруги, длительное время жившей в Италии и принёсшей в Москву не только утончённость дворцовых нравов, но и жестокость придворных злодеев.

Видя нелюбовь к себе со стороны бояр и князей, Софья Фоминична и он, Василий, стремились заручиться дружбой детей боярских и дьяков. Именно дьяк Фёдор Струмилов первым оповестил его о намерении отца пожаловать великокняжеским титулом внука

Дмитрия. Фёдор вместе с Афанасием Яропкиным, Поярковым и другими детьми боярскими начали советовать молодому князю выехать из Москвы, захватить казну в Вологде и на Белоозере и погубить Дмитрия. Заговорщики привлекли на свою сторону и других злоумышленников, тайно привели их к крестному целованию.

Заговор, однако, был раскрыт. В декабре 1497 года по приказанию отца Василий был взят под стражу на своём собственном дворе, а приверженцы его казнены лютой казнью на Москве-реке. Афанасию Яропкину отсекли руки, ноги и голову, Пояркову — руки и голову, двум дьякам — Фёдору Струмилову и Владимиру Гусеву, а также детям боярским — Ивану Палецкому-Хрулю и Щевью-Стравину — отрубили головы. Многих других детей боярских пометали в тюрьмы.

Угодила в немилость и жена Ивана Васильевича княгиня Софья за то, что принимала у себя ворожей с зельем. Лихих баб великий князь приказал сыскать и утопить в Москве-реке.

Василию казалось, что его честолюбивым мечтам никогда не суждено сбыться. Не прошло и двух месяцев после опалы, как радостный перезвон кремлёвских колоколов возвестил о венчании на царство Дмитрия, который был провозглашён великим князем Владимирским, Московским и Новгородским. Через год, однако, отец помиловал Василия, назначив великим князем Новгорода и Пскова, а позднее и великим князем всея Руси. Внука же своего, венценосного Дмитрия, и мать его Елену Иван Васильевич велел посадить за сторожи.

И вновь Василий в недоумении: что заставило отца изменить своё мнение о нём? Хитрые уловки матери или пошатнувшееся здоровье, мысли о скорой кончине и убеждение, что именно сын, а не внук наилучшим образом продолжит начатое им дело устройства Руси?

Василий Иванович всегда с большим почтением относился к своей матери. Она повидала мир, хорошо знала людей и свои познания стремилась передать сыну. С отцом у них были сложные отношения. Будучи женщиной чрезвычайно хитрой, Софья Фоминична оказывала на него сильное влияние, и Иван Васильевич, чувствуя это, сердился, старался поступать вопреки её намерениям и тем не менее делал так, как она хотела. Несмотря на противодействие большинства бояр, его мать сумела убедить великого князя в том, что только сын, а не внук, сможет стать достойным преемником.

Хотя Василий находился в те дни под стражей, ему стало известно, каким образом его мать, сама подвергшаяся опале, смогла добиться своего. Главный удар она направила не на Дмитрия, это вызвало бы раздражение у Ивана Васильевича, а на князей Патрикеевых и Семёна Ряполовского. Софья Фоминична нередко говаривала мужу о своём сожалении относительно того, что стала женой русского великого князя, с которым не считаются другие государи.

— Я отказала в руке своей богатым, сильным князьям и королям ради веры, пошла за тебя замуж, не ведая, что другие государи смеются над тобой. Взять хоть Казимира отпрыска Александра. Его послы тебя даже великим князем всея Руси не величают. Кто виноват в этом? Твои нерадивые слуги, помышляющие только о бражничестве, а не о чести своего господина!

И вот то, чему Иван Васильевич первоначально не придавал существенного значения, вдруг стало весьма важным. Князья Патрикеевы и Семён Ряполовский, поступившиеся именем государя во время переговоров с литовским господарем Александром, угодили в опалу. Но эта опала лишь обнажила все заблуждения ближайших советников великого князя, которые внушали ему мысль о возможности и необходимости союза с Литвой и Молдавией. После того как Молдавия попала в кабальную зависимость от Ягеллонов, ошибки советников стали очевидными даже для слепого. События развивались так, как предвидела умудрённая житейским опытом Софья, и Иван Васильевич не мог не признать этого. Тогда-то он и снял

опалу со своего сына.

Василий Иванович, с готовностью приняв на свои плечи бремя больших и малых забот, считал своим долгом по всем делам советоваться с матерью, Софьей Фоминичной. Казнённый по его приказу боярин Берсень-Беклемишев был прав, говоря Максиму Греку, что теперь государь наш, запершись сам-третей у постели своей матери, всякие дела делает.

Родные братья всю жизнь занозой сидели в его сердце. Умирая, Иван Васильевич наказывал им слушаться старшего брата во всем, почитать его как отца своего. Они же, презрев отцовскую волю, всячески пакостили ему, Василию, держали связь с заклятыми врагами Руси, грабили принадлежащие ему селения, переманивали на свою сторону его бояр и князей.

Взять хоть Семёна калужского. В 1511 году видоки и послухи поведали великому князю о подготовке удельного князя к бегству в Литву. Он, Василий, велел Семёну незамедлительно явиться в Москву. Тот, догадавшись о намерениях старшего брата, начал просить его через посредство митрополита Варлаама, епископов и других братьев о помиловании. Василий простил провинившегося братца, но переманил у него бояр и детей боярских. Через семь лет Господь Бог прибрал Семёна.

Другой брат, Дмитрий углицкий, также немало бесчестил его, велел людям своим грабить деревни, принадлежавшие князю Ушатому. Когда же Василий Иванович вступился за своего слугу, Дмитрий не соизволил даже ответить ему. Господь Бог прибрал Дмитрия в 1521 году.

Наиболее нелюбим великим князем ныне здравствующий брат Юрий. Ещё в самом начале княжения Василия Ивановича литовский господарь Жигимонт направил к Юрию посольство вроде бы для того, чтобы просить его содействовать примирению между Русью и Литвой. На самом же деле Жигимонтов посол во время тайной беседы поведал удельному князю, что до литовского великого князя дошли достоверные слухи, будто многие князья и бояре, покинув брата его, Василия Ивановича, пристали к нему. Мало того, Жигимонт заверил Юрия, что хочет быть с ним в любви и крестном целовании, готов оказать ему любую помощь в его притязаниях на великокняжеский престол.

Зорко следил Василий Иванович за Юрием. Немало было при дмитровском удельном князе детей боярских, которые через Ивана Яганова постоянно давали знать о замыслах его брата. И когда тот удумал отъехать в Литву, об этом сразу же стало известно в Москве. Юрий был вынужден просить заступничества у Иосифа Волоцкого, пославшего в Москву двух иноков своего монастыря — Кассиана и Иону — ходатайствовать перед великим князем за брата. Василий удовлетворил их слёзную просьбу, простил Юрия. Того, однако, как и горбатого, исправит только могила. По-прежнему чинит он старшему брату великое бесчестие.

Меньше других братьев опасался Василий Иванович козней со стороны Андрея. Старицкий удельный князь всегда был послушен ему, не сносился с врагами, не бесчестил словами. Труслив и осторожен Андрей Иванович.

Но только ли братья заботят великого князя? А Казань, Крым, Литва, Ливония? Да мало ли других врагов, готовых зубами вцепиться в принадлежащие ему владения, растерзать Русское государство!

В круговороте больших и малых дел он, жаждавший иметь наследника, не заметил, как пролетели двадцать лет их бездетного брака с Соломонией. Дойдя до опасной черты, переступив которую он потерял бы всякую надежду иметь сына, Василий Иванович деловито и основательно решил свои личные дела: расторг брак с Соломонией и женился на Елене Глинской. Ныне Бог смилостивился наконец над ним, дал ему долгожданного наследника престола. Радость в сердце огромная, безграничная! Но может ли он хотя бы на один день отложить в сторону обычные свои заботы? Он и раньше не сидел сложа руки, много трудился

над расширением пределов принадлежавших ему владений, целеустремлённо продолжал начатое отцом и добился многого. Не ему ли премудрый старец Филофей, инок Елизарова монастыря, писал в своём послании: все христианские царства сошлись в твоё единое царство, два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не быть. Вон как высоко вознеслась при нём, Василии, Москва! Теперь он будет ещё прилежнее в своих устремлениях. Сын должен получить в наследство сильную державу. Да не склонится голова его ни перед кем! Отныне Василий Иванович будет ещё строже к нерадивым слугам, плохо исполняющим великокняжеские дела.

— Вернувшись из похода на Казань, возликовали мы сердцем, узнав о великой радости, постигшей нашего славного государя и всех нас. Да пошлёт Господь Бог здоровья сыну твоему! — торжественно прозвучал в палате скрипучий голос Михаила Львовича Глинского.

— Благодарствую на добром слове, — спокойно ответил Василий Иванович и сразу же перешёл к делу: — Хотел бы я знать, с чем вернулись вы из Казани.

В палате установилась чуткая тишина. Все ждали от Михаила Львовича продолжения успешно начатого разговора с великим князем. Тот, однако, молчал, искоса поглядывая на Ивана Фёдоровича. Бельский хоть и не смотрел в сторону соседа, чувствовал на себе его взгляд и всё больше распалялся гневом.

«Молчишь, старая лиса! Перед воротами казанской крепости ты ни за что не хотел уступить мне право первому войти в город[113], а теперь вон какой тороватый! Боишься, как бы вновь не угодить в темницу?»

— Что ж вы молчите? Али нечего вам поведать своему государю?

Иван Фёдорович понимал: игра в молчанку не в его пользу. Он приосанился, с достоинством глянул на государя и заговорил, стараясь казаться как можно спокойнее:

— Великий государь Василий Иванович! Успешно воевали мы с казанцами, разгромили их острог, сооружённый на реке Булаке, недалеко от Казани, побили много татар, черемис, ногаев и астраханцев. Дали казанцы великую клятву никогда не изменять тебе, славному государю, не брать себе царя иначе как из твоих рук.

— А Казань? Почему вы не взяли крепость, когда она осталась беззащитной?

Всем стало ясно: государь хорошо осведомлён о казанском деле.

— Что ж ты умолк, Иван Фёдорович?

— Когда казанцы покинули крепость, я намеревался немедля устремиться в город, однако Михаил Львович Глинский стал возражать, говоря, что он должен первым въехать в Казань, с чем я не мог согласиться.

— Так вы затеяли спор о местах вместо того, чтобы делать государево дело — добывать крепость? Выходит, вы своё место ставите выше места великого князя! Вы презрели моё дело! — Голос Василия Ивановича набатом громыхал по палате. — Доколе будет продолжаться ваше нерадение? Когда мои спесивые воеводы станут выполнять волю государя неукоснительно, доводить задуманное дело до конца?

— В том, государь, вина не моя, а Михаила Львовича Глинского!

Василий Иванович несколько мгновений презрительно рассматривал Бельского.

— Шесть лет назад я посылал тебя, Иван Фёдорович, на Казань[114]. Когда загорелась крепостная стена, ты не только не сдвинулся с места, чтобы овладеть городом, но позволил

казанцам беспрепятственно воздвигнуть новую стену. Кто виноват в этом? Может, и тогда тебе помешал Михаил Львович? Так его в те поры не было под Казанью! Почему ты рукой не пошевелил, когда татары лишились возможности палить из пушек? Сколько казны ты получил от казанцев за своё нерадение?

Бельский вздрогнул как от пощёчины. Рыхлое лицо его стало землистым.

— То на меня поклёп, государь! всю жизнь, не щадя крови своей, верой и правдой служил я тебе...

— Плохо служил! Ступай, смерд, ты мне не надобен больше!

Гробовая тишина установилась в палате, когда опальный воевода покинул её.

— Знаю я, как вы кровь за государя проливаете! — Взгляд Василия Ивановича на мгновение задержался на лице Михаила Львовича. — Многие воеводы норовят подальше держаться от боя, страшатся, как бы случайно стрелой не оцарапало!

«В былые-то времена великий князь самолично водил в бой свою дружину. А ты в Москве сиднем сидишь!» — хотелось возразить Михаилу Львовичу. Да разве можно сказать такое? С тех пор как казнили неистового Берсень-Беклемишева, перевелись в Москве люди, решавшиеся перечить великому князю.

— Есть, однако, и у нас храбрые воеводы. Бельский говорил здесь о захвате острога. Но тот острог добыл не он и не Михаил Львович Глинский, а Иван Овчина! Вот кто дело великого князя делал так, как тому положено!

У Михаила Львовича от такого оскорбления потемнело в глазах: ему, умудрённому в ратном деле воеводе, поставили в пример молокососа, выскочку! Наверняка это он донёс великому князю о препирательствах главных воевод перед воротами казанской крепости.

«Ну погоди, мы ещё посчитаемся с тобой, Иван Овчина!»

— Великую радость послал нам Всевышний, и на той великой радости решил я пожаловать многих людей опальных: князя Фёдора Михайловича Мстиславского, князя Бориса Ивановича Горбатого, боярина Ивана Васильевича Ляцкого, дворецкого Ивана Юрьевича Шигону и иных князей, бояр и детей боярских. Повелеваю открыть двери темниц и выпустить томящихся в них узников на волю.

— Слава государю всея Руси Василию Ивановичу!

— Слава! Слава! Слава!

Глава 15

Вот и настал день нового церковного собора. Занятый исполнением данных обетов, Василий Иванович всё откладывал судилище над Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым. К тому же не хотелось ему омрачать первые дни и месяцы жизни сына суровым приговором. Но поскольку обещание о поставлении еретиков перед церковным собором было дано митрополиту, а тот при каждой встрече непременно напоминал великому князю о данном слове, Василию Ивановичу в конце концов пришлось назначить день суда.

Церковный собор заседал в Средней царской палате, там, где состоялась свадьба Василия

Ивановича и Елены Глинской. Теперь на возвышении стояло кресло великого князя, к которому от входных дверей была постлана дорожка из красного сукна. Сзади великокняжеского кресла вдоль стены полукругом расположились участники церковного собора: архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и влиятельные старцы ряда монастырей. Ниже возвышения, по левую руку от великого князя, сидели на скамье Максим Грек и Вассиан Патрикеев, а справа от Василия Ивановича стояли шесть других подсудимых, которые вместе с тем выступали на церковном соборе в качестве видоков и послухов: бывший архимандрит московского Спасского монастыря Савва Святогорец, келейник Максима Грека Афанасий Грек, старец Вассиан Рушанин, старец Вассиан Рогатая Вошь, Михаил Медоварцев и каллиграф Исаак Собака.

Напротив великого князя, между входными дверями и возвышением, стоял длинный стол, на котором были разложены церковные книги с закладками в нужных местах. За столом сидели митрополит Даниил и епископ крутицкий Досифей.

Вдоль стены, где во время свадьбы великого князя толпились дети боярские, теперь стояли наиболее знатные князья и бояре. Среди них был и Михаил Тучков с сыном Василием.

Василий Иванович взмахнул рукой, давая знать о начале церковного собора. Митрополит встал и, обращаясь к великому князю, громко произнёс:

— Христолюбивый царь, великий князь всея Руси Василий Иванович! В лето 7033 Божественный священный собор осудил инока Максима Грека за его тяжкие прегрешения. Ныне же мы вновь собрались всем собором, ибо ко многим прежним прегрешениям Максима Грека добавились новые: хулы на Господа Бога нашего и пречистую Богородицу, на церковные законы и уставы, на святых чудотворцев и монастыри. Указано было ему, чтобы во время пребывания в Иосифовом монастыре он был заключён в темницу для покаяния и исправления. Запрещалось Максиму учить, писать, направлять кому-либо послания или принимать их. Он же не покаялся и не исправился, считая себя ни в чём не виновным, многомудрствовал и писал послания своим доброхотам. Увидев, что инок Максим не только не исправился, но совершил многие другие прегрешения, мы обратились к игумену Иосифова монастыря Нифонту и старцам с письмом, в котором просили привезти Максима Грека с Волока на Москву, чтобы вновь поставить перед всем священным собором.

Митрополит повернулся к обвиняемому, голос его зазвучал по-иному — укоризненно, властно:

— Вы пришли от Святой горы из Турецкой державы к благочестивому и христолюбивому государю, великому князю всея Руси Василию Ивановичу ради его милости. И государь жаловал вас своей милостью, многие дары посылал в ваши монастыри, оказывал вам честь великую. За всё это вам следовало молить Бога послать государю нашему здоровья, помочь ему одолеть всех врагов. А вы с Саввою вместо блага зло великому князю удумали, посылали грамоты к турецким пашам и к самому турецкому султану, поднимая его на христолюбивого государя и великого князя Василия Ивановича и на всю его благочестивую державу. Не вы ли говорили: хочет великий князь покорить Казань, но будет ему лишь сором [115], ибо турецкий султан не потерпит ослабления казанцев. Вам были ведомы советы и похвалы турецкого посла Искандеря, который хотел поднять турецкого султана на великого князя. И ты, Максим, о том всем ведал, а государю и боярам не сказал. Но зато говорил многим людям: быть на земле Русской турецкому султану, потому что султан не любит родственников цареградских царей, а ведь князь Василий внук Фомы Аморейского. Не ты ли, Максим, называл великого князя гонителем и мучителем нечестивым? Да ты же, Максим, сказывал: князь Василий выдал землю крымскому хану [116], и если он от крымского хана бежал, то как же ему от турецкого султана не бежать? Пойдёт турецкий султан, и великому князю либо дань платить, либо в северных лесах прятаться. Не ты ли, Максим, говорил многим: здесь, на Москве, великому князю и митрополиту кличут многолетие и еретиков

проклинают, но они сами себя проклинают, потому что творят не по писанию, не по правилам — митрополит поставляется своими епископами на Москве, а не цареградским патриархом...

Максим внимательно слушал речь Даниила. Живые и умные глаза его выражали удивление: в речи митрополита были хитро переплетены полуправда и явная ложь. Никаких грамот к турецкому султану, призывающих его начать поход на Москву, он, Максим, не посылал. Обеспокоило его и явное намерение первосвященника настроить против него великого князя. Не в первый раз он с сожалением подумал о своей неосмотрительности и неосторожности во время бесед, которые велись в его келье в Чудовом монастыре. Разумеется, ничего плохого о государе им самим не говорилось, но некоторые его высказывания, касающиеся взаимоотношений Русского государства с другими народами, могли быть истолкованы, особенно вне связи со всем строем его бесед, как укоризненные по отношению к великому князю. Речь митрополита и была построена на преднамеренных искажениях его высказываний, произнесённых при обстоятельствах, им, Максимом, часто забытых.

На прошлом соборе его обвиняли в основном в нарушениях церковных законов. Тогда он категорически отрицал многие обвинения, полагая, что митрополит попросту не сможет их доказать, и признавался в совершении лишь незначительных ошибок, описей, сделанных в ранние годы пребывания на Руси, когда он недостаточно хорошо знал русский язык. Но Даниил оказался хитрее, чем Максим думал. Он нашёл таких видоков и послухов, вроде его келейника Афанасия, которые готовы были наговорить на него что угодно. И ныне, по-видимому, митрополит намерен опираться на их лживые показания.

Максим обвёл взглядом участников церковного собора. Многие неведомы ему, а те, кто знаком, — сплошь ярые стяжатели. Великий князь спокойно и равнодушно смотрит прямо перед собой. Наслушавшись речей митрополита, он едва ли захочет вступить за него. Нестяжательство, видать по всему, больше не занимает его. Даже бывшего своего любимца старца Вассиана позволил иосифлянам поставить перед церковным собором. Не от кого ныне ждать милости, не на кого надеяться, кроме как на свою голову.

— Когда ты жил в Иосифовом монастыре, приказано было надзирать за тобой Тихону Ленкову да отцу духовному священнику Ионе. И ты, Максим, им говорил: ведаю всё везде, где что делается. Так это есть не что иное, как волхование эллинское и еретическое. Когда Симон-волхв убедил себя во всеведении и в колдовских мечтах вознёсся с помощью демонов ввысь, верховный апостол Пётр с воздушной высоты поверг его на землю, предав смерти. А Илиодора-волхва святой Лев, епископ катанский, своими руками связал священным омофором [117] и предал огню. Также и иные многочисленные еретицы говорят о своём всеведении, прельщая и губя народы. И ты, Максим, уподобился им, своими речами прельщая и губя людей. Да ты же, Максим, святые Божьи апостольские церкви и монастыри укоряешь и хулишь за то, что они занимаются стяжательством и людей, и доходы, и сёла имеют. А разве в ваших монастырях на Святой горе и в иных местах у церквей и монастырей сёл нет? Да к тому же и в писаниях и в житиях отечественных велено святым монастырям и церквям иметь сёла. Да ты же, Максим, святых чудотворцев Петра, Алексея, Иону, митрополитов всея Руси, и святых преподобных чудотворцев — Сергия, Варлаама и Кирилла, Пафнутия и Макария укоряешь и хулишь, а говоришь так: поскольку они держали города, волости, сёла, взимали пошрины, оброки и дани и оттого имели огромные богатства, нельзя их почитать за чудотворцев. Когда поставили тебя прошлый раз перед великим Божественным собором, перед князем Василием, нами, архиепископами, всеми священными мужами в палате великого князя, где находились в то время братья государя и всё боярство, прочтены были тебе многие свидетельства из Божественных писаний, чтобы ввести тебя в познание и разум истинный и исправление. Но ты всем этим пренебрёг и, будучи в Иосифовом монастыре, говорил старцу Тихону Ленкову и отцу своему духовному священнику Ионе: чист я от рождения и донныне от всякого греха и не имею за собой вины, а потому напрасно меня держат в темнице. И ты, Максим, везде себя оправдываешь, и возносишь, и хвалишь, и не признаёшь за собой ни единого греха и вины. Собор запретил тебе учить и

писать, ты должен был лишь исповедоваться и каяться с прилежным плачем и слезами о своих еретических хулах на Бога, Пречистую Богородицу, святых чудотворцев, церковные чины, уставы, законы и монастыри. И за то, что хулил великого князя и государя нашего христоролюбивого Василия, посылал грамоты к турецкому султану и пашам его, поднимая и призывая на разорение православной веры, на святые церкви, на всё православное христианство и на всю землю Русскую!

Митрополит кончил свою обвинительную речь. В палате послышались покашливания, одобрительные возгласы. Иосифлянам явно по душе пришлась его речь, в которой он не забыл упомянуть ни об одном прегрешении Максима Грека. Дождавшись тишины, Даниил вновь обратился к подсудимому:

— Итак, Максим, многие вины числятся за тобой. И ты скажи нам, что со своими единомышленниками и советниками мудрствовал, мыслил и действовал против православной церкви.

Вассиан Патрикеев внимательно слушал, что же ответит Даниилу Максим: будет ли униженно просить его о помиловании, слёзно каяться в совершённых прегрешениях или станет обвинять во всем своих бывших друзей, коих митрополит назвал единомышленниками и советниками? Слыхивал Вассиан о порядках, учреждённых для осуждённых монахов в Иосифовом монастыре. Поди, не сладко пришлось там Максиму.

— Ни с кем, господине, хулы на Бога, Пречистую Богородицу, православную церковь не говаривал, не писал и не велел писать. — Голос обвиняемого звучал твёрдо и убедительно.

— Ныне ты говоришь, что хулы на Бога, Пречистую Богородицу, православную церковь не говаривал, не писал и не велел писать. Между тем старец Вассиан Рушанин, ученик и советник ваш, на вас доносит... — Митрополит взял со стола лист бумаги и стал читать: — «Говорил я про хульные строки перевода Васьяну Патрикееву. И тот мне ответил: я того не знаю, и послал за Максимом. Поговорив с ним, старец Васьян мне молвил: так, дескать, и надобно».

Пока Даниил зачитывал его донос, Вассиан Рушанин, невысокого роста монах с длинным, словно восковым, лицом, стоял сгорбившись, как будто придавленный незримой тяжестью. Максим пристально рассматривал его.

«С чего бы это старцу потребовалось грамоту писать? Боязно, видать, говорить перед народом лживые речи. А бумага, она всё стерпит. Крепко запугал митрополит своих послухов, коли готовы они говорить любую кривду, угодную ему».

— То, господине, писано на меня ложно, я так не говорил о той строке ни с Вассианом Патрикеевым, ни с Вассианом Рушаниным.

Митрополит был озадачен твёрдостью подсудимого.

«Плохо потрудились братья Ленковы да духовный отец еретика Иона, не сломили строптивного упряма. Упорство его ой как нежелательно! И грамота Вассиана Рушанина мало помогла. Надо бы поставить его перед Максимом с очей на очи, да боязно, уж больно труслив старец, хуже бы не было».

— Скажи, Вассиан Рушанин, правду Максиму! Нетвёрдой походкой старец приблизился к подсудимому и заученно пробормотал:

— Спрашивал я тебя и Вассиана Патрикеева о той строке, и вы мне ответили: так то и надо, то есть истина. — Слова послуха звучали очень неубедительно. Вассиан почувствовал это и, испугавшись гнева митрополита, жалобно залепетал: — Да ещё и другие спрашивали о той

строке, и ты им отвечал так же...

Максим Грек презрительно посмотрел на Рушанина.

— Пусть совесть твоя будет тебе судьёй!

Вассиан втянул голову в плечи и пошатываясь пошёл на своё место. Жалкий вид свидетеля спутал планы Даниила, возлагавшего на него большие надежды. С помощью Вассиана Рушанина он надеялся втянуть в судебное разбирательство своего противника Вассиана Патрикеева. Первоначально первосвященитель намеревался устроить очную ставку между ними, но в самый последний момент раздумал: грозный вид высокородного старца мог окончательно доконать перепуганного Рушанина и он, чего доброго, не начал бы болтать лишнее. По этой причине митрополит сам обратился к Вассиану Косому:

— Слышал ли ты, Вассиан, что писал про тебя Рушанин?

Тот величественно поднялся и, свысока глядя на Даниила, промолвил:

— Мне до Максима нет никакого дела, я с ним ни о чём таком не говорил. А Вассиан Рушанин вольный человек, что хочет, то и говорит, и что хочет, то и пишет. А я ему ни с Максимом, ни без Максима не говорил ничего, и дела до них мне нет!

Лицо митрополита покрылось красными пятнами. Его не на шутку встревожило твёрдое отрицание подсудимыми своей вины, открытое презрение их к свидетелям обвинения, неуверенность видоков и послухов. Даниил велел Досифею, крутицкому епископу, допросить Максима об обвинениях, предъявленных ему на прошлом соборе.

— Книги наши с греческих же книг переведены и писаны, — пророкотал Досифей, — а ты их чернил, говоря, что книги наши здесь, на Руси, не прямы. И где было написано «бесстрашно божество», ты зачеркнул и вместо того написал «нестрашно божество».

— То, господине, есть опись, и опись ту допустил писец. Так вы такие описи исправляйте сами.

— Для чего говорил ты многим людям так «Христос, взойдя на небеса, тело своё на земле оставил, и то тело между неких гор ходит по пустым местам, а от солнца погорело и почернело, как головня».

— То, господине, на меня ложь, я так не говорил. Обвинение Досифея подтвердили Михаил Медоварцев, старец Вассиан Рушанин и келейник Максима Афанасий. Максим Грек с трудом припомнил о разговоре, случившемся в его келье вскоре после приезда на Русь. Тогда он рассказал своим гостям, жадно внимавшим свежему человеку, повывавшему мир, об еретиках, думающих, будто тело Христа, уподобившись головне, блуждает между гор. Ныне лживые послухи то ли по глупости, то ли питая лютую ненависть к нему, обвинили его самого в этой ереси. Зачем он обольщался вниманием глупцов?

— В том, господине, виноват, что ту речь свою запомнил. Сказывал я им о неверных лихих людях, клеветующих на Христа. Сам же я так не думаю.

— Подали на тебя, Максим, жалобу протопоп Афанасий, протодиакон Иван Чушка, поп Василий. Пишут они, что ты, дескать, нашей земли Русской святых книг никогда не хвалишь, а говоришь, будто здесь, на Руси, никаких книг нет, ни Евангелия, ни Апостола, ни Псалтыри, ни правил, ни уставов, ни отеческих, ни пророческих. А те протопопы перед тобой.

В палату вошли доносчики. Ослеплённые величием церковного собора, они робко встали у дверей, низко кланяясь и крестясь. Максим Грек громко обратился к ним:

— Вы на меня лжётё, я того не говаривал, а молвил, что книги здешние на Руси не прямы, иные книги переводчики испортили, не умея их перевести, а другие писцы повредили.

Перепуганные послухи, не смея возразить ему, стали кланяться и креститься ещё усерднее. Досифей раздражённо махнул рукой, веля им удалиться.

— Говорил ты многим людям: митрополиты у нас здесь, на Москве, поставляются своими епископами русскими без благословения патриарха царьградского. И не приемлют они патриаршего благословения от гордыни.

— Выяснял я, господине, здесь, почему не ставятся митрополиты русские по-прежнему, по старому обычаю, у патриарха царьградского. И сказали мне: патриарх дал благословенную грамоту русским митрополитам, чтобы они поставлялись своими епископами на Руси. Но я, сколько ни просил показать мне ту грамоту, не видел её. И я сказал: коли здесь у них грамоты патриарха царьградского нет, то они от гордости не ставятся по-прежнему, по старому обычаю и уставу.

— Почему же ты прежде не признавался в своих речах о том, будто митрополиты ставятся на Руси неправильно? На прошлом священном соборе старец Афанасий Сербии, поставленный перед тобой с очей на очи, говорил про тебя то же самое. Также и архимандрит симоновский Герасим и многие другие доносили. А ты заперся и сказывал, что ничего такого не говорил.

Максим на мгновение задумался. Да, он считал и считает существующий порядок поставления митрополитов неправильным, проявлением гордыни. Турецкое завоевание не могло нарушить святости греческой церкви. Почему же на прошлом соборе он говорил по-другому, отказывался от своих речей? Тогда он надеялся на благополучный для себя исход дела, не ожидал столь сурового приговора. Потому-то и старался представить свои высказывания самым невинным образом. Теперь, после шестилетнего пребывания в Иосифо-Волоколамском монастыре, он может не скрывать своих мыслей.

— Да, я говорил, что митрополиты поставляются на Москве своими епископами из-за гордыни.

— Почему ты плохо сказывал про здешних русских чудотворцев, будто они не чудотворцы, а смутотворцы и резоишцы? [118]— Не говорил я такого, господине.

— Позовите сюда Фёдора Сербина.

В палату вошёл высокий черноволосый монах.

— Слыхивал ли ты, Фёдор, от Максима хулу на русских чудотворцев?

— Слышал, господине.

— То ведаешь ты, а я того не говорил! Фёдор Сербии ответил спокойно:

— О том, Максим, я с тобой не раз спорил. Когда я сказал тебе о здешних чудотворцах, от которых слепые прозревают, глухие слух обретают, хромые в пляс пускаются, а прокажённые очищаются, то услышал брань, дескать, ты, Фёдор, такой же москвитин, а все москвяне и сербияне — безверники.

— Не говорил я того, господине.

— А я утверждаю: Максим так говорил, а я то слышал!

— Нет, я того не сказывал. Пусть совесть тебя осудит.

— Господине Максим, подумай и вспомни, что говорил про всех русских чудотворцев хульные речи и про Пафнутия Боровского, будто нельзя ему быть чудотворцем.

Фёдор не случайно упомянул о Пафнутии Боровском. О нём много дурного говорилось в келье Максима Грека. Особенно резко осуждал его Вассиан Патрикеев, да и все нестяжатели неодобрительно относились к нему, в том числе и он, Максим.

— Против чудотворцев Петра, Алексея, Сергия, Кирилла я ничего никогда не говорил. А про Пафнутия в самом деле молвил так, потому что он сёла держал и деньги в рост давал и имел слуг, а людей своих судил и кнутом бил. Как же ему чудотворцем быть?

Ропот возмущения пронёсся по палате. Совсем недавно, в начале мая 1531 года, Пафнутия Боровского канонизировали, и вот теперь приходится слушать хулу на новоявленного святого. К тому же всем было ведомо о благосклонном отношении великого князя к Пафнутиево-Боровскому монастырю. В прошлом году повелением Василия Ивановича великая княгиня Елена подарила этому монастырю церковный покров с изображением основателя монастыря Пафнутия. Досифей поднялся из-за стола.

— Кто тебе сказывал, что Пафнутии сёла держал, слуг имел и хлеб в рост давал, судил и кнутом бил?

— О том, господине, писано в житии его.

— Кто тебе житие Пафнутия давал читать?

— Житие Пафнутиево давал мне читать старец Вассиан княж Иванов сын Юрьевич. Старец Вассиан всегда говорил о Пафнутии, что он сёла имел, слуг держал, росты имал, судил и кнутом бил.

— Так ли это, Вассиан?

— Я никаких слов о Пафнутии Боровском Максиму не говорил и читать жития не давал.

Максим укоризненно глянул в сторону Вассиана Патрикеева, но промолчал. Не из трусливых старец, да и он, видать, испугался открыто хулить новоявленного чудотворца.

— Сказывал ли ты, Вассиан, хулу на чудотворца митрополита Иону?

— Я не ведаю, был ли Иона чудотворцем!

Вновь ропот возмущения пронёсся по палате. Иона почитался на Руси вслед за митрополитами Петром и Алексеем, а Вассиан Патрикеев усомнился в том, был ли он чудотворцем. Неслыханная ересь!

— Сказывали про тебя, Вассиан, будто ты и Макария Калязинского укоряешь и хулишь. Так ли это?

— Макарий Калязинский что за чудотворец? Сказывают, будто в Калязине Макарий чудеса творил, а мужик был простой, сельский. Но если вам любо почитать Макария Калязинского чудотворцем, вы так и поступайте.

— Благодать Господа Бога нисходит на всякого: на царя, священника и раба — все равны во Христе! — торжественно произнёс Даниил.

Вассиан в ответ усмехнулся: стяжателям ли говорить о равенстве во Христе?

— То, господине, ведаёт Бог да ты со своими чудотворцами.

Досифей обратился вновь к Максиму Греку:

— Скажи, Максим, в вашей земле греческой есть ли у монастырей сёла?

Подсудимый знал: в Греции монастыри владеют сёлами. Но скажи он об этом на соборе, его слова стали бы новым оружием в устах иосифлян в их борьбе с нестяжателями. Поэтому Максим ответил уклончиво:

— Я, господине, в игуменах и строителях не бывал, того не ведаю.

— Сказываешь ты, что не ведаешь, есть ли в греческой земле у монастырей сёла. Между тем принесли вы сюда, в Москву, из Афона житие святого Саввы, архиепископа сербского, а в том житии писано: сёла у монастырей есть. Эти сёла давали монастырям государи и иные христороубцы.

— О том, господине, я запомнил.

— А которые вам государи сёла давали в монастыри ваши, разве вы их не держите?

— Те сёла, которые государи и иные христороубцы в наши монастыри давали, целы и нерушимы.

Досифей удовлетворённо кивнул головой и, повернувшись в сторону бояр и князей, обратился к дворецкому Михаилу Юрьевичу Захарьину. Вперёд вышел дородный большелобый боярин, один из самых ближних к великому князю людей. Митрополит Даниил считал своим большим успехом привлечение в качестве свидетеля по делу Максима Грека этого влиятельного боярина.

— Слышал я от многих достоверных послухов, что был Максим Грек в Риме в учениках у некоего учителя. Тех учеников было много, более двухсот. Учились они любомудрию философскому и всякой премудрости, но уклонились и ударились в ересь жидовскую. И папа римский, узнав об этом, повелел их поймать и предать казни. Всех этих учеников сожгли, лишь восемь человек убежали на Святую гору. Среди них был и Максим Грек.

Подсудимый вздрогнул от этих слов. Он отчётливо представил казнь своего учителя — проповедника монастыря Святого Марка Джироламо Савонаролы. Смерть учителя так сильно поразила его, что вскоре после прибытия на Русь он описал в одном из самых ярких своих творений, «Повести страшной и достопамятной и о совершенном иноческом житии», Флоренцию, монастырь Святого Марка и мученическую гибель Савонаролы. В этой повести он обличал широко распространённые пороки монашества: пьянство, чревоугодие, сребролюбие, праздность, сквернословие, подкупы и мздоимство при выборе игуменов. Как бы враги не припомнили ему сейчас его слова о Савонароле! Похоже, однако, что боярин Захарьин пользовался лишь безымянными слухами. Вместо Флоренции он назвал по неведению Рим. Огромные пространства, простёршиеся от холодной Москвы до солнечной Италии, сильно исказили подлинную картину гибели Савонаролы: казнь учителя и двух его учеников превратилась в гигантский костёр, на котором погибло около двухсот учеников.

Воспоминания так сильно поглотили Максима, что он не сразу услышал обращённый к нему голос Досифея:

— Бывал ли ты в Риме в учениках у некоего учителя, и сколько вас было у того учителя в училище, и было ли на вас слово от папы римского?

Как ответить на этот вопрос? Следует ли убеждать неправедных судей в казни не двухсот, а только двух учеников Савонаролы? Кто ему поверит!..

— Видишь, господине, и сам меня, в какой есть я ныне скорби, в беде и печали. И от многих

напастей ни ума, ни памяти нет, ничего не помню, господине.

По этому обвинению никто из присутствующих не мог что-либо добавить, поэтому Досифей перешёл к вопросу о грамотах, которые Максим якобы посылал турецкому султану. В обвинительной речи митрополит очень уверенно го ворил об этих грамотах, однако отсутствие прямых доказательств заставило его прибегнуть к помощи лживых видоков и послухов. В их числе оказался и Василий Тучков.

Когда Досифей назвал его имя, Василию показалось, будто в палате стало темнее. Он выбрался из толпы бояр и неуверенной походкой приблизился к столу, за которым сидели митрополит Даниил и епископ крутицкий Досифей.

— Отец твой Михайло Васильевич Тучков бил челом великому князю в том, чтобы допросить тебя. Видел ли ты у Максима грамоты греческие?

Василий обратился к великому князю:

— Я, государь, приходил в келью Максима Грека, и он показывал мне грамоту греческую. И просился, государь, отпустить его на Святую гору, а ты его не отпустил, но молвил: поживи ещё здесь. Закручинился Максим и сказал: не думал я, будто благочестивый государь может поступать так, как другие государи — гонители христианства.

Большие глаза подсудимого смотрели на молодого послуха пристально, с удивлением. Василий не мог выдержать этого взгляда.

— Слыхал ли, Максим, что Василий Тучков про тебя сказывал?

— Грамоту греческую церковную я ему показывал, а про великого князя так не говорил.

Василию стало до слёз обидно. Ему почудилось, будто со всех сторон на него смотрят неодобрительно, как на лжеца и доносчика. Но ведь он в самом деле слышал от Максима сетования на государя! Досада на иноземного монаха, вызванная его отказом от собственных слов, возбудила в душе княжича чувство неприязни к нему. Теперь он уже с нетерпением стал ожидать, когда Досифей велит зачитать тайные грамоты Максима и Саввы кафинскому паше, о которых сказывал митрополит.

Этого, однако, не произошло. По поводу грамот крутицкий епископ стал допрашивать Афанасия, бывшего келейника Максима. Афанасий Грек говорил бойко, взахлёб, он хорошо знал, чего хочет от него митрополит Даниил.

— Максим да Савва писали грамоту кафинскому паше, чтобы тот надоумил турецкого султана послать людей своих на землю великого князя морем в кораблях. Дескать, людей у московского князя много, да воины из них плохие. Ту грамоту я видел у дьякона Фёдора, но не читал. Читывал её и сказывал мне о ней старец Окатей. — Послух на мгновение задумался. Ни дьякона Фёдора, ни старца Окатея допрашивать на соборе не станут: нет их в Москве. Для него это хорошо, но в то же время и плохо. Много ли веры человеку, передавшему чужие слова? Надо бы и от себя что-нибудь добавить: — А ещё слышал я разговор Саввы с Максимом промеж собой: как только люди турецкого султана пойдут на Русскую землю, великому князю придётся либо дань платить, либо в северные леса бежать.

Василий Тучков внимательно слушал показания Афанасия. Он понял, что бывший келейник Максима говорит кривду, является таким же ложным видоком, как и он сам. В душе, однако, оставалась надежда: вот сейчас Досифей велит позвать дьякона Фёдора или старца Окатея, которых он, Василий, совсем не знает, и они подтвердят сказанное Афанасием.

Пока княжич так размышлял, между Афанасием и Максимом шла перебранка. Подсудимый

решительно отверг обвинения в посылке грамот кафинскому паше. Когда же бывший келейник повторил свои показания, он презрительно бросил ему:

— Пусть совесть твоя будет тебе судьёй!

Лицо Афанасия покраснелось, он продолжал давать показания, но уже не о грамотах, а совсем о другом. О грамотах речи больше не было.

«Выходит, — с недоумением размышлял Василий, — тех грамот не было! Не было и быть не могло, потому что Максим любит Русскую землю как свою родину. Не он ли многократно предостерегал нас беречься от татар? Значит, я вместе с Афанасием говорил кривду, угодную митрополиту!»

Во рту Василия пересохло, на душе сделалось мерзко. Ему захотелось тотчас же покинуть палату, где происходило это постыдное судилище, вдохнуть свежего воздуха.

Решение церковного собора зачитывал сам митрополит. Василий Тучков напряжённо всматривался в лица главных обвиняемых и не видел на них страха. Максим внимательно слушал Даниила, а Вассиан Патрикеев равнодушно и гордо глядел поверх голов в окно, через которое в палату вливался свет послеполуденного солнца. Казалось, происходящее вокруг не волнует его.

Когда митрополит сообщил, что Максим Грек отсылается до заповеди вины в заточение в Тверь, Василий перевёл взгляд на тверского епископа Акакия. Акакий получил своё место через год после водворения на митрополию Даниила. Дружба у них давняя, скреплённая общностью мыслей. Будучи иосифлянином, тверской епископ избегал, однако, резких высказываний против нестяжателей. Среди церковников он слыл за умеренного, начитанного и умного человека.

«Едва ли старцу Максиму будет хуже в Твери, нежели в Иосифовом монастыре», — подумалось Василию.

—..А Савву, архимандрита, — продолжал митрополит, — в Левкеин монастырь и держать в великой крепости безысходно. А Максимова келейника Афанасия Грека и Вассиана Рушанина митрополиту держать у себя на дворе в крепости великой безысходно.

«Вот оно, наказание для иуд, оклеветавших Максима: митрополит приблизил их к себе, чтобы иметь под рукой верных послушных слуг, готовых на любую мерзость».

—..А старца Вассиана Патрикеева послать в Иосифов монастырь к игумену Нифонту и старцам Касьяну, Ионе, Гурию и прочим и держать в крепости великой безысходно.

Из всех осуждённых бывшему любимцу великого князя выпало наиболее суровое наказание. Ему предстоял путь в самое логово презлых иосифлян.

Василий вновь глянул в сторону Вассиана. Ничто не изменилось в его лице после оглашения приговора. Спокойно и бесстрастно смотрел он поверх голов в окно великокняжеской палаты.

«Весь этот церковный собор понадобился митрополиту лишь для того, чтобы расправиться с негодным ему нестяжателем Вассианом Патрикеевым. — Со слов отца Василию были известны превратности судьбы старца. Удачливый воевода, умный посол, справедливый судья, почитаемый всеми нестяжателями монах — кем бы ни был, Вассиан всегда оставался незаурядным человеком. Даже на этом несправедном судилище он вёл себя достойно. — А я? Достойно ли я вёл себя на церковном соборе? Почему позволил митрополиту втянуть себя в это мерзкое и постыдное дело? Нет мне, ничтожному, оправдания!»

Василий Тучков покинул великокняжеский дворец сильно огорчённым. Возле Боровицкой башни Кремля ему стало нехорошо, и он прислонился спиной к холодной стене.

— Друзе Василий, уж не задремал ли ты? Поди, всю ночь книжицы читал, вот глаза-то и слиплись, — послышался весёлый голос. Рядом стоял Иван Овчина, рослый, крепкий, задорно улыбающийся. На нём белая, из тончайшего батиста рубаха, ладно сшитые порты, заправленные в нарядные, из зелёного сафьяна сапожки. Простота одежды подчёркивала красоту молодого воеводы. Был он широк в плечах и тонок в поясе. — Что-то ты, друже, бледен нынче? Уж не захворал ли?

— Нет, Ваня, не захворал. Случилось мне быть на церковном соборе, и так нехорошо на душе стало, руки на себя готов наложить!

— Что так?

— Судили на том соборе старцев Вассиана Патрикеева и Максима Грека. И я против Максима показания давал. А ведь старцы те — украшение земли Русской, ибо познания их необычайно велики. Мыслью своей проникают они в глубь незнания, рассеивая его, как лучи солнца разгоняют утренний туман. А митрополит Даниил, вооружась показаниями видоков и послухов вроде меня, никчёмного, в грязь их втоптывал. Оттого и скорбит моя душа.

— Не дело доброму молодцу вникать в спор святых старцев. У тебя одни заботы, у них — другие. Норовят старцы доказать друг другу, что есть истина. А истина, она велика, как небо или земля. И один человек никогда не постигнет всей истины. Старец Вассиан вкупе с Максимом тщатся повернуть церковь на путь нестяжательства. Доброе то дело, да не свершится оно никогда, потому что были и будут среди монахов и попов стяжатели. И их всегда больше, чем нестяжателей, которые нужны церкви как совесть человеку.

— Так зачем же совесть-то истязать?

— Истязают не совесть, а людей совестливых, ибо сильно мешают они поступать вопреки справедливости и правде.

— Ты, Ваня, глумишься над святой церковью.

— А не ты ли сказывал мне, что митрополит втоптывал в грязь премудрых старцев?

— Митрополиты меняются, церковь же существует вечно.

— Вовсе не вечно! У нас на Руси церкви стали строить со времени киевского князя Владимира. А до того русичи идолам Перуновым поклонялись и веру ту считали истинной.

— Грешно так мыслить, Ваня.

— Грешно не мыслить, если мысль человеку дадена. Старцы на церковном соборе об истине спорили. И не случайно: в старости истина уж больно многоликой кажется. А в молодости они об истине, поди, не спорили, всё ясным-ясно было. В чём истина для доброго молодца? Да в том, чтобы любить и самому любимым быть, чтобы жену и детей иметь, чтобы землю свою от ворогов оборонить. Вот в чём истина есть! Выкинь, Вася, из головы дурные мысли, не думай о перепалке святых старцев. Доживём до их лет, тогда и станем об истине спорить. А сейчас какой в том толк? Тебе, друже, перво-наперво жениться нужно. Жена отвадит тебя от

вредного мудрствования.

Мысли Василия переметнулись на жену Ивана. Его друг женился пять лет назад. В положенный срок жена родила сына Федьку. Была она красива собой, но почему-то Иван никогда не хвалил её, хотя и не хулил тоже. Василию иногда казалось, что в душе Иван недоволен своей женой.

— Вот ты, Ваня, женился, а доволен ли тем?

Иван не ожидал такого вопроса. Он долго молчал, взрывая носком сапога ореховую шелуху, во множестве скопившуюся возле Боровицких ворот.

— Ведомы тебе, Вася, наши порядки. Добрый молодец не сам приводит в дом полюбившуюся девицу, а родители подбирают ему по своему вкусу и местничеству. Рассуждают при этом так: привыкнут друг к другу — слюбятся. А не всегда любовь сбывается. Отец мой отыскал невесту знатную, честь свою сохранившую да и лицом пригожую. Чего, дескать, Ваньке моему ещё надо? А я молод был, неопытен, глянул на невесту, отцом выбранную: на лицо хоть куда! Загорелось моё сердце, обвенчали нас, Федька родился. Да только любви у нас так и не получилось. Приласкаюсь я к ней, а она в ответ: отстань, я ещё молитву не кончила. А то сошлётся на усталость или ещё на что. Любит она книги церковные читать. Ей бы твоей женой быть, вы с ней вместе книжки читали бы...

«Выходит, не любит она Ваню? А ведь трудно найти красивее да удалее его. Какого же мужа ей ещё надобно?» — недоумевал Василий.

— А почему ты не в Туле, Ваня? Иван Овчина досадливо махнул рукой.

— Послал государь в Тулу трёх Иванов: меня да Воротынского с Ляцким. Две седмицы мы там пробыли, как вдруг является нам на смену четвёртый Иван сын Фомин Лазарев. Вместе с ним из Москвы прибыл дьяк Афанасий Курицын. Он-то и привёз нас в стольный град на суд великого князя.

— Да за что же тебя-то судить? В прошлом году ты вон как отличился под Казанью! Государь тебя дюже хвалил.

— Уж лучше бы не хвалил он меня, Вася. Ты ведь знаешь наших бояр, из зависти готовых друг другу горло перегрызть. Среди них Михаил Львович Глинский истинный зверь. Государю следовало бы наказать его, как и Ивана Фёдоровича Бельского, ведь только из-за их глупого спора не взяли мы тогда Казань. Василий Иванович, однако, пожалел его по случаю рождения сына, как-никак женин дядя. Михаил Львович эту милость ни во что поставил. Всех готов обвинить он в неудачах ратных, но только не самого себя. Особенно обозлился Глинский на меня. Похвала государя ему поперёк горла встала. Вот он и постарался послать меня в Тулу вместе со своими дружками Иваном Михайловичем Воротынским да Иваном Васильевичем Ляцким, такими же перебежчиками литовскими, как и сам Глинский. По прибытии в Тулу дружки его стали надзирать за мной да отписывать государю. Дескать, к ратному делу я нерадив, лишь о жёнках бесстыдных да вине думаю. Вот государь и вызвал нас на суд свой праведный. Спрашивает меня: «Вино с дружками пил?» — «Пил», — говорю. «К жёнкам бесстыдным ходил?» — «Ходил», — отвечаю. «О ратном деле радеешь?» — «Как не радеть, государь, ведь ради того и послал ты нас в Тулу!» Задумался великий князь на миг, а потом говорит Воротынскому с Ляцким: «Не успели явиться к месту службы, как свару, междусобицу затеяли! Сколько же бед терпит Русская земля от несогласия моих воевод! Не о государевом деле, не о земле Русской ваши помыслы, неугоден вам Иван Овчина, вот вы и ополчились супротив него. Сами-то небось в молодости ой как грешили, а нынче прикинулись святыми угодниками. Не могу я доверять вам охрану рубежей государевых. Ступайте прочь!» С тем и ушли от него Воротынский с Ляцким. Да что о них говорить! Пойдём, Вася, к нам, не могу я тебя такого печального одного оставить.

В большой горнице старый конюший, воевода Фёдор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский играл с пятилетним внуком Фёдором.

— Посылает тебя, Федьку, государь крепость татарскую воевать. А крепость та, — воевода опрокинул набок скамейку, — окружена высокими каменными стенами с башнями. Вместе с тобой великий князь отправил в поход пеших ратников, конных людей и наряд огневой.

Фёдор Васильевич расставил игрушечных всадников, пеших воинов и деревянные пушечки.

— Вот вместе с войском ты подошёл к вражеской крепости. Что теперь станешь делать?

— Я сяду на боевого коня и впереди конной рати поскачу на крепость! — сверкая глазёнками, звонким голосом воскликнул Федя.

Дед легонько потрепал его за вихры.

— Да разве сможет конница одолеть высокие каменные стены?

— Конечно, сможет! Мне бабушка вчера сказку рассказывала про Илью Муромца. Его конь скакал повыше лесу стоячего, чуть пониже облака ходячего!

— Так то Илья Муромец! В сказках, дружок, всё возможно. Обычный же конь крепостную стену не одолеет. Как же нам быть-то?

— Придумал, деда! Я прикажу пешим воям вырыть подкоп под крепостную стену. По этому подкопу мы проберёмся в татарскую крепость и перебьём всех врагов!

— Когда пешие вой станут подкоп рыть, будут ли татары сидеть сложа руки? Они почнут метать с крепостных стен камни да стрелы летучие, лить смолу горячую. Всех воев твоих могут перебить.

Федя вновь задумался.

— Что ж ты про наряд-то огневой запомнил?

— Верно, деда, нужно выкатить вперёд пушки. Они к-а-а-к вдарят! Татары-то со стен горохом посыплются. Да и стены крепостные рухнут. Тогда я на коне вместе с конной и пешей ратью въеду в город. Вот так! — Малыш вскочил верхом на деда. — Но, но, лошадка!

В это время дверь распахнулась, и в горницу вошли Иван с Василием Тучковым.

— Тятка, тятка пришёл! — радостно закричал Федя и, оставив деда, повис на отце. Тот высоко его подбросил, отчего малыш радостно взвизгнул.

Горница ходуном заходила, когда отец с сыном затеяли резвые игры. Василий с улыбкой наблюдал за ними. Он любил бывать в этом доме, где жили красивые, жизнерадостные люди, полные здоровья и особой доброты, свойственной натурам сильным и независимым.

— Ну довольно, Федька, — натешившись, проговорил Иван, — ступай к дяде Василию, развесели его, а то вишь, он какой печальный сидит.

Мальчик доверчиво забрался к гостю на руки.

— Дядя Василий, рассказать тебе байку?

— Расскажи.

— «Телеш, телеш,
Куда бредёшь?» —
«В лес волков есть».
— «Смотри, телеш,
Тебя допрежь!»

Федя так забавно изобразил храброго телёнка, что все весело рассмеялись. Иван присел рядом с другом, заботливо заглянул в глаза.

— Вижу, печаль твоя ещё не растаяла, хочешь, прокатимся на конях за город? Денёк-то нынче вон какой славный!

Василий развёл руками.

— Одежка моя не для конной езды.

— Одежку свою, в коей ты на церковном соборе был, оставь здесь. Ты, Вася, не стесняйся, смело разболокайся [119], тут мужики одни.

Княжич разделся, оставшись в белой сорочке и чёрных портах, заправленных в чёрные же сапожки. Иван повёл его в конюшню.

— Какой конь приглянется, того и бери.

Василий выбрал крупного жеребца с белой звездочкой на лбу, показавшегося ему более спокойным. Конюхи поспешно оседлали лошадей.

— Ну что, друже, поехали? — Иван Овчина ловко вскочил на коня палевой масти и лукаво посмотрел на друга.

— Поехали, Ваня, только не очень шибко гони, не задавить бы кого.

Всадники спустились к Москве-реке, по мосту перебравшись в Замоскворечье и устремились сначала по Ордынке, а затем по Серпуховской дороге. Солнце клонилось за Воробьевы горы, тёплый воздух нежно ласкал лица всадников.

Едва кончились пределы Москвы, Иван, лихо гикнув, пустил коня вскачь. Жеребец Василия без всякого понукания со стороны седока также прибавил ходу. Княжич, вцепившись в луку седла, с трудом выносил дикую скачку. Белая рубаха пузырилась на спине Ивана. Ловко повернувшись в седле задом наперёд, он закричал:

— Что же ты, Васенька, еле ползёшь? Да ты огрей своего олуха плёткой, пусть пошустрее переставляет ноги!

«Куда там шустрее, — озабоченно подумал Василий, — и так стрелой мчит, не задавить бы кого, да и самому из седла не выпасть бы...»

— Не пора ли нам повернуть назад?

— Да мы ещё не приехали куда нужно.

«Куда это ему нужно? Ночь скоро наступит...»

Всадники миновали поворот в сторону Коломенского и продолжали бешеную скачку по Серпуховской дороге. Повернули направо. Впереди показались избы села Ясенево. Иван не спеша поехал вдоль опушки леса. Казалось, он прислушивается к чему-то. Вот кони встали, и до Василия откуда-то издали донеслось согласное пение девушек.

— Приехали, — тихо промолвил Иван, загадочно улыбаясь, — повеселимся малость.

Он тронул коня, и тот по едва заметной тропинке шагнул под сень деревьев. Голоса девушек звучали всё громче и громче. Вскоре сквозь поредевшую листву Василий увидел поляну, посреди которой стоял Перун. Недалеко от деревянного божества юные берёзки образовали нарядную бело-зелёную дугу, девушки связали их верхушки разноцветными платками и лентами. Под берёзками на разостланных платках лежала кукушка, сплетённая из побегов ласа [120]. Девушки попарно ходили вокруг берёзок навстречу друг другу и задушевыми голосами пели:

Ты, кукушка ряба,

Ты кому же кума?

Покумимся, кумушка,

Покумимся, голубушка,

Чтобы жить нам, не браниться,

Чтоб друг с дружкой не свариться.

Когда девушки прекратили пение и стали попарно целоваться, Иван, лихо свистнув, выметнулся на коне на середину поляны. Перепуганные кумушки бросились врассыпную, но, признав всадника, весело затараторили:

— Гля-кось, Яр-Хмель заявился!

— Да ныне он не один, с ним ещё какой-то молодец!

— Давненько ты, Яр-Хмель, к нам не навевался. — К Ивану приблизилась стройная большеглазая девушка с длинной косой, перекинутой через плечо. — Мы уж думали-гадали, совсем нас забыл.

— Да разве забудешь таких красуль? Лучше вас во всем белом свете нет, вот ей-ей!

Кумушкам пришлось по душе похвала молодого воеводы.

— А не сыграть ли нам в горелки?

— Как не сыграть! Сыграем...

Укромная лесная поляна, охраняемая забытым и не почитаемым почти Перуном, наполнилась весёлым смехом, шумом, беготнёй.

— Прочел ли себе красулю? — пробегаючи мимо Василия, тихо спросил Иван.

Княжичу прилась по душе девушка, которая первая обратилась к его другу. Движения у неё плавные, неторопливые, так что казалось, будто белая лебёдушка скользит по поверхности озера, наполненного зелёной травой. А дивный грудной голос, звучавший то в одном, то в другом конце поляны, вызывал в душе какое-то особое приятное волнение.

Внимание княжича не осталось незамеченным. Когда ему случалось быть недалеко от обладательницы пленительного голоса, он чувствовал на себе её изучающий взгляд.

Между тем на поляне становилось всё темнее. Вечерняя заря, похожая на янтарные соты, догорала за деревьями. Как-то незаметно прекратилась игра. Где-то за кустами зазвучала задушевная девичья песня.

Василий растерянно осмотрелся по сторонам: Иван бесследно исчез.

— Ты никак кого-то ищешь, добрый молодец? Княжич вздрогнул, заслышав взволновавший его голос.

Большеглазая девушка смотрела лукаво, но руки, теребившие пышную косу, выдавали её волнение.

— Да, ищу, — неожиданно для самого себя смело ответил Василий.

— Кого же?

— Тебя!

Девушка стояла совсем близко, поэтому вечерние сумерки не могли скрыть, как малиновым цветом зарделись её щёки.

— Как тебя звать?

— Любашей кличут.

Волосы девушки пахли цветами. Этот запах одурманивал, пьянил. Горячей рукой Василий коснулся руки, теребившей косу. Любаша не отстранилась.

Ах, какие короткие ночи бывают в конце июня! Едва вечерняя заря ушла на покой, а уж утренняя заря занялась над лесом, в клочья разрывая задремавший на полянах туман. Василий лежал поверх вороха свежескошенной травы. Всё тело болело от дикой скачки, от резвых игр.

— Жив ли, друже? — слышался весёлый голос.

— Жив пока. — Василий приподнялся.

— Пора нам в Москву возвращаться.

Из кустов, едва различимых в тумане, показался сначала сам Иван, а затем две лошадиные головы. Василий Тучков с трудом забрался на своего жеребца и оглянулся. Любаша провожала его грустным взглядом. Он махнул ей рукой, тронул коня. Прохладный утренний воздух легко и свободно вливался в грудь. Вокруг становилось всё светлее и светлее.

Всадники спешили во дворе Оболенских. Иван сбросил рубаху и, вытащив из колодца бадью воды, опрокинул на голову. Василий зябко поёжился.

— Замёрз, Васюшка? Сейчас тебе жарко станет! — Сильными руками Иван обхватил друга, легко оторвал от земли. Мелкие капли, запутавшиеся в усах и кучерявой бородке, переливались на солнце всеми цветами радуги. — Хочешь помериться силушкой?

— Упаси меня Бог бороться с тобой! Да разве кто тебя одолеет?

Иван весело рассмеялся.

— Видать, ясеневские девки все силы у тебя отняли. А ведь всё равно, поди, доволен поездкой?

Василий смущённо потупился.

— Грешно так-то, Ваня.

— Не согресишь — не покаешься, не покаешься — в рай не попадёшь. — Иван весело глянул в глаза друга. — Вижу, забыл ты о перепалке святых старцев.

В это время дверь дома распахнулась, на пороге показалась сестра Ивана Аграфена Челяднина. Красивая, полнотелая, с чистым ясным лицом, она очень походила на брата. Увидев друзей, Аграфена сначала удивилась, потом расхохоталась:

— Ого, кого видят глаза мои в эдакую рань? Никак добры молодцы в Петрову ночь [121] с девками весну провожали.-

Аграфена спустилась с крыльца. — Да ведь это никак Васенька Тучков! Вот уж не думала, что он такой греховодник. От многих доводилось слышать, будто княжич Василий и днём и ночью книжки читает. Теперь не верю тому! Вон ведь как его девицы разрисовали, сладенький, видать, больно, ну прямо-таки мёд медвяный!

Княжич смущённо прикрыл рукой шею.

— Ну, Василию Тучкову то простительно, он птица вольная. А ты-то, Ванюша чего от жены молодой по девкам шастаешь? Жена-то, поди, всю ночь не спала, ждала мужика своего разлюбезного.

— Нужен ей мужик...

— Мужик, может, не надобен, муж нужен.

— Ты-то чего поднялась ни свет ни заря?

— А я вчера побывала на могилке своего мужа Василия Андреевича, а с кладбища к Челяднинным не пошла, решила в доме родном заночевать. А поднялась ни свет ни заря, чтобы сына великокняжеского, Ивана Васильевича, проведать. Государь миловал меня быть своему сыну мамкой. Ох, заболталась я с вами! Иван Васильевич, наверно, проснулся, меня к себе требует. Побегу я.

Аграфена чмокнула Ивана в щёку, легонько потрепала его за волосы и неторопливо поплыла по направлению к Кремлю.

— Ты у нас переспишь или домой пойдёшь?

— Домой пойду, боюсь, тревожиться бы обо мне не стали. Иван сходил в дом, вынес одежду. Василий, торопливо одевшись, зашагал к своему дому. Всё казалось ему непривычным: и молчаливые, залитые солнцем дома, и пустынные улицы, и даже самого себя он воспринимал нынче совсем по-другому. На какое-то мгновение вспомнился вчерашний церковный собор, но думать о нём не хотелось, и воспоминание растаяло, ускользнуло из головы.

Василий Иванович, проснувшись, некоторое время лежал в постели, обдумывая дела, которыми предстояло заняться сегодня. Прежде всего нужно повидать жену и детей. Через десяток дней старшенькому, Ване, исполнится три года. По этому случаю князь приготовил подарок — искусно вырезанного из белого дерева коня на колёсиках. Младшему, Юрию, пошёл второй год. Забота о наследовании престола больше не докучает великому князю.

Воспоминания о детях вызвали в душе нежное чувство к жене Елене. Благодарен он ей сверх всякой меры, любое желание спешит исполнить незамедлительно.

Василий Иванович поднялся с постели, вышел на гульбище. На небе ни облачка, но солнца не видно из-за пыли и смрадной гари, окутавшей город. Вот уже полтора месяца с конца июня на землю не упало ни капли дождя. От жары пересохли болота, иссякли ключи, горят подмосковные леса. Такая же сушь стояла и восемь лет назад, когда он затеял развод с Соломонией. И вновь юродивые пророчат скорый конец света. В страхе глазают москвичи на ночное небо, где зловеще распростёрлась хвостатая звезда. Василий, однако, спокоен: уж сколько раз являлись на небе хвостатые звёзды, да и засухи случаются нередко, а жизнь идёт своим чередом. Источник его спокойствия в сыновьях: случись что, есть кому продолжить начатые им дела. Не тот, так другой станет великим князем.

Первого сына Василий назвал Иваном. Испокон веку на Руси повелось давать первенцу имя деда, ведь он — главный продолжатель своего рода. Второго сына нарёк Юрием. На Руси Юрий и Георгий — одно имя. Может, случайно так вышло, что второй сын Елены получил имя скончавшегося по болести сына Соломонии?

Великому князю ведомо: злые языки распускают по Москве ядовитый слух, будто сын Соломонии остался жив и растёт у верных людей. Только всё это заведомая ложь. Посланные им в Суздаль дьяки Григорий Меньшой Путятин да Третьяк Раков самолично видели, как хоронили сына Соломонии. Георгия нет, и ничто не помешает Ивану стать после него, Василия, великим князем.

Василий Иванович крепко сжал руками перила гульбища: ему ли, полному жизненных сил, помышлять о смерти?

Намереваясь идти к детям, князь покосился в сторону деревянного коня, которого он хотел подарить старшему сыну в день его именин, и залюбовался искусной резьбой. Пожалуй, он прихватит его с собой сейчас, не идти же к детям с пустыми руками.

Василий Иванович, улыбаясь, тихо приоткрыл дверь в покои жены. Елена сидела на лавке возле окна и влюблёнными глазами смотрела на спавшего у неё на руках Юрия. Аграфена Челяднина наряжала Ивана в новый кафтанчик.

— Ну чем не добрый молодец? Вот сядет наш Ванечка на лихого коня и поедет во чисто поле славы себе добывать.

— А какая она, слава?

Мамка весело рассмеялась.

— Слава бывает разная: худая и добрая.

— Худая слава кусачая?

— Кусачая, малютка, ой какая кусачая!

Ваня, на минутку задумавшись, упрямо тряхнул головой.

— Поеду я во чисто поле и одолею худую славу, пусть никого не кусает!

— Худую славу ничем не одолеть: ни мечом, ни стрелой. Её сторониться нужно, Ванечка.

— А где она живёт: в лесу или в поле?

— Худую славу злые языки рожают.

— Когда я стану большим, велю отрезать злые языки, вот и не будет худой славы!

Василий Иванович перестал улыбаться. Не в первый раз приходится ему слышать о жестоких намерениях сына. На днях, бегая по двору, он споткнулся о нежившуюся под солнцем кошку и, рассвирепев, набросился на неё с палкой. Подобные замашки сына не нравились великому князю, и он как-то сказал об этом Елене. Та лишь весело рассмеялась.

— Побил кошку палкой? Что за беда, муж мой? Люди зельем травят друг друга, головы секут, вешают, на кострищах сжигают, живьём в землю закапывают. А Ванечка кошку побил за дело: из-за неё коленочку сильно зашиб. К тому же будущему государю не подобает быть добреньким да покладистым. Эдак недолго и власти лишиться.

Василий пристально всмотрелся в лицо жены и впервые заметил нечто новое. Раньше ему всё казалось прекрасным: и длинные шелковистые волосы, и розовые, такие милые ушки, и словно изваянные искусным мастером нос и губы. А тут он впервые обратил внимание на то, что нижняя губа капризно отвисла, обнажив мелкие ровные губы, а в больших тёмных глазах зыблется не то равнодушие, не то холод.

Прав ли он, порицая жестокие замашки сына? Ему ли не знать, как свирепа борьба за власть, как глубока бездна людской ненависти, как преуспели в своём сатанинском ремесле каты? Разве не постиг он сам всей премудрости обладания высшей властью? Не по его ли приказу казнили бесноватого Берсень-Беклемишева, а дьяка Фёдора Жареного били кнутъем и лишили языка?

Да, и его руки обогрены кровью. Но это кровь не безвинных жертв. Берсень-Беклемишев дошёл до того, что стал поучать его, великого князя, как он должен управлять своей землёй. Все новины, вводимые им, поносились строптивым боярином чуть ли не всенародно.

Но не он ли помиловал Вассиана Патрикеева, постриженного по приказу его отца в монахи Кирилло-Белозерского монастыря, позволил ему оказывать сильное влияние на ход церковных дел? А ведь великий князь хорошо знал, что он угодил в отцову немилость из-за оплошек, допущенных при заключении мирного договора с Литвой, что Вассиан содействовал приходу к власти его племянника Дмитрия.

Всю жизнь сторонился Василий Иванович худой славы. Родные братья ой как досаждали ему! Поставь иного перед судом, и доносов на него хватило бы для самой лютой казни. Но он сумел представить себя в глазах людей щедрым на милость. И даже когда иной из братьев доходил до крайности, до намерения бежать в Литву — и покойный Семён, и ныне здравствующий Юрий были близки к этому, — он всё же прощал их, уступая слёзным просьбам митрополита Варлаама и Иосифа Волоцкого. Прощал и продолжал неусыпно следить за ними через надёжных видоков и послухов. Три года назад он намеревался казнить Ивана Бельского за нерадение в воинском деле, да митрополит Даниил заступился за опального боярина, и Василий внял его просьбе.

Да, он предпочитал уступить церковному пастырю, отменить смертную казнь. Но кто возьмётся утверждать, будто великий князь московский — слабый правитель своего

государства? Верные люди, постоянно надзиравшие за послами, прибывшими из разных стран, поведали ему, что посол австрийского императора Максимилиана Сигизмунд Герберштейн дивился власти русского государя над своими подданными. Ни один монарх мира, говорил он, не имеет такой власти над жизнью и имуществом людей, как он, Василий. А ведь иной монарх по самые ноздри утоп в крови. Выходит, не в жестокости сила.

— Ты, Аграфена, глупое молвила моему сыну. — Мамка, не заметившая появления в палате великого князя, опешила от его слов, полное лицо её покрылось красными пятнами.

— Прости, государь, коли лишнее сболтнула! Не по умыслу так сказала, а по неразумению...

— Худую славу рождают не злые языки, а дурные поступки. Потому надо жить так, сын мой, чтобы никто, ни злой, ни добрый человек, не мог сказать о тебе худое слово.

— Да разве на всех угодишь? — вмешалась в разговор Елена. — Иному сколько добра ни делай, всё одно будет про тебя худое нести.

— Не дело государя угождать своим подданным. В его власти казнить или миловать любого холопа, коли он того заслужил. И ежели кто праведный суд государя осуждать станет, тот сам достоин казни. Худую славу рождает не праведный суд, а беспутство, дурные склонности, леность, пренебрежение к делам. Хорошенько запомни, сын мой, поучение прадеда нашего, Владимира Мономаха. А он говорил так: уклоняйся от зла и делай добро, имей очам управление, языку воздержанность, уму смиренность, телу порабоощенье, гневу погибель. Понял?

Ваня ничего не понял из сказанного отцом, но он побаивался его, а потому согласно кивнул головой.

— Вот и хорошо. А теперь ступай за дверь, там тебя верный конь дожидается.

Пока старший сын занялся игрушкой, Василий Иванович подошёл к Елене, ласково глянул на Юрия.

— Ну как его Бог милует?

— Вчера зубик прорезался, так много плакал, а нынче все спит. Лишь для того просыпается, чтобы поесть.

— Сама-то как? Побаливало у тебя полголовы и ухо или нет?

У Елены третий день болела левая половина головы, но она решила не тревожить мужа.

— Спасибо за заботу, государь, нынче уже лучше. Видать, простыла я...

Василий ничего не ответил, он прислушивался к разговору мамки с Ваней.

— Белый конь, — тихо говорила Аграфена, — появляется в рязанских краях на Святого Василия [122]. В вечернюю пору ходят по земле привидения, на болотах слышен свист, вой и как будто кто-то поёт, а на могилах загораются блуждающие огни. Тут-то и является людям белый конь. Скачет он по лесам, по долам, всадника своего, татарами убитого, ищет и жалобно плачет по нём. Никто не может поймать того белого коня. Старые люди рассказывают, будто в тех местах было кровавое побоище князей русских со злыми татарами. Долго они бились, да только стали одолевать татары русских. И тут появился всадник на белом коне. За ним рать показалась. Напали они на татар и пошли нещадно рубить их. Всех уж почти уложили, да тут подоспел на подмогу окаянный Батый. Он богатыря на землю свалил и убил, а коня его в болота загнал. С той стародавней поры белый конь ищет своего хозяина, а его сотня удалая поёт и свищет, авось откликнется лихой богатырь...

Аграфена замолчала. Никто не проронил ни слова, все задумались о бедах, причинённых русской земле татарами. Неожиданно дверь распахнулась, и в горницу, тяжело ступая, вошёл конюший Фёдор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский.

— Беда, государь... — начал было он и осёкся, заметив гневные искры в глазах великого князя.

— Ступай в мою палату... А ты, Аграфена, за сыном моим лучше доглядывай, случись что с ним, — голову с тебя сниму! — И, повернувшись к жене, совсем иным голосом произнёс: — Тебе же, голубица моя, беречь себя следует, теплее одевайся, чтоб не застудиться. От головной боли, слышал я, чернобыльник хорошо помогает. Завтра Успеньев день,[123] так травознаи по вечерней заре отправятся за этой травой. Тот, кто веночек из чернобыльника наденет, весь год от головной боли страдать не будет.

— Благодарствую за заботу, государь. Вчера Михаил Львович прислал ко мне лекаря Николая Булева. Так он присоветовал принимать мятную воду. Ныне, как придёт ко мне лекарь, накажу ему добыть травы чернобыльника.

Василий Иванович поцеловал детей и не спеша отправился в свою палату. Конюший, смущённый допущенной оплошностью, ждал его, понурился седую голову.

— Что, Фёдор, опять татары?

— Татары, государь.

— Из Крыма?

— Оттуда прут, окаянные. Двое племянников крымского хана Ислам-Гирей и Сафа-Гирей идут к московским украинцам.

«Так вот какой поминочек преподнёс мне на Святого Василия проклятый Сагиб-Гирей! Аграфена не зря нынче татар поминала, вот и накаркала».

— Кто привёз худую весть? Не ложный ли это слух?

— Только что от волошского воеводы Петра воротился гонец Небольса Кобяков. В дороге он встретил Сафа-Гирея и Ислама, устремившихся к Рязани.

— Велико ли татарское воинство?

— Небольса говорит: сила у татар великая. Тысяч сорок ведут племянники крымского хана.

Василий Иванович нахмурился. С таким войском Сафа-Гирей с Исламом могут натворить немало бед. В дверь тихо постучали.

— Войди! — приказал великий князь и, увидев Михаила Васильевича Тучкова, спросил: — С чем явился, боярин?

— Только что прибыл тайный человек с грамотой от Ислам-Гирея.

Окольничий четыре года провёл в Крыму, хорошо знал повадки татар. Через него Василий Иванович держал связь с нужными людьми. К нему посылали своих людей крымские вельможи и царевичи, враждовавшие друг с другом, доносившие в Москву на своих недругов.

Василий Иванович, внимательно прочитав грамоту Ислама, вопросительно посмотрел на Тучкова.

— Пишет мне Ислам, будто, сговорившись между собой, идут на Русь царь крымский да казанский, а он, дескать, неволею участвует в этом деле, турецкий султан его послал. Иду, уверяет меня Ислам, а тебе дружу. Что ты об этом мыслишь, боярин?

Михаил Васильевич сердито засопел шишковатым носом.

— Лжёт он, государь. Татарские царевичи всегда охотно ходят на русские украины. Каждый такой поход приносит им великое богатство.

— И я так мыслю: лжёт мне Ислам. Сомневаюсь, однако, в намерениях непрошенных гостей. С такой силой, коей они располагают, можно не только украины, но и саму Москву попытаться захватить. Поэтому надлежит нам всячески обезопасить себя. Ты, Михаил Васильевич, тотчас же отправь гонцов к братьям моим: в Дмитров к Юрию и в Старицу к Андрею. Пусть немедля поспешают в Москву. А ты, Фёдор Васильевич, распорядись насчёт воевод. Вели воеводам Дмитрию Фёдоровичу Бельскому, Василию Васильевичу Шуйскому, Михаилу Васильевичу Горбатову да боярину Михаилу Семёновичу Воронцову немедля выступать в Коломну. Воеводу Дмитрия Палецкого и сына своего Ивана отправь в поле проведать, где ныне находятся татары, куда путь держат. Сам я на Успение Богородицы буду в Коломенском. В моё отсутствие прикажи расставить в Кремле пушки и пищали на случай прихода татар. Да вели посадским людям перевозить имение в город. Всяко может случиться...

Конюший и окольный согласно кивали головами.

Андрей Попонкин, направляясь к Аникиным, дивился столпотворению, творившемуся на узких московских улицах. Ещё вчера жизнь шла своим чередом: привычно шумело огромное торжище, судачили у колодцев бабы, а старики, сидя возле своих домов на завалинках, спокойно созерцали происходящее вокруг. Нынче же всё пришло в движение — и Москва уподобилась огромному потревоженному муравейнику. По всем дорогам двигались из ближних подмосковных вотчин воины, по-разному одетые, вооружённые кто копьём, кто мечом, а кто и топором. Навстречу им мчались великокняжеские и боярские гонцы, колыхались повозки, гружённые домашним скарбом, поверх которого восседали женщины, старики, дети. Жители посада спешили укрыться за городскими и монастырскими стенами.

То не чёрная туча зависла над городом, над бурлящим людским морем, а густая пыль да едкий, вызывающий на глазах слёзы дым. Полуденное солнце едва заметным пятном обозначилось на небе, и люди со страхом взирали на него, глубоко убеждённые в том, что это — предвестие грядущих неслыханных бед, ниспосланных Всевышним за грехи человеческие. На всех перекрёстках кликушествовали юродивые, исторгая на онемевших от ужаса людей пророчества одно страшнее другого.

Андрею не до пророчеств юродивых, калик перехожих да невесть откуда явившихся на свет Божий отвратительных старцев. Тучковы послали его в своё родовое поместье Дебала с наказом собрать и привезти в Москву посошных людей. Но может ли он отправиться туда, не повидав друга своего Афоню, ведь тот родом из Ростова, поблизости от которого и находится владение Тучковых. Наверняка Афоня захочет воспользоваться оказией, послать матери, братьям и сёстрам поминки.

Проехав через распахнутые ворота, Андрей немало подивился царившему во дворе беспорядку. Не найдя никого дома, он хотел было сесть на коня и удалиться, да услышал в сарае приглушённый голос хозяйки:

— Что ж ты морду-то от еды воротишь? Ешь, пока я тут, а то придут татарове, угонят тебя в поганый Крым, хлебнёшь там горюшка.

В ответ корова жалобно замычала.

— Кто там свет застил? Ах, это ты, Андрюшка. А мне померещилось сослепу, будто зятёк наш разлюбезный, Афонюшка, воротился. Глянь, Андрюшка, на бурёнку нашу. Кто она? Вестимо, тварь бессловесная. А тоже беду чует, с утра ничего не ест, лишь мычит жалобно.

— Может, прихворнула бурёнка?

— Не похоже... Приключись хвороба, так лежала бы, или хвост задирала бы, или дышала бы тяжело. Иное с ней. Давеча потянулась к моей руке мордой и лизнула. Не иначе как беду почуяла.

— Мужики-то да Уляша где?

— А они все на Васильев луг подались проводить в поход Афонюшку. И я бы пошла, да кто за домом приглянет? Хоть бы воротился наш соколик ясный целым да невредимым. Господь Бог не дал нам с Петром сына, так мы Афонюшку полюбили как сына родного. Такой же, как и Пётр, хозяйственный, любое дело по дому разумеет. Душа моя исстрадалась по нём. Ну, как не воротится с ратного поля?

— Не плачь, тётя Авдотья, поверь моему слову, вернётся ваш Афоня. Ведь сколько раз ходил он на татар и всегда невредим был.

Твоими бы устами да мёд пить. Только вот сердце моё ноет, беду, видать, чует. А ты пошто хотел Афонюшку видеть?

— В Ростов еду по делу, может, родичей его повидаю.

— В Ростов, говоришь, направляешься? — Авдотья встрепенулась. — Пойдём, голубок, в избу, хочу с тобой сватье поминок послать. Ты уж уважь меня, старую, отвези кое-что.

Откинув крышку сундука, хозяйка стала откладывать в сторону хранившиеся с незапамятных времён вещи.

— Вот эти рубахи братанам Афонюшкиным передай. Они у нас зимой гостили, такие скромные оба да пригожие, уж так нам по сердцу пришлись!.. А эти сапожки сестричке его, может, сгодятся. Не сподобил Господь лицезреть её, но верю: не хуже она своих братьев. Говорят, девица на выданье. Так ты отдай ей от нас ещё вот эти серёжки. Их мне матушка моя незабвенная подарила. Да разве старухе они к лицу? А молодежи в самый раз будут.

Авдотья извлекла со дна сундука вишнёво-коричневый платок с серебристым узором и, развернув его, приложила к груди.

— А этот плат мне Пётр в молодости купил. Так ты его сватье нашей разлюбезной вручи. Пусть носит, она ведь ещё не старая...

Привязав узелок с подарками к седлу, Андрей хотел было поехать в сторону Ростова, но раздумал: разве только из-за этого приезжал он к Аникиным? Нужно бы повидаться с верным другом, попрощаться с ним, а то всяко может случиться, с поля брани далеко не все возвращаются. И он погнал коня в сторону Васильева луга.

На Васильевом лугу было такое столпотворение, что Андрей сразу же усомнился в возможности отыскать Афону. Крики людей, звон оружия, плач женщин и детей оглушили его. Растерянно оглядываясь по сторонам, Андрей медленно продвигался вдоль берега Москвы-реки.

— Андрюша, друг мой любезный, кого это ты высматриваешь по сторонам? — Афоня крепко

держал Андреева коня за стремя.

— Тебя ищут.

— Хорошо же ты ищешь: далеко смотришь — да ничего не видишь. А мы тебя уже давно приметили.

Только тут Андрей заметил приветливо улыбавшегося ему Петра Никоныча, Ульяну да уцепившегося за материнскую юбку двухлетнего Якимку. Ульяна за годы замужества сильно изменилась. Она и раньше была недурна собой, но красота её была неприметной, какой-то робкой. Девушкой Ульяна часто смущалась, краснела — может быть, потому Андрей и не находил в ней ничего особенного. Только сейчас он заметил, что жена Афони очень красива. Положив левую руку на Якимкину голову, а правую на слегка выпиравший живот — к весне ожидалось прибавление семейства, — она пристально всматривалась в лицо Афони, как будто стремилась как можно лучше запомнить его.

И вновь в сердце Андрея острой занозой зашевелились воспоминания о Марфуше. Где-то она сейчас? Помнит ли о нём? Не может быть, чтобы не помнила!

— Хотелось бы и мне пойти в поход на татар. Рубил бы их направо и налево, пока не дошёл бы до самого Крыма и не отыскал бы там Марфуши!

— Чудак ты, Андрей! Неужто до сих пор не забыл её?

— Не забыл и вряд ли забуду.

— Да ты, брат, оказывается, однолюб! Плохо придётся тебе.

— А ты разве не однолюб? Может, тебе многие бабы нравятся? — Ульяна лукаво улыбалась. Она говорила так вовсе не из ревности, просто ей захотелось ещё раз услышать от мужа ласковое слово.

Серые глаза Афони под густыми нависшими бровями затеплились нежностью.

— Кроме тебя, Ульяша, никто мне не мил. Умереть придётся, так ты знай: умру с мыслью о тебе.

Ульяна обхватила мужа за шею.

— Глупый ты мой, к чему смертушку помянул?

— Прости, что неосторожным словом потревожил тебя напрасно. Никак тебе нельзя сейчас волноваться. Смертушку же я помянул просто так: когда-нибудь все помрём. — И, обратившись к Андрею, перевёл разговор на другое: — А ты почему в поход на татар не идёшь?

— Тучковы снарядили меня в своё поместье Дебала, велели привести в Москву посошных людей.

Афоня взял Андрея за руку, отвёл в сторону, горячо зашептал:

— Будешь в Ростове, передай мой поклон матушке, братьям и сестрице. Скажи: горячо их люблю всем сердцем. Случится что со мной, позаботься о них, Андрей, слёзно тебя прошу!

— О том не думай, Афоня. Всё, что нужно, исполню. Хочешь, крест поцелую?

— И без крестного целования верю тебе, друже. Тоска меня нынче донимает, всё о смерти думаю. К чему бы это? Раньше сколько бы на татар ни ходил, ничего не боялся, оттого,

наверно, и цел-невредим остался. А нынче тоскливо стало...

Андрей обнял друга.

— Это оттого, Афоня, что жена у тебя, дети. Крепко привязали они тебя к жизни. Раньше их не было, вот ты и не думал о смерти.

Вдалеке зарокотал воеводский набат, завывали сурны. Афоня крепко прижал к себе Андрея.

— Как славно, что ты пришёл проводить меня! Теперь я спокоен: случись что, моим близким есть на кого опереться.

— Афоня, а с кем из воевод ты пойдёшь?

— Мне, Андрюша, здорово повезло. Поведёт нас в бой Иван Овчина, с ним воевать не скучно. А вон и он сам, лёгок на помине...

Из ворот Кремля показалась группа нарядно одетых всадников. Андрею не раз приходилось видеть Ивана Овчину в доме Тучковых, поэтому он без труда признал его во всаднике, ехавшем на белом коне впереди всех. Ветер растрепал светлые волосы воеводы, мужественное открытое лицо улыбалось, и при виде этой улыбки у многих воинов отлегла от сердца гнетущая тяжесть, зародилась вера в успех предстоящего дела.

Всадники пересекли площадь и остановились на возвышении, откуда хорошо просматривался Васильев луг. Они о чём-то оживлённо переговаривались между собой.

— Молоденький совсем ещё, — озабоченно вздохнул Пётр Никоныч, — и помощники ему под стать. Кто это рядом с ним, Афонюшка?

— Тот, что справа, носатый такой, — Роман Одоевский, а слева, в латах, — Василий Серебряный.

Совет военачальников закончился. Иван Овчина тронул коня, поднял правую руку. Вновь зарокотал набат. Истошно заголосили женщины.

— Пора нам прощаться, — дрогнувшим голосом произнёс Афоня.

Пётр Никоныч приблизился к зятю, осенил его крестом.

— Вместо сына родного стал ты нам, Афонюшка. Береги себя в ратном деле. Да пошлёт тебе Господь Бог удачу.

— Спасибо, отец, на добром слове. Будьте покойны, не дадим в обиду Русскую землю, не допустим ворогов до Москвы... И ты, Андрюша, прощай. — Друзья крепко обнялись. Сердце Андрея сжала тревога: неужто и Афоне уготована судьба друга его, Григория? И когда Господь Бог покарает татар за обиды, причинённые Русской земле, ему самому? Марфуша, Гриша с Парашей, наместник зарайский Данила Иванович с женой Евлампией... Да разве перечислишь всех, кто погиб от татар на поле брани, угнан в полон, продан в рабство?

Ульяна последней простилась с мужем. Припала лицом к широкой груди и замерла, не издав ни звука. А потом долго смотрела ему вслед, в затуманенное пылью и едкой гарью Замоскворечье, пока не исчезла из вида русская конница.

Иван Овчина-Телепнев-Оболенский с радостью узнал о своём назначении воеводой в поход против татар. На следующий день его рать прибыла в Каширу. В Кашире имелся, хорошо укрепленный деревянный кремль. В этом городе все строения были деревянные, даже соборная церковь Успения. Кремль имел восемь башен и двое ворот. Каширские люди

занимались нехитрыми промыслами и торгами. Среди них были хлебники, сапожники, калачники, рыбники. Рыбники ловили «по старине» дорогую осетровую рыбу: осетров, стерлядь, белорыбицу.

По прибытии в Каширу Иван сразу же приказал отправить за Оку несколько отрядов с наказом проведать, где находятся татары, добыть «языков».

На третий Спас [124] к Овчине явился гонец от начальника одного из отрядов. Поглаживая длиннющие усы, он степенно рассказал воеводе о татарах.

— Разъезд наш достиг Переяславля-Рязанского. Татары туда пришли с большой силой, но городом не овладели. Выжгли лишь посады и, рассеявшись по волостям, почали бить, грабить и брать людей в полон.

— Думается мне, Роман, — обратился Иван Овчина к своему другу, молодому князю Одоевскому, — что сил у татар не так уж много. Почему я так мыслю? Да потому, что Переяславль-Рязанский им одолеть не удалось. К тому же спешат вороги грабежом заняться. Видать, недолго на Руси пробыть собираются. Надо не мешкая выступить к Переяславлю-Рязанскому.

— Может, лучше дождаться их прихода сюда? Вдруг ошибёмся? Ежели татары нас одолеют, то двинутся напрямик на Москву. Здесь же, за крепостными стенами, мы в безопасности. К тому же и другие полки располагаются поблизости. Случись что, сразу придут на подмогу.

Иван досадливо махнул рукой...

— Осторожен ты, Роман! А там, под Переяславлем-Рязанским, русские люди гибнут. Вели войску немедля выступить в поход. — Повернувшись к гонцу, он спросил: — Как тебя звать, воин? — Афоней кличут.

— Лицо твоё, Афоня, мне знакомо, а вот где встречаться нам приходилось, не припомню. Афоня радостно заулыбался.

— Лет шесть тому назад приходил Ислам на Русь, так мы секлись с ним на перелазе под Ростиславлем.

— Помню, помню, Афоня. Ловок же ты татар рубить!

— Старался от тебя не отстать, воевода. Негоже простому вою хуже воеводы с ворогами драться.

— Ты, Афоня, останешься при мне за вожа.

В день Флора Распрягальника [125] конная рать Ивана Овчины наткнулась на толпу татар. Русские легко одолели врагов, обратили их в бегство.

— А ведь я прав, Роман! — Разгорячённый боем, воевода довольно улыбался. — Татары рассеялись по нашей земле для грабежа. Ныне самое время бить разбойников.

Иван пришпорил коня и, сопровождаемый небольшим отрядом удальцов, устремился в погоню за татарами. Вскоре его отряд далеко опередил основную рать. Выметнувшись на холм, преследователи неожиданно для себя обнаружили огромное войско татар, которое с двух сторон обходило возвышенное место.

— Ну и втюрились! — Афоня почесал затылок.

— Обычная татарская уловка: притворились, будто спасаются бегством, а сами заманили нас в ловушку. — Роман Одоевский досадливо хмурил густые брови.

— Назад! — скомандовал Овчина, резко поворачивая коня. Он ещё надеялся выскользнуть из клещей, охвативших холм.

Было, однако, поздно: обе половины татарской рати соединились, и в месте их соединения скапливалось всё больше и больше конницы. С небольшим отрядом, сопровождавшим воеводу, нечего было и думать прорваться через этот заслон. Иван Овчина остановил разгорячённого коня. Сверху расположение русских и татар было видно как на ладони...

— Василий Серебряный не слишком спешит нам на помощь.

— Ты не прав, Роман, Василий слишком торопится. Но к чему? Пробившись к нам, он тоже угодит в ловушку — Иван говорил спокойно, рассудительно, как будто не он только что опрометчиво преследовал передовой отряд татар. — Нужно бы Василию Серебряному остановиться да перестроиться, а он, спеша нам на помощь, ведёт людей на погибель.

— Сошлись! — выдохнул кто-то из воинов.

— Сойтись-то сошлись, да как разойтись... Помогите, Господи, нашим одолеть татар!

— Видать, твои слова Господь Бог не услышал, туго нашим приходится.

И впрямь столкновение вышло не в пользу русских: татары легко расчленили сильно растянувшееся войско, немало наших убили, а многих захватили в полон. И только отчаянное сопротивление оставшихся в живых не позволило им заняться попавшими в ловушку.

Вечерние сумерки спустились на землю. Бой прекратился, но татары не шли на приступ холма. Видать, решили отложить это дело до утра: то ли притомились за день, то ли не сомневались в безуспешности попытки русских выбраться из окружения.

Афоня внимательно осмотрелся по сторонам. Там, откуда пришли татары, до самого края неба простёрлась степь, бурая от пожелтевшей травы. Правее еле заметной лентой извивалась крохотная речушка, поросшая кустарником. Три полуобгоревшие избы притаились в лощине. Нашлись же смельчаки, решившие поселиться вдали от города на границе с Полем! Выше изб виднелись чёрные лоскутки полей. К Флору Распрягальнику русские крестьяне спешили посеять озимую рожь. Кто сеял после этого дня, тот урожая не собирал. Всем хорошо ведомо: после поры родятся флоры [126]. Да только здешним поселенцам из-за татарского нашествия не пришлось отсеяться, деревянные сохи остались торчать в не доведённой до края борозде.

С северной стороны в степь острым клином врезался не слишком густой лес. Под его укрытие отступила изрядно потрепанная русская рать. Вряд ли Василий Серебряный в ближайшее время отважится на новое сражение.

Хорошо бы стать вольной птицей и полететь в родной дом, увидеть своих близких. В этот вечерний час Ульяна укладывает спать Якимку. Вот она подпёрла рукой лицо и задумалась о нём, Афоне. Тесть наверняка занят лошадьми: Флор-Лавёр до рабочей лошади добёр. С утра, поди, водил их в церковь кропить святой водой, одарил конопаса именинным пирогом, вычистил стойло, тщательно вымыл лошадиные крупы. У тётчи свои заботы. С нынешнего дня начинаются на Руси вечерние бабы засидки. Не для веселья-безделья собираются бабы, а для совместной работы. Одни супрядничают [127], другие лён теребят, третьи одежду шьют. С Флорова дня засиживаются ретивые, а с Семёна [128] — ленивые. Не забывают русские люди в этот день вдовиц, больных да убогих; на вдовый двор хоть щепку брось... Дорог Афоне запах родного очага, милы обычные трудовые заботы, расписанные народной

мудростью на всяк день, любимы им светлые праздники с шумными, удалыми играми, девичьими хороводами да песнями, хватающими за сердце. Взвись бы птицей в небо да полететь бы в Москву!

Чем гуще становилась темень, тем ярче полыхали в степи костры. Казалось, огненное кольцо опоясало холм. Ветер временами доносил запах варившейся в котлах баранины, гортанные крики татар, ржание лошадей.

— Слушайте меня внимательно! — Голос воеводы звучал тихо, но властно. — Все оберните копыта коней тряпицами. Лишь только татары уснут, будем пробиваться на закат. Здесь сил у ворогов помене. Пробьёмся — повернём берегом реки к своим. Подбираться к татарам будем со стороны табуна. Есть ли среди вас охотники снять стражу, охраняющую табун?

— Есть, воевода, — поспешно ответил Афоня. Иван Овчина пристально всмотрелся в его лицо.

— Добро, Афоня. Возьмёшь с собой человек пять — и за дело. Да смотрите, чтоб раньше времени шума не было. Снимете стражу, шуганите коней. Они татар переполошат и подавят.

Охотников идти с Афоней нашлось немало. Он отобрал наиболее подходящих для дела, велел снять доспехи и мечи, чтоб не гремели, оставив при себе лишь ножи. Снятое оружие погрузили на лошадей.

Яркие звёзды зажглись в августовском небе. В стане противника постепенно водворялась тишина.

— Пора, Афоня, — послышался рядом голос воеводы, — скоро взойдёт луна, а нам при луне уходить несподручно. С Богом!

Воины шагнули в густую траву и исчезли в темноте.

Первое время Афоня чувствовал противную дрожь в руках, то ли прохладно было, то ли сказывалось волнение. Постепенно он успокоился, дрожь перестала донимать, а в голове установилась ясность. Шагов за пятьдесят до костра затаились. Татары тихо переговаривались между собой. Вот один из них замолчал и стал пристально всматриваться в сторону холма. Неужто заметил их? Афоня плотнее вдавился в землю. Он видел, как татарин поднялся и пошёл в его сторону. Не дойдя шагов двадцать, присел под кустом. Стало ясно: татарин ничего не подозревает. Теперь самое время подать знак тем, кто должен шугануть коней. Воин приложил руку ко рту. Протяжный крик неясности [129] прозвучал в ночи. Татарин, отлучившийся от костра по нужде, зябко передёрнул плечами и повернулся спиной. Молниеносно вскочив, Афоня вонзил нож в его спину. Довольно быстро прикончили остальных татар.

— Ребята, разбрасывай костёр, пали траву!

Огненные змеи, раздуваемые ветром, поползли в сторону неприятеля. Дикая вопли огласили степь. Ошалело заржали кони, земля задрожала от топота множества копыт. Следом за татарскими лошадьми из темноты, беззвучно ступая, показались свои.

— Афоня, держи коня! — послышался знакомый голос. Всё шло по задумке.

— Молодец, что догадался поджечь степь, теперь татары не скоро очухаются. Уйдём к своим, велю наградить тебя, — похвалил Овчина.

— Спасибо на добром слове, воевода. — А в голове мелькнуло: «Спасёмся, и то хорошо будет!»

Всадники мчались в кромешной тьме. Костры остались позади, казалось, никто не преследует беглецов. Но в это время из-за горизонта показался край полной луны. С каждой минутой становилось всё светлее.

«Чёрт бы побрал эту луну! — в сердцах подумал Афоня — Теперь мы как на ладошке».

— Держи прямо к речке, а потом берегом к лесу! — спокойно приказал воевода.

Перед тем как спуститься в низину, Афоня оглянулся: преследователей не было видно.

— Не мешкай, гони вперёд! — вновь прозвучал голос Овчины. — У леса нас перехватить могут.

Луна поднялась уже довольно высоко, осыпая серебристой пылью прибрежные кусты, пожухлую степную траву, когда всадники выметнулись на открытое место. До леса оставалось версты три, но наперерез мчался отряд татар.

— Изготовиться к бою! — приказал воевода.

— Одолеть ли нам татар? Их в десять раз поболе.

— Выбирать не приходится, Роман. Кони притомились, не уйти нам в голой степи от татар. А тут свои, глядишь, подмогут. За землю Русскую постоим, други!

От громких криков воинов дрогнула степь.

— Гля, остановилась татарва!

— Не только остановилась, но и вспять пошла!

— Что, испужались, ироды?!

Из-за леса показалась русская конница, возглавляемая Василием Серебряным. Съехавшись, Иван Овчина крепко обнял его.

— Спасибо, Вася, за подмогу. Тревожился я: ну как спать залегли?

— Не до сна нам было, Ваня. Как увидели, что степь огнём занялась, догадались: не иначе как ваших рук дело. Ждали вас, изготовившись к бою.

..Наутро на помощь Ивану Овчине явился со своим войском воевода Дмитрий Палецкий. Татары, испугавшись встречи с главным великокняжеским войском, шедшим за передовой ратью Дмитрия Палецкого и Ивана Овчины, двинулись назад, в Крым. Русские воеводы устремились было в погоню, но не смогли настичь быстро отступавшего противника.

Отразив нашествие татар, на Луппа Брусничника [130] великий князь возвратился в Москву. Толпы москвичей радостными криками приветствовали его. Однако на следующий день произошло событие, которое сильно омрачило торжества по случаю избавления от опасности.

Евтихов день [131] выдался ясным и тихим. Народ радовался: хорошо, коли Евтихий — тихий, а то не удержать на корню льняное семя, всё дочиста вылущится. В первом часу дня, возвращаясь после торжественной службы из Успенского собора, Василий Иванович вдруг почувствовал странную тревогу. Сначала он не мог понять, в чём дело, но, когда люди стали пристально смотреть на солнце, все понял. Солнечный диск оказался как будто срезанным в верхней части. Среди бела дня наступили сумерки.

— Вот оно, знамение бед наших! — раздался в толпе громкий голос юродивого Митяя — Молитесь, люди добрые, чтобы Господь Бог смилостивился над вами, простил прегрешения ваши.

При этих словах люди попадали на колени, стали неистово креститься.

— И ты, великий князь, молись вместе с нами, ибо это знамение для тебя: многих ты судил, но скоро и сам предстанешь перед судом Всевышнего. Кайся же в грехах своих!

От этих пророческих слов Василию Ивановичу стало не по себе. Глядя в сторону затмившегося светила, он трижды перекрестился.

Глава 18

Василий Иванович в ожидании брата Андрея Старицкого, приглашённого на великокняжескую охоту, задремал, сидя за столом. И вдруг очнулся со странным, щемящим чувством, навеянным явившимися во сне видениями. Привиделось ему, будто в жаркий летний день шёл он рука об руку с Соломонией по берегу Москвы-реки, недалеко от загородного села Воробьёва. Неожиданно Соломония остановилась и, повернувшись к нему, глянула в самую душу своими прекрасными грустными глазами.

— Пошто же ты, Василий, погубил меня?

Он хотел было закричать: «Не губил, не губил я тебя!» — и не смог: язык онемел, сделался вдруг огромным, неповоротливым. Часто случается так во сне: надо бежать — да ноги не слушаются, надо врага разить — руки не двигаются.

— Не губил, говоришь? — Казалось, Соломония читала сокровенные его мысли. — А кто меня с младенцем во чреве в монастырь заточил? Не по твоей ли воле митрополит Даниил надел на мою головушку ненавистный куколь?

И вновь нелепица: знает князь, что Соломония пострижена в монахини, да не монахиня перед ним. На Соломонии яркий нарядный летник, голову украшает волосник [132], вязанный из золотых шёлковых нитей.

— Прости, Соломония, не ведал я о младенце.

— Нет тебе прощения, Василий! Грядёт время, и сын мой, Георгий, отомстит тебе за меня!

— Твой сын мёртв, дьяки Григорий Меньшой Путятин да Третьяк Раков самолично видели, как предали его земле.

— Лживое слово молвили тебе дьяки. Сын мой жив, я храню его у надёжных людей.

— Где ты хранишь нашего сына?

— Ишь, чего захотел! Скажи тебе, так ты своими руками задушишь его.

— Да разве я злодей, Соломония? И в мыслях не было учинить зло твоему сыну.

— Хоть ты, может, и не злодей, Василий, да веры тебе у меня нет. Не ты ли предал меня? Так знай же: растоптав нашу любовь, ты погубил не только меня, но и себя. Глянь на речку. То не белая лодия на волнах качается, а домовина, для тебя предназначенная. Вишь, к берегу её прибило. Так прощай же, Василий...

Соломония сбросила с себя летник, распустила пышные волосы, шагнула в воду. Река подхватила её, понесла на стремнину, и вот уж нет Соломонии, словно растаяла она среди серебристых бликов.

Очнувшись, Василий Иванович долго ещё находился между сном и явью. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь слюдяные окна, падают на бревенчатую стену множеством светлых пятен, так похожих на серебристые блики, приплясывающие на воде. А белая столешница перед ним очень напоминает качающуюся на волнах домовину. Всё зыблется, всё неустойчиво. Это оттого, что он, Василий, тяжело болен. Князь встряхнул головой, напряг память.

На Сергиев день [133] он вместе с женой и детьми отправился в Троицкий монастырь, чтобы отблагодарить Всевышнего за успешное отражение татарского нашествия. Отослав затем жену и детей в Москву, поехал на Волок Ламский с намерением потешиться своей любимой забавой — охотой. На полпути между Троицким монастырём и Дмитровой в селе Озерецкое Василий почувствовал недомогание. Раздевшись перед сном, он обнаружил на левом стегне багровую болячку. На вторые Денисы позимские [134] в большом изнеможении великий князь добрался до Волока и в день прибытия, превозмогая боль, был на пиру у тверского дворецкого.

Ивана Юрьевича Шигоны-Поджогины, которого он простил и вновь приблизил к себе вскоре после рождения сына Ивана. На следующий день, однако, Василий Иванович почувствовал себя ещё хуже. Шигона посоветовал ему попариться в мыльне. Князь верил в целительную силу парного духа, поэтому охотно последовал совету дворецкого. С трудом дошёл он до мыльни, но парилка не облегчила его страданий, и Василий Иванович с большой нуждой сидел после неё за столом в постельных хоромах.

Между тем стояла чудесная солнечная погода. Слыша, с каким нетерпением заливаются во дворе гончие, великий князь приказал Шигоне послать за ловчими. Фёдор Нагой и Борис Дятлов незамедлительно явились, и великокняжеский поезд отправился в принадлежащее государю село Колпь. По дороге охота была неудачной, и желание Василия Ивановича оказалось неудовлетворённым. По этой причине он велел звать своего брата Андрея, намереваясь возобновить охоту, и в ожидании его уселся за стол. Тут-то и привиделся ему удивительный сон.

Великий князь ещё раз встряхнул головой и, окончательно придя в себя, заметил тихо стоявшего в дверях брата.

— Что, Андрей, уставился на меня, будто уксусу проглотил?

— Вижу, нездоров ты, государь.

— Да нет, здоров я... — Василий Иванович с трудом поднялся из-за стола. — Притомился с дороги, вот и вздремнулось. А ты, я вижу, раздобрел, женившись. Как, Евфросинию Бог милует?

На бледном вытянутом лице Андрея Старицкого появилась робкая улыбка. В Сретеньев день [135] в хоромах великого князя была свадьба Андрея Ивановича и дочери князя Андрея Хованского. Василий Иванович, будучи длительное время бездетным, не разрешал своим братьям жениться, опасаясь притязаний на великокняжеский престол со стороны их детей. После рождения второго сына Юрия эти опасения отпали, и Андрей Старицкий осмелился бить челом государю о позволении жениться. Василий, давший позволение, за неделю до свадьбы пошёл к обедне в Успенский собор, а затем к митрополиту и, объявив ему о намерении брата, просил благословения. На свадьбе, передавая брату молодую жену, великий князь сказал ему: «Андрей, брат!

Божиим велением и нашим жалованием велел Бог тебе жениться, взять княгиню

Евфросинию; и ты, братец Андрей, свою жену, княгиню Евфросинию, держи так, как Бог устроил».

— Господь Бог милует Евфросинию. Седмицу назад призналась, будто дитё понесла.

Василий Иванович удивлённо поднял брови.

— Ловок же ты, братец. Давно ли женился, а уж Всевышний смилостивился над тобой... Пора нам, однако, на охоту.

— Отдохнул бы с дороги, и завтра не поздно потешиться.

— Невмоготу терпеть, братец. Погодка уж больно хороша. Глянь, как солнышко-то играет! Готовы ли ловчие?

Андрей поспешно распахнул дверь, махнул рукой. В горницу вошёл Фёдор Нагой, статный, пышущий здоровьем. Василий Иванович залюбовался его открытым чистым лицом, ясными живыми глазами под соболиными бровями. Такого русича не стыдно показать заморским послам, впрочем, как и некоторых молодых воевод, выдвинувшихся за последнее время: Ивана Овчину, Дмитрия Палецкого.

— Время ли, государь, веселью быть? — низко поклонившись, спросил ловчий.

— Самое время начинать веселье. Псаря на месте?

— Все ждут твоего слова, государь.

Василий Иванович вышел на крыльцо. В лицо пахнуло ароматом опавшей, прихваченной первым морозцем листвы. Удивительный это запах: рождённый тленьем, он бодрит, молодит душу, особенно во время охоты. Многие деревья и кустарники сбросили свои листья, стоят голые. Но берёзы не все ещё обнажились, кутаются в рыжие лисьи меха. Да видно, мех тот сносившийся, старый. Налетит сиверко, и будто клоки золотистой шерсти сыплются с берёз на землю.

Василий Иванович, незаметно поддерживаемый Фёдором Нагим, сел на коня, тронул поводья. С какой-то особой жадностью всматривался он нынче в окружавший его мир. Вон шустрая синичка села на перила крыльца и уставилась на него бусинками-глазами. С наступлением холодов синицы покидают мокрые голые леса и перебираются поближе к человеческому жилью.

Внимание князя привлёк старый одинокий клён, стоявший возле дороги. Все листья сбросил он на землю, и лишь один-единственный лист тревожно трепещет на ветру среди голых чёрных ветвей. Глядя на него, Василий Иванович вдруг погрустнел. Трепещущий кленовый лист показался ему таким жалким, безнадежно слабым! Навалится посильнее ветер, сорвёт припозднившийся лист, и пропадёт он в безвестье.

«Ну и что из того? — мелькнуло в голове. — Придёт весна-красна, и новые листья зародятся на клёне. Будут они украшать его всю весну и всё лето, а с приходом осени вновь опадут и испреют. Не так ли и поколения людей сменяются на земле, как листья на клёне?»

Громкие крики и лай собак отвлекли князя от грустных мыслей. Оказалось, выжлятники [136] напустили гончих на выгнанного из леса матёрого волка. Окружённый со всех сторон собаками, зверь грозно щерился. Несколько мгновений собаки не решались нападать на него, а потом вдруг кинулись скопом, и клубок тел покатился по земле.

— Ну вот, ещё один лист сорвало ветром...

— Ты что-то сказал, государь?

— Да это я так, про себя молвил. Глянь-ка, Андрей, на небо. Такая же синь случается по весне. И облака — словно омытые дождичком... Чую, не дожить мне до новой весны.

— На всё воля Божья. Не велишь ли кончать охоту? Воротимся как раз к обеду.

— Так рвалась душа на потеху! А нынче впервой никакой радости не испытал...

Из Москвы прибыл князь Михаил Львович Глинский с двумя лекарями, немцами Николаем Булевым и Феофилом. Лекари долго советовались между собой и с Михаилом Львовичем, который в молодости изучал лекарское искусство, после чего приложили к болячке пшеничную муку с пресным мёдом и печёным луком. От этого болячка стала ярко-красной и начала загнивать.

Князь прожил в Колпи две недели, а затем пожелал перебраться в Волок. Ехать на лошади он не мог, поэтому отроки боярские и княжата несли его пешком на руках. В Волоке Василий Иванович приказал прикладывать мазь. Из болячки стало выходить много гноя. Боль резко усилилась, в груди стала ощущаться тяжесть. Лекари дали ему очистительное средство, но оно не помогло, есть ничего не хотелось.

«Едва ли придётся подняться, — думал Василий Иванович, — настала пора позаботиться о смерти. А дети мои настолько малы, что не могут защитить себя в годину испытаний. После моей кончины бояре, как псы голодные, начнут рвать Русское государство на части. Да и братья непременно попытаются отнять власть у малолетнего Ивана. Елена слаба, ей с боярами да братьями не справиться. Михаил Львович Глинский, человек властолюбивый, захочет управлять государством через голову Елены и Ивана. На кого опереться? Кому довериться? Как сделать так, чтобы сын мой власть, ему принадлежащую, уберёг?»

Василий Иванович стал мысленно перебирать людей, находившихся вместе с ним в Волоке.

Первым перед его мысленным взором предстал добродушный толстяк Дмитрий Фёдорович Бельский. Тщательно сторонится князь боярских склок. Даже за брата своего, Ивана, находящегося в темнице, не решается вступить перед государем. Тем угоден ему Дмитрий Бельский.

На смену Бельскому явился Иван Васильевич Шуйский. Не взяв дородством, князь старательно следит за своей внешностью, волосы держит в порядке, опрятно и нарядно одет, холёные пальцы рук унизаны перстнями. Давно знает его государь, а всё не раскусил. Трудно сказать, как поведёт себя Иван Шуйский после его смерти.

Василий Иванович вздрогнул: ему явственно послышался вкрадчивый скрипучий голос Михаила Львовича Глинского. А вот и он сам. Чёрные глаза лихорадочно блестят из-под посеребрённых сединой бровей. Государь знает: не любят бояре родного дядю его жены Елены. Два с половиной десятка лет миновало с того времени, как Василий Иванович известил императора Максимилиана о принятии под своё покровительство Михаила Львовича Глинского, покинувшего Литву, однако по-прежнему смотрят на него исконно русские бояре как на чужака. К тому же злые языки обвиняют Михаила Львовича в великих грехах: и чародей будто бы он, и Александра, великого князя литовского, якобы свёл в могилу. И хотя государь не особенно этим рассказам верит, но твёрдо знает: не прост Михаил Львович, честолюбив, властолюбив. В Литве он занимал немалый пост маршалка дворского [137]. Один его брат, Иван, сидел на Киевском воеводстве, а другой, отец Елены, Василий, держал в своих руках староство Берестейское, а затем был наместником в Василишках. Сам Михаил Львович являлся наместником бельским. Незадолго до перехода в

русское подданство едва ли не половина великого княжества Литовского находилась в руках Глинских. Поговаривали даже, будто великий князь Александр решал дела только с согласия Михаила Львовича. Вот какого человека пришлось принять под своё покровительство Василию Ивановичу в 1508 году. Вместе с ним на службу русского князя перешли Василий Слепой, Иван и Андрей Дрожь. Князь Михаил Львович получил в вотчину Малый Ярославец и Боровск в кормление [138], а князь Василий — Медынь.

Конечно, Глинскому и на Руси хотелось занимать такое же положение, которое он имел в Литве. Не по душе пришлось ему открытое пренебрежение со стороны родовитых, исконно русских бояр, сильная, никем не ограниченная власть великого князя. После шестилетнего пребывания в русском подданстве решил он переметнуться в Литву и для этого намеревался использовать своё пребывание под Оршей. Непосредственным поводом для бегства явилось неудовлетворённое желание Михаила Львовича стать властелином только что отвоёванного у Литвы Смоленска. Василий Иванович понимал, что без Глинского, привлёкшего на свою сторону многих смолян, ему трудно было бы овладеть этим городом. И, тем не менее, он не мог отдать Михаилу Львовичу драгоценный Смоленск. Город был ключом к Днепровщине, и ключ этот нельзя было вверить в ненадёжные руки литовского перебежчика.

Для Василия Ивановича весть о бегстве Глинского в Литву не была неожиданной. Зная о чрезмерном властолюбии своего нового подданного, он сразу же установил за ним тайный надзор. Опыт в этом деле великий князь приобрёл, надзирая за своими братьями. Едва Глинский вознамерился податься к Жигимонту, его слуга тёмной ночью направился к князю Михаилу Булгакову с вестью, что Михаил Львович выехал в Оршу в расположение вражеской рати. Булгаков немедленно известил об этом конюшего Ивана Челяднина, и тот отправил за беглецом погоню. Глинский с небольшой свитой ехал за версту от своего войска, поэтому его схватили без лишнего шума. При нём были найдены королевские посыльные грамоты, с очевидностью изобличавшие истинные намерения князя. Челяднин отправил его в Дорогобуж на суд государя. По распоряжению великого князя Глинский был закован в кандалы и отправлен в Москву.

Одиннадцать лет провёл Михаил Львович в темнице. Лишь после настойчивых просьб жены, императора Максимилиана и других ходатаев Василий Иванович разрешил снять с него оковы, отпустить на поруки, но лишь через год даровал ему полную свободу.

Кем же ныне доводится Михаил Львович великому князю? Смирил ли в темнице свою гордыню? Что предпримет он после его, Василия, смерти? Государь пристально всматривается в жёлтое желчное лицо, в тёмные, лихорадочно блестящие глаза и никак не может решить, друг или враг перед ним.

Михаил Львович по-прежнему не любим Шуйскими, Челяднинскими и многими другими ближними боярами. В случае смерти великого князя они сделают всё, чтобы оттеснить Глинского от власти. Выходит, он, Василий, в своей духовной грамоте, да и устно тоже, должен защитить право Михаила Львовича быть опорой и защитой его сыновьям. Лишь бы не вознамерился он похитить у них власть...

Двое дворецких в Волоке: Иван Юрьевич Шигона-Поджогин да Иван Иванович Кубенский. Рослый неповоротливый Иван Кубенский состоит в родстве с великокняжеским домом. Его отец, Иван Семёнович, некогда женился на дочери князя Андрея Васильевича Углицкого. Андрей был родным братом великого князя Ивана Васильевича. Таким образом, дворецкий доводился троюродным братом сыновьям Василия Ивановича. Великий князь не любил своего родича за крутой нрав, недалёкий ум и непоследовательность в поступках. Уступив его настойчивым домогательствам, лет десять назад он дал ему чин дворецкого. В ближнюю же думу вводить не намерен: Иван Кубенский не мог быть надёжной опорой его сыновьям.

На кого же положиться? Кому довериться?

Великий князь недовольно поморщился: всю жизнь тщился он окружить себя надёжными людьми — и вот теперь, когда смерть стоит на пороге, ему некому, оказывается, верить своих детей. Шигона? Да с ним никто из родовитых бояр считаться не станет! Василий Иванович приблизил его к себе не за знатность, а за усердие.

Как же всё-таки поступить, чтобы дети его власти не лишились? Перво-наперво нужно составить новую духовную грамоту взамен той, которая была написана им десять лет назад, перед отъездом в Новгород и Псков, чтобы братья Юрий и Андрей не удумали воспользоваться ею в своих притязаниях на великокняжеский престол. Кого снарядить в Москву за этой грамотой? Боярам задуманного дела не поручишь. Большой человек всегда на виду, за ним наблюдают сотни глаз. Иное дело дьяки: молчаливые и исполнительные, они не столь заметны. Здесь, в Волоке, находится немало дьяков. Василий Иванович выбрал двоих: стряпчего Андрея Мансурова и дьяка Григория Меньшого Путятина. Григорий пользовался особым его доверием, именно он ездил в Суздаль, чтобы разузнать истину о рождении Соломонией сына.

Дьяки незамедлительно явились и, низко поклонившись, встали у дверей.

— Подойдите ближе... Позвал я вас ради большого дела. Но прежде целуйте крест, что ни одна душа об этом деле не проведаёт.

— Всю жизнь верно служили мы тебе, государь. Сгореть нам в геенне огненной, ежели разгласим доверенную нам тайну, — ответил Григорий.

— Видать, смерть моя близка, а потому не мешкая отправляйтесь в Москву за духовной грамотой отца и духовной грамотой, написанной мной перед отъездом в Новгород и Псков. Ведаешь ли, Андрюшка, где они хранятся?

— Ведаю, государь.

— Обе грамоты возьмите тайно, чтобы ни жена моя, ни митрополит, никто из бояр не проведали, и привезите ко мне. Поняли?

— Всё сделаем так, как велишь, государь.

— Езжайте с Богом!

Дьяки удалились. Спустя некоторое время в горницу, осторожно ступая, вошёл Шигона. Василий Иванович, с трудом открыв глаза, вопросительно посмотрел на дворецкого.

— Приехал твой брат, государь, князь Юрий Иванович. Василий скривился. Ему очень не хотелось, чтобы Юрий преждевременно увидел его смертельно больным. Опасался, не начал бы вредный братец мутить бояр, сманивать их на свою сторону. Вот покончит он с духовными грамотами, тогда можно было бы и поговорить с ним.

— Зачем он приехал? Разве я звал его?

— Юрий Иванович проведал о твоей болезни, государь, и требует без промедления пустить к себе.

Василий задумался.

— Ну что ж, если князь Юрий горит желанием лицезреть меня, пусть войдёт. Но прежде пошли в Москву за боярином Михаилом Юрьевичем Захарьиным. А теперь помоги мне сесть.

Шигона вышел. Торопливо ступая, в палату вошёл Юрий Дмитровский. Он пристально всматривался в лицо брата.

— Чего уставился? — усмехнулся Василий Иванович — Или давно не видел?

— Ведомо стало мне, будто ты, дорогой брат, тяжело болен. Вот я и приехал.

— Пустяки. Болячка на стегне явилась. Но нынче уже лучше стало. Так что ты напрасно беспокоился.

— Рад тому, дорогой брат. — Юрий Иванович смотрел недоверчиво. — Не могу ли, однако, я чем-нибудь помочь тебе?

— Помощи мне никакой не нужно. Князь Михаил Львович привёз из Москвы хороших лекарей. Они поставят меня на ноги. Так что ты езжай в Дмитров и не тревожься понапрасну.

— Могу ли я покинуть родного брата в тяжкие для него дни?

— Да о каких тяжких днях ты твердишь? Сказано ведь: лучше мне стало. А нынче дел по хозяйству много, так что тебе лучше быть дома. Обо мне же не изволь беспокоиться.

— Ну, как знаешь, — с обидой в голосе произнёс Юрий и вышел.

Василий Иванович в изнеможении повалился на подушки. В горницу вошли лекари. Они раздели больного. Болячка оказалась сильно вздувшейся от гноя. Феофил острым ножом вскрыл нарыв. Из него в подставленный таз хлынул гной. Вслед за гноем показался белый, похожий на червя стержень.

— Вот она, великий государь, твоя болезнь, — произнёс Николай Булев, показывая стержень, — теперь ты непременно поправишься.

Василий Иванович и впрямь почувствовал некоторое облегчение. Настроение его улучшилось. Врачи смазали больное место и удалились.

Через день явились из Москвы дьяки Андрей Мансуров и Григорий Меньшой Путятин. Василий Иванович, вновь почувствовавший себя хуже, велел без промедления пустить одного Григория. Чем меньше видоков, тем лучше для задуманного дела. Григорий же пользовался его особым доверием.

— Обе ли грамоты привёз, Гришка?

— Обе, государь.

— Читай прежде ту, что написана моим отцом, покойным Иваном Васильевичем. Да не громко читай!

Василий Иванович внимательно вслушивался в каждое слово отцовского завещания. По смерти старшего сына Ивана отец первоначально объявил своим наследником внука Дмитрия, но затем, переменив мнение, отдал великое княжение второму сыну, Василию. Духовная грамота отца не исключала возможности перехода власти к третьему сыну, Юрию, в случае смерти второго сына. Этого-то Василий Иванович и опасался.

— Теперь читай мою грамоту.

Слушая Григория, Василий сморщился, словно от зубной боли. Грамота была написана им за два года до расторжения брака с Соломонией, когда наследника у него и в помине не было. За отсутствием оного в случае его смерти власть перешла бы в руки Юрия. Так Василий и писал в своём завещании.

— Довольно читать, предай грамоту огню. Заново писать будем.

Дьяк перекрестился и швырнул грамоту в топившуюся печь. Она вмиг потемнела, скорчилась и вдруг занялась ярким огнём.

Завещание давно сгорело, а Василий Иванович всё всматривался в пожравший его огонь. Григорий стоял возле печи, не решаясь движением или словом нарушить ход мыслей государя.

— Слышь, Гришка, — чуть слышно спросил князь, — а ты в самом деле видел, как хоронили сына Соломонии?

На лице дьяка мелькнуло удивление. Он уже не раз рассказывал Василию Ивановичу о своей поездке в Суздаль. Зная, с каким вниманием тот слушал его всегда, Григорий не стал отвечать односложно.

— Когда велено было нам с Третьяком Раковым выехать в Суздаль, мы незамедлительно отправились в путь. Через три дня прибыли на место...

— Вы добирались до Суздаля три дня? Уж не пешком ли вы шли туда? — Много раз слушал Василий Иванович рассказ Григория о поездке в Суздаль, но только сейчас обратил внимание на длительность их поездки. — Может, вы с Третьяком пировали где?

— Пировать мы не пировали, а в беду чуть не угодили. Монахи киржачского Благовещенского монастыря задержали нас и, проведав, что мы направляемся в Суздаль, привели к игумсиу Савве. Тот начал слёзно просить отвезти срочную грамоту игумену суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря. Мы ни в какую не хотели браться за это дело, твердили, дескать, государь взыщет с нас за нерадение. Савва, однако, уверял нас, что не успеем мы покорчиться в трапезной, как грамота будет готова. И в самом деле, едва мы встали из-за стола, как игумен самолично явился в трапезную, неся в руках грамоту. Но тут вбежали монахи и поведали, будто лихие люди увели из конюшни всех лошадей, монастырских и наших тоже. Мы поспешили на двор, да воров и след простыл. К тому же ночь надвигалась. Игумен Савва, стоя перед нами на коленях, умолял простить его. Мы намеревались было пойти в ближнее селение за лошадьми, но игумен нас не отпустил, заверил, что его монахи сами достанут для нас лошадей. К утру пропавшие лошади отыскались. Вот оттого мы и припозднились в Суздаль.

— Об этом ты никогда не говорил мне, Григорий. Почему таился?

— Так ведь никто не спрашивал нас, почему мы три дня ехали в Суздаль.

Василий Иванович недоверчиво покачал головой.

— А не было ли в том злого умысла?

Дьяк, побледнев, опустился на колени. На широком его лице проступили крупные капли.

— Всю жизнь верой и правдой служил я тебе, государь. Никогда и в мыслях не было навредить тебе...

— А игумен Савва? Не по злему ли умыслу задержал он вас?

— За игумена я не ручаюсь. Да только к чему святому старцу было задерживать нас?

— А вот к чему: пока вы коней искали, сына Соломонии прикончить могли!

Григорий побледнел пуще прежнего, но продолжал настаивать на своей невинности.

— Явившись в Суздаль, мы и впрямь угодили на похороны. В соборной церкви Покровской обители отпевали младенца. Нам с Третьяком тоже сперва подумалось, что неспроста он скончался, потому в тот же день учинили беседу с игуменьей Ульянеей и с самой Соломонией, спрашивали, отчего скончалось дитё. И обе они отвечали одинаково: по болести. Так же и другие инокини сказывали. Соломония крепко берегла младенца, никого в свою келью не пускала, кроме игуменьи. Дитё скончалось не насильственной смертью, а по болести. На том готов крест целовать.

— А видел ли ты младенца?

— Нет, государь. Мы с Третьяком явились в церковь к концу отпевания. Народу было много, нам не удалось протолкнуться к гробику.

— Седмицы две назад в Колпи привиделась мне Соломония и поведала, будто сын её жив, прячет она его у верных людей.

— И в народе о том, государь, трезвонят. Да только ложь это: сын Соломонии скончался по болести и похоронен в усыпальнице Покровского монастыря. На том я готов крест целовать.

«А сына ли Соломонии погребли в том монастыре?» — мелькнула мысль. Но Василий Иванович не спросил об этом Григория.

Уверенный ответ дьяка успокоил государя. Он откинулся на подушки, устало закрыл глаза. Немного отдохнув, велел Григорию позвать Шигону.

— Приблизил я вас к себе, держал возле самого сердца не за родовитый корень, не за богатство, а за разум ваш ясный и усердие. Ныне настал мой час явиться на суд Всевышнего, вот-вот смертушка одолеет. И страх великий вселился в душу мою. Видит Господь, читающий души людей, не за себя страшусь, за детей своих малолетних да беззащитных волнуюсь. Как вспомню о них, сердце кровью обливается. Вам ли не знать, как смущает души людей желание обладать высшей властью? Нет такого греха, который не совершил бы человек, поражённый червём властолюбия. Так вы, ближние мои люди, дайте мне, лежащему на смертном одре, великую клятву, что никогда не отступитесь от детей моих, защитите их от похитителей власти, отдадите тела свои на раздробление, но не покинете в трудный час!

— Клянусь, государь, верой и правдой служить сыновьям твоим, как служил я тебе самому. Готов пролить кровь, отдать тело на раздробление ради их благополучия. — Голос Шигоны звучал искренно и торжественно.

— И я, государь, клянусь быть верным слугой детям твоим, надёжной защитой от похитителей власти. Приму смерть, но не отступлюсь от них!

— Так знайте же, мои ближние люди, представ перед Господом Богом, я поведаю ему о вашей клятве. Бойтесь преступить её!.. Намерен я заново писать свою духовную грамоту и в той грамоте укажу на вас как на верных слуг детей моих. И ежели кто после смерти посмеет разлучить вас с детьми, тот нарушит мою волю. — Василий Иванович закрыл глаза, грудь его тяжело вздымалась. Дворецкий с дьяком молча с состраданием смотрели на него.

— Хочу спросить вас, — вновь заговорил Василий Иванович, — кого из бояр следует допустить в думу о духовной, кому приказать государев приказ?

Шигона и Путятин задумались. От данного ими совета будет зависеть многое, и прежде всего судьба их самих. По смерти государя наверняка начнётся грызня за власть, и им, выдвинувшимся своим усердием, а не родовитостью и богатством, придётся ой как нелегко!

Обоим хорошо было известно о расположении великого князя к Михаилу Юрьевичу

Захарьину. Верой и правдой служит он государю. В грамоте толк разумеет. Умную беседу поддержать может. Не зря поручает ему Василий Иванович вести переговоры с иноземными послами. К тому же в боярской грызне не замешан, с людьми обходителен. Иван Юрьевич вопросительно глянул в глаза Григория. Тот слегка кивнул головой.

— Коли спрашиваешь нас, государь, о таком превеликом деле, отвечаем: на боярина Захарьина можешь положиться.

Василий Иванович одобрительно покачал головой.

— Давно жду я приезда Михаила Юрьевича.

— А он уже явился, не успел я сказать о том. — Шигона был рад сообщить государю приятную весть.

— Кого ещё присоветуете?

Григорий был в дружбе с боярином Воронцовым, поэтому осмелился ходатайствовать за него:

— Михаил Семёнович Воронцов твой верный слуга... Шигона с недоумением уставился на дьяка: неужто не знает, что боярин Воронцов благоволит к Михаилу Львовичу, а ведь им ли желать упрочения Глинских? Ежели Михаил Львович окажется у власти, то ни ему, ни Путятину не удержаться в великокняжеском дворце. У него своих людей, понаехавших из Литвы, хватит. Подосадовал Шигона на дьяка, но смолчал. Надеялся, что Василий Иванович неодобрительно отнесётся к опрометчивому совету Григория, отвергнет опального Воронцова. Великий князь долго молчал.

— Пусть будет по-твоему, Григорий, — наконец произнёс он. — Воронцовы по праву занимают место вслед за Кошкиными, из рода которых происходит Михаил Юрьевич Захарьин. К тому же Михаилу Семёновичу ума не занимать. Думаю, моим детям будет от него польза.

Шигона, не ожидавший такого ответа государя, сообразил, что Григорий Путятин, ходатайствуя за Воронцова, заботился прежде всего о своей выгоде, и решил действовать таким же образом:

— Окольничий Михаил Васильевич Тучков из древнего рода Морозовых. Много пользы было от него тебе, государь. И детям твоим он послужит исправно.

Василий Иванович вновь надолго задумался. Правду молвил Шигона: Тучков родовит, да и пользы от него было немало. Удачно ездил и в Крым, и в Казань.

— Согласен с тобой, Шигона. Быть Михаиле Тучкову в ближней думе. Кого ещё назовёте?

Дворецкий с дьяком молчали: много бояр, да друзей среди них маловато. Упаси Господи назвать кого себе во вред!

— Ну а Шуйских почему забыли? Или не нравятся они вам? А ведь их род ведёт начало от самого Рюрика. Без Шуйских никак нельзя обойтись. — Василий Иванович намеревался ввести Шуйских в ближнюю думу не столько из-за древности рода, сколько из-за возможности с их помощью противостоять проiscaм Михаила Львовича Глинского. Такому властолюбцу ни Шигона, ни Тучков, ни Воронцов, ни Захарьин не помеха. А с Василием да Иваном Шуйскими он вынужден будет считаться.

Григорий не ведал тайных мыслей государя. Он не был в дружбе с Шуйскими, поэтому твёрдое намерение Василия Ивановича ввести их в думу встревожило его.

«С Шуйскими шутки плохи. Не угодишь им, вмиг выставят из великокняжеского дворца, и Михаил Семёнович Воронцов не поможет. Шуйским могут идти встречу только Бельские».

— Мудрые слова молвил, государь. Шуйские будут надёжной опорой твоим детям. Род их древен и знаменит. Хочу напомнить ещё об одном роде, столь же почитаемом, роде Бельских.

«Григорий хотел бы противопоставить в думе Шуйским Бельских. Верно он мыслит, да только не знает, что я намерен приблизить к детям Михаила Львовича. Он-то и будет противовесом Шуйским. Если же я введу вместе с ним в думу Бельских, то выходцы из Литвы получат слишком большую власть, а это опасно. К тому же Иван Бельский в темнице, Семёна я не терплю за спесивость, а Дмитрий хоть и угоден мне, да польза от него детям моим будет невелика».

— Бельским в думе не быть, а вот Михаила Львовича, своего прямого слугу, желаю приблизить к детям. Кто как не он, ближайший их родственник, поможет им?

Дворецкий и дьяк мысленно удивились и обеспокоились, но перечить государю не посмели.

— А братья? — невольно вырвалось у Шигоны.

— Братьям в думе не быть никогда! Довольно об этом. Велите боярам явиться ко мне, хочу с ними совет держать.

— Отдохнул бы, государь.

— Не могу, Шигона, время не терпит, а дел впереди немало.

По знаку Ивана Юрьевича в палату вошли Дмитрий Фёдорович Бельский, Иван Васильевич Шуйский, Михаил Львович Глинский, Михаил Юрьевич Захарьин, Иван Иванович Кубенский. Василий Иванович приподнялся с постели, приветливо кивнул недавно прибывшему из Москвы боярину Захарьину. Тот с искренней жалостью и состраданием смотрел на государя.

— Рад видеть тебя, Михайло Юрьич.

— Как услышал твой зов, государь, немедля пустился в путь. Всю дорогу молил Всевышнего облегчить твои страдания. — Крупная большелобая голова Михаила Юрьевича поникла, но он, сумев овладеть собой, попытался успокоить умирающего. — Господь Бог милостив, минует твоя хвороба.

— Две седмицы томился я в Колпи, да и здесь, в Волоке, прожил немало, всё ждал исцеления. А хвороба между тем усилилась. Понял я: не будет мне исцеления. Поняв же это, ужаснулся. Но не от мысли о предстоящей смерти — никто её не минует, — а от обилия незавершённых дел. Вот и призвал тебя, ближнего своего боярина, помочь мне в завершении оставшихся дел, чтобы успокоенным предстал я перед Всевышним.

По лицу Михаила Юрьевича текли слёзы.

— На всё воля Божья, государь. Услышит Господь стоны и молитвы, увидит слёзы на глазах наших и смилуется, пошлёт тебе исцеление.

— Намерен я возвратиться в Москву, потому как дел много, а сил мало. Так вы, ближние мои бояре, присоветуйте, как ехать.

— Обождал бы, государь, здесь немного. Москвы-реки нам не миновать, а она ещё не стала. С трудом перебрался я на пароме у Дорогомилова.

— Ждать, пока река станет, не могу. Велите городничим наводить мост под Воробьёвым, против Новодевичьего монастыря. А дороги как? Можно ли ехать в каптане?

— Снегу на дорогах довольно, каптан в самый раз будет.

— Михаил Юрьевич, много ли ныне в Москве иноземцев?

— Как никогда много, государь. На торг явились гости из Сурожа [139], Царьграда и Вильны. Ногайские торговые люди пригнали в Москву табуны лошадей. Да и послов иноземных немало. Посол Сагиб-Гирея ещё не отбыл в Крым. Со дня на день ждём приезда посланника литовского Клиновского для переговоров о заключении перемирия.

Василий Иванович сокрушённо покачал головой.

— Раньше времени разнесут по миру весть о моей болезни и кончине. А это нам во вред. Ну да ладно: добраться бы до Воробьёва, а оттуда можно незаметно въехать в Москву. Иноземцам о моей болезни ничего не сказывать!

— Когда, государь, велишь отправляться в путь?

— Завтра утром и поедем. Да вот ещё что... По дороге в Москву хочу навестить Иосифову обитель. Помолюсь о спасении души.

Наутро к покоям великого князя был подан каптан с постелью внутри. Два дюжих молодца — Дмитрий Палецкий и Дмитрий Курлятев вынесли Василия Ивановича на крыльцо и, усадив в каптан, пристроились по бокам с намерением переворачивать его с боку на бок. Больной был очень плох.

Путникам предстояло одолеть вёрст двадцать. Василий Иванович задремал, но вскоре очнулся и с нетерпением стал высматривать впереди высокую, приметную звонницу Иосифова монастыря. Наконец между голыми деревьями, росшими на обочине дороги, показался каменный собор, возвышающийся над прочными монастырскими стенами. Каптан миновал массивные ворота и остановился возле церкви.

Игумен Нифонт, сухонький и немощный, завидев государя, ведомого под руки Палецким и Курлятевым, переполошился и, поддерживая рукой рясу, чтоб не споткнуться, стал торопливо спускаться с крыльца. Следом за ним устремились старцы Касьян, Арсений и Иона, казначей Зосима, уставщик Савва, братья Ленковы.

— Приехал я к вам, святые старцы, помолиться о спасении души своей.

— Желание твоё угодно Господу Богу, — ответил Нифонт, благословляя великого князя. — И мы все помолимся за тебя. Да пошлёт Всевышний тебе здоровья!

Поднимаясь по ступенькам собора, Василий Иванович поравнялся с Тихоном Ленковым и, признав его, негромко спросил:

— Помнишь ли, Тихон, что наказывал я тебе в прошлом году?

— Как не помнить, государь! — Розовое личико старца стало пунцово-красным.

— Передал ли мои слова Феогносту?

— Передал, передал, государь, не сумлевайся! — Пухлые ручки монаха-тюремщика слегка дрожали.

Василий Иванович не заметил волнения Тихона. Два Дмитрия — Палецкий и Курлятев — ввели его в церковь, и внимание князя на мгновение переметнулось на великолепную роспись стен, выполненную полвека назад прославленным Дионисием с сыновьями. И хоть трудно было, он по достоинству оценил творение искусного мастера.

В церкви, наполненной монахами, приглушённо звучал голос дьякона, читавшего ектению [140] за государя. Голос у дьякона неровный, дрожащий. Вот он прервался на полуслове. В наступившей тишине слышались тяжкие вздохи, всхлипывания...

Ектению сменила обедня. Великий князь почувствовал себя совсем плохо, но не покинул церкви, а прилёг на одре, стоявшем на паперти, и в таком виде слушал службу. Совсем обессиленного, его привели в просторную келью, где он вскоре забылся.

В полночь Василий Иванович проснулся. Внимание его привлекла толстая свеча, горевшая ярко и так спокойно, что незаметно было ни малейшего движения пламени.

Повернув голову, князь увидел у противоположной стены лавку, на которой лежал Дмитрий Палецкий. Широкие брови его высоко подняты, а красивые, чётко очерченные губы сложены в улыбку, как будто молодой воевода видел во сне нечто интересное, занятное. Широкая грудь его высоко вздымалась, но дыхание было лёгким, почти неслышным: Василий Иванович терпеть не мог сопевших или храпевших во сне слуг.

— Дмитрий! — тихо позвал он.

Воевода тотчас же открыл глаза, внимательно глянул на великого князя.

— Ступай разыщи старца Феогноста Ленкова.

Палецкий легко поднялся с лавки, исчез за дверью.

Василий Иванович ощутил в душе лёгкое волнение: сейчас свершится то, ради чего он явился в Иосифову обитель. Мысль, что Вассиан Патрикеев пострадал безвинно, явилась ему давно, наверно год назад, но только в Волоке он впервые отчётливо осознал свою вину перед ним. Да, он приехал сюда ради искупления великой вины, очищения своей совести.

В палату, тяжело дыша, вошёл Феогност Ленков.

— Хочу видеть старца Вассиана, — обратился к нему Василий Иванович.

— Какого Вассиана? — Заспанный Феогност не мог взять в толк, кого желает лицезреть великий князь.

— Того самого, коего тебе велено надзирать. Феогност смутился.

— Недостоин сей еретик внимания государя.

— То не твоя забота. Веди нас к Вассиану Патрикееву. Не смея перечить государю, тюремщик запалил свечу и направился к выходу. Опираясь на Дмитрия Палецкого, Василий Иванович пошёл следом за ним. Миновав длинные сени, повернули направо и по стоптанным заплесневелым ступенькам спустились вниз. Феогност остановился возле одной из дверей, вставил в замок ключ.

— Вот здесь и содержим проклятого еретика, — раздражённо проворчал он.

Дверь, открываясь, громко скрипнула.

— Дай свечу мне, а сам останься с Дмитрием здесь — Пригнувшись, Василий Иванович

шагнул внутрь. От резкого запаха нечистот и прели закружилась голова. Колеблущееся пламя свечи озарило ворох соломы, поверх которого лежал человек, укрывшийся рваной рогожей.

— Ни днём, ни ночью от вас, душегубцев, покоя нет! — Голос показался Василию Ивановичу знакомым, но он никак не мог признать в человеке, укрытом дерюгой, бывшего своего любимца, могущественного и гордого старца Вассиана Патрикеева.

— Кто здесь? — тихо спросил великий князь.

Дерюга приподнялась, из-под густых нависших бровей глянули небольшие раскосые глаза.

— Ты ли это, Вассиан?

— Дивлюсь твоей памяти, государь: два года всего не виделись, а уж не признаешь. — В голосе старца слышалось злое раздражение. — Или не ждал, что предстану перед тобой в таком непотребном виде?

— И впрямь не чаял увидеть тебя таким.

— Отчего же не чаял? Сам повелел отправить меня в логово презлых иосифлян.

— Церковный собор тебя осудил...

— На собор не кивай. Стяжатели всюду трезвонят: суд великого князя никем не посуждается, потому как это суд Божий. Без твоего, государь, ведома и согласия митрополит Даниил не вправе был судить меня. Да и суд ли это был? Что ни слово, то клевета, поклёп, навет. И ты, государь, спокойно внимал всей этой мерзости, а наслушавшись, судил неправедно. Нет, не от Бога твоя власть, от дьявола, смущающего души людей! Но скоро грядёт суд истинный, Божий, и ты затрепещешь как осиновый лист!

Василий Иванович перекрестился.

— Не для свары с тобой пришёл я сюда, — миролюбиво произнёс он. — Видишь сам: болезнь тяжкая, неизлечимая одолела меня. Скорбя о детях своих малолетних, явился к тебе за прощением. Да не падёт на них, безвинных, гнев Божий за грехи мои. Не чаял я, Вассиан, увидеть в обители Господней такое, не ведал о бедах твоих. Правда, Михайло Тучков сказывал мне однажды, будто терпишь ты тяжкие лишения. В тот же день велел я отправить грамоту братьям Ленковым и в ней наказывал Феогносту беречь тебя. Тихон Ленков, будучи в Москве, заверил меня, что ты жизнью в монастыре доволен и никаких лишений не терпишь.

— Наглые лжецы братья Ленковы! Им что плюнуть, что кривду молвить — всё едино. Нет, не святая обитель здесь, а преисподняя, где лютуют подручные самого сатаны, постигшие все тонкости адова ремесла.

— Вижу, несладко пришлось тебе, Вассиан.

— Что верно, то верно. Дух мой, однако же, твёрд, и палачам меня не сломить. Беды — а их было немало — закалили мой дух. Помнится, постригли меня в Кирилловой обители, и словно ночная темень спустилась среди ясного дня. Молод я был, мирской суеты, власти да любви домогался. И вдруг — монашеский куколь. Руки на себя хотел наложить. Да тут сподобил Господь лицезреть самого Нила Сорского, он в пятнадцати верстах от Кирилловой обители жил. Глянул святой старец в мои глаза, в самую душу и молвил: «Дым есть житие се». — «Научи, — спросил я его, — как избавиться мне от находящих помыслов прежнего мирского жития?» И старец ответил: «Чем пользова мир держащихся его? Аще кои славы, и чести, и богатства имеша, не вся ли сия ни во что же быша и, яко дым, исчезоша?» С тех пор ничто не страшит меня: ни гнев властелинов, ни гнусное ремесло катов. Дым есть житие се, а

смерть, завершающая жизнь, подобна сну, который нисходит на всех, кто устал.

Василий недоверчиво покачал головой.

— Старцу Нилу Сорскому были чужды мирские устремления. Ты же, Вассиан, хотя и чтешь себя учеником Нила, однако же не принял целиком его заповеди полного отречения от мира. Мирские страсти всю жизнь волновали тебя. И ты эти мирские страсти перенёс в святые обители. Не ты ли ринулся обличать основателя обители, в коей мы находимся, называя его клеветником святых писаний, развратником истины?

— Полно тебе, государь! И до меня случались в монастырях страсти. А от своих слов об Иосифе Волоцком не отрекаюсь. Он не только сам был клеветником святых писаний и развратником истины, но и учеников наставлял тому же. И они — митрополит Даниил, владыка крутицкий Досифей, игумен Нифонт, братья Ленковы и иже с ними — превзошли в клевете своего учителя.

— Согласиться с тобой не могу, спорить же не хочу. Не для того явился сюда. Ведал ты, Вассиан, дружбу и любовь мою. Не я ли призвал тебя в Москву из Белозерской пустыни, дозволил вершить церковные дела? А ведь мне ли не знать о порухе, учинённой отечеству тобой вместе с Семёном Ряполовским при заключении мирного договора с Литвой? Не ты ли вместе с отцом усердствовал, убеждая государя Ивана Васильевича отдать власть свою моему племяннику Дмитрию, а не мне? В том, однако, я тебя никогда не винил.

Вассиан пристально взгляделся в глаза Василия Ивановича.

— Ишь, что помянул... Сам, государь, ведаешь, что ежели в государстве всё совершается как тому положено, то принято хвалить за то великого князя. Ну а коли учинилась государству поруха, то ищут нерадивых слуг — виновников случившегося. Мы, Патрикеевы, вместе с Семёном Ряполовским и стали оными. Всю жизнь казнил я себя за то, что доверился вероломному Александру литовскому, щедрому и на ласковое слово, и на вино, и на поминки. Не следовало нам верить лживым речам. В том наша вина. Ты, государь, укорил меня тем, что мы с отцом усердствовали в поставлении Дмитрия на великое княжество. На то была воля покойного Ивана Васильевича, и мы следовали ей. Знатные бояре не желали видеть тебя великим князем не потому, что ты сам был им не по нраву, а из-за нелюбви к твоей матушке Софье Фоминичне. К тому же, если по правде, по совести, по закону судить: Дмитрий, а не ты должен был стать великим князем. Испокон веку так ведётся: сын наследует отцу, а ведь отец Дмитрия, Иван Молодой, при жизни Ивана Васильевича почитался великим князем.

Василий Иванович пожал плечами.

— Брат мой, Иван Молодой, лишь назывался великим князем. Все дела вершил наш отец, Иван Васильевич. Когда же старший брат умер, я по воле отца стал государем всея Руси. Уж не мыслишь ли ты, Вассиан, будто я самолично похитил власть у своего племянника?

— Речь не о том, государь. Иван Васильевич волен был одарить властью и тебя, и Дмитрия, а может, ещё кого. Мы, Патрикеевы, верно служили ему на поле брани, верша посольские и судные дела. И благодарностью за нашу верность явилось пострижение в монахи. Да, ты приблизил меня к себе, позволил вершить церковные дела, потому что я был нужен тебе. Иначе ты бы и пальцем не шевельнул ради меня. В начале твоего княжения монастыри ой как разбогатели. Со всех сторон сыпались им вотчины, иные по вкладам, иные за деньги. И ты, видя, как земли и богатства уплывают за прочные монастырские стены, решил противиться этому. На кого же было тебе опереться, как не на нас, нестяжателей, выступавших против вотчинных прав монастырей, обличавших существующие в монастырях порядки? Мы были твоей надёжной опорой. Когда же ты добился своего и вошёл в силу, нестяжательство стало тебе ни к чему. Иосифляне же прельщали тебя рассказами о божественности

великокняжеской власти. И ты поступил так, как тебе было выгодно: отвернулся от нестяжателей и приблизил к себе иосифлян. Ловок же ты, государь: хочешь, чтобы тебе помогали, а потом тебя же и благодарили бы. Твоей щедростью сыт я по горло. Вот она, твоя щедрость! — Вассиан показал на ворох гнилой соломы, глаза его сверкнули гневом.

— Властелин волен поступать так, как выгодно его государству. — Василий говорил с трудом, растягивая слова.

— Когда же я перестал быть нужен тебе, ты не просто отринул меня от себя, но предал в руки презренных катов. А ныне, почувствовав близость конца своего, ты явился ко мне за прощением, дабы гнев Божий не пал на головы детей твоих. Но ведомо ли тебе, государь: беззаконие, творимое родителями, умножается их детьми. И коли ты неправедный суд вершил, казнил безвинных, гноил в темницах верных тебе людей, то сын твой превзойдёт тебя в зверствах, попомни мои слова!

— Ты зол, Вассиан, и в злобе своей чернишь меня понапрасну. Вновь говорю: не ведал о бедах твоих...

— Сам молвил: Михайло Тучков сказывал обо мне.

— Да, сказывал. И я тотчас же велел отписать Тихону Ленкову грамоту с наказом беречь тебя. Любая оплошка ставится в вину государю, а разве ему одному уследить за сонмом нерадивых и неверных слуг?

Вассиан надрывно раскашлялся, сплюнул на грязный пол сгусток крови. Лицо его побелело.

— Немедля велю освободить тебя, Вассиан...

— Ни к чему мне твоя милость, — устало проговорил старец, зябко кутаясь в дерюгу. — Поздно уже. Дым есть житие се... Прощай, государь!

Василий Иванович постоял немного, словно ожидая, что Вассиан передумает, благословит его. Тихо потрескивала свеча. В углу скреблась мышь.

— Прощай и ты, Вассиан.

Поднимаясь по стоптанным ступеням, Василий Иванович всё раздумывал о непокорном старце. Может, впрямь велеть освободить его? Благое бы было дело, да только зол он, ой как зол! По злобе детям навредить может. Освободить Вассиана из темницы легко, да как бы хуже не было...

Рядом, шумно дыша, тяжело ступает Феогност Ленков. Василий Иванович покосился на него. Колеблющееся пламя свечи озаряло мощную шею, яркие, словно смазанные салом губы, блудливые, как у козла, глаза. Монах ли перед ним? Великий князь хотел было сказать Феогносту, чтобы берёг он старца Вассиана, но чувство брезгливости, а может, иное что, остановило его, и он, поддерживаемый Дмитрием Палецким, молча проследовал в отведённые для него покои.

Переночевав в монастыре, Василий Иванович направился в Москву. В Веденьев день [141] он прибыл в подмосковное село Воробьёве, где пробыл два дня, мучимый жестокими болями. Здесь его навещали мирополит, епископы, бояре и отроки боярские. Москва-река уже стала, но была покрыта тонким льдом, поэтому напротив Новодевичьего монастыря строители возводили временный мост.

На третий день больного уложили в каптан, запряжённый двумя санниками [142]. Как только лошади ступили на мост, он обломился и каптан едва не погрузился в ледяную воду. Однако отроки боярские успели удержать его от падения, перерубив гужи у санников. Пришлось

возвратиться в Воробьёве. Василий Иванович отругал городничих, наблюдавших за постройкой моста, но опалы на них не положил. Для въезда в Москву был использован паром под Дорогомиловом.

Расположившись в великокняжеском дворце, Василий Иванович призвал к себе ближних бояр — Василия Ивановича Шуйского, Михаила Юрьевича Захарьина, Михаила Семёновича Воронцова, казначея Петра Ивановича Головина, дворецкого Шигону — и велел дьякам Григорию Меньшому Путятину и Фёдору Мишурину в их присутствии писать новую духовную грамоту. В ней великий князь передавал всю власть своему трёхлетнему сыну Ивану.

Когда грамота была написана, вновь стали думать, хорошо ли она составлена, нет ли каких изъянов, причём в думу о духовной были допущены новые лица: Иван Васильевич Шуйский, Михаил Львович Глинский.

После составления завещания Василий Иванович призвал к себе митрополита, братьев Юрия и Андрея, всех бояр, намереваясь обратиться к ним с прощальной речью.

— Приказываю, — тихо, но требовательно говорил больной, — своего сына, великого князя Ивана, Богу, Пречистой Богородице, святым чудотворцам и тебе, отцу своему Даниилу, митрополиту всея Руси; а вы, братья мои, князь Юрий и князь Андрей, стойте крепко в своём слове, на чём вы мне крест целовали, о строении и о ратных делах против недругов моего сына и своих стойте сообща, чтоб православных христиан рука была высока над бусурманством; а вы, бояре, боярские дети и княжата, как служили нам, так служите и сыну моему, Ивану, на недругов все будьте заодно, христианство от недругов берегите, служите сыну моему прямо и неподвижно.

Произнеся прощальную речь, великий князь отпустил братьев своих и митрополита. Обращаясь к оставшимся ближним боярам, умирающий сказал:

— Знаете и сами, что государство наше ведётся от великого князя Владимира Киевского, мы вам государи прирождённые, а вы наши извечные бояре; так постоит, братья, крепко, чтоб сын мой учинился на государстве государем, чтобы были в земле правда и в вас розни никакой не было; приказываю вам Михаилу Львовичу Глинскому, человек он к нам приезжий; но вы не говорите, что он приезжий, держите его за здешнего уроженца, потому что он мне прямой слуга; будьте все сообща, дело земское и сына моего дело берегите и делайте заодно, а ты бы, князь Михайло Глинский, за сына моего Ивана и за жену мою и за сына моего князя Юрия кровь пролил и тело своё на раздробление дал.

Василий Иванович, проникновенно произнеся эти слова, лишился сил и в изнеможении повалился на подушки. В палате стоял тяжёлый, неприятный запах. Бояре один за другим покинули помещение.

Очнувшись, больной приказал боярину Михаилу Юрьевичу Захарьину позвать Михаила Львовича Глинского и лекарей Николая Булева и Феофила. Когда те пришли, государь спросил:

— Присоветуйте, чего бы прикладывать к болячке или пустить в рану, чтобы духу тяжкого не было?

— Государь, князь великий! — попытался утешить его боярин Захарьин. — Обождавши день-другой, когда тебе немного полегчает, пустить бы водки в рану.

В ответ Василий Иванович недоверчиво покачал головой.

— Не будет мне легче, Михайло Юрьич. С женой и детьми проститься пора, потому и хочу, чтоб тяжкого духа не стало.

Больной перевёл взгляд на Николая Булева.

— Брат Николай! Видел ты моё великое жалованье к себе. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы облегчить мою болезнь?

Старик горестно покачал седой головой.

— Видел я, государь, к себе великое твоё жалованье. Если б можно было, тело бы своё раздробил для тебя, но не вижу никакого средства, кроме помощи Божьей.

— Братья! Николай узнал мою болезнь: неизлечимая! Надобно, братья, промышлять, чтобы душа не погибла навеки.

Василий Иванович вновь лишился сознания.

Утром больной был так плох, что встать уже не мог. Его приподняли за плечи и усадили, чтобы он немного поел. К одру умирающего тихо подошёл троицкий игумен Иоасаф Скрипицын — невысокий, болезненного вида старец. Увидев его, Василий Иванович сказал:

— Отче! Молись за Русское государство, за моего сына и за бедную мать его. У вас крестил я Иоанна, отдал угоднику Сергию, клал на гроб святого, поручил вам молиться о младенце.

— Все старцы Сергиевой обители денно и нощно молят Господа Бога, чтобы послал он тебе выздоровление.

— Не будет мне выздоровления, не жилец я на белом свете, немного уж мне осталось быть с вами. Так ты, отче, из Москвы не отлучайся.

Великий князь приказал позвать бояр — Ивана Васильевича и Василия Васильевича Шуйских, Михаила Семёновича Воронцова, Михаила Васильевича Тучкова, Михаила Львовича Глинского, Ивана Юрьевича Шигону, а также дьков — Григория Меньшого Путятина и Фёдора Мишурина. Более трёх часов он наказывал им о сыне, об устройении земском, как быть и править государством без него. Затем все удалились, кроме троих: Тучкова, Глинского и Шигоны. Они оставались у государя до самой ночи. Им приказывал Василий Иванович о великой княгине Елене, как ей без него быть, как к ней боярам ходить, как без него царству строиться.

Вечером в палату вошли братья.

— Поел бы чего-нибудь, государь, — обратился Юрий Иванович.

— Не хочется мне ничего, Юрий, душа не принимает.

— Без еды ослабнешь ты. Хоть что-нибудь прикажи принести.

Больной задумался.

— Может быть, каши миндальной отведаю.

Тотчас же с кухни была доставлена миндальная каша. Князь поднёс ложку к губам, но, поморщившись, возвратил её на место.

— Нет, не могу... Хочу остаться один.

Едва братья вышли из палаты, Василий Иванович открыл глаза и тихо сказал Шигоне:

— Зорко следите за братом моим Юрием. Глаз с него не спускайте. С ближними его людьми Иваном Ягановым да Яковом Мещериновым связь держите постоянно.

— А возле Андрея Ивановича есть ли верные видоки да послухи?

Умиравший ответил не сразу:

— Брат Андрей никогда не действовал мне во вред. Конечно, после моей смерти и для него искус велик будет. Да только трусоват он, вряд ли решится отнимать власть у Ивана. А теперь, Шигона, верни сюда Андрея, но без Юрия.

Обращаясь к брату, Глинскому, Тучкову и Шигоне, Василий Иванович произнёс:

— Вижу сам, что скоро должен умереть, хочу послать за сыном Иваном, благословить его крестом Петра Чудотворцева, да хочу послать за женой, наказать ей, как быть после меня... Нет, не хочу посылать за сыном, мал он, а я лежу в такой болезни, испугается...

— Государь, князь великий! — горячо заговорил Андрей Иванович — Пошли за сыном, благослови его. Да и за великой княгиней пошли.

— Ну что ж, позовите их.

Брат великой княгини, Иван Глинский, принёс ребёнка на руках. За ним шла мамка Аграфена Челяднина. Ослабшей рукой Василий Иванович поднял крест, лежавший на его груди.

— Будь на тебе и на детях твоих милость Божья! Как святой Пётр — митрополит благословил этим крестом нашего прародителя, великого князя Ивана Даниловича, так им благословлю тебя, моего сына.

Мальчик со страхом и удивлением смотрел на отца, готовый вот-вот разревётся. Василий Иванович перевёл взгляд на мамку.

— Смотри, Аграфена, от сына моего Ивана не отступай ни пяди!

Когда ребёнка вынесли, ввели великую княгиню. Елена билась и горько рыдала. Андрей Иванович и боярин Иван Юрьевич Челяднин с трудом удерживали её.

— Жена, — тихо проговорил больной, — перестань, не плачь, мне легче, не болит у меня ничего.

Немного справившись с волнением, Елена обратилась к мужу:

— Государь, князь великий! На кого меня оставляешь, кому детей приказываешь?

— Благословил я сына своего Ивана государством и великим княжением, а тебе написал в духовной грамоте, как писалось в древних грамотах отцов и прародителей, как следует, как прежним великим княгиням шло.

— Благослови, государь, и младшего сына Юрия.

— Пусть принесут его.

Благословив Юрия, Василий Иванович вновь обратился к жене:

— Приказал я и в духовной грамоте написал, как следует... Однако Елена разразилась такими рыданиями, что он не смог больше ничего сказать. Умиравший поцеловал жену и попросил оставить его. Она не хотела уходить, бояре с трудом вывели её из палаты.

— Иван Юрьич, — сказал Василий Иванович Шигоне, — ступай к духовнику, к протопопу Алексию, пусть принесёт из церкви дары служебные. Да спроси его, бывал ли он при том, когда душа разлучалась с телом.

Вернувшись, Шигона доложил:

— Протопоп Алексей идёт следом. Он сказал, что бывал при разлучении души с телом, но мало.

Василий Иванович удовлетворённо кивнул головой.

— Стань против меня, — приказал он вошедшему протопопу и поискал глазами старого стряпчего Фёдора Кучецкого. — А ты стань рядом с ним, ибо тебе пришлось видеть преставление отца моего, великого князя Ивана Васильевича.

Когда дьякон Данила запел канон мученице Екатерине, Василий Иванович задремал, но вдруг широко раскрыл глаза и стал говорить так, будто видел перед собой видение:

— Великая Христова мученица Екатерина, пора царствовать; так, госпожа, царствовать...

Бред кончился. Очнувшись совершенно, государь взял образ великомученицы Екатерины, приложился к нему, а затем к мощам той же святой. Взгляд умирающего остановился на Михаиле Семёновиче Воронцове.

— Подойди ко мне, князь, хочу проститься с тобой. Воронцов приблизился, чтобы поцеловаться с Василием Ивановичем. После этого великий князь долго лежал неподвижно, и присутствовавшие в палате заволновались: уж не скончался ли? Протопоп Алексей подошёл к больному якобы для того, чтобы напомнить о причастии. Василий Иванович открыл глаза и слегка раздражённо произнёс:

— Видишь сам, что лежу болен, а в своём разуме. Когда станет душа с телом разлучаться, тогда и дай мне дары. Смотри же рассудительно, не пропусти времени.

В свой последний час великий князь думал о братьях. Он не любил нахрапистого, властолюбивого Юрия, всегда опасался козней с его стороны. Сейчас ему захотелось помириться с ним, хоть как-то смягчить свою давнюю к нему немилость. Отыскав взглядом Юрия, он тихо произнёс:

— Помнишь, брат, как отца нашего, великого князя Ивана, не стало на другой день Дмитрова дня, в понедельник, немощь его томила день и ночь? И мне, брат, также смертный час приближается...

Юрий Дмитровский молча кивнул головой. В его глазах не было сожаления.

«Ко многим я был несправедлив. Вот и жену свою, Соломонию, в монастырь усрал. А ведь как она любила меня!»

Мысль о бывшей жене не раз являлась в последние дни. В своей духовной грамоте Василий Иванович пожаловал Покровскому монастырю село Романчуково. Сейчас ему до слёз захотелось, чтобы Соломония оказалась рядом с ним. Он твёрдо уверовал в мысль, мелькнувшую несколько дней назад: будь она рядом с ним, и болезнь отступила бы, покинула бы его. Не бывать, однако, тому. Путь в мир Соломонии заказан. Но если она не может явиться к нему, то в его власти приблизиться к ней, приняв пострижение.

— Видите сами, что я изнемог и к концу приблизился, а желание моё давнее было постричься в Кирилловом монастыре. Позовите игумена этой обители.

— Намерение твоё угодно Господу Богу, — с поклоном ответил митрополит, — но нет в Москве игумена Кириллова монастыря.

— Тогда пусть троицкий игумен Иоасаф пострижёт меня, он был возле меня утром, и я велел ему не отлучаться из Москвы.

Даниил послал за Иоасафом и образами Владимирской Богоматери и Святого Николая Гостунского.

— Великий князь Владимир Киевский умер не в чернецах, — возразил Андрей Иванович, — а нисподобился ли праведного покоя? И иные великие князья не в чернецах преставлялись, а не с праведными ли обрели покой?

— Великий князь Дмитрий Донской, — поддержал Шигона Андрея Старицкого, — скончался мирянином, но своими добродетелями наверняка заслужил царствие небесное.

Василий Иванович подозвал к себе митрополита и сказал ему:

— Исповедал я тебе, отец, свою тайну, что хочу монашества; чего так долежать? Сподоби меня облещись в монашеский чин, постригите меня... — Речь умирающего стала невнятной. Полежав ещё немного, собравшись с силами, Василий Иванович заговорил вновь: — Так ли мне, господине митрополит, лежать?

— Так, государь, — ответил Даниил.

Великий князь стал осенять себя крестным знаменем.

Даниил принял от вошедшего старца Мисаила епитрахиль [143] и через умирающего подал её троицкому игумену Иоасафу. Боярин Воронцов и великокняжеский брат Андрей Иванович с двух сторон ухватились за епитрахиль. Митрополит гневно сверкнул глазами.

— Не благословляю вас ни в сей век, ни в будущий! Никто не отнимет у меня его душу. Хорош сосуд серебряный, но лучше позолоченный.

С пострижением торопились. Впопыхах забыли о мантии для нового инок. Келарь троицкой обители Серапион дал свою. Митрополит сам постриг великого князя. Всем было ясно, что конец государя близок: язык стал отниматься, потом перестала подниматься правая рука. Боярин Михаил Юрьевич Захарьин поднимал её ему, и Василий Иванович не переставал творить на лице крестное знамение, смотря вверх направо, на образ Богородицы, висевший перед ним на стене. В двенадцатом часу ночи третьего декабря 1533 года Василий Иванович, в монашестве Варлаам, скончался. Шигона, стоявший рядом с умирающим, рассказывал потом, будто он видел, как дух вышел из него в виде тонкого облака.

Митрополит Даниил, отведя братьев великого князя Юрия и Андрея в Среднюю царскую палату, взял с них клятву служить великому князю всея Руси Ивану Васильевичу, а также его матери, великой княгине Елене, жить в своих уделах, стоять в правде, на чём крест целовали Василию Ивановичу, а государства под великим князем Иваном не хотеть и людей не отзывать; против недругов, латинства и бусурманства стоять прямо, сообща, заодно.

Андрей Старицкий, потрясённый смертью брата, произнёс слова клятвы срывающимся от волнения голосом. Он говорил без понуждения, искренно. Юрий же молвил клятву неохотно. В его глазах Даниил уловил затаённую надежду на пересмотр дела. Пример скончавшегося брата, ставшего великим князем вместо племянника Дмитрия, горячил его сердце. Митрополит тяжело вздохнул: не бывать спокойствию на Руси!

Глава 1

По всей Москве печаль и тревога: скончался великий князь Василий Иванович. Двадцать восемь лет длилось его правление, и в сознании москвичей утвердилась мысль, что именно благодаря его трудам и заботам присмирели многочисленные вороги Русского государства. Ныне же, когда великим князем провозглашён трёхлетний сын его Иван, можно ли быть спокойным за свою судьбу, судьбу близких и всей земли Русской? Кто прикажет полкам защищать Русь от непрошенных гостей? Кто остановит жестоких и жадных бояр, посягающих на жизнь и имущество своих подданных? Тревога, ожидание неминуемых бед поселились в каждом московском доме.

И только на подворье удельного князя Юрия Дмитровского царит оживление и неприличное веселье.

— Слава Юрию Ивановичу! — перекрывая шумный говор пирующих, прокричал боярский сын Яков Мещеринов. Вид у него залихватский, взгляд улыбочивый, открытый. Правой рукой Яков высоко поднял кубок с фряжским вином, левой дружески обнял Третьяка Тишкова. Тишков трезв как стёклышко, смотрит на пирующих испытующе, внимательно. Всем ведомо: за трезвость да за ясный ум Юрий Иванович приблизил его к себе. Потому дети боярские и не гнушаются дружбы с дьяком.

— Слава, слава, слава! — с воодушевлением подхватили пирующие.

Лицо Юрия покраснелось от выпитого вина, от многочисленных здравиц в его честь. Тёмные кудри свесились на высокий лоб. Сквозь разрез белоснежной рубахи видна крепкая грудь. Немало дмитровских красавиц познало его любовь. Иные осуждали князя за разгульную жизнь, но тот, кто ведал о том, что старший брат его Василий Иванович, будучи сам бездетным, длительное время не разрешал своим братьям жениться из-за боязни притязаний на престол со стороны их детей, не мог не сочувствовать Юрию Ивановичу: мыслимое ли дело, чтобы красавец мужчина в расцвете сил без бабы обходился? Сам же Юрий смотрел на свои прегрешения спокойно: монахи Пятницкого, Борисоглебского, Песношского и иных монастырей, щедро осыпаемых его дарами, усердными молитвами склонят Господа Бога простить княжеские грешки. Для того они и живут в своих монастырях. После женитьбы Юрий Иванович повадок своих не изменил, и жена его, которую звали так же, как и жену младшего брата Андрея, Евфросиньей, по ночам нередко поливала подушку слезами.

— Слава умнейшему из князей!

Никогда ещё бояре и дети боярские не чествовали его так, как нынче. И не случайно. Видится им не бедный удельный князёк, а великий князь всея Руси, властелин огромной страны, неисчислимых богатств. И сами они выросли в собственных глазах, мысленно покинули захолустный Дмитров и стали полновластными хозяевами стольного града, понастроили здесь хором, вырядились в бобровые да соболиные шубы. Все их мечты — в его руках, потому и славословят удельного князя ближние люди. Вот-вот прозвучит в палате то, о чём думает каждый из сидящих в ней и он, Юрий. О, как нетерпеливо бьётся его сердце, как рвётся оно побыстрее начать борьбу за власть с ненавистным племянником-пеленышем!

Но Юрий Иванович сдерживает своё сердце. В ответ на хвалебные речи он лишь приветливо улыбается и... молчит. Держать язык за зубами научила его жизнь. В 1507 году, едва стал он удельным князем, литовский господарь Жигимонт прислал к нему посольство с просьбой содействовать примирению между Русью и великим княжеством Литовским. Речи о мире были лишь предлогом для встречи. Помимо этих явных речей, между ним и Жигимонтовым послом велись тайные беседы, в ходе которых тот сказал ему от имени литовского великого князя: «Так мы, брат милый, помня житье предков наших, их братство верное и нелестное, хотим с тобою быть в любви и в крестном целованье, приятелю твоему быть приятелем, а неприятелю — неприятелем, и во всяком твоём деле хотим быть тебе на помощь, готовы для тебя, брата нашего, сами своею головою на коня сесть со всеми землями и со всеми людьми нашими, хотим стараться о твоём деле всё равно как о своём собственном. И если будет твоя добрая воля, захочешь быть с нами в братстве и приязни, то немедленно пришли к нам человека доброго, сына боярского: мы перед ним дадим клятву, что будем тебе верным братом и сердечным приятелем до конца жизни».

Под неприятелем Жигимонт имел в виду его старшего брата Василия Ивановича. Хотя тайные беседы велись с глазу на глаз или в присутствии самых верных людей, о них стало известно в Москве, и Василий Иванович впоследствии не раз укорял его за сказанные им слова.

Спустя три года он, Юрий, вознамерился было отъехать в Литву, да ничего путного из того не вышло. Неведомыми путями о его намерениях прознал Василий. И если бы не вмешательство влиятельного Иосифа Волоцкого, пославшего в Москву двух иноков своего монастыря Кассиана и Иону ходатайствовать за него перед великим князем, не сносить бы ему головы.

Вот тогда-то он и дал зарок держать язык за зубами. И всё время приглядывался к своим людям, но соглядатаев среди них так и не обнаружил. Юрий Иванович пристально всмотрелся в лица пировавших. Первым, кого он заметил, был дьяк Третьяк Тишков. Год назад Василий Иванович отписал вотчину Тишковых сельцо Постушино в Горетовском стане Московского уезда за то, что Офоня Тишков был уличён в грабеже великокняжеских деревень. Оттого ещё больше возненавидели Тишковы государя. Можно ли сомневаться в их верности? Юрий ценит Третьяка и за то, что тот всегда трезв, держит язык за зубами, любое дело делает тщательно.

Рядом с Третьяком сидит сын боярский Яшка Мещеринов. Лихой детинушка! Взгляд открытый, честный. Трудно поверить, что он может предать своего господина.

Напротив Якова видна нескладная фигура Ивана Яганова. Он, как обычно, успел наклюкаться и, положив голову на руки, спит богатырским сном. Слабоват Иван, чуть выпьет — и сразу же засыпает.

Рядом с Иваном Ягановым дьяк Илья Шестаков. Ему не вино мило, а снедь. Как сядет за стол, так и не оторвёшь его от всяческих яств, подаваемых на стол дмитровского удельного князя. Метёт всё подряд: и жареных лебедей, пойманных лебёдчиком Патрикеем, и мочёные яблоки, и вяленую медвежатину. А потом утробною болезнью мается, стонет, бедный, держась за чрево. Чрево же его подобно сурне: то запищит, то завоет, а то как из пушки палить почнет. Слыша такое, дети боярские сами от смеха за животы хватаются.

Не обнаружив среди сидящих за столом великокняжеских послухов, Юрий Иванович задумался о том же, о чём думали, но не решались пока высказывать вслух его приближённые. Великое дело борьбы за власть нужно было начинать осторожно, исподволь, чтобы преждевременно не загубить его. К этой борьбе он готовился всю свою жизнь. За двадцать восемь лет удельного княжения Юрий Иванович сумел превратить захудалый Дмитров в крупный многолюдный город, построил в нём величественный собор, соорудил

вокруг дмитровского кремля необычный по своей мощи и высоте вал. Имея немалые богатства и внушительное воинство, он в случае необходимости мог успешно противостоять московской рати. Но это предназначалось на крайний случай, если его обстоятельства сложатся в Москве неблагоприятно. Пока же следует попытаться привлечь на свою сторону великокняжеских бояр. Многим из них юный Иван не по нраву.

Юрий Иванович стал мысленно перебирать наиболее знатных бояр, и его внимание остановилось на Андрее Михайловиче Шуйском. Несколько лет назад он повздорил с великим князем Василием Ивановичем и вместе со своим братом Иваном Михайловичем отъехал из Москвы в Дмитров. Василий тотчас же послал грозную грамоту с требованием выдать беглецов. Юрию пришлось подчиниться воле старшего брата. Отъезжники были закованы московскими людьми в железо и отправлены в Москву, где Андрея Михайловича заточили в стрельню, а Ивана Михайловича поместили в белозерскую тюрьму. Едва Василий Иванович скончался, митрополит с боярами обратились к его жене Елене с просьбой помиловать Андрея и Ивана Шуйских. Та согласилась. Так что Андрей Михайлович теперь на свободе.

«Начать следует именно с него. Уж коли при Василии Ивановиче он намеревался стать моим слугой, то ныне тем более должен стремиться к этому. Род Шуйских всем ведом. Пойдут они ко мне — за ними и другие потянутся. Шуйским, ведущим своё начало от самого Рюрика, вряд ли захочется быть в услужении у Глинских. Именно они и должны стать моей опорой в борьбе за великокняжеский престол».

— Великому князю Юрию Ивановичу слава! Дмитровский князь ласково глянул в сторону боярского сына Якова Мещеринова и, сделав знак дьяку Третьяку Тишкову следовать за собой, вышел из палаты.

Яков поднялся из-за стола, потянулся и неспешно направился в сени. Спустя некоторое время в сенях появился Тишков. Торопясь к входной двери, он не заметил в темноте Якова. Тот ловко обхватил его за шею, горячо зашептал в самое ухо:

— Третья, друг сердечный, пойдёшь ли сегодня к Любаше? Заждалась она тебя, не придёт, говорит, нынче мой соколик, другого полюблю.

— Не знаю, сумею ли выбрать времечко. Сам видишь, какая кутерьма заварилась. Дел невпроворот.

— Я Любаше то же самое говорю: потерпи чуток, освободится от дел твой соколик, тут же явится к тебе. Да ведь любящей девице не дела, а дружок сердечный нужен.

Третьяк, припомнив Любашины ласки, заколебался.

— Схожу сейчас по делу, а потом, может, к ней наведаюсь. Сам соскучился по Любаше.

— Ну вот и ладушки. А далеко ли ты, друг сердечный, собрался?

Дьяк замялся, но посчитал неприличным таиться от закадычного дружка, который всегда делился с ним своими секретами.

— К Андрею Михайловичу Шуйскому я...

— Молодец Юрий Иванович! — одобрительно отозвался Яков. — Андрей Михайлович сейчас самый нужный для нас человек. С Шуйскими мы быстро выкинем из великокняжеского дворца Глинских. Поспешай, друже, успеха тебе!

Едва Третьяк вышел, широко распахнулась дверь, ведущая в палату. Нелепо размахивая руками, на пороге показался долговязый Иван Яганов. Яков с улыбкой наблюдал за ним.

«Ну и скоморох! Ловко умеет притворяться, будто напился до чёртиков».

Яганов с трудом перешагнул через порог, тщательно прикрыл за собой дверь.

— Куда это Третьяка понесло? — В голосе его не было и намёка на опьянение.

— К Андрею Шуйскому устремился. Ты, Иван, ступай к Михаилу Львовичу Глинскому. Не найдёшь его, разыщи Ивана Юрьевича Шигону. Скажи им: Юрий Иванович начал действовать.

Яганов кивнул головой, и его долговязая фигура растаяла в снежной круговерти. Мещеринов, широко и открыто улыбаясь, возвратился в палату.

— А ну, ребята, давай плясовую!

Андрей Михайлович Шуйский кряхтя натянул шубу. На крыльце зорко осмотрелся по сторонам. Рядом с ним ближние люди: тиун Мисюрь Архипов да Юшка Титов.

— Куда прикажешь путь править? — Юшка угодливо склонился перед боярином.

— Родственника навестить желаю, Бориса Ивановича Горбатого. Давно ли, Мисюрь, в наших заволжских владениях бывал?

— Нынешним летом вместе с Юшкой наведывались.

— Всё ли там совершается по нашему усмотрению? Мисюрь сдвинул шапку на лоб. Неужто боярин прознал об их проделках в Веденеewe? Они с Юшкой, не ведая, что господин вскоре освободится из темницы, осенью все подати себе присвоили.

— По правде сказать, государь, не всё совершается там как тому положено. Разбаловались людишки, озлобились, совсем ничего не хотят платить своему господину.

— А вы бы плетей им, плетей!

— Да мы с Юшкой и так с утра до вечера воров наказывали. Умаялись, сил нет!

При этих словах Юшка ухмыльнулся в рыжую бороду: с утра до вечера и с вечера до утра пили-гуляли они, бабам подолы задирали. В глухом заволжском селе кто посмеет на них донести? Да и кому доносить-то, коли хозяин в темнице сидит?

— Только то, боярин, иметь в виду нужно, что лето выдалось нынче гиблое, всё погорело и в поле, и на огороде. Родники и те иссякли от жары. Так что совсем ничего не удалось нам собрать в Веденеewe.

Андрей Михайлович сердито засопел в бороду.

— То, что в этом году не заплатили, пусть в будущем году вернут сполна. Сам наведушь в заволжские владения. У меня не отвертятся! — Короткопалая волосатая рука сжалась в кулак. — Намерен я в Веденеewe новый дом для себя построить. Так ты, Мисюрь, распорядись насчёт заготовки брёвен и другого чего нужного. Да потолще пусть валят лес, повнушительнее!

Мысль о необходимости постройки в Веденеewe нового боярского дома явилась Андрею Михайловичу в темнице. Много у него владений: и под Суздаем, и под Шуей, но заволжские леса привлекали его тем, что там в случае необходимости можно было укрыться от гнева великого князя.

Путники миновали подворье Кириллова монастыря с церковью Афанасия Александрийского. Узкая дорога устремилась вверх мимо каменных палат купца Тарокана. Вскоре за высокой оградой из внушительных заострённых вверху брёвен обозначился красивый терем.

Борис Иванович Горбатый-Суздальский — статный и мужественный воевода с крупными сильными руками, встретил Андрея Михайловича внешне приветливо, но в то же время насторожённо. Времена настали трудные, сложные. Не ведаешь порой, где правда, а где кривда, кто друг, а кто враг. Что-то скажет ему его родственник, повелению великой княгини только что выпущенный из нятства? Почему пожаловал именно к нему?

— Пришёл посоветоваться с тобой, как быть нам, боярам, при новом государе-пеленочнике.
— Андрей Михайлович сразу же приступил к делу. Он всегда отличался прямолинейностью суждений, за что нелюбим был покойным Василием Ивановичем.

Борис Иванович развёл руками.

— А что тут думать? Все мы крест целовали служить великому князю и его матери, великой княгине Елене.

— Ну нет, я такой клятвы не давал и давать не намерен! Никогда не бывать тому, чтобы мы, Шуйские, служили явившимся к нам невесть откуда Глинским!

— Мы служим не Глинским, а великому князю Ивану Васильевичу, — мягко возразил Борис Иванович.

— Да что он может, этот младенец? Вместо него Русью правят и долго ещё будут править, ежели мы потерпим это, Глинские.

Хозяин ничего не ответил на эти слова. Он мог бы возразить, что государством по воле Василия Ивановича правят не только Глинские, но и Шуйские — Василий Васильевич и Иван Васильевич сидят в ближней думе, очень мудро составленной скончавшимся великим князем. Все тонкости, связанные с этой думой, горячо обсуждались боярами. И хотя многие из них были в обиде на покойного за то, что он отдал предпочтение другим, они не могли не согласиться с его решением. Всем же боярам в ближней думе быть невозможно. Что же касается Андрея Шуйского, то он, будучи в темнице, не имел возможности обсуждать волю Василия Ивановича, а потому не знает мнения большинства бояр. Послушаем, что ещё поведает этот колодник.

Андрей Михайлович истолковал молчание хозяина в благоприятном для себя смысле и стал говорить более откровенно.

— Сегодня пожаловал ко мне человек дмитровского князя и сказывал, что Юрий Иванович зовёт меня к себе.

— Кажется, однажды ты уже отъезжал к нему, — пряча усмешку в пышную бороду, съязвил Борис Иванович.

— Тогда было совсем не то, что сейчас. Юрий Иванович по закону не мог стать великим князем, покуда им был его старший брат.

— А разве нынче он может быть им?

— Ну конечно же! Как Василий Иванович занял место племянника Дмитрия, так и Юрий Иванович волен поступать с племянником Иваном.

— Не могу согласиться с тобой, Андрей. Василий Иванович провозглашён великим князем по воле отца Ивана Васильевича. Юрий же хочет завладеть престолом самочинно. К тому же он

крест целовал Василию Ивановичу и митрополиту Даниилу государства под великим князем Иваном не хотеть и людей его не отзывать.

— Вот и я о том же сказал дмитровскому человеку: князь ваш вчера крест целовал великому князю, клялся добра ему хотеть, а теперь людей от него зовёт. На это он мне ответил: князя Юрия Ивановича бояре приводили к целованию насильно, а сами ему за великого князя клятвы не дали. Так что это за целование? Это невольное целование! И я согласился с тем человеком. Дело сейчас за нами, боярами. Если все бояре перейдут на сторону Юрия Ивановича, он по нашей воле станет великим князем. Поедем, Борис, со мною вместе, а здесь служить — ничего не выслужишь: князь великий ещё молод. Между тем слухи носят о князе Юрии. Если князь Юрий сядет на государстве, а мы к нему раньше других отъедем, то мы у него этим выслужимся.

— Нет, Андрей, не поеду я к Юрию Ивановичу. Я крест целовал верно служить нынешнему великому князю. Ты же вольный человек, а потому можешь отъехать к Юрию Дмитровскому. Но не очень-то спеши с отъездом: один раз обжэгшись, в другой раз осторожней будь.

Только сейчас Андрей Шуйский уловил в душе чувство тревоги и неуверенности. Больше всего его испугало спокойствие Бориса Горбатого: уж если он не намерен нарушать данной клятвы, то что же спрашивать с других бояр? И можно ли быть уверенным в том, что вот сейчас Борис Горбатый не пошлёт своих людей к Глинским с доносом на него, Андрея? На родство надежда плохая: иной боярин не прочь нарочно оговорить своего родственника, чтобы таким путём завладеть его вотчиной.

— Испытать тебя, Борис, хотел, а теперь вижу: верный ты слуга великому князю. При случае непременно поведаю о том его матери, великой княгине Елене. А пока прощай, друг.

Борис Иванович холодно кивнул в ответ. Он не верил в добрые намерения гостя. Если Андрей что и будет говорить о нём Елене, то только худое. Не лучше ли, однако, упредить его?

Досадливо кряхтя, Андрей Михайлович вышел на крыльцо и, заметив тень, отделившуюся от стены, шархнул в сторону.

— Это я, Юшка, — услышал он тихий шёпот.

— Тьфу ты, рыжая бестия, напужал меня, окаянный!

— Тише, тише, боярин. Мисюрь послал предупредить тебя: когда мы пришли сюда, за нами по пятам двое людей Глинских шли. Мы их поговору признали.

— А Мисюрь где?

— Сидит возле забора, за дорогой в щель наблюдает.

— Чего же вы их испужались? Дали бы по мослам, чтоб в другой раз знали, как за Шуйскими подглядывать!

— Да разве можно с людьми Глинских тягаться? С ними только свяжись, потом не развяжешься!

— Вижу, смелы вы среди зайцев, а как волков завидели, так и хвосты поджали. Эй, Мисюрь, где те людишки, о которых Юшка сказывал?

— Пошли в тот конец, откуда мы пришли.

— Нам того и надобно. Ступайте за мной к великокняжескому дворцу.

В покоях великой княгини Елены собрались ближние люди: Василий Васильевич Шуйский, его брат Иван Васильевич, Михаил Васильевич Тучков, Михаил Юрьевич Захарьин, Михаил Семёнович Воронцов, казначей Пётр Иванович Головин, дьяки Григорий Меньшой Путятин и Фёдор Мишурин. Не было лишь Михаила Львовича Глинского да Ивана Юрьевича Шигоны-Поджогины. По неизвестным причинам они задерживались, и бояре, особенно братья Шуйские, были недовольны этим.

Елена была бледна, озабочена, не уверена в себе. Ей всё казалось, что бояре не будут считаться с ней и её малолетним сыном Иваном, только что провозглашённым великим князем. Мальчик сидел рядом с матерью тихий, напуганный непонятными событиями, совершающимися вокруг. Совсем недавно он бегал по дворцу со своими сверстниками, играл в разные игры, резвился, и, казалось, никому не было до него дела, кроме матери да мамки Аграфены. Теперь всё изменилось. Ему запретили играть в шумные игры, удалили от сверстников. С утра до вечера приходится сидеть с матерью, а все почтительно кланяются им, о чём-то говорят, что-то просят. Мальчику до тошноты надоело это сидение на одном и том же месте, и он не раз порывался убежать от матери, но она цепко ухватывала его, усаживала на прежнее место. При этом в больших глазах её был испуг, словно она боялась остаться без него одна наедине с бородатыми боярами и дьяками.

От нечего делать мальчик стал пристально рассматривать находившихся в палате людей. Больше других ему нравился большелобый дородный боярин Захарьин. Другие бояре хоть и смотрят на него, но, занятые своими мыслями, как бы не видят, а Михаил Юрьевич смотрит жалостливо, сочувственно. Запомнился Ване и дьяк Фёдор Мишурин своей огненно-рыжей бородой, жар-птицей горевшей у него на груди. Фёдор смотрит на всех внимательно, вдумчиво. Дородный боярин Тучков почему-то не нравится Ване. Небольшие глазки его так и буравят всех, но малыша они как бы не замечают, словно нет его. Таков же и боярин Василий Шуйский. Восседает он на лавке как копыта, на рыхлом лице застыло неудовольствие. Брат его Иван внешне спокоен. Выставив перед собой холёную руку, внимательно рассматривает причудливые перстни. Михаил Семёнович Воронцов люб Ване. Лицо у него круглое, добродушное. И говорит он интересно, голос приятный, звучный. У Петра Головина голова как у одуванчика, с которого улетела последняя пушинка. Мальчика так и подмывает ухватить его за тощую длинную бороду и поддёргать изо всей силы.

— Что это Михаил Львович запаздывает? — недовольно пробурчал Василий Шуйский.

Присутствующие не успели что-либо ответить, как дверь палаты отворилась и вошёл дворецкий Иван Юрьевич Шигона-Поджогин, по своему обыкновению одетый во всё чёрное. На бледном лице его застыло выражение озабоченности и тревоги.

— Великий князь Иван Васильевич и великая княгиня Елена Васильевна, бьёт вам челом князь Андрей Михайлович Шуйский.

— Не ко времени пришёл Андрей Михайлович. Собрались мы для обсуждения важных государевых дел. А какое дело у боярина Шуйского? На днях великий князь приказал освободить его из нятства. Если Андрей Михайлович явился лишь для того, чтобы поблагодарить государя за милость, то пусть выберет для этого более подходящее время.

— Андрей Михайлович уверяет, будто дело у него срочное и великое, касающееся измены великому князю.

В палате тревожно заговорили. Каждый из присутствовавших ожидал этого слова: измена. И вот оно прозвучало.

— Как, бояре, поступим: будем ли государевы дела решать или выслушаем прежде Андрея Михайловича Шуйского?

С места поднялся Михайло Тучков.

— Дело об измене — наипервейшее из государевых дел. Поэтому надлежит нам выслушать Андрея Шуйского.

Все согласились с этим мнением. Только братья Шуйские промолчали. Они понимали: неспроста явился их родственник с доносом об измене, неизвестно, как это дело обернётся для них самих.

— Ближняя дума пожелала выслушать Андрея Михайловича Шуйского. Пусть явится он.

В палату, Торопливо ступая, вошёл князь Шуйский. Лицо его лоснилось от пота, руки дрожали.

— Великий князь Иван Васильевич и великая княгиня Елена Васильевна! Явился я к вам с доносом об измене, учинённой слугой вашим Борисом Ивановичем Горбатым.

Братья Шуйские с недоумением глянули друг на друга.

— Сегодня пришёл я к нему поговорить о том о сём, а он мне и молвил: был, дескать, у меня верный человек от удельного князя Юрия Дмитровского, уговаривал перейти к нему служить — и я, сказывал Борис Иванович, согласие на то дал. Не хочешь ли и ты, Андрей, подвинуться на такое дело? Послушал я речи те вредоносные и решил сообщить о них великому князю и тебе, великой княгине.

— Благодарю, Андрей Михайлович, за верную службу. Вижу: милость великого князя нашла отклик в твоём сердце...

— Лжёт он всё, пёс смердящий! — Никто не заметил, как в палате появился Михаил Львович Глинский. — Не к Борису Ивановичу, а к нему, колоднику, явился верный человек от Юрия Дмитровского и стал соблазнять перейти на службу к удельному князю. Был у тебя человек от Юрия Ивановича? Говори!

— Никто у меня не был, это всё Борис Горбатый виноват, а не я! — Андрей Шуйский встал на колени перед Еленой. — Ни в чём я не виноват!

— Так ты отрицаешь, что был у тебя нынче человек от Юрия Дмитровского? Может, память у тебя, милейший, отбило? Так я велю ката позвать, он быстро тебя в разум доставит. Поведает тогда, что в пятом часу явился к тебе верный человек князя Юрия Третьяк Тишков с приглашением перейти на службу к его господину. И ты, неблагодарный, презрев милость, оказанную тебе великим князем по просьбе митрополита и родственников твоих, согласился стать слугой удельного князя и поспешил привлечь на свою сторону Бориса Ивановича Горбатого.

Андрей Шуйский понял, что его враги знают о нём гораздо больше, чем он предполагал. Нужно было во что бы то ни стало выпутаться из дурацкого положения, в котором он оказался по своей неосмотрительности.

— Великий князь и великая княгиня! Запоматовал я сгоряча. И впрямь был у меня нынче Третьяк Тишков и лстивыми речами пытался совратить меня с пути истинного. Да только я ни одному его слову не поверил. И в мыслях у меня не было перейти на службу от великого князя к удельному. Едва Третьяк ушёл, я сразу же поспешил к Борису Горбатову и рассказал ему о непрошеном госте и просил поведать великому князю об опасности, грозящей ему от князя Юрия. Да тут повздорили мы с Борисом маленько, он и пригрозил донести на меня,

будто бы я согласился служить Юрию Дмитровскому. Тогда-то я и устремился к великому князю и тебе, великой княгине, чтобы упредить Бориса Горбатого. Простите меня, коли что не так сказал. Берегитесь удельного князя Юрия Дмитровского!

— Совсем заврался, милейший! Спасая свою шкуру, обливаешь ты грязью верного великому князю человека — Бориса Ивановича Горбатого. Но нет веры твоим словам!

— Великий князь и великая княгиня Елена Васильевна! Ни в чём не виновен я перед вами! Хотел лишь добро для вас сделать!

— Вижу теперь, Андрей Михайлович, какое доброе дело ты удумал. По просьбе митрополита Даниила и родственников твоих великий князь помиловал тебя, велел выпустить из темницы. А ты его милость ни во что поставил: едва кликнул тебя к себе князь Юрий, и ты сразу же согласился стать его слугой. Нет тебе больше прощения!

— Не виновен я, не виновен! Великий князь, смилуйся надо мной!

— Мамочка, страшно мне, страшно! Пусть уйдёт отсюда этот человек!

— Сейчас, малютка, уведут этого нечестивца.

— Эй, стража! Заковать его и отвести в стрельницу за сторожи!

Стражники увели Андрея Михайловича в тюрьму. Некоторое время в палате стояла тишина, прерываемая лишь тяжёлым дыханием Василия Васильевича. Ему явно не по душе пришлось упоминание Глинскими о том, будто Андрей Михайлович был выпущен на свободу по просьбе Шуйских. За него ходатайствовали многие бояре, а не только родственники. Видать, Глинским очень хотелось бы бросить тень на них, Ивана да Василия Шуйских.

Молчание нарушил Михайло Тучков.

— Как быть, государыня, с Юрием Дмитровским?

— Вчера вы крест целовали сыну моему на том, что будете ему служить и во всем добра хотеть. Так вы по тому и делайте: коли явилось зло, то не давайте ему усилиться.

Михаилу Львовичу ответ Елены не очень понравился, и он проговорил своим скрипучим голосом:

— Если желаешь, государыня, государство под собою и сыном своим, великим князем, сохранить, надлежит тебе велеть поймать князя Юрия.

— Так я о том и говорю, Михаил Львович, что надлежит поймать Юрия Ивановича.

В палату, где пировали люди удельного князя Юрия Ивановича, вошёл дьяк Илья Шестаков. После вчерашней попойки он так перегрузил своё чрево, что всю ночь маялся от адских болей, а наутро устремился на поиски лекаря. Лекарь первым делом стал выяснять, кто он да откуда родом, а узнав, что Илья служит у дмитровского князя, наотрез отказался его лечить, сославшись на грозящую ему опасность. Илья сунул лекарю гривну и, пока тот осматривал его, сумел проведать о бродивших среди москвичей слухах о скорой поимке князя Юрия.

— И сказал мне лекарь: если дмитровские люди хотят остаться в живых, пусть немедля покинут пределы Москвы.

Юрий Иванович внимательно слушал рассказ Ильи, прикидывал, откуда могла исходить для

него опасность и насколько она велика.

— А ещё лекарь сказывал мне, будто вчера был схвачен и брошен в темницу боярин Андрей Михайлович Шуйский, оттого, дескать, и быть беде дмитровским людям. Только не могу я взять в толк, какая связь между нами и боярином Шуйским?

— Экий ты недогадливый, Илья, — ласково улыбнулся Яков Мещеринов. — Андрей Михайлович некогда хотел покинуть великого князя Василия Ивановича и пристать к нашему Юрию Ивановичу.

— Так то было давно, и за те дела княгиня Елена помиловала Андрея Михайловича. — Лицо дьяка выражало простодушное удивление.

«Этот наверняка не послух великого князя», — подумал Юрий Иванович. Он заметил, как смертельная бледность проступила на лице Третьяка Тишкова. Дьяк медленно поднялся из-за стола и хриплым от волнения голосом произнёс:

— Государь наш, Юрий Иванович! Вели немедля отправляться всем в Дмитров. Поедешь в Дмитров, то на тебя никто и посмотреть не смеет, а будешь здесь жить, тебя непременно схватят. Слухи о том ходят по Москве.

Юрий спокойно улыбнулся.

— Что мне до тех слухов, Третьяк? Приехал я к государю великому князю Василию, а государь, по грехам, болен был, а потом умер. Я ему целовал крест, да и сыну его, великому князю Ивану. Так как же мне крестное целование переступить?

На самом деле князь не был спокоен. Он понимал, что его попытка привлечь на свою сторону бояр провалилась.

Не успел Третьяк переговорить с Андреем Шуйским, как того сразу же схватили и бросили в темницу. Зорко же следят за ним, Юрием, его вороги! Наверняка среди сидящих за этим столом есть видоки и послухи Глинских. По этой причине он и говорил, стараясь казаться как можно спокойнее, будто ничего не подозревает и не собирается покидать Москвы. Если послух находится рядом, сказанные им слова сегодня же будут известны правительнице. И пока та будет размышлять, виноват Юрий или нет, он завтра же, на Спиридона-Солнцеворота [144], выскользнет из Москвы.

Но так ли он уж виноват, чтобы задавать стрекача? Подумаешь, послал своего человека к боярину Шуйскому, а тот согласился отъехать к нему в Дмитров. И раньше так было многократно. Случись что, можно было бы и возвратить отъезжика великому князю. С Глинскими, однако, нужно держать ухо востро. Первым делом следует отправить из Москвы Третьяка, так будет лучше и для него, Юрия, и для дьяка. Проболтается Андрей Шуйский в тюрьме, Тишкова первым начнут разыскивать по Москве.

— Я перед великим князем ни в чём не виноват, а потому, пока не пройдут сорочины [145], выезжать из Москвы не намерен. Долго ещё жить нам в Москве, а о Дмитрове забывать не следует. Хочу сегодня же послать туда своего человека проведать, всё ли совершается там по нашему усмотрению. Пусть Третьяк Тишков едет в Дмитров. А пока давайте-ка пировать!

— Слава Юрию Ивановичу! — громко закричал боярский сын Яков Мещеринов, взметнув вверх кубок с фряжским вином.

Никто, однако, не подхватил здравицы. Все прислушивались к странным звукам, доносившимся со двора. Кажется, поблизости гремит оружие, раздаются приглушённые возгласы. Дверь распахнулась. В сопровождении вооружённых стражников на пороге

показался Михаил Львович Глинский.

Третьяк Тишков кинулся к оконцу, вышиб его ногой и выбросился на улицу. Некоторое время слышался шум борьбы, потом всё стихло. Басистый голос спокойно произнёс:

— Один уже готов. Кто там ещё?

— Слышите? — злобно усмехнулся Михаил Львович. — Кому жизнь не мила, может податься вслед за товарищем. Остальных мы свяжем и отведём в темницу.

Юрий Иванович спокойно поднялся из-за стола.

— Михаил Львович, по какому праву ты врываешься в чужой дом да грозишь хозяевам темницей? Может, я провинился в чём перед великим князем?

— Давно жажду я твоей крови, Юрий Дмитриевский! Настал мой час. Эй, стража, вяжите смутьяна да волоките в темницу, где маялся племянник его Дмитрий. Побольше оков навешайте на него да шапку железную на голову нахлобучьте. И... ни крошки еды! — Злобная гримаса исказила желчное лицо Глинского, и оно приобрело нечто звериное, страшное.

Глава 2

В соборном храме Покровского монастыря шла служба за упокой души великого князя Василия Ивановича. Согласно печальное пение оглашало церковные своды. Оно тревожило Соломонию, навевало воспоминания о далёких днях молодости, о первых, самых счастливых годах замужества. Много раз бывала она здесь, в Суздале, вместе с мужем, но, пожалуй, только две поездки память запечатлела особенно отчётливо. Одна из них случилась в первое после свадьбы лето.

...Соломония выбралась из душного тесного возка и была поражена обилием вокруг церквей, оглушена радостным перезвоном колоколов в честь приезда великого князя. Но не Суздалем запомнилась эта поездка. Утром следующего дня они спустились к Каменке, где их ждала причудливо расписанная ладья с белоснежным парусом. Великокняжескую чету почти никто не сопровождал, прибывшие с ними бояре и лошади сухопутьем отправились во Владимир, куда и они намеревались приплыть на судне. Соломония с Василием прошли в носовую часть, под навес, и устроились на обитой камкой скамье. Отсюда открывался чудесный вид на реку, цветущие луга, дальние леса. Вскоре мелководная Каменка кончилась. В устье её при впадении в Нерль путники увидели Кидекшу. Древний городок одной своей стороной примыкал к высокому берегу Нерли, а с другой был защищён от врагов земляным валом с деревянными стенами, за которыми виднелась церковь Бориса и Глеба — незамысловатое и прочное сооружение времён Юрия Долгорукого. Нерль, сменившая Каменку, была важным торговым путём Владимиро-Суздальской земли. По ней плыли суда вверх в селения Переяславского уезда, расположенного на севере Московского края, и вниз — к Владимиру, в приокские города, в Болгарскую землю. Подгоняемая течением, попутным ветром и гребцами, ладья быстро устремилась вперёд.

Воды Нерли, чистые, спокойные, поросли у берегов одолень-травой [146], и Соломонии думалось, будто кто-то прошёл поутру вдоль реки и щедрой рукой разбросал по воде звёзды-снежинки. Возле самых берегов торчали из воды розовато-белые зонтики сусака, придавая берегам праздничный, уютный вид. Никогда ни в Кореле, ни на границе с Полем не видела Соломония такой красоты, не испытывала единения своей души с окружающим миром. Приятное тепло исходило от воды, в которой, словно в зеркале, отражались

белоснежные облака, похожие на горы лебяжьего пуха. Отражения облаков плавно скользили навстречу судну, а столкнувшись с ним, начинали раскачиваться на волнах, меняя свои очертания, отчего казались живыми. Дух захватывало от необъятного простора, открывшегося вокруг, от бездонной праздничной сини неба, от полноводья реки, готовой выплеснуться на поросшие цветами луга. Думалось: может ли быть что-нибудь прекраснее этого?

И тут внимание Соломонии привлекло нечто белое, появившееся впереди. Сначала она приняла это нечто за облако, но потом усомнилась, разве могут облака лежать на земле? По мере того как ладья продвигалась вперёд, странное волнение охватывало её, будто явь сменилась сказочным видением. Дивная белокаменная церковь, одиноко возвышавшаяся на берегу Нерли среди заливных лугов, неслась им навстречу. Однокупольный храм был небольшим, но казался высоким и стройным, устремлённым в звенящую синеву. Он возвышался на рукотворном холме [147], облицованном белыми плитами, в щелях между которыми пробилась на свет одуванчики, и был сродни неспешно плывущим облакам. Как и они, церковь отражалась в прозрачных водах реки, и её отражение делало сооружение ещё более лёгким и прекрасным. Ничего подобного Соломония прежде не видела. Ощущение от восприятия явившегося чуда было таким сильным, что слёзы проступили у неё на глазах.

— Что это? — спросила она Василия.

— Церковь Покрова на Нерли, — горделиво ответил он — Соорудил её наш прадед Андрей Боголюбский. А жил он вон в том городке.

Соломония глянула в ту сторону, куда указывал рукой князь, и в полутора верстах правее церкви Покрова увидела небольшое селение, в середине которого возвышался величественный белокаменный дворец, соединённый переходом с церковью.

В это время ладья причалила к берегу, и они с Василием сошли по сходням на берег. Каменная лестница привела их к церкви, перед которой прибывших ожидали церковнослужители. Тучный немногословный поп благословил их, коротко справился, благополучным ли было плавание, и повёл внутрь храма.

Белокаменная открытая галерея с трёх сторон опоясывала церковь, придавая ей торжественность и величавость. Украшенные тонкой резьбой опоры галереи, завершавшиеся вверху арками, создавали вокруг основания храма полутень, отчего он казался висящим на тонких опорах. Под галереей было прохладно. Путники, миновав арку, повернули налево и по лестнице, выложенной в толстой стене галереи, вышли на гульбище, вымощенное красивыми майоликовыми [148] плитками. Отсюда открывался изумительный вид на Боголюбово, Клязьму и приток её Нерль. Заливные луга пестрели жёлтыми, белыми и розовыми цветами.

Насмотревшись на заречные дали, обратили внимание на саму церковь. Белокаменный резной узор её поражал своей простотой и ясностью. На всех фасадах был изображён царь Давид, сидящий на троне с гусями в руках. По обе стороны от него были голуби, а внизу — львы.

В сопровождении молчаливого попа Соломония с Василием прошли с гульбища внутрь церкви и оказались на хорах [149]. Внутри храм также производил впечатление удивительной лёгкости и высоты. Такое впечатление возникало благодаря низкому расположению хоров, наличию четырёх подкупольных столбов, суживающихся в верхней части, и другим хитроумным уловкам древних зодчих. На сводах и в куполе видна была роспись, поражавшая своим совершенством.

Соломония с Василием спустились вниз и направились в луга, раскинувшиеся за церковью. Никто не пошёл следом за ними. Может быть, захотели оставить их наедине после увиденного чуда, а может, полагали, что здесь для великого князя никакой опасности не

существует.

Соломонии казалось, что ничто уже не способно поразить её, но ошиблась. Не прошли они и сотни шагов, как увидели великое множество купавок. Все они были необыкновенно высокие, сочные и крупные. Под ярким солнцем цветки горели, словно изваянные искусным мастером из чистейшего золота. Ветер слегка колебал лёгкие шарики, и Соломонии явственно слышалось тоненькое позвякивание, когда цветки сталкивались друг с другом. Она сорвала самый крупный цветок и поднесла к лицу. Его запах был тонким, слегка горьковатым, с примесью меда.

— Понюхай, как пахнет этот чудесный бубенчик, — обратилась Соломония к Василию, беря его за руку.

Рука была горячей, умеренно влажной, с длинными сильными пальцами. Это была рука воина, ставшая таковой не в силу упражнения — Василий редко брался за меч, предпочитая передоверять ратное дело своим воеводам, — а в силу семейной традиции. Наверно, такая же рука была и у Дмитрия Донского, прадеда Василия. Эта мысль явилась Соломонии впервые, и она, поражённая ею, подняла руку мужа, мгновение рассматривала её, потом поцеловала и прижала к своей щеке. Она не видела, как вспыхнуло лицо Василия, почувствовала лишь, что сильные руки подхватили её, понесли через этот удивительный раззолоченный луг. Совсем рядом бешено колотилось его сердце, но не от тяжести или усталости, а от сильного чувства, переполнившего их обоих. Голова Соломонии чуть-чуть кружилась, отчего облака, неспешно плывшие в небе, уподобились стае испуганных лебедей.

Если бы кому-нибудь пришла в голову спросить её, Соломонию, бывает ли на земле счастье, она ответила бы утвердительно и обязательно вспомнила бы при этом, плавание по Нерли, церковь Покрова и дивный луг, поросший купальницами.

К вечеру того же дня, они прибыли в Боголюбово. Дворец князя Андрея был обращён к пристани своей восточной стороной. Построенный более трёх с половиной веков назад, он производил двойственное впечатление. В нём явно ощущалось запустение, неухоженность, многие постройки несли на себе печать разрушения, и в то же время дворец всё ещё поражал совершенством форм, гармонией, удивительной красотой. Что-то в его облике напоминало церковь Покрова на Нерли. И это вряд ли было случайно, ведь строились они почти одновременно одними и теми же мастерами.

Путники поднялись по берегу, обогнули дворец с левой стороны и очутились на площади, мощённой белыми каменными плитами, к которой была обращена западная часть дворца. Внимание Соломонии привлекло небольшое изящное сооружение с шатровым верхом, укреплённым на восьми стройных каменных столбах. Внутри него на трёхступенчатом круглом возвышении стояла наполненная водой большая каменная чаша с высеченным на дне крестом.

— Это киворий [150],- пояснил Василий, указывая на изящное сооружение, — а внутри чаша, из которой прадед наш Андрей Боголюбский оделял поминками строителей дворца. Уж очень они угодили ему своим мастерством.

— А вода в чаше зачем?

— Это водосвятная чаша. Уставший путник может утолить здесь жажду, освежить лицо водой.

Соломония глянула в сторону дворца и вновь поразились — в который уж раз за этот день! Напротив кивория возвышался златоглавый собор, очень похожий на церковь Покрова на Нерли, только без опоясывающей галереи. По бокам боголюбовского собора стояли

стройные лестничные башни с золочёными шатровыми верхами. Заходящее солнце отражалось в дверях храма, обитых позолоченной медью, в кровле лестничных башен, в золоте купола, и казалось, будто всё сооружение излучает солнечное сияние.

Василий взял Соломонию за руку и повёл в левую лестничную башню. По стоптанным каменным ступеням винтовой лестницы, освещённой узкими, похожими на бойницы окнами, они поднялись на второй этаж. Здесь было большое тройчатое окно, из которого открывался прекрасный вид на нерльскую пойму и белоснежную церковь Покрова. Отсюда она казалась лебедем, привставшим на лапах и взмахнувшим узкими сильными крыльями, готовым вот-вот сорваться с места и полететь вслед за скатывающимся к горизонту солнцем.

Налюбовавшись чудесным видением, по переходу прошли на хоры собора, выстланные майоликовыми плитками. Внизу тускло поблёскивали медные плиты пола. Четыре круглых столба, расписанных под мрамор, украшенных в верхней части золочёными листьями, поддерживали главу собора. Даже сейчас, спустя много лет после постройки, собор казался величественным, торжественным, богатым. Поражала изысканность росписи стен и сводов собора. В свете вечерней зари особенно впечатляющими были охристые, зелёные и синие тона фресок. Блестящая поверхность медного пола и зеркальная гладь цветной майолики отражали свет, лившийся из окон, а также трепетное пламя свечей, горевших в драгоценных паникадилах.

— Лепота! — восхищённо прошептала Соломония.

— Прадед наш, Андрей Боголюбский, любил водить сюда иноземных гостей и послов, чтобы дивились они богатству его земли, разносили по всему миру молву о могуществе Владимиро-Суздальского княжества. А теперь пора осмотреть дворец. Ты ведь слышала, наверное, как убили князя Андрея?[151]

— Слышала, — дрогнувшим голосом произнесла Соломония. Ей вдруг стало холодно и неуютно в этом заброшенном старом дворце.

По переходу они возвратились в лестничную башню. У тройчатого окна, из которого была видна церковь Покрова на Нерли, Василий обернулся, взял её за руки, заботливо заглянул в глаза.

— Ты только не бойся ничего. Ладно?

Забота его тронула Соломонию, страхи и исчезли. Свет вечерней зари падал на лицо Василия, и оно казалось сейчас совсем не таким, каким она привыкла видеть его. Хоть и недавно стал Василий великим князем, но как будто всегда был им: спокойным, рассудительным, властным. А ныне муж был иным: лицо зарумянилось, глаза светились волнением. Нет, не великий князь перед ней, а обычный влюблённый паренёк! Не сдержавшись, Соломония обхватила его голову руками, приклонила себе на грудь, уткнулась носом в густые тёмные волосы. Они пахли... луговыми цветами!

— Ты рассказывай, Вася, с тобой я ничего не боюсь.

— Князь Андрей был не любим боярами за то, что обладал сильной властью. А им хотелось по старине жить, быть независимыми от князя. Он же всё по-своему делал. И тогда ближайшие родичи жены князя, Аглаи Дубравки, Кучковичи решили убить его. В Петров день заговорщики перебили стражу, ворвались в княжескую опочивальню. Князь Андрей, заслышав шум, хватился своего меча, но не нашёл. Воры пуще огня боялись этого меча, считали чудотворным, потому и поручили ключнику Анбалу выкрасть его. В темноте завязалась борьба, в которой заговорщики прикончили своего же единомышленника, приняв его за князя. Обнаружив ошибку, они скопом кинулись на Андрея, нанесли ему множество ран и в страхе покинули опочивальню.

— А где была та опочивальня?

— Недалеко отсюда. Пойдёшь по этому переходу и как раз угодишь в неё... Через некоторое время воры возвратились в опочивальню, чтобы удостовериться в смерти князя Андрея. Его, однако, там не было. Хоть князь был ранен во многих местах, он остался жив и ползком выбрался по переходу вот сюда, в лестничную башню, и стал спускаться вниз по этим ступенькам. Не найдя князя на месте, заговорщики стали разыскивать его. Кровавый след привёл их вниз, под столп восходный, где он спрятался. Там они его и убили. Только нечестивцам недолго пришлось быть на свободе. Разгневанные совершённым злодеянием люди схватили их и предали суду. Жестокая кара постигла воров.

— Вася, ты помнишь, какой сегодня день?

— Помню: тот самый, когда был убит князь Андрей. Заговорил я тебя, Соломония, пора нам в трапезную.

Волнительный день сменился тревожной ночью. Неожиданно разразилась гроза. Огненные змеи вспарывали чернь неба, с любопытством заглядывали в окна старого дворца. Порывы ветра рождали невнятные звуки. Порой слышался то плач ребёнка, то тяжкий вздох, то глухой стон, а то и дикий хохот. Соломония с Василием до утра не сомкнули глаз, но не от ночных страхов, а от впервые переполнившего их чувства, такого сильного, испепеляющего, что Соломония опасалась, выдержит ли всё это сердце. Петров день 1506 года и последовавшая за ним ночь были самыми памятными в её жизни.

И ещё одна поездка с мужем в Суздаль припомнилась Соломонии сегодня. Летом 1515 года они присутствовали при закладке Покровского собора того самого, в котором сейчас находилась. Тогда Василий Иванович долго беседовал с суздальскими мастерами, обсуждая с ними ход строительства собора. Что и говорить, величественным получился храм. Только он ничуть не похож на творения Андрея Боголюбского. Покровский собор Василия Ивановича отличается от храма Покрова на Нерли как небо от земли.

Соломония осмотрелась по сторонам. Из пола, мощённого чёрной плиткой, словно вырастают четыре внушительных подкупольных столба. Стены белые, лишённые росписи, с печурами [152] внизу. Ни в чём нет радости для глаз. К чему праздничная роспись стен в тюрьме? Выходит, Василий уже тогда, за десять лет до заточения её в Покровский монастырь, знал о предназначении строящегося собора. Эта мысль обожгла голову Соломонии и не давала ей покоя. До этого они прожили половину всей совместной жизни. На смену большой страстной любви пришли ровные, спокойные отношения. Бесплодие жены, конечно же, беспокоило Василия, но он никоим образом не проявлял своего беспокойства, до самого пострижения надеялся, что она принесёт ему наследника. Надеялся и в то же время строил для неё тюрьму. Да, таков он и был, покойный Василий: предусмотрительный, рассудительный, скрытный. Никто не знал потайных его мыслей.

Соломония вновь осмотрела стены собора. Нет, это не только её тюрьма, но и могила. Даже это предусмотрел Василий. Если спуститься по лестнице в подклет, куда через проёмы небольших окон слабо проникает солнечный свет, то можно увидеть место будущего её захоронения. В юго-западном, самом почётном углу соорудят для неё гробницу. А рядом уже возвышается маленькое белое надгробие. Там вместо её сына Георгия, которому после рождения угрожала смертельная опасность от родственников новой жены великого князя Глинских, похоронили куклу, одетую в шёлковую мальчиговую рубашку и спелёнутую свивальником, украшенным жемчугом. Где-то сейчас её Георгий? Жив ли? Вместе с вестью о смерти Василия Ивановича Соломония узнала о том, что великим князем всея Руси провозглашён трёхлетний сын его Иван. Но ведь не по праву он стал им! Великим князем должен быть её сын Георгий, которому вскоре исполнится восемь лет. Только где он, её кровиночка, несказанная радость?

До сих пор лишь самым близким людям, навещавшим её из Москвы, говорила Соломония, что сын жив, что прячет она его у надёжных людей. Настала пора объявить об этом открыто, чтобы все знали: Иван занял престол незаконно, в обход своего старшего брата! Страшно только за матушку Ульянею, всегда и во всем помогавшую ей, устроившую ложное захоронение. Объявись Георгий, и игуменью обвинят во всех смертных грехах. Пока его нет, матушка Ульянея в безопасности: много ли веры человеку, заточенному в темницу? Мало ли что пригрезится ему в одинокой келье...

Служба за упокой души великого князя Василия Ивановича подходила к концу. Нет больше человека, с которым она прожила бок о бок целых двадцать лет, которого горячо и преданно любила. Почему же сейчас спокойно её сердце? Почему сухи глаза? Не оттого ли, что здесь, в Покровском монастыре, она давно уже схоронила свою любовь к Василию.

Игуменья Ульянея, сильно состарившаяся за последние годы, ещё больше погрузневшая, внимательно вглядывалась в лицо Соломонии. Едва закончилась служба, она, проходя мимо, позвала её в свою келью.

— Ты больно-то не горюй, — усаживаясь на лавку, проговорила Ульянея. — Все мы смертны, никого из нас смертуш-ка не минует.

— И я так думаю, матушка. Сегодня всю жизнь свою вспомнила: как под венец с Василием Ивановичем шла, как жила с ним, как в Суздаль ездила. Настала пора и мне подумать о смерти. Одно бередит душу: жив ли сын мой, несказанно любимый? Разыскать его нужно, чтобы поведать, кто его отец и мать. Не знает он о том. Ныне занял его место отпрыск зловредного корня Глинских. Не бывать тому! Сама отправлюсь в татарщину на розыски сына!

Игуменья с удивлением глянула на покрасневшую разгневанную Соломонию.

— Опомнись, Софья! Да мыслимое ли дело идти в поганый Крым? Опасно то, да сил у тебя не хватит дойти до татарщины.

— Ходят же богомольные старушки ко гробу Господню и назад возвращаются. Неужели я хуже их?

— Сочувствую твоему горю, но благословить на такое дело не могу. Ты вот о сыне своём скорбишь, а я, может быть, из-за дочери своей кровной страдаю...

Соломония оторопело уставилась на игуменью.

— Ты не дивись тому, вместе с твоим Георгием я дочь свою в мир отправила. Белицей она здесь жила, только никто не ведал о том, что Марфуша — моя родная дочь. Страшно то говорить, но и молчать больше сил нет. Чувствую, что умру скоро, так ты, может быть, о Марфуше моей позаботишься, когда она объявится. Вместо меня будешь ей матерью, как она стала матерью твоему Георгию.

— Да как же случилось, что дочь у тебя народилась?

— Как у всех, так и у меня, — усмехнулась игуменья. — Долго то рассказывать, да и ни к чему. Когда пострижение принимала, не знала ещё, что матерью стану, неопытная в таких делах была. А как проведала, скрыла ото всех, что дитё в себе ношу. Когда же появилась на свет Марфуша, отдала верным людям, они и вырастили её. А потом в монастырь взяла, к себе приблизила. Не могла больше жить вдали от неё. Пуще глаза берегла родную. Жаль было расставаться с Марфушей, да ничего не поделаешь: приглянулся ей московский добрый

молодец, я и отпустила её с ним вместе в мир. Думалось: много ли счастья повидает она в монастыре, живя рядом со мной?

Ульянея надолго задумалась. Потрясённая услышанным, Соломония поняла, что её Георгий стал причиной разлуки игуменьи с дочерью. Не будь его, неизвестно ещё, отпустила бы она в мир Марфушу или нет. Большое горе потерять сына. Эту истину Соломония познала на себе. Так ведь Ульянея так же лишилась дочери.

— Прости, матушка, что я стала невольной причиной твоего горя.

— Нет в том твоей вины, Софья. Хоть я и игуменья, но никогда не была мне мила монашеская жизнь. Да простит мне Господь Бог эту ересь. Был бы у тебя сын или нет, всё равно не оставила бы свою дочь в монастыре... Ты вот давеча сказывала, будто хочешь отправиться в татарщину на поиски сына. О, как бы я хотела идти туда вместе с тобой, чтобы отыскать свою ненаглядную радость. Как голубица на крыльях бы полетела. Чувствую, однако, что сил моих не хватит и на малую долю пути до татарщины. Да и тебе этот путь не по силам, а потому советую положиться на волю Господа Бога.

Андрей Попонкин подъезжал к Суздалю. За время пути печальные воспоминания не покидали его. Когда впереди обозначились стены Покровского монастыря, сердце Андрея забилося сильнее: ему вдруг подумалось, что всё приключившееся с ним — печальное недоразумение, ужасный сон, который сейчас кончится, и он наконец увидит свою любимую Марфушу. Распахнутся её ресницы, серые глаза ласково глянут на него, а лёгкая рука коснётся его щеки.

Перед воротами с небольшой надвратной церковью Благовещения Андрей спешил и, ведя в поводу коня, вошёл внутрь монастыря. Прямо перед ним в окружении келий возвышались главные монастырские постройки. Двери собора были распахнуты, последние монахини покидали его. Одна из них, показавшаяся Андрею знакомой, шла низко опустив голову, никого не замечая.

— Аннушка! — окликнул Андрей.

Монахиня остановилась, отчуждённо глянула на него из-под чёрного куколя.

— Нет больше Аннушки. Вместо неё Агния учинилась.

— Нешто забыла меня?

— Отчего же забыть? Помню. Андреем тебя кличут. Вместе с Марфушей, подружкой моей, из монастыря ты уехал. Да слышать довелось от матушки Ульянеи, будто татары в полон её угнали. Так ли это?

— Правду молвила матушка Ульянея: шесть лет минуло с той поры, как Марфуша в полон угодила.

— Каждый день молю я Господа Бога помочь ей в татарской неволе. Вместо сестры она мне была. Я ведь по сиротству в монастырь попала, нет у меня никого, ни отца, ни матери. Так одна отрада была — Марфуша. Как не стало её здесь, словно белый свет померк, вот я и приняла пострижение.

— Отчего же постриглась, Аннушка? Могла ведь и в мир податься. Белицам путь в мир не заказан. К тому же озорная была, бедовая... Таким тяжко в монастыре.

— Кому нужна в миру сирота безродная? А тут матушка Ульянея к себе приблизила, умру,

говорит, заместо меня игуменьей станешь. Да только не нужно мне ничего. Прощай, Андрей, не должна была я говорить с тобой об этом. — Повернулась и быстро пошла прочь.

— Прощай и ты, Аннушка.

Но она, наверно, уже не слышала его.

Рябая келейница Евфимия сразу же признала Андрея и заторопилась в келью игуменьи, что бы доложить о прибытии московского гостя. Он вошёл в хорошо известную ему келью, где не сразу признал в сильно постаревшей монахини с жёлтым скорбным лицом, хозяйку Покровского монастыря. Ульянея молча благословила прибывшего, долго всматривалась в него слезящимися глазами и вдруг, уткнувшись в плечо, тихо заплакала.

— Где-то сейчас наша Марфушенька? Жива ли, горемычная?

Андрей долго молчал, потом сказал дрогнувшим от волнения голосом:

— Матушка, я привёз тебе две грамоты.

— О Марфушеньке в них ничего не писано?

— Не ведаю, о чём те грамоты.

Игуменья, громко вздыхая, вскрыла одну из грамот. И вдруг со стоном опустилась на скамью.

— Умер, касатик мой незабвенный! Уморили презлые иосифляне его в своём логове. О... Дурные вести привёз ты, молодец. Горе горемычное вокруг тебя так и вьётся, так и вьётся... Тут вот ещё одна грамота, да страшусь прикоснуться к ней. Вдруг узнаю сейчас, что Марфуша моя премилая в татарской неволе сгубла. Нет! Не могу я читать эту грамоту. Сил моих больше нет, чтобы ещё одно горе одолеть.

Только тут Андрей заметил, что Ульянея в палате была не одна. Сзади неё стояла высокая статная монахиня с красивым ещё лицом, на котором выделялись большие выразительные глаза. Она бесшумно приблизилась к игуменье, бережно обхватила её голову своими руками.

— Не может того быть, матушка, чтобы обе грамоты о несчастье лишь сообщали.

— Всё может быть, Софья. Счастья на земле мало, а несчастья — непочатый край.

Ульянея со всех сторон подозрительно осмотрела вторую грамоту, нерешительно вскрыла её. Чем дальше читала написанное в ней, тем больше светлело её лицо.

— Не забыл обо мне, касатик мой ясный. Чуюл ведь, поди, что смертушка по пятам ходит, да, видать, не страшился её, коли обо мне да о тебе, Софья, думал.

— От кого эта грамота, матушка?

— От того, кто противился расторжению твоего брака с Василием, от старца Вассиана княж Патрикеева.

— Старца Вассиана я хорошо помню и премного благодарна ему за то, что он смело воспротивился желанию великого князя расторгнуть брак. Что же он обо мне пишет?

— Крепко за справедливость стоял старец. Мыслит он, что следует попытаться найти твоего сына в татарщине. Слышь, что пишет премудрый старец: «Говорят, будто в стоге сена иголки не сыскать. Да так ли это? Ежели весь стог по травинке перебрать, то иголка та обязательно объявится».

Игуменья надолго задумалась, потом обратилась к Андрею:

— Ответь мне по правде, без утайки, добрый молодец: забыл или нет Марфушу? Может, другую жену заимел?

— Никто не мил мне, матушка, кроме Марфуши. Давно с ней разлучился, а всё забыть не могу. Что ни делаю, стоит она перед глазами. Нынче, к святой обители подъезжая, мысль одолела: вдруг чудо совершится великое, нежданно-негаданно повстречаю свою Марфушу. Да только чудо то не случилось. Каждый день молю Бога соединить нас.

— Бог-то он Бог, да и сам не будь плох, — многозначительно произнесла игуменья.

Андрей виновато потупился.

— Я-то что могу сделать?

— Слышал, наверно, не раз сказку про доброго молодца, отправившегося на край света за своей возлюбленной. Много пришлось натерпеться ему, но он всё одолел: и горы высокие, и дали необъятные, и козни лютого Змея Горыныча, и даже саму смерть.

— Так то всё сказки, матушка.

— Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.

— Не раз думал я о том, чтобы в татарщину податься, поискать там Марфушу. Так ведь это же верная погибель!

— Может быть, и погибель, да не для всех. Ходят же через татарщину Божьи люди к святым местам. Или взять купцов: они повсюду продают свои товары.

Соломония, внимательно слушавшая их разговор, вставила:

— Великий князь по несколько раз в год посольства в Крым снаряжает, и люди посольские назад возвращаются.

— Да мало ли безопасных путей, кои в Крым ведут! — Ульянея грузно опустилась на скамью, небрежно махнула рукой. — Ступай пока, добрый молодец, отдохни с дороги, а утресь получишь ответную грамоту для Тучковых.

— Матушка, как в Москву возвращусь, попрошусь у Тучковых отпустить меня в Крым. Постараюсь разыскать там Марфушу.

Соломония приблизилась к Андрею и, обжигая его своими тёмными глазами, горячо заговорила:

— Сына моего, Георгия, которого я малюткой доверила вам с Марфушей, отыщи в татарщине, слёзно молю о том!

Андрей был тронут и этим взволнованным обращением, и земным поклоном, который отвесила перед ним бывшая великая княгиня.

— Сгинуть мне в проклятой орде, коли не приложу я всех сил к отысканию Марфуши и Георгия!

— Ежели мой сын оказался разлучённым с Марфушей, нелегко будет тебе отыскать его. Ведь нынче он не младенец, а отрок. Дарю тебе вот этот крест. У Георгия на шее должен быть точно такой же.

— Да поможет тебе Бог в твоём трудном деле! — торжественно произнесла Ульянея.

Глава 3

По-зимнему тусклое солнце на мгновение заглянуло в окно палаты и вновь исчезло. Елена взмахом руки остановила дьяка, читавшего вслух грамоты, поступившие на имя великого князя.

— Довольно, Фёдор, читать, притомилась я. Да к тому же ближние бояре должны скоро явиться, дел предстоит решить немало. Ступай пока.

Фёдор Мишурин степенно поклонился и, бережно собрав грамоты, удалился.

Елена медленно прошла по палате, остановилась возле окна. Да, нелегко вершить дела за великого князя. Со всех сторон нескончаемым потоком идут грамоты от властителей иноземных, русских послов, воевод, стерегущих отечество, от бояр и дьяков, жаждущих милостей государевых, от многочисленных видоков и послухов, денно и ночью наблюдающих за удельными князьями, отдельными боярами, иноземными гостями и послами, за всем, что совершается в государстве. Дивилась Елена обилию видоков и послухов. И как только покойный муж успевал вникать в их писания?

Устала она. Да только кому доверишь свалившуюся как снег на голову ношу? Не хочется ошибиться в том или ином деле. Боязно за детей малолетних. Страшно выйти за дверь палаты, всюду чудятся тайные вороги. С кем поделиться сомнениями и опасениями? Иные во всем советуются с матерью. Покойный Василий, когда стал великим князем, все дела решал у постели Софьи Фоминичны. Елена на мгновение представила свою мать, перебирающую на столе подозрительные коренья, обнюхивающую их крючковатым носом, и передёрнулась. А может, её мать читает книги про зелья или слушает со вниманием лихих баб, многоопытных в зельном ремесле. Если она что и присоветует, то дурное: как известить неугодного человека, как напакостить недругу. Лишь одно твердит княгиня Анна Елене, чтобы та положила во всем на искушённого в государственных делах Михаила Львовича. Не верится ей, что дочь без его помощи сможет удержать власть в своих руках. Сильно страшится она московского боярства, никому не доверяет.

А Елену дядюшка страшит пуще всех. Знает она: ничто не остановит его в борьбе за власть. Вон ведь как жестоко он обошёлся с Юрием Дмитровским. Потому больше всех следует опасаться Михаила Львовича, он и её саму и детей погубить может. Но не должен дядюшка ведать, будто страшится она его. Вчера он поучать стал её: не надобно, дескать, бабе в воинские и посольские дела вмешиваться, и без неё он решит их как тому положено. Опаска взяла: сегодня он воинские и посольские дела вершить станет, а завтра всем государством управлять начнёт.

Тихо вошёл Шигона.

— Ближние бояре явились, государыня.

— Зови их, Иван Юрьич.

Первый вопрос, который предстояло решить ближней думе, касался приезда в Москву посланника литовского Клиновского. От имени престарелого Жигимонта Клиновский должен был просить великого князя Василия Ивановича продлить срок перемирия, заключённого в 1526 году. Посредниками в переговорах Клиновского с русским князем были Дмитрий

Фёдорович Бельский и Михаил Юрьевич Захарьин. Им предстояло уговорить Василия Ивановича прежде истечения срока перемирия отправить к Жигимонту великих послов для заключения вечного мира или нового перемирия. Если же государь не согласится отправить своих послов к литовскому великому князю, то пусть пришлёт в Литву гонца с опасной грамотой для Жигимонтовых послов, как исстари водилось. Клиновский не застал в живых Василия Ивановича. Его предложения и являлись предметом обсуждения в ближней думе.

Первым поднялся Михаил Юрьевич Захарьин. Почтительно поклонившись Елене, он приступил к изложению сути дела.

— Великая государыня! Прибыл к нам посланник литовского господаря Жигимонта с просьбой к великому князю продлить перемирие, заключённое ранее, или установить вечный мир.

— Согласны ли вы, мои советники, заключить мир с Литвой?

— Я полагаю, — заговорил Михаил Львович, — что сейчас нам следует заключить с Литвой мир. После смерти великого князя Василия Ивановича многие вороги ринутся на нас со всех сторон. По этой причине мы не должны отвергать протянутой нам руки.

— Мудро молвил Михаил Львович, сейчас, как никогда, нам нужно заботиться о мире с соседями, — произнёс Михаил Семёнович Воронцов.

Шигона с Тучковым незаметно для других переглянулись, они давно знали о дружбе Глинского с Воронцовым. Возражать, однако, никто не стал.

— Какой же мир мы заключим с Литвой: вечный или на время?

Поднялся дородный, пышнотелый Дмитрий Фёдорович Бельский. Он получил богатые поминки от литовского господаря, и это обстоятельство заставляло его говорить в поддержку предложений Жигимонта.

— Великая государыня! Князь Михаил Львович сказал золотые слова: не до войны нам сейчас. Я так разумею, что с Литвой следует заключить вечный мир.

Михаил Львович криво усмехнулся. Он да и другие бояре понимали, что заставляет Бельского так говорить. У самого же Михаила Львовича были свои счёты с Жигимонтом.

— Я действительно предлагал заключить мир с Литвой. Думается, однако, что этот мир ни в коем случае не должен быть вечным. Всем хорошо ведомо: литовский господарь держит дружбу с крымским ханом Сагиб-Гиреем. О каком же вечном мире может идти речь? Я советую продлить перемирие, заключённое между Василием Ивановичем и Жигимонтом, лишь на год.

И вновь Воронцов поддержал Михаила Львовича.

— Кого же мы пошлём к Жигимонту?

— Я полагаю, — проскрипел в палате голос Глинского, — следует снарядить в путь сына боярского Тимофея Заболоцкого.

Бояре не возражали: Тимофей не раз уже бывал в Литве.

— Хорошо, пусть Тимофей Заболоцкий отвезёт опасную грамоту на больших послов литовских. Вместе с тем ему надлежит сообщить Жигимонту о смерти великого князя Василия Ивановича и о восшествии на престол его сына Ивана Васильевича.

— Великая государыня, — подал голос Захарьин, — Жигимонт обязательно спросит Тимофея

о здоровье братьев покойного государя. Что должен он отвечать?

— Если Заболоцкого спросят про братьев великого князя, то пусть отвечает: князь Андрей Иванович на Москве, у государя, а князь Юрий Иванович государю нашему по смерти отца его начал делать великие неправды через крестное целование, и государь наш на него свою опалу положил, велел его заключить.

— Тимофею Заболоцкому, — добавил Михаил Львович, — надлежит проведать, как долго Жигимонт собирается пробыть в Вильне и намерен ли он отправлять больших послов к великому князю. Известие о смерти Василия Ивановича и о восшествии на престол юного Ивана Васильевича наверняка возбудит у Жигимонта и панов радных желание проверить, насколько крепка Русь. Если по возвращении Клиновского Жигимонт станет медлить с посылкой людей, нам следует позаботиться об укреплении своих пределов.

Вопрос о Литве был решён без обычных споров и пререканий, нередко случавшихся в ближней думе, где сталкивались интересы разных боярских группировок.

— Михаило Васильевич, готов ли к отъезду в Крым боярский сын Илейка Челищев?

Михаил Львович скривился, ему не понравилось, что Елена спросила о посольстве в Крым не его, а Тучкова. Между тем в обращении его племянницы к окольниковому ничего странного не было: Михаил Васильевич давно ведал сношениями с Крымом, в бытность Василия Ивановича сам ездил туда.

— На днях посольство к Сагиб-Гирею отправится в путь.

— Пусть оповестит Илейка Сагиб-Гирея о восшествии на престол Ивана Васильевича да ударит челом, чтобы тот пожаловал великого князя, учинил его себе впредь братом и другом, как великий князь Василий Иванович был с Менгли-Гиреем.

— Всё будет исполнено, государыня.

— Пусть Илейка Челищев скажет хану, если дашь шертную [153] грамоту, то большой посол князь Василий Стригин-Оболенский уже ждёт в Путивле с богатыми поминками и немедленно пойдёт к тебе. Сам же Челищев пусть ничего не даёт в пошлину и не клянётся в том, что великий князь будет присылать хану поминки уроком.

Михаил Львович удивлённо посмотрел на племянницу. Неужто она в обход его посоветовалась с кем-то из противных ему бояр? Не могла же она сама додуматься до того, чтобы дурачить крымского хана неопределённо большими поминками, которые якобы готов доставить ему князь Стригин-Оболенский в обмен на шертную грамоту?

— Всё будет сделано по воле великого князя, — вновь заверил Тучков.

— Великая княгиня, — поднялся с лавки Василий Васильевич Шуйский, — несколько дней назад были у меня новгородские людишки и просили напомнить великому князю об отсутствии в их граде наместника. Оттого великую поруху приходится им терпеть из-за учинившихся беспорядков. Потому следует незамедлительно послать туда наместника.

Новгородские люди били челом Василию Васильевичу не случайно. До сих пор они помнят о том, что предок Шуйских князь Гребёнка, которого также звали Василием Васильевичем, был последним воеводой вольного Новгорода. По этой причине новгородцы всегда чтили род Шуйских.

— Кого же мы пошлём наместником в Новгород Великий?

Михайло Тучков решительно поднялся с места. Он не намеревался упустить возможность

ослабить силы Глинского в ближней думе.

— Верно молвил здесь Василий Васильевич: большая беда может приключиться, если великий князь замешкается с посылкой наместника. Покойный Василий Иванович сильно тревожился отсутствием в Новгороде своего человека. Сказывал он мне: следует послать туда надёжного боярина, кого-нибудь из ближней думы. Мнится мне, что самый достойный из нас — Михаил Семёнович Воронцов, которого великий князь незадолго до смерти приблизил к себе, ввёл в ближнюю думу. Род Воронцовых знаменит и славен. Если Иван Васильевич пошлёт Михаила Семёновича наместником в Новгород, все новгородцы будут рады тому.

Воронцов оторопело уставился на Тучкова: с чего бы это окольному так расхваливать его? Впрочем, сам он не возражал против посылки его в Новгород. Если по-умному повести дела, то от наместничества внакладе не будешь.

Дьяк Григорий Путятин тяжело вздохнул, не хотелось ему лишаться благодетеля в думе.

Михаил Глинский крикнул от досады. Он понимал: когда хотят избавиться от нежелательного человека, то лучший способ для этого — послать его куда-нибудь наместником или воеводой береговой службы.

— Я ничего плохого не хочу сказать про Михаила Семёновича, муж он многоопытный, знающий, да и родом знаменит. Думается мне, однако, что следует послать в Новгород Михаила Васильевича Тучкова. Почему я так мыслю? Одно время Михайло Тучков был уже в Новгороде наместником. Так что явится он туда не на пустое место, кругом знакомые люди. Оттого и дело пойдёт ходко. А это сейчас для нас очень важно, чтобы всё совершалось по-старому, как при покойном Василии Ивановиче.

— Я полагаю, — подал голос Шигона, — что следует всё же послать в Новгород боярина Воронцова, а Михаилу Тучкова оставить при великом князе.

— Не хочешь ли ты сказать, Шигона, что великому князю нужнее Тучков, нежели Воронцов? — Голос Глинского звучал хрипло, с угрозой. — По местничеству боярину Воронцову положено сидеть выше Тучкова. Так, может быть, ты против этого?

— Дело не в местничестве, Михаил Львович. — Бледное лицо Шигоны стало белее снега. — Михайло Васильевич в бытность Василия Ивановича много пользы принёс Русскому государству, ездил по воле государя и в Крым, и в Казань. Думаю, и сейчас великому князю следует держать возле себя боярина Тучкова. Случись что, его присутствие в Москве может оказаться полезным.

— Уж если по местничеству судить, — вмешался в спор Василий Шуйский, — то следует послать в Новгород Михаила Семёновича. Туда кого попало не пошлешь, слишком важен для нас этот град.

— Полноте вам, бояре, спорить. Все дела решили мы нынче полюбовно и вдруг рассорились из-за пустяковины. — Елена сделала вид, что не понимает причины разногласий. — Великому князю совсем безразлично, кто станет наместником в Новгороде: Тучков или Воронцов. Оба они достойны этого.

— Великому князю совсем не безразлично, кому быть наместником в Новгороде!

Поспешность Глинского ему же и повредила. Елена решила: что бы её дядюшка ни говорил, по его воле она не поступит.

— Великий князь решил: быть наместником Новгорода Михаилу Семёновичу Воронцову. Закончим на этом наши дела, устала я.

Михаил Львович был взбешён решением Елены.

— Один ты, Михаил Семёнович, был, на кого я мог опереться в думе, а теперь и тебя лишаюсь. Все против меня: Шуйские, Тучков, Шигона. Захарьин хоть и осторожничает, да тоже за ними следом идёт. На племянницу положиться нельзя, что ей бояре скажут, то она и делает. Может ли государство быть сильным при таком нестроении?

— Государству нужна твёрдая рука, — согласился Воронцов. Круглое лицо его казалось добродушным, но Михаил Львович знал, что за внешней покладистостью скрывается натура честолюбивая, тщеславная. Они быстро нашли общий язык. — И слепому ясно: государь мал, до вступления его в разум государством должен управлять муж многоопытный, искушённый в подобных делах. Только тебе, Михаил Львович, надлежит стать управителем государства. Елена Васильевна молода, ей власти не удержать. Думные бояре не в счёт. Ты ближний родственник государя, а они — никто. Ведь не кому иному, а тебе наказывал покойный Василий Иванович опекать юного великого князя.

— Верно ты молвил, Михаил Семёнович, только опоры у меня в думе нет.

— К чему тебе дума? Тот, кто попал в неё, своего достиг и изо всех сил пытается теперь сохранить за собой место.

Опора твоя не здесь, а среди родовитого боярства, не попавшего в ближнюю думу. Это прежде всего выходцы из Литвы, братья Бельские да старый боярин Иван Михайлович Воротынский. Если поискать, то и среди местных бояр немало можно найти сторонников. Взять хоть Ивана Васильевича Ляцкого из рода Кошкиных. Лишь по случаю рождения сына великий князь снял с него опалу, но я слышал, будто Иван по смерти Василия Ивановича сказал о нежелании служить его сыну — пелёночнику и предпочитает отъехать в Литву. Иван Ляцкий доводится двоюродным братом по отцу Михаилу Юрьевичу Захарьину. Пойдёт Ляцкий за тобой-глядишь и другие исконно русские бояре следом потянутся. В думе же тебя может поддержать мой человек — Гришка Путятин.

Воронцов говорил так, будто читал потаённые мысли Михаила Львовича. А сам думал: «Очень кстати великий князь посылает меня в Новгород. Глинский и без моей подсказки рано или поздно ринется бы добывать власть. Достигнет он своего или нет, один Бог ведает. Случись с ним беда, я, будучи в Новгороде, останусь в тени. Ну а утвердится он государем, быть мне при нём первым: вишь, как ему не хочется лишиться моего присутствия в Москве».

— Спасибо тебе, Михаил Семёнович, за добрые советы. Если свершится так, как мы с тобой задумали, быть тебе первым среди бояр. В случае чего я пришлю в Новгород весточку.

— Осторожным будь, Михаил Львович. Ворогов у нас ой как много! А пока прощай, пора мне домой, ночь скоро наступит.

Проводив Воронцова, Михаил Львович долго не мог успокоиться. Большого ума боярин! То, о чём он думал бессонными ночами, в чём сомневался, Воронцов выложил как не вызывающую сомнений истину.

Время было позднее, но Глинский знал, что не сможет сейчас уснуть. Ему хотелось продолжить начатый с Воронцовым разговор, но с кем? И он направился в покои княгини Анны.

— Рада видеть тебя, Михайло Львович. — Старуха приветливо улыбнулась гостю, отчего лицо её исказилось, сделалось ещё более неприглядным. Тёмные выпуклые глаза пытливо всматривались в него, словно она тщила прочесть потаённые мысли. Нечто неуловимое,

трудно выразимое словами делало их похожими друг на друга, хотя родство не было кровным: Михаил Львович доводился братом давно скончавшемуся мужу княгини Анны Василию — Нынче весь день кошка морду умывала, вот я и подумала: не иначе как быть гостю. Присаживайся, дорогой, сейчас я сулею заветную достану, вспомним, как в Литве жили, как молодость проводили. Жаль, что жизнь такая короткая. Я вот баб-зелейщиц всё пытаю: нет ли такой травки, которая молодость могла бы вернуть. Много чего интересного они мне порассказали. Одна уверяла, будто бы та трава в Индии растёт, там из неё настойку, называемую сомой, делают. А сказывал о той траве побывавший в Индии тверской купец Афонька Никитин. Другая баба говорила мне о золотых яблоках, растущих в дальней стране. В какой, она и сама не знает. От тех яблок человек не ведает самого плохого в жизни — болезней да старости. А вот гречанка одна твердила: вечную молодость дарует людям нектар, скрывающийся в цветках. Ты какое вино предпочитаешь?

— А что у тебя там есть?

— Романея, ренское, аликант, мушкатель...[154]

— Давай мушкатель, оно духовитее.

Анна поставила на стол сулею и два стеклянных бокала.

— Ты случайно не перепутала сулею-то? А то вместо вечной молодости вечный покой не приключился бы, — мрачно пошутил гость.

— Не бойся, дорогой, рано нам с тобой о покое думать. Пожить хочется! Ты вот в темнице десять лет маялся. Там, небось, соскучился по вольной-то жизни, потому и боишься, как бы чего не вышло.

Напоминание о пребывании в тюрьме было неприятно Михаилу Львовичу, и он перевёл разговор на другое.

— Ныне для нас, Глинских, настали благоприятные времена. Сможем ли мы стать полновластными правителями государства? Это от нас самих зависит. Все мои помыслы направлены на процветание нашего рода, и я весьма сожалею, что мне встречу идут свои же родственники.

— О ком это ты, Михаил Львович? — Лицо Анны выразило искреннее недоумение.

— О дочери твоей, Елене. Вместо того чтобы посоветоваться о любом деле со мной, своим родственником, она выслушивает врагов наших. И не только выслушивает, но и поступает по их воле, вопреки моим желаниям.

— Не может такого быть! Я всегда твержу ей, слушайся многоопытного Михаила Львовича, он худого тебе не присоветует. Почему я так говорю? Да потому, что знаю тебя и мужа своего Василия Львовича по Литве. В бытность Александра мы, Глинские, чуть ли не половиной княжества Литовского владели. Александр без тебя и шагу не смел ступить, о любом деле с тобой советовался. Потому и Елене надлежит слушаться тебя.

— Ныне в ближней думе рядили мы, кого послать в Новгород Великий наместником. Михайло Тучков предложил снарядить туда Михаила Семёновича Воронцова. А Воронцов, между прочим, мой ближний человек. Поэтому я не намеревался соглашаться с Тучковым. Не резон мне сидеть в ближней думе с одними врагами. Елена же, вопреки моим намерениям, велела Воронцову ехать в Новгород.

— Сдурела она, что ли? Да ты не кипятись, не распалай сердце обидой. Завтра же пойдём с тобой к Елене и объясним ей, что к чему, глядишь, она и распорядится по твоей воле, пошлёт

в Новгород другого наместника. Ты, дорогой, не сомневайся и на дочь мою с внуком зла не держи, не помеха они. Тебе лет немало, государь же совсем юн. Когда-то ещё он войдёт в разум. Вам с ним делить нечего ни сейчас, ни в будущем. Елене же надлежит содействовать тебе во всем да благодарить за помощь в управлении государством. Давай, Михаил Львович, выпьем за процветание рода нашего, — Слова Анны успокоили, а выпитое вино взбодрило гостя. — Один у тебя был враг — Юрий Дмитриевский, да ты быстро укротил его. Честь и хвала твоей твёрдой руке! Правда, остался ещё Андрей Старицкий...

— Что о нём говорить? — Михаил Львович презрительно скривился. — Не сегодня, так завтра уберётся, трепеща от страха, в свою Старицу и впредь не заявится в Москве!

— Слышала я, будто Андрей домогается расширения своего удела.

— Вот ему! — Глинский показал кукиш. — Если посмеет попросить об этом, то и имеющегося лишится!

— Золотые слова молвил. Содействовать усилению врагов не следует. Выпьем же за их погибель!

Тучков и Шигона вместе покинули великокняжеский дворец.

— Восхищаюсь тобой, Михайло Васильевич, ловко ты удумал разъединить Глинского с Воронцовым!

— Для этого много ума не надо. Обрадовало меня вот что: правительница наша осмелилась перечить жестокосердному родственнику. Ишь как он взъерепенился, когда его против шерсти погладили! Виню Михаила Львовича, ради власти способен он на всё: на измену, убийство, чародейство. Нелегко теперь придётся Елене. Надо бы нам помочь нам ей.

— Но как? Не стоять же нам на страже к её постели.

— Стары мы, Иван Юрьич, сторожить постель молодой бабы, — усмехнулся Тучков. — Для этой цели нам кого помоложе поискать придётся.

— Не понял я тебя, Михайло Васильевич.

— А чего тут непонятного? Елена хоть и великая княгиня, а баба, притом молодая, в любви малоискушённая. Ей такого любовника найти нужно, чтобы постоять за себя мог да и Елену с сыном защитил бы от происков Михаила Львовича. Я тут прикинул: уж не свести ли государыню нашу с Иваном Овчиной? Парень он из себя видный, до баб охотливый, сильный. К тому же из доброго рода: отец его, Фёдор Васильевич, верой и правдой служил Василию Ивановичу, склок боярских сторонился. Думается, и Иван такой же. Ищет он войны, чтобы свою храбрость да удаль показать. Ты, Иван Юрьич, с сестрой его, Аграфеной Челядниной, поговорил бы. Она при великом князе Иване мамкой состоит, в покоях Елены каждодневно бывает. Пусть намекнёт государыне, будто братец её по ней сохнет. А дальше и без нашей помощи всё пойдёт как по маслу.

Шигона некоторое время смотрел на Тучкова, потом расхохотался.

— Доброе дело ты удумал! У меня в связи с этим вот какая мысль явилась: чтобы Елена к Ивану быстрее расположилась, надо бы его повесить в чине.

— Согласен, Иван Юрьич, завтра же поговорим об этом с государыней. Пусть назначит его конюшим вместо отца. Фёдор-то Васильич стар стал. А пока прощай. — Тучков повернул в сторону своего подворья.

Михаил Васильевич в хорошем расположении духа вошёл в горницу сына. Василий стоял у окна и пристально рассматривал что-то на улице. За последнее время он стал задумчивым, немного рассеянным, не зачитывался ночами книгами. Отец заметил перемену и связал её с неустроенностью жизни: все одноклассники Василия уже поженились, один он холостым ходит. Надо бы и ему найти невесту добрую, да всё недосуг.

— Никак красавицу на улице увидел да и влюбился, глаз оторвать от неё не можешь. Женить тебя надо, чтобы на уличных девок не заглядывался. — Михаил Васильевич, добродушно улыбаясь, похлопал сына по плечу. — Что-то друга твоего, Ивана Овчину, я давненько не вижу. Уж не захворал ли?

— Здоров он, к нему никакая хворь не пристаёт.

— Дай-то Бог. Парень уж больно хорош, где ни покажется, всюду девки к нему так и льнут. Говорят, будто сама Елена Глинская с него глаз не сводит.

Василий укоризненно глянул на отца.

— Не до того ей сейчас, ведь сорочины ещё не миновали. Все видели, как убивалась она по покойному мужу.

— Поревела баба да и успокоилась. А заглядывалась она на Ивана ещё при Василии Ивановиче, сам видел. Так ты бы при случае сказал ему о том.

— Доброе ли дело, отец, сводить Ивана со вдовой? Ведь у него жена есть. Да и Елене, не справившей сорочин по мужу, пристало ли заводить любовника? Дети у неё. Как им-то она в глаза глянет? — Василий смотрел так укоризненно, осуждающе, что Михаил Васильевич смутился в душе.

«Всю жизнь ловчил я, изворачивался, кривдой никогда не пренебрегал ради успеха, а сын ничего такого не приемлет. Хорошо ли это? Кругом, куда ни глянь, воры, лгуны, убийцы. Легко ли ему, честному, придётся после моей смерти? Что честный, что юродивый — всё едино. Но почему так бывает: иной родитель в хитрости по уши погряз, а дети его — как хрусталь чистые. Взять хоть сына Ивана Шуйского Петьку. Родителю палец в рот не суй, прохиндей из прохиндеев, а мальчонка малейшей кривды не признаёт. На днях в драку полез, завидев, как парни кошку истязали, не побоялся, что их трое было, а он один. Наверно, оттого так случается, что хитрый человек, если он к тому же с царём в голове, всегда себя порядочным да честным выставить сможет. Вот и сейчас я скажу Василию нечто такое, с чем он обязательно согласится и вновь будет почитать меня за доброго человека. Но почему мне нужно, чтобы сын мой обо мне хорошо думал? Не лучше ли лепить его по своему образу и подобию? Нет, негоже так поступать! Каждый человек должен помнить не только о дне сегодняшнем, но и о дне последнем. Ради этого дня мы и учим детей добру».

Михаил Васильевич мягко прошёлся по горнице и, остановившись против сына, проникновенным голосом произнёс:

— Покойный государь Василий Иванович взял с нас клятву беречь его малолетнего сына Ивана. И я ту клятву преступать не намерен. Ныне государыне нашей Елене Васильевне и сыну её грозит великая беда. Исходит она от Михаила Львовича Глинского, о котором я тебе не раз рассказывал, так что ты хорошо представляешь себе, что это за человек. Сегодня впервые Елена Васильевна осмелилась идти встречу Михаилу Львовичу: согласившись со мной, она вознамерилась послать в Новгород наместником ближнего его человека Михаила Семёновича Воронцова. Глинский ушёл с думы разъярённым яко лев рыкающий. Ведомо тебе, как он поступил с Юрием Дмитровским. Едва тот осмелился поднять голову, как был

схвачен и заключён в темницу. А что, если нынешней ночью душегубец решится расправиться с Еленой и юным великим князем? Такой человек и задушить и отравить может. Как их спасти от гибели? Вот я и решил: пусть свершится грех малый ради избавления от тяжкого, ужасного греха! Целовал я крест покойному государю беречь его сына Ивана. Ради этого и хочу ввести Овчину в дом Глинских. Только он может стать между Михаилом Львовичем и Еленой, защитить её и великого князя от верной гибели. Понял ли ты меня?

— Понял, отец.

Михаил Васильевич пытливо заглянул в глаза сына.

— Согласен со мной?

— Согласен.

— Вот и хорошо. Сегодня же передай Ивану, что Елена Васильевна по нём вздыхает. Остальное — не наша с тобой забота.

Василий в знак согласия кивнул головой.

— Нынче Андрюха возвратился из Суздаля.

— Что там нового?

— Говорит, Соломония очень печалится о своём сыне. И Андрюха, вняв её слезам, просится отпустить его в Крым на поиски жены, которую он никак забыть не может, и сына Соломонии.

Михаил Васильевич надолго задумался. Ему не верилось, что Андрей сможет разыскать в татарщине свою жену. Но почему бы не попытать счастья?

— Если бы послужильцу удалось найти в Крыму сына Соломонии, это было бы очень кстати. Я уже говорил, что Михаил Львович может пойти на всё, вплоть до убийства малолетнего правителя. И если такое свершится, сын Соломонии помог бы нам противостоять похитителю власти. На днях в Крым отправляется посольство во главе с боярским сыном Илейкой Челищевым. Так я попрошу его, чтобы он прихватил с собой Андрея. Напишу ещё грамоту доброхоту московскому Аппак-мурзе, пусть поможет ему в Крыму. Ты же сведи послужильца с Митяем, юродивый обучит его своим хитростям, которые могут оказаться полезными в татарщине.

Глава 4

Свет декабрьского низкого солнца едва озаряет горницу, в которой мамка кормит миндальной кашей трёхлетнего Ваню. Весело потрескивают в печи дрова. Рудо-жёлтые отсветы пламени приплясывают по стенам. Дородной пышнотелой Аграфене жарко.

— Что ж ты так вяло ешь, мой родненький?

— Сказку расскажешь?

— Расскажу, мой хороший, только ешь поживее.

— Про Ивана-царевича?

— Можно и про него... В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три дочери и один сын, Иван-царевич. Царь состарился и помер, а вместо него стал Иван-царевич. Как узнали про то соседние цари, тотчас же собрали несметные полки и пошли на него войною. Иван-царевич растерялся, пошёл к своим сёстрам и спрашивает:

— Любезные мои сестрицы! Что мне делать? Все цари поднялись на меня войною.

— Ах ты, храбрый воин! Чего убоялся? Как же Белый Полянин воюет с Бабою Ягою золотою ногою, тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? А ты, ничего не видя, испугался!

Иван-царевич тотчас оседлал своего доброго коня, надел себя доспехи ратные, взял меч-кладенец, копьё долгомерное и плётку шёлковую, помолился Богу и выехал против ворогов; не столько мечом бьёт, сколько конём топчет; перебил всё воинство вражее, воротился в город, лёг спать и три дня спал беспробудным сном. На четвёртый день проснулся, вышел на гульбище, глянул в чистое поле — цари больше того полков собрали и опять под самые стены подступили. Опечалился царевич, пошёл к своим сёстрам:

— Ах, сестрицы! Что мне делать? Одну силу истребил, другая под городом стоит, пуще прежнего грозит.

— Какой же ты воин! День воевал да три без просыпа спал. Как же Белый Полянин воюет с Бабой Ягою золотою ногою, тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает?

Иван-царевич побежал в белокаменные конюшни, оседлал доброго коня богатырского, надел доспехи ратные, опоясал меч — кладенец, в одну руку взял копьё долгомерное, в другую плётку шёлковую, помолился Богу и выехал против ворогов: Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и серых утиц — нападает Иван-царевич на войско вражее; не столько сам бьёт, сколько конь его топчет. Побил рать-силу великую, воротился домой, лёг спать и спал непробудным сном шесть дней. На седьмой день проснулся, вышел на гульбище, глянул в чистое поле — цари больше того войск собрали и опять весь город обступили. Идёт Иван-царевич к сёстрам.

— Любезные мои сестрицы! Что мне делать? Две силы истребил, третья под стенами стоит, ещё пуще грозит.

— Ах ты, храбрый воин! Один день воевал да шесть без просыпа спал. Как же Белый Полянин воюет с Бабой Ягою золотою ногою, тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает?

Горько показалось то царевичу; побежал он в белокаменные конюшни, оседлал своего коня богатырского, надел на себя доспехи ратные, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копьё долгомерное, в другую плётку шёлковую, помолился Богу и выехал против ворогов. Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц- нападает Иван-царевич на войско вражее; не столько сам бьёт, сколько конь его топчет. Побил рать-силу великую, воротился домой, лёг спать и спал непробудным сном девять дней. На десятый день проснулся, призвал своих бояр.

— Верные мои бояре! Вздумал я в чужие страны ехать, на Белого Полянина посмотреть; прошу вас вместо меня судить и рядить, все дела по правде вершить.

Затем попрощался с сёстрами, сел на коня и поехал в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли — заехал он в тёмный лес; видит: избушка стоит, в той избушке стар человек живёт. Иван-царевич зашёл к нему.

— Здравствуй, дедушка!

— Здравствуй, русский царевич. Куда Бог несёт?

— Ищу Белого Полянина; не знаешь ли, где он?

— Сам я не ведаю, а вот подожди, соберу своих верных слуг и спрошу у них.

Старик вышел на крылечко, заиграл в серебряную трубу- и вдруг начали к нему со всех сторон птицы слетаться. Налетело их видимо-невидимо, чёрной тучею всё небо покрыли. Крикнул стар человек громким голосом, свистнул молодецким посвистом:

— Слуги мои верные, птицы перелётные! Не видали ль, не слышали ль чего про Белого Полянина?

— Нет, видом не видали, слыхом не слышали!

— Ну, Иван-царевич, — говорит стар человек, — ступай теперь к моему старшему брату; может, он тебе скажет. На, возьми клубочек, пусти перед собою; куда клубочек покатится, туда и коня направляй.

Иван-царевич сел на своего доброго коня, покатил клубочек и поехал вслед за ним; а лес всё темней да темней...

Аграфена на минуту замолчала, услышав, что в покои Елены кто-то вошёл. По голосам определила гостей: княгиня Анна и Михаил Львович.

— Что же дальше-то было?

Аграфена, прислушиваясь к звукам в соседней комнате, заговорила вполголоса:

— Приезжает царевич к избушке, входит в двери; в избушке старик сидит — седой как лунь.

— Здравствуй, дедушка!

— Здравствуй, русский царевич! Куда путь держишь?

— Ищу Белого Полянина; не знаешь ли, где он?

— А вот погоди, соберу своих верных слуг и спрошу у них.

Старик вышел на крылечко, заиграл в серебряную трубу-и вдруг собрались к нему со всех сторон разные звери. Крикнул им громким голосом, свистнул молодецким посвистом:

— Слуги мои верные, звери прыскучие! Не видали ль, не слышали ль чего про Белого Полянина?

— Нет, — отвечают звери, — видом не видали, слыхом не слышали.

— А ну рассчитайтесь промеж себя — может, не все пришли.

Звери рассчитались промеж себя — нет кривой волчицы. Старик послал искать; тотчас побежали гонцы и привели её.

— Сказывай, кривая волчица, не знаешь ли ты Белого Полянина?

— Как мне его не знать, коли я при нём завсегда живу; он войска побивает, а я трупами питаюсь.

— Где же он теперь?

— В чистом поле, на большом кургане, в шатре спит. Воевал он с Бабой Ягою золотою ногою, а после бою залёг на двенадцать дней спать.

— Проводи туда Ивана-царевича.

Волчица побежала, а вслед за нею поскакал царевич. Приезжает он к большому кургану, входит в шатёр — Белый Полянин крепким сном почивает. «Вот сёстры мои говорили, что Белый Полянин без роздыху воюет, а он на двенадцать дней спать залёг! Не соснуть ли и мне пока!» Подумал-подумал Иван-царевич и лёг с ним рядом. Тут прилетела в шатёр малая птичка, вьётся у самого изголовья и говорит таковые слова:

— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай смерти моего брата Ивана-царевича; не то встанет — сам тебя убьёт!

— Птичка-это сестра Ивана-царевича?

— Ну да, крошка.

— А почему она хочет, чтобы Белый Полянин убил её брата?

«Откуда мне знать, почему сёстры Ивана-царевича оказались такими вероломными! А может, в царских да великокняжеских семьях так заведено: кровного брата люто ненавидеть, желать ему самой жестокой гибели? Всем было ведомо о нелюбви Василия Ивановича к брату Юрию, но никто и подумать не мог, что Глинские обойдутся с ним так свирепо. А теперь вон и за Елену взялись...»

— Так ты всё же намерена послать Воронцова в Новгород? — доносится из соседней палаты визгливый голос княгини Анны. Аграфена представила на миг её пронзительный взгляд, крючковатый нос, поджатые губы и передёрнулась.

— Да, матушка. Великий князь изъявил свою волю и менять своё решение не намерен. Великий князь не может сегодня говорить одно, а завтра — другое.

— Что ты нам твердишь: «великий князь», «великий князь»! Не он, а ты вознамерилась послать Михаила Семёновича в Новгород по наущению наших недругов. Эдак, потакая им, ты, голубушка, можешь совсем власти лишиться. Я тебе неоднократно уже говорила: советуйся во всем с Михаилом Львовичем. Сам Александр, господарь литовский, делал свои дела только с согласия твоего дядюшки! А ты без его ведома назначаешь наместников.

— Довольно об этом, матушка. Михаила Львовича я почитала и дальше почитать буду. Надеюсь, что впредь разногласий у нас не возникнет.

— Так ты всё же не намерена отказываться от посылки нашего ближнего человека в Новгород?

— Довольно об этом, Анна, — проскрипел голос Михаила Львовича, — пусть Воронцов едет в Новгород. У нас и без того немало забот. С Юрием Дмитриевским мы быстро разделились благодаря усердию покойного Василия Ивановича, окружившего удельного князя видоками и послухами. Через них нам было известно об Юрии всё. А вот о князе Андрее нам ничего пока не ведомо.

— Василий Иванович всегда доверял своему младшему брату, поэтому не считал нужным содержать при нём видоков и послухов. — Казалось, Елена обрадовалась перемене разговора.

— Василию Ивановичу, может, и ни к чему было следить за старицким князем, а нам без этого нельзя. Надеюсь, в этом Елена согласна со мной?

— Согласна, Михаил Львович, но разве опасен для нас князь Андрей?

— Пока он нам не страшен, а дальше всяко может случиться. Как тухлое мясо неодолимо влечёт к себе мух, так и удельный князь манит к себе строптивых бояр. В этом и таится для нас опасность. Потому мы должны знать о старицком князе всё: что он мыслит, с кем встречается, с кем дружбу водит. И ежели вздумается ему чем-либо навредить нам, мы быстро отправим его вслед за Юрием в темницу.

«Что за злыдни! — думает Аграфена. — Не успели сорочин справить по Василию Ивановичу, как засадили Юрия за сторожи. А теперь и за Андрея принялись. Но в чём их вина? Предупреждали бояре князя Юрия, просили отъехать из Москвы в свой удел от греха подальше, да он замешкался. Вот и поплатился. Всем ведомо: князь Андрей трусоват, ему ли идти против юного великого князя? Так и его Глинские готовы живьём проглотить».

— Что же ты не рассказываешь мне сказку? — прервал её размышления Ваня.

— Иван-царевич вскочил, поймал птичку, оторвал ей правую ногу, выбросил за шатёр и опять лёг возле Белого Полянина. Не успел заснуть, как прилетает другая птичка, вьётся у изголовья и говорит:

— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти моего брата Ивана-царевича; не то встанет — сам тебя убьёт!

Иван-царевич вскочил, поймал птичку, оторвал ей правое крыло, выбросил из шатра и опять лёг на то же место. Вслед за тем прилетает третья птичка, вьётся у изголовья и говорит:

— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти брата моего Ивана-царевича, не то он встанет да тебя убьёт!

Иван-царевич вскочил, изловил ту птичку и оторвал ей клюв; птичку выбросил вон, а сам лёг и крепко заснул. Пришла пора, пробудился Белый Полянин, смотрит — рядом с ним незнамо какой богатырь лежит; схватил он острый меч и хотел было предать его злой смерти, да вовремя удержался. «Нет, — думает, — он наехал на меня сонного, а меча не захотел кровавить; не честь, не хвала и мне, доброму молодцу, загубить его! Сонный что мёртвый! Лучше разбужу его». Разбудил Ивана-царевича и спрашивает:

— Добрый ли, худой ли человек? Говори: как тебя по имени зовут и зачем сюда заехал?

— Зовут меня Иваном-царевичем, а приехал на тебя посмотреть, твоей силы попытать.

— Больно смел ты, царевич! Без спросу в шатёр вошёл, без разрешения выспался, можно тебя за то смерти предать!

— Эх, Белый Полянин! Не перескочил через ров, да хвастаешь; подожди — может, споткнёшься! У тебя две руки, да и меня мать не с одной родила.

Сели они на своих богатырских коней, съехались и ударились, да так сильно, что их копыта вдребезги разлетелись, а добрые кони на колени попадали. Иван-царевич вышиб из седла Белого Полянина и занёс над ним острый меч. Взмолился ему Белый Полянин:

— Не дай мне смерти, дай мне живота! Назовусь твоим меньшим братом, вместо отца почитать буду.

Иван-царевич взял его за руку, поднял с земли, поцеловал в уста и назвал своим меньшим братом.

— Слышал я, брат, что ты тридцать лет с Бабою Ягою золотою ногою воюешь; за что у вас

война?

— Есть у неё дочь-красавица, хочу добыть да жениться.

— Ну, — сказал царевич, — коли дружбу водить, так в беде помогать! Поедем воевать вместе.

Сели на коней, выехали в чистое поле; Баба Яга золотая нога выставила рать несметную. То не ясные соколы налетают на стаю голубиную — напускаются сильно могущие богатыри на войско вражее! Не столько мечами рубят, сколько конями топчут; прирубили, притоптали целые тысячи. Баба Яга наутёк бросилась, а Иван-царевич за ней вдогонку. Совсем было нагонять стал — как вдруг прибежала она к глубокой пропасти, подняла чугунную доску и скрылась под землёю. Иван-царевич и Белый Полянин накупили быков множество, начали их бить, кожи сымать да ремни резать, из тех ремней верёвку свили — да такую длинную, что один конец здесь, а другой на тот свет достанет. Говорит царевич Белому Полянину.

— Опускай меня скорей в пропасть, да назад верёвки не вытаскивай, а жди; как я за верёвку дёрну, тогда и тащи!

Белый Полянин опустил его в пропасть на самое дно. Иван-царевич осмотрелся кругом и пошёл искать Бабу Ягу. Шёл-шёл, смотрит — за решёткой портные сидят.

— Что вы делаете?

— А вот что, Иван-царевич: сидим да войско шьём для Бабы Яги.

— Как же вы шьёте?

— Известно как: что кольнёшь иглою, то и воин с копьём на лошадь садится, в строй становится и идёт войной на Белого Полянина.

— Эх, братцы! Скоро вы делаете, да некрепко; становитесь в ряд, я научу, как крепче шить.

Они тотчас выстроились в один ряд; а Иван-царевич как махнёт мечом, так и полетели головы. Побил портных и пошёл дальше. Шёл-шёл, смотрит — за решёткою сапожники сидят.

— Что вы тут делаете?

— Сидим да войско готовим для Бабы Яги золотой ноги.

— Как же вы, братцы, войско готовите?

— А вот так: что шилом кольнём, то и воин с мечом, на коня садится, в строй становится и идёт войной на Белого Полянина.

— Эй, ребята! Скоро вы делаете, да не споро. Становитесь-ка в ряд, я вас получше научу.

Вот они стали в ряд; Иван-царевич махнул мечом, и полетели головы. Побил сапожников — и опять в дорогу. Долго ли, коротко ли — добрался он до большого прекрасного города; в том городе царские терема выстроены, в тех теремах сидит девица красоты неописанной. Увидала она в окно доброго молодца; полюбились ей кудри чёрные, очи соколиные, брови соболиные, ухватки богатырские; зазвала к себе царевича, расспросила, куда и зачем идёт. Он ей сказал, что ищет Бабу Ягу золотую ногу.

— Ах, Иван-царевич, ведь я её дочь; она теперь спит непробудным сном, залегла отдыхать на двенадцать дней.

Вывела его из города и показала дорогу. Иван-царевич пошёл к Бабе Яге золотой ногой, застал её сонную, ударил мечом и отрубил ей голову. Голова покатила и промолвила:

— Бей ещё, Иван-царевич!

— Богатырский удар и один хорош! — отвечал царевич, воротился в терема к красной девице, сел с нею за столы дубовые, за скатерти браные. Наелся-напился и стал её спрашивать:

— Есть ли на свете сильнее меня и краше тебя?

— Ах, Иван-царевич! Что я за красавица! Вот как за тридевять земель, в тридесятом царстве живёт у царя-змея королевна, так та подлинно красота несказанная: она только ноги помыла, а я тою водою умылась!

Аграфена прислушалась. Разговор в покоях Елены вновь обострился.

— А ты и по другим делам не соизволишь советоваться со своими родственниками! Посольские дела вершат Тучков с Захарьиным, а не мы, Глинские! — Голос Михаила Львовича утратил привычную скрипучесть, стал визгливым, как у княгини Анны.

Аграфене вдруг представилось, будто в облике княгини Анны явилась во дворец сама Баба Яга, а Михаилу Львовичу уподобился Змей Горыныч. Разинув пасти, стоят они против Елены, готовые пожрать её в любой миг.

«Ой, нелегко государыне с такими родичами! Надо бы помочь ей, но как?»

Аграфена засуетилась, подхватила Ваню на руки, прикоснулась к его лобку своей жаркой ладонью.

— Пойдём-ка мы к нашей матушке.

— Да ты же сказку не досказала!

— Потом, мой миленький, доскажу, не до того сейчас.

Шумно распахнув дверь в покои Елены, Аграфена растерянно остановилась, как будто не ожидала увидеть посторонних людей.

— Вы уж простите меня за помеху вашему разговору, дело моё не терпит отлагательства. Мнится мне, государыня, великий князь захворал, кушал плохо и лобик как огонь горячий. Тревожусь я, беда не приключилась бы.

Елена заторопилась к сыну.

— И впрямь головка как огонь горит. Михаил Львович, ты бы прислал к великому князю лекаря Николая Булева. Пусть посмотрит его.

Михаил Львович кивнул головой и вышел из палаты. Следом за ним, ковыляя, удалилась и княгиня Анна. Аграфене показалось, будто Елена облегчённо вздохнула.

— Ты бы, государыня, не особенно доверяла этим заморским лекарям. Немчин — он и есть немчин. Не навредил бы чем великому князю.

— Николая Булева я давно знаю, добрый он лекарь. На худое дело не подвигнется.

«Не лекаря страшится, а дядюшки своего», — отметила кормилица.

— Устала я, Аграфена, скорей бы уж сын мой подрос да взял власть в свои руки. Не женское это дело управлять государством. Обо всем нужно думать, а помощи ни от кого нет.

— Что и говорить, трудная доля выпала тебе, государыня, ой трудная! В таком превеликом деле следует обязательно обзавестись надёжными помощниками, бескорыстными и верными.

— Где ж их сыскать, бескорыстных да верных? Ныне каждый норовит урвать кус пожирнее, каждый тянет в свою сторону.

И тут Аграфене неожиданно вспомнилась беседа с Иваном Юрьевичем Шигоной, случившаяся сегодня утром. Криво усмехнувшись, дворецкий как бы в шутку сказал, что её брат по своей стати достоин любви великой княгини. Она промолчала. Не хватало ещё, чтобы при живой-то жене Иван начал волочиться за вдовой. Тогда Шигона добавил, будто давно подметил неравнодушие Елены к Ивану Овчине. Подумалось Аграфене: не пристало мужику сплетни городить, лживые вести разносить. Уж коли б Елена в самом деле втюрилась в Ивана, она давно бы подметила это. С тем и разминулись они с Шигоной. Сейчас же Аграфене помнилось: неспроста Иван Юрьевич затеял этот разговор.

— А ты не печалься, государыня. Отыскать верных людей можно. Есть такие, которые тело своё на раздробление готовы отдать ради тебя и сыновей твоих.

— Не вижу я таких, Аграфена.

— А они мне ведомы. Взять хоть брата моего, Ивана. Последние дни ходит он сам не свой. Спрашиваю его: что это с тобой приключилось? А он отвечает: сердце всё изболелось, на великую княгиню гляючи, трудно ей одной, горемычной.

Елена пристально посмотрела в глаза Аграфены.

«О брате своём печётся, хочет, чтобы возвысила я его, — равнодушно подумала она. — Правду я сказывала: каждый тянет в свою сторону. Наверняка ничего такого Иван не говорил, сама всё придумала».

— Только я так мыслю, — продолжала мамка, — не одна жалость гнездится в его сердце. Души он в тебе, государыня, не чаёт. Днём и ночью думает о тебе...

— Что ты бормочешь, грешница? У Ивана Богом данная жена есть. Ишь что удумала!

— Да что это за жена, которая мужа своего к себе не подпускает?

Елена хотела было немедленно услать прочь Аграфену, но что-то неведомое шелохнулось в душе и остановило её порыв. Она отчётливо представила вдруг Ивана Овчину, рослого, улыбчивого, полного жизненных сил. Покойный муж почему-то всегда отличал его, приближал к себе. Муж и Иван Овчина... Елена мысленно поставила их рядом. Когда-то она поклялась любить Василия Ивановича до гробовой доски. И он в ней души не чаял. Чего стоило ему обрить ради неё свою бороду! Уж что только не говорили злые языки по этому поводу. Брат Михаил, передразнивая некоего попа, увиденного им на Пожаре, говорил так:

— Смотрите — вот икона страшного пришествия Христа: все праведники одесную Христа стоят с бородами, а ошую бусурмане и еретики, бритые, с одними только усами, как у котов и псов. Один козёл сам себя лишил жизни, когда ему в поругание отрезали бороду. Вот неразумное животное умеет свои волосы беречь, оно куда лучше безумных брадобреев!

Но любила ли Елена его на самом деле? Вряд ли. Одно знала точно: когда муж был на смертном одре, она... люто возненавидела его. Подумать только: за всё время болезни он ни разу не призвал её к себе, все дела, касающиеся передачи власти, решал с ближайшими

людьми без её ведома и совета. Возможно, Василий Иванович полагал, что не бабье дело — управлять государством, а может, считал её слишком юной для государственных дел, недостаточно благоразумной, неопытной в житейских делах. Елена рвалась к умирающему мужу, но бояре твёрдо противились её желанию, утверждая, будто великий князь болен опасно и, если надумает, сам позовёт её. Когда же наконец князь Андрей Иванович и боярин Иван Юрьевич Челяднин явились за ней, она, хотя и была очень плоха, тем не менее не запаматовала спросить мужа о главном:

— Государь, князь великий! На кого меня оставляешь, кому детей приказываешь?

Василий Иванович ответил спокойно и твёрдо:

— Благословил я сына своего Ивана государством и великим княжением, а тебе написал в духовной грамоте, как писалось в древних грамотах отцов наших и прародителей, как следует, как прежним великим княгиням шло.

И в этом спокойствии, чёткости ответа таилась для неё безысходность: судьба жены была безоговорочно и окончательно решена Василием Ивановичем. Он отдавал всю власть малолетнему сыну, а точнее ближним боярам, приставленным опекать Ивана до пятнадцатилетнего возраста, а ей, молодой женщине — «как прежним княгиням шло»: жалкий вдовый удел до скончания дней своих. Так испокон веку повелось среди потомков Калиты, и Василий Иванович не захотел менять установленных порядков. Вот тогда-то Елена и возненавидела своего многодумного супруга, который за всю их совместную жизнь ни разу не посоветовался с ней о своих делах. Она безутешно рыдала, кусала до крови губы, билась в руках державших её бояр. А они-то по наивности думали, будто Елена по муженьку своему убивалась.

Совершенно иные чувства испытала она, когда мысленно представила рядом с Василием Ивановичем Ивана Овчину. В воспоминаниях о молодом воеводе, туманных и неярких, было нечто приятное, притягательное.

«Прости, Господи, грешные мысли мои. Не иначе как лукавый явился в образе Аграфены и искушает меня!»

Но не было сил избавиться от наваждения.

— Выбрось из головы грешные мысли, — строго приказала Елена, — мне нужны не греховодники, а помощники.

— Так и я о том же, — смутилась Аграфена, — лучше Ивана никто тебе, государыня, не услужит.

— Хочу испытать его. Передай ему, пусть явится сегодня к вечеру в мои покои. А пока ступай.

Морозный декабрьский вечер спустился на московские улицы. На потемневшем пологие неба, словно веснушки, проступили яркие звёзды. А когда луна выкатилась на небосклон, стали отчётливо видны дымы, взвившиеся над боярскими хоромами и убогими избёнками. Казалось, будто каждая изба украсила себя в этот вечер пышным песцовым хвостом.

В горнице Елены тепло и уютно. Мягкие турецкие ковры приглушают все звуки: потрескивание свечей, скрип разворачиваемых грамот, принесённых по её просьбе дьяком Фёдором Мишуриным. Правительница пытается сосредоточиться, но что-то всё время мешает ей вникнуть в суть изложенного в грамотах. Взяв в руки зеркало, она долго всматривается в своё

отражение: большие блестящие глаза, правильные очертания носа и губ, красивый изгиб шеи, пышные волосы, прикрытые чёрным платком.

«Грех-то, какой! Мужа своего только что схоронила, а уж за зеркало взялась».

Елена торопливо спрятала зеркало, отодвинула подальше грамоты и извлекла из ларца письма мужа, написанные в разные годы. Никогда раньше она не вчитывалась в них внимательно, всё недосуг было.

«От великого князя Василья Ивановича всея Руси жене моей Елене. Я здесь, дал Бог, милостию Божией и Пречистыя Его Матери и Николы Чудотворца, жив до Божьей воли; здоров совсем, не болит у меня, дал Бог, ничто. А ты бы ко мне и вперёд о своём здоровье отписывала, как тебя там Бог милует, чтоб мне про тебя было ведомо. А теперь я послал к митрополиту да и к тебе Юшка Шеина, а с ним послал к тебе образ — Преображение Господа нашего Иисуса Христа; да послал к тебе в этой грамоте запись свою руку; и ты б эту запись прочла да держала её у себя. А я, если даст Бог, сам, как мне Бог поможет, непременно к Крещенью буду на Москву. Писал у меня эту грамоту дьяк мой Труфанец, а запечатал я её своим перстнем».

О чём же писал Василий Иванович в собственноручной записи? Елена никак не могла припомнить. Поискала записку среди мужниных грамот — нигде её не было. Взяла в руки другое письмо великого князя. Его она получила в ответ на своё письмо о том, что у маленького Вани на шее появился веред [155]. Как это взволновало его!

«Ты мне прежде зачем не писала? И ты б ко мне теперь отписала, как Ивана Бог милует, и что у него такое на шее явилось, и каким образом явилось, и как давно, и как теперь. Да поговори с княгинями и боярынями, что это такое у Ивана сына явилось и бывает ли это у детей малых? О всем бы об этом ты с боярынями поговорила и их выпросила да ко мне отписала подлинно, чтоб мне всё знать. Да и вперёд чего ждать, что они придумают, — и об этом дай мне знать; и как ныне тебя Бог милует и сына Ивана как Бог милует, обо всем отпиши».

Когда Елена написала мужу, что веред прорвался, он опять сильно обеспокоился:

«И ты б ко мне отписала, теперь что идёт у сына Ивана из больного места или ничего не идёт? И каково у него это больное место, поопало или ещё не опало, и каково теперь? Да и о том ко мне отпиши, как тебя Бог милует и как Бог милует сына Ивана. Да побаливает ли у тебя полголовы и ухо, и сторона, и как тебя ныне Бог милует? Обо всем этом напиши мне подлинно».

А это письмо получено незадолго до смерти мужа в ответ на её письмо с уведомлением о болезни второго сына Юрия:

«Ты б и вперёд о своём здоровье и о здоровье сына Ивана без вести меня не держала и о Юрье сыне ко мне подробно отписывала, как его станет вперёд Бог миловать».

В дверь втиснулось дородное тело Аграфены Челядниной.

— Государыня, братец мой челом бьёт!

— Пусть войдёт, — неестественно спокойным голосом промолвила Елена, торопливо пряча в ларец письма покойного мужа.

Дверь распахнулась. Иван Овчина, раскрасневшийся на морозе, вошёл в горницу и почтительно склонился перед великой княгиней.

— Сказывала мне Аграфена, что ты имеешь намерение помочь малолетнему великому князю

в это трудное для него время.

— Всей правдой служил я Василию Ивановичу и теперь столь же верно готов служить сыну его и тебе, государыня.

— Спасибо на добром слове. Мало у нас верных людей, твёрдо стоящих за устройство земли Русской, но много таких, которые лишь о своём благе пекутся, норовят власть у юного государя похитить. Не успели предать земле тело Василия Ивановича, а уж брат его, Юрий, отрёкся от своих клятв, вознамерился лишить власти племянника. Готов ли ты вступить в единоборство с нашими недругами?

— Готов, государыня! Тело своё на раздробление дам, лишь бы великого князя дело торжествовало.

— Хотела бы я знать, — понизила голос Елена, — не замышляет ли чего худого против нас Андрей Старицкий.

Иван замешкался с ответом. Одно дело встретиться с недругами Руси в открытом бою и совсем иное — заниматься слежкой за родственниками великого князя.

— Покойный муж бдительно следил за братьями через надёжных видоков и послухов. И лишь в Андрее он никогда не сомневался, поэтому и не держал возле него своих людей.

Иван тряхнул кудрями, весело глянул в глаза Елены.

— Василий Иванович был спокоен, и тебе не нужно тревожиться, государыня. Андрей Старицкий не тот человек, которого следует опасаться.

Елена внимательно взгляделась в чистое мужественное лицо воеводы. Его уверенность передалась ей. Впервые за много дней она почувствовала себя спокойнее, сильнее.

— Василий Иванович мог не опасаться Андрея. Иное дело мы, Глинские...

— А почему он должен быть против Глинских?

— Видишь ли, Андрей, ссылаясь на волю Василия Ивановича, требует от нас расширения его удела.

— Если на то действительно была воля покойного, следует расширить его удел.

Елена недовольно скривилась.

— Ныне многие, пользуясь малолетством великого князя, требуют увеличения своих владений. Если я соглашусь с их притязаниями, это не только не утолит, но, напротив, разожжёт аппетит у вымогателей. Так что когда мой сын станет полновластным хозяином государства, управлять ему будет нечем. Могу ли я допустить такое?

Елена говорила искренно, глаза её горели, лицо слегка зарумянилось. Впервые Иван осознал, насколько она красива. Конечно, он и раньше отдавал должное очарованию Елены, но красота её казалась далёкой, недоступной для него. Сейчас же перед ним стояла хрупкая, слабая женщина, нуждающаяся в его покровительстве и защите. Воевода опустил на одно колено и взволнованным голосом произнёс:

— Клянусь, что до самого своего последнего дня буду верно служить тебе, государыня, и, если потребуется, отдам всю кровь без остатка ради твоего спокойствия, ради твоей славы!

Проникновенно произнесённые слова взволновали Елену, и она, пытаясь скрыть охватившие

её чувства, слегка прикрыла глаза, поправила локоны, отчего на мгновение стал виден прекрасный изгиб её матово-белой шеи.

«Господи, до чего же она хороша! Ещё мгновение — и я умру возле её ног от желания обладать этой красотой».

— Любила ли ты, государыня, Василия Ивановича? — неожиданно для себя спросил Иван Овчина.

Елена пристально глянула в его глаза и, казалось, поняла причину, побудившую задать этот нелепый вопрос.

— Не следовало бы тебе спрашивать о том, но я отвечу. Первоначально мне казалось, что я люблю Василия Ивановича. Как и многие другие, вступающие в брак, я уверила себя в большом чувстве к будущему супругу. Однако это не было любовью.

— И ты никого больше не любила?

— Да как же можно при живом муже, великом князе, кого-то любить?

— Прости, государыня, что задаю глупые вопросы. Не мне спрашивать о том. Но я... Я ревную тебя к твоему покойному мужу и даже к тому, кого могла бы ты полюбить.

— Ты говоришь о ревности. Но ведь ревнуют, когда любят.

— А разве я не сказал ещё, что люблю тебя так, как никого никогда не любил?

Елена ничего не ответила ему, лишь слегка покачала головой. Тонкие ноздри её дрогнули, щёки зарделись румянцем.

Глава 5

Андрей вошёл в дом Аникиных и остановился в дверях, удивлённый отсутствием хозяев. За столом с важным видом восседал Якимка, деловито уписывавший кус хлеба с молоком.

— Кто там, Якимушка, явился? — донёсся с печи голос Петра. Старик с осени маялся болями в пояснице и с печи почти не слезал.

— Дядя Андрей, деда. — Голос у Якимки зычный, басовитый, в отца.

— Здравствуй, Андреюшка, что ж ты у дверей встал, проходи в избу да садись за стол, сейчас мать придёт со двора.

Тотчас же в дверях показалась Авдотья с подойником в руках.

— Прходи, проходи, Андреюшка, давненько у нас не бывал.

— Афоня-то где? Повстречал я его вчера на улице, так он просил наведаться, дело, говорит, есть.

— Зятёк наш скоро явится. Пошли они с Ульяшей к бабке-повитухе, понесли ей бабью кашу. Ульяша-то от бремени вот-вот должна разрешиться. А нынче день апокрифической бабы Соломеи [156], так что по обычаю положено баб-повитух чествовать.

Андрей огляделся по сторонам и подивился убогости жилища. Никогда прежде не замечал он в доме Аникиных такой бедности. Казалось, Авдотья поняла его взгляд.

— Убого мы живём, Андреюшка, убого. Год-то вон какой тяжёлый выдался, летом от жары погорели и хлеб и овощи, потому на торгу всё страшно вздорожало, ни к чему не подступишь. К тому же, на беду нашу, Пётр расхворался. Руки-то у него золотые, уж такие, бывало, сапоги сошьёт, одно загляденье. Все щёголи московские к нему шли с заказами. А ноне какой он работник? Лежит на печи да охает, сил нет подняться. К тому же и народ прибеднился, не до лепотных сапог стало, в чём попало ходят, лишь бы сыту быть. От Ульяши-то затяжелевшей да от меня старой какая помощь? Весь дом на Афонюшке только и держится. А он хоть и двужильный и к любому делу способен, да разве одному за всем поспеть? Взятся освоить дело Петра и, надо сказать, преуспел в этом. Только ведь не сразу умельца-то признают. Придёт времечко, и его, как и Петра, почитать будут. А пока приходится в бедности прозябать.

— Полно тебе, мать, плакаться! Ты-то, Андреюшка, как поживаешь? Не женился ещё?

— Не привелось.

— Что ты, старый, пристал к нему со своей женитьбой? Обзавестись новой женой недолго. А вдруг старая объявится?

Пётр тяжело вздохнул.

— Сколько тебе лет-то, Андреюшка?

— Двадцать шесть.

— В эту пору самое время детей нянчить. Неприятный для Андрея разговор прервался приходом Афони и Ульяны. Увидев гостя, Ульяна смутилась.

— Эк ты раздобрела, Ульяна!

Авдотья ласково погладила дочь по плечу.

— Бабы бают: неспроста это, двойню должна принести!

— Почто звал меня, Афоня?

— Дело есть. Пообедаем да и пойдём.

— Куда?

— К воеводе Ивану Овчине. Он и скажет нам, что нужно делать.

Сели за стол. Авдотья подала белёные щи [157] да пареную репу. Пётр с печи не слезал, но внимательно прислушивался к тому, что говорилось за столом.

— Афонюшка, зачем это вы потребовались воеводе?

— Сам не знаю пока, отец.

— Не приведи Господи в поход куда идти. Пропадём мы без тебя.

— Насчёт похода слухов никаких не было.

— В нынешние времена в любой день враг нагрнуть может. Великий-то князь мал, с ним и до беды недалеко.

— А думные-то бояре на что? Захарьин, Тучков, Шигона, братья Шуйские... Все они и при Василии Ивановиче в думе были.

— Ты, Андреюшка, на бояр-то больно не надейся. Всегда и во всем они блюдут прежде всего свой интерес, а не государственный. Им при юном-то великом князе ой как вольготно! А вот простому люду боярская вольница боком выйдет, обдерут дочиста, как тати. Сказывали старики про былые времена, когда удельные князья да бояре в силе были: грызлись они меж собой, а Русь вороги терзали. И ныне бы так не стало, вот чего боязно.

— Так ведь не одни бояре правят Русью. Великая-то княгиня на что?

— Баба, она и есть баба. Что с неё спросишь?

— От этой бабы всего ожидать можно. Эвон как быстро она разделалась с Юрием Дмитриевским! — Афоня отложил в сторону ложку.

— В народе слух бродит, будто зло это родич княгини Михайло Глинский сотворил. Он, вишь, злодей из злодеев. Баят, якобы он лихим зельем Василия Ивановича свёл в могилу... Со своими-то родичами Глинские ловки воевать. Посмотрим, как они крымцам да литовцам противостоят станут.

— О том, отец, один Господь Бог ведает. Пора нам идти, Андрей.

Похоронив брата, Андрей Иванович решил задержаться в Москве до сорочин Василия Ивановича. Поминки в доме удельного князя превратились в ежедневные попойки с участием как собственных бояр и детей боярских Старицкого уезда, так и московских гостей. Вина не жалели: удельному князю хотелось предстать пред московским боярством богатым и тороватым.

Княжеский шут Гаврила Воеводич, звеня бубенчиками, нашитыми на тёмно-зелёный рогатый колпак, вышел по нужде во двор. В голове шумело от выпитого вина, руки и ноги побаливали: хлеб шута не из лёгких, за день пришлось немало покувыркаться и покривляться на потеху пьяных бояр. Завернув за угол дома, карлик увидел двух молодцев, которых первоначально принял за гостей Андрея Старицкого.

— А вот и я... — тоненьким голоском пропищал Гаврила и осёкся. Тяжёлая рука зажала его рот, от запихнутой тряпицы стало трудно дышать. Тот, что стоял за спиной усатого мужика, накинул на карлика мешок и взгромоздил его на спину товарища.

«Куда это они меня поволокли? — со страхом подумал Гаврила. — Хоть бы живота [158] тати не лишили».

Шута освободили в пустом мрачном сарае. В свете витеня Гаврила увидел сидевшего на чурбане рослого, нарядно одетого человека, в котором не сразу признал воеводу Ивана-Овчину. Карлик подпрыгнул, перекувырнулся и запел тонким голоском:

Ещё где же это видано,

Ещё где же это слыхано,

Чтобы курочка бычка родила,

Поросёночек яичко снёс...

- Довольно кривляться, Гаврила, — остановил его Иван.
- Шут я, а с шута какой спрос?
- Мы и с шутлом шутить не станем. Говори правду: намеревается ли твой хозяин отнять власть у великого князя Ивана Васильевича?
- Нет, нет и нет!
- Правду ли молвил?
- Истинную правду. Только ведь среди бояр немало таких, которые готовы поднять Андрея Ивановича на великого князя. Они чуть не каждый день твердят ему, будто великий князь мал, а потому он должен стать государем всея Руси.
- Кто же из бояр поднимает Андрея Ивановича на великого князя?
- Да взять хоть князя Ивана Семёновича Ярославского. То же самое говорят многие бояре и дети боярские Старицкого уезда.
- Ну а что Андрей Иванович?
- Ничего. Молчит да улыбается.
- Выходит, он согласен с врагами государя?
- Слышал я разговор Андрея Ивановича с ближним человеком Фёдором Пронским. И сказал ему князь: я крест целовал Василию Ивановичу государства под великим князем не хотеть и клятву свою преступать не намерен.
- Ну а ежели Андрей Иванович послушается всё же своих советчиков?
- Откуда мне знать, что думает старицкий князь? Я говорю о том, что довелось услышать.
- Я, Гаврила, верой и правдой служу великой княгине и сыну её великому князю Ивану Васильевичу. Ежели хоть одна душа проведаёт о нашей с тобой беседе, живому тебе не быть. Запомни это. Согласен ли ты помогать мне?
- Согласен, воевода.
- Отныне ты должен внимательно прислушиваться к тому, о чём говорят вокруг старицкого князя. Коли услышишь худое слово о великой княгине или сыне её, передай мне самолично или через погребного ключника Волка Ушакова. Ну а не будет рядом Волка, скажи об услышанном князю Василию Фёдоровичу Голубому-Ростовскому.
- Лицо карлика мгновение выражало удивление: эвон сколько вокруг его господина соглядатаев, но тут же приняло прежнее выражение.
- А гривну [159] дашь?
- В том не сомневайся, награда тебя не минует. Карлик радостно подпрыгнул и, приплясывая, залепетал:
- Я посеял конопель, а выросли раки, расцвели вороны...
- Ступай, Гаврила, но крепко помни наш уговор. Шут тотчас же исчез из сарая. Иван долго

сидел молча, брезгливо скривившись. Афоня с Андреем почтительно стояли рядом.

— Хорошо, Афоня, ворога на поле брани разить, плохо в дерьме копаться.

— Вороги, воевода, всякие бывают, не только на поле брани.

— Не по мне это дело — в великокняжеской семье ворогов выискивать. Скорей бы уж лето настало, отправился бы я на береговую службу. Помнишь, как под Переяславлем-Рязанским от, татар уходили?

— Помню, воевода.

— Ловко ты снял тогда стражу. За то обещал я тебя наградить. Настало время исполнить обещанное. Держи! — Иван Овчина протянул Афоне кошелек с деньгами.

— Премного благодарен, воевода. Никак не думал, что упомнишь ты о данном обещании. Сам я не шибко верил тогда, что спасёмся. Подумал в тот миг: живыми уйдём от татар — и то хорошо будет.

— В ратном деле всяко может случиться. Кого это ты взял себе в помощники?

— Друга своего Андрея Попонкина.

— Знаю его, тучковский послужилец он.

— Дивлюсь твоей памяти, воевода.

— Ничего дивного в том нет: хозяин его Василий Тучков — мой ближний друг. При нём не раз видел я Андрея. Ты, Андрей, о нашем деле никому не рассказывай.

— Афоня упреждал меня о том.

— За него поручиться готов, воевода. К тому же Андрей намеревается вскоре отправиться в Крым.

— Зачем?

— Жену его крымцы в полон угнали, так он вознамерился разыскать её. Мы его отговаривали от этого дела, а он на своём стоит.

Воевода с любопытством уставился на Андрея.

— Хороша была жёнушка?

— Хороша.

— Вот видишь, Афоня, что любовь с человеком делает: иной ради неё готов голову сложить, другой в дерьме копаться согласен. Как же ты, Андрей в орду намерен пробраться?

— Тучковы обещали отправить меня вместе с послом Ильёй Челищевым.

— Хорошо удумали. Желаю удачи в твоём нелёгком деле. Возьми на счастье этот перстень — может, сгодится когда.

Поздним вечером Андрей вошёл в горницу Василия Тучкова. С мороза здесь показалось особенно тепло и уютно. Трепетное пламя десятка свечей озаряло лежавшие на столе

рукописи. Василий, увидев послужильца, поднялся из-за стола.

— Куда это ты запропастился?

— У друга своего Афони был.

— А мы тебя давненько поджидаем. Вчера говорил я с отцом о твоём намерении отправиться в Крым на поиски своей жены и сына Соломонии Георгия, и отец, одоббив твоё намерение, обещал всячески содействовать его осуществлению. Не раздумал ли ты, однако?

— Не только не раздумал, но и укрепился в своём намерении.

— Рад тому. Как я тебе уже говорил, в скором времени в Крым отправляется посольство с известием о восшествии на престол Ивана Васильевича. Поведёт то посольство боярский сын Илья Челищев. Отец переговорил с ним, и он согласился взять тебя с собой. Вместе с посольскими людьми ты беспрепятственно достигнешь Крыма. В Крыму обратишься к московскому доброхоту Аппак-мурзе. Отец давно с ним в дружбе, поэтому написал для него вот эту грамоту. Передавая грамоту Аппак-мурзе, попроси его оказать помощь в отыскании жены.

Андрей с жадностью ловил каждое слово княжича. Вера в успех задуманного дела укрепилась в его душе. Ему уже хотелось как можно быстрее отправиться в Крым.

— Пока посольство готовится в путь, ты должен научиться понимать татарскую речь. И ещё одно ты должен усвоить, чтобы быть в безопасности в окружении татар... — Василий повёл Андрея в соседнюю комнату.

О существовании этой горницы, лишённой окон, знал отнюдь не каждый обитатель тучковского дома. В ней происходили тайные встречи с нужными людьми, принимались важные решения, известные лишь очень немногим. Впервые оказавшись в потайной комнате, Андрей, прежде всего, обратил внимание на человека, показавшегося ему знакомым. Тот сидел на лавке, но, когда дверь открылась, тотчас же поднялся и поклонился вошедшим. Присмотревшись, послужилец признал в нём юродивого Митяя. Тот двинулся им навстречу как-то неуверенно, постукивая по полу тонким звонким посохом, словно слепец. Андрей глянул в глаза юродивого и отшатнулся: в широких глазницах он увидел матово-белые бельма, изрезанные красноватыми жилками. Приблизившись к вошедшим, слепец ухватил Андрея за ухо и стал быстро ощупывать его, как будто пытался узнать гостя.

— Что это с ним? — тихо спросил Андрей княжича. Тот загадочно улыбнулся.

— Слеп я, Андреюшка, — заговорил юродивый, — так решил поводырём тебя нанять. Будешь мне служить?

Андрей растерянно молчал.

«Выходит, мы вместе с Митей-юродивым должны идти в Крым?»

— Что же ты молчишь? Али не ведаешь, что слепому поводырь нужен? Не хочешь? Эх ты! Лишь один Бог мне поможет. Помолюсь Богу, авось прозрею.

Митяй размахисто перекрестился и... свершилось «чудо»: дикие глаза юродивого насмешливо уставились на Андрея. Тот рукавом смахнул пот со лба.

— Ловок ты, паря, водить людей за нос.

— Я и не то могу, — задорно ответил юродивый.

— Сам видел, как ты исчез из-под носа слуг Василия Ивановича во время его свадьбы.

Митяй на глазах преобразился: сжался, согнулся, сморщил лицо, в один миг превратился в дряхлого старика. Скрюченным пальцем ткнул в потолок горницы и восторженным голосом залепетал:

— Гля-кость, вознёсся наш Митяюшка в виде во-о-н того облачка!

Андрей и Василий хохотали до слёз.

— Ты, Митяй, — обратился к юродивому княжич, — обучи всему этому Андрюху. Он собрался идти в татарщину на поиски своей любимой супруги. Там всё это наверняка ему пригодится.

— Что и говорить, трудно придётся ему в татарщине. Так я, как могу, удружу.

На следующий день в покоях Елены собрались ближние бояре для обсуждения государственных дел. Когда все вопросы были решены и великая княгиня намеревалась уже отпустить бояр, с места поднялся Михайло Тучков.

— Великая государыня, — почтительно обратился он к Елене, — не раз говорилось ныне, да и раньше тоже, что трудные испытания ждут нас из-за юных лет великого князя. Всемерно должны мы заботиться об укреплении нашего воинства, чтобы успешно противостоять многочисленным врагам. Между тем не всё у нас здесь ладно. Фёдор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский славный был воин, крепко стоял он за дело великого князя Василия Ивановича. Да ныне, как это ни прискорбно, стар стал. Потому предлагаю ввести в сан конюшего его сына Ивана. Не так давно успешно бился он с татарами, пожаловавшими к нам из Крыма.

Елена опустила глаза. Лёгкий румянец проступил на бледных щеках.

— Что думают по этому поводу другие бояре? — тихо спросила она.

Михаил Львович вздрогнул. Предложение Тучкова застало его врасплох. Кого угодно согласен он видеть в чине конюшего, но только не Ивана Овчину, которого возненавидел с памятного похода на Казань, когда тот прославился взятием острога, а он из-за местнического спора с Иваном Бельским не смог овладеть беззащитным городом. Добившись посылки в Новгород Воронцова, бояре на этом не остановились и решили ещё более навредить ему, Михаилу Львовичу, назначив на пост конюшего своего ставленника. Но что же Елена? Неужели она так глупа, что не видит, какому унижению подвергается в думе её родственник?

«Не бывать тому!» — Михаил Львович не сомневался, что ему удастся легко убедить Елену поступить по его воле. Ведь она обещала своей матери княгине Анне впредь не идти ему встречу.

— Михаил Васильевич, должно быть, запомнил: конюшим может стать только боярин. К тому же Иван Овчина совсем ещё молод и не сумел показать себя сведущим воеводой.

— Я не согласен с Михаилом Львовичем, — подал голос Шигона. — Все помнят о ратных успехах Ивана Овчины под Казанью три года назад. Если он сумел показать себя с самой лучшей стороны уже в молодом возрасте, то и впредь будет не хуже. Дерево его рода достойно всяких похвал. А ведь не зря говорят: яблоко от яблони недалеко падает. Верно, что конюшим может быть боярин. Так ведь в твоей воле, государыня, пожаловать Ивана Овчину боярством.

Присутствующие притихли в ожидании ответа Елены. Многие не верили в успех дела, затеянного Тучковым и Шигоней: мыслимо ли, что правительница назначит конюшим человека, который ненавистен Глинским.

— Пусть будет по-вашему. Жалую Ивана Овчину боярством. Быть ему и конюшим.

— Не поторопилась ли ты, государыня? — возмутился Михаил Львович.

— Быть тому так, как я сказала, — твёрдо произнесла правительница и приподнялась, давая понять, что разговор окончен.

Глава 6

Возле Посольской избы сгрудилось немало пешего и конного люда. Дюжие молодцы ловко складывали в сани съестные припасы, мешки с овсом, поминки для крымского хана и его приближённых. Мельтешили между ними расторопные дьяки с грамотами в руках. Андрей, увидев эту суету, заволновался, ему всё ещё не верилось, что вместе с посольскими людьми он вскоре окажется в Крыму и, может статься, найдёт там свою незабвенную Марфушу. Его конь мягко ступал по пружинящим подушкам, образованным человеческим волосом: недалеко от Посольской избы стояло множество избышек, в которых брадобрее снимали со всех желающих избыток волосяного покрова. Место это среди москвичей прозывалось Вшивым рынком. Андрей остановил коня поблизости от высокого крыльца и стал ожидать, когда появится боярский сын Илья Челищев.

Посол вышел на крыльцо вместе с боярином Михаилом Тучковым. Был он статен и величав, с короткой, но пышной русой бородкой. И хотя одет был по-дорожному, но выглядел так внушительно, что рядом с ним даже дородный Тучков стал менее заметным.

Вон он, наш послужилец, — боярин ткнул жирным пальцем в сторону Андрея. Илья внимательно осмотрел Андрея с ног до головы.

— Потом расскажешь о своём деле. Сейчас недосуг. — Посол махнул рукой рожечнику.

Тотчас же пронзительно взревел рожок, все засуетились, зашумели, воины охранения сели на коней, привычно расположились в хвосте, голове и по сторонам посольского поезда. Миновав Москву-реку, выехали на Серпуховскую дорогу, начищенную полозьями саней до зеркального блеска. Выгибая на буграх лоснящуюся спину, дорога бежала среди белоснежных мерцающих на солнце снегов, в которых увязли долгоногие берёзы, похожие на черничек ели да крытые соломой подслеповатые избёнки селян. Под копытами резвых коней весело взвизгивал снег, и от этого поездка в татарщину казалась будничной, неопасной. Андрей ехал в середине поезда рядом с Ильёй Челищевым, сетовавшим вполголоса:

— Чует моё сердце, добра нам не будет. При великом князе Василии Ивановиче едешь в татарщину и то всего натерпишься в дороге. А ныне и совсем опасно. Ну кто, скажи, будет считаться с малолетним великим князем? Только и жди от татар неприятностей, измывательства да бесчестия. Им ничего не стоит насильничать, обворовать и раздеть догола. Не в чести у крымского хана московские послы. Он ведь руку турецкого султана держит, а тот всегда к русским относится враждебно.

Андрею вспомнилось, как несколько лет назад в Москве казнили татарского посла Чабыка.

— Много зла причинили русским людям татары, — заговорил он. — Видел я Зарайск, разорённый ими: ни одного дома не уцелело. Всех побили: и баб, и стариков, и детей. Можно

ли с такими зверьми переговоры вести? Им ли вручать поминки от великого князя?

— Что делать, Андрюха. Воинства у великого князя не хватает, чтобы со всеми соседями воевать. Вот и приходится подбрасывать жирную косточку тому или иному вору. Ты-то чего в Крым подался?

— Жену мою татары в полон увели. Так я отыскать её в орде вздумал.

Илья удивлённо присвистнул.

— И давно то было?

— Пять лет уж миновало...

— Так ты бы другую девицу в жёны взял. Мало ли их...

— Марфушу забыть не могу. Уж больно мила была. Как вспомню, так ни на кого глядеть не хочется.

— А я так мыслю: баба, что кошка, возле любого мужика пригреется, в любом доме станет жить, было бы в нём ей тепло да сытно. Чего её жалеть? Нынче с одной переспал, завтра с другой. Как же ты свою незабвенную супругу намерен отыскать в татарщине?

— А так: обойду все селения, в каждый дом загляну, пока не повстречаю её.

— Эдак тебе до глубокой старости по татарщине бродить придётся.

— Что ж делать, лишь бы Марфушу найти.

— А коли она не признает тебя, не захочет с тобой жить?

Андрей удивлённо глянул на Челищева.

— Не верю в такое. Уж так мы друг друга любили!

— В жизни, Андрюха, всё возможно.

— А не приходилось ли тебе встречаться в Крыму с Аппак-мурзой?

— Я давно уж в Крым езжу, так каждый раз приходится иметь дело с этим прохвостом. Но есть при крымском хане сущие тати. Кудаяр-мурза с русскими послами не карашевается [160] по обычаю, обзывает их всякими словесами, да к тому же может отнять всё, что ему понравится.

— Зачем же великий князь посылает своих людей к татям?

— Великому князю и всей земле Русской большая польза от пребывания послов в Крыму. Через верных людей мы узнаем о намерениях хана и своевременно оповещаем о них Москву. Наши грамоты позволяют великому князю заранее подготовиться к вторжению крымцев. Ну а коли вторжения не ожидается, он может послать русские полки в Литву или под Казань. Наши вести в Москву спасают от гибели тысячи и тысячи русских людей. Но дело не только в этом. Ежели посол с царём в голове, он может через татарских вельмож убедить хана воевать не Русь, а недругов наших. Вот почему великий князь снова и снова снаряжает послов в Крым, хотя и ведаёт о бесчестиях, которые им приходится нередко терпеть. Бесчестие терпим мы ради блага земли Русской. Вот послушай, что было с нашим послом Иваном Мамоновым. Когда прибыл он к Мухаммед-Гирею, пришёл к нему Аппак-мурза и от имени хана стал просить у него тридцать шуб беличьих да тридцать однорядок для раздачи тем людям, которым великий князь мало поминков прислал, потому что не хотят

великокняжеского дела делать. Иван отказал Аппаку. Тогда у него схватили двоих людей, а затем татары вломилась в избу и силой взяли у Мамонова всё, чего требовал хан. Посол отписал о том разбое великому князю. Мухаммед-Гирей так оправдался перед государем: «Ты многим людям не прислал поминков, и нам много от них доуки было, да и посол твой много доуки видел; и вот я, для того чтоб между нами дружбы и братства прибывало, неволею взял у твоего посла да и раздал моим людям — иному шубу, другому однорядку».

— Ну и наглец этот Мухаммед! — возмутился Андрей. — Чем же ответил на это Василий Иванович?

— А ничем. Ему главное, чтобы шертная грамота была. Да пользы от тех шертных грамот — тьфу! Сегодня татарин клятву даёт, а назавтра на Русь идёт. — Посол помолчал, успокаиваясь, потом повёл разговор о другом. — В Крыму много всякого люда толкается, среди коих немало и русских. Так что ежели ты не дурак, промеж татар будешь ходить свободно. Глядя по случаю, можно прикинуться посольским человеком, разорившимся купчишкой, немощным скитальцем по святым местам или ещё кем. Ежели жёнушку в Кафе в неволю продали — дело твоё гиблое: увезли её либо в туретчину, либо ещё куда подале, вроде Египта. Русских людей в неволе где только не встретишь! Особливо мужиков. А вот русских баб татары нередко в жены себе берут. Мужиков же заместо рабочего скота держат, заставляют их пасти табуны лошадей, рыть колодцы, строить дома. Обращаются с ними — хуже некуда. Которые покрасивее да посильнее — тех оскопляют или же лишают ноздрей, клеймят по щекам и по лбу, заковывают в путы, заставляют томиться днём на работах, а на ночь запирают в темницах. Кормят же невольников гнилым мясом, покрытым червями, которое даже собаки голодные не жрут. Андрей содрогнулся от этих слов.

— Неужто все так страдают?

— Не все, но многие. Иные полоняники живут при хозяевах семьями. Их дети, рождённые в неволе, также становятся невольниками. У детей в свой черёд дети рождаются. Глядишь, на втором-третьем колене полоняники забывают язык и веру отцов, отатариваются. Но таких немного. Хоть татары и принуждают невольников переходить в магометанство, обещая за это свободу, да только русские люди, несмотря на ужаснейшие муки и лишения, остаются верными своей родной земле. Поменять веру мало кто решается. Свою любовь и верность родной земле русские полоняники всеми путями норовят передать детям. Наших соотечественников в Крыму видимо-невидимо, повсюду слышна их речь. Как завидишь в селении русского, так и спрашивай о своей жёнушке, всяк скажет, живёт тут она или нет. Только в прибрежные города не ходи — в Гезлев, Сурож, Чембало, Гурзувите, Боспор, Алустоне, Ялиту [161]. Там турки хозяйничают, потому татары в те города носа не суют. Походные татары селятся в середине Крыма, поблизости от Бахчисарая — ихнего стольного града.

Андрей внимательно вслушивался в речь посла, она вселяла в него надежду на благополучный исход дела, хотелось поскорей оказаться в Крыму.

— Ну а ежели я найду Марфушу в татарщине, смогу ли я вызволить её оттуда?

— Коли найдёшь да она не откажется воротиться с тобой на Русь, тогда считай, что дело твоё сделалось. Разыщи в Бахчисарае разменного бея, он ведаёт выкупом полоняников. Татары всегда охотно идут на выкуп, потому как это им выгоднее, нежели продать человека на невольничьем рынке в Кафе. Даже ежели она стала женой какого-нибудь татарина, всё равно её можно выкупить за хорошую цену. Только сможешь ли ты рассчитаться с татарами? За так ведь они твою жену не отдадут.

— Мне Тучковы обещали помочь её выкупить.

— Вижу, не простой ты человек: ну с какой стати боярину Тучкову взбрела в голову блажь

отпустить в Крым своего послужильца, да ещё тратиться на вызволение из неволи его жены? У тебя, поди, какое-то дело в Крыму?

Андрей, поражённый пронизательностью посла, растерялся.

— Ну это уж не моё дело, а твоё да Михаила Васильевича Тучкова. А у меня своих забот невпроворот, — успокоил его Челищев.

Когда миновали Перекоп, природа резко изменилась. По-весеннему припекало солнце, снега уже не было, а воздух казался таким духовитым, что путники невольно стали дышать глубже.

— Благодатная земля, — задумчиво произнёс Челищев. — Татары не любят сельский труд, не умеют хлебопашествовать — этим делом занимаются лишь некоторые из них да невольники, большинство предпочитает воевать, а тем не менее снимают столько пшеницы и проса, что на всю орду хватает. Да к тому же много припасу они добывают путём грабежа в Литве и на Руси. Потому и живут безбедно. А вон и Альма-река показалась, — слава Богу, конец пути нашему.

Посольский двор находился в восемнадцати верстах от Бахчисарая. Вдоль реки направо и налево тянулись ухоженные сады.

— В тех садах немало русских невольников трудится. А вон и наш двор. — Лицо посла брезгливо сморщилось.

Через проход в небрежно сложенной ограде въехали на территорию посольства, где стояли четыре убогих небольших строения из диких неотёсанных камней, скреплённых навозом. В них не было ни мостов [162], ни лавок, ни дверей. Свет проникал сквозь единственное оконце. Челищев строго приказал не мешкая разгружаться. Андрей не мог взять в толк, к чему такая поспешность, но посольские люди приступили к работе так, как будто вот-вот разразится гроза. Мешки с поминками для хана уложили по углам и тщательно прикрыли попонами. Когда всё было перенесено со двора, Илья воткнул в щель стены кинжал и отодвинул один из камней. В открывшийся тайник сложили самое ценное — соболиные шкурки, ларец с казной, золотой поднос для вручения хану грамот великого князя.

Едва успели уложить привезённое, послышался страшный шум. Около сотни всадников показалось со стороны Бахчисарая. Они дико орали, бешено погоня лошадей. Возле посольского подворья всадники спешили, галдя вошли в ограду. Вскоре в проёме дверей Андрей увидел пятерых знатных татар. Жирное лицо главного из них выражало одновременно высокомерие, нетерпеливое любопытство, заискивание. Замыкал пятёрку совсем ещё юный татарин с тонкой талией и красивым лицом.

— Здорово, Илейка! По добру ли, по здорову ли приехал к нам?

— Рад видеть тебя, Аппак, твоих братьев Магмедшу, Кудаяра, Халиля и сына твоего Тагалды. Доехали мы, слава Богу, без задержки.

Пока Челищев говорил, гости с жадностью осматривали мешки, укрытые попонами.

— Дошла до нас весть, будто великий князь Василий помер. Кто же по нём на Руси будет?

— Привёз я весть Сагиб-Гирею о безвременной кончине великого князя всея Руси Василия Ивановича и восшествии на престол его сына Ивана Васильевича. И велено мне великим князем всея Руси Иваном Васильевичем ударить челом Сагиб-Гирею, чтобы тот пожаловал его себе впредь братом и другом, как великий князь Василий Иванович был с Менгли-Гиреем.

Аппак невольно скривился.

— А сколько лет великому князю Ивану?

— Великому князю всея Руси Ивану Васильевичу четыре года.

— Хи-хи-хи... Да может ли такой младенец сидеть на коне, быть великим князем? Трудное твоё дело, Илейка, ой трудное! Боюсь, не захочет Ислам учинить такого малолетка своим братом...

— Почему Ислам, а не Сагиб?

— У нас сейчас смута, встала усобица между ханом Сагиб-Гиреем и старшим по нём Исламом. В Бахчисарае ныне сидит Ислам-Гирей.

— Великий князь всея Руси Ивана Васильевич жалует тебя, Аппак, братьев твоих и сына твоего поминками.

При упоминании о поминках глаза гостей жадно заблестели. Челищев сделал знак рукой. Дьяк с поклоном поднёс Аппаку шубу бобровую. Такие же дары были вручены его братьям и сыну. Аппак несколько мгновений рассматривал подарок, одновременно ощупывая рукой мех, потом перевёл взгляд на сложенные под попонами мешки, лицо его налилось кровью.

— Ты вор, Илейка! — завопил он тонким голосом. — Великий князь Василий, которому я верой и правдой служил много лет, не мог забыть обо мне, Аппаке. В казне его богатства несметные. Где же посмертные поминки? Ты их себе взял, Илейка! Ты украл принадлежащие мне посмертные дары!

Андрей, внутренне заробев, посмотрел на посла. Лицо Челищева оставалось невозмутимым.

— Ты, Аппак, хулишь меня понапрасну. Великий князь Василий Иванович умер в одночасье и ничего не успел сказать о поминках, тебе предназначенных. Это всяк подтвердит на Москве. Ныне великим князем всея Руси стал Иван Васильевич, и ты порочить его не смей.

— Да как же мне не хулить его, Илейка? Малолеток стал великим князем, а людям своим по этому случаю поминков не шлёт. Разве это поминки? Это смех, а не дары! Ты, Илейка, скажи, где поминки моей жене, моим дочерям, сыновьям Магмедши Селимшу и Сулешу, многим другим людям? Разве может такое большое дело делаться без поминков?

— Будут поминки жене твоей, твоим дочерям, сыновьям Магмедши и многим другим людям, — успокоил Аппака Челищев, — да и ты, коли дело сладится, получишь ещё поминки. К тому же если Ислам-Гирей даст шертную грамоту, то большой посол князь Стригин-Оболенский вскоре будет здесь. Ныне он ждёт в Путивле с богатыми поминками и немедленно пойдёт в Крым.

Поканючив ещё некоторое время, Аппак с братьями и сыном удалились.

Через несколько дней Аппак снова заявился на посольском подворье, чтобы известить о дне приёма русского посла Ислам-Гиреем. Наутро, несмотря на тёплую погоду, Илья Челищев надел голубую ферязь, украшенную по разрезу и подолу парчой, жёлтые сапоги, золотую тюбетейку бухарской работы, отороченную соболем, а поверх ферязи — бархатный узорчатый опашень с меховым воротником и крупными серебряными грановитыми пуговицами. По мере того как посол облачался, лицо его приобретало торжественное и величественное выражение. Андрею показалось даже, что есть два Челищева: один брюзгливый, не терпящий баб, сетующий на неудобства жизни; другой — с гордо поднятой головой, далёкий от земных дрязг. Уловив недоуменный взгляд Андрея, Илья усмехнулся и, указав большим пальцем назад, произнёс:

— Там — Русская земля, а я — её слуга. Ради неё и умереть можно.

Дьяк подал ему золотой поднос, на котором лежала грамота великого князя всея Руси Ивана Васильевича. Красная печать свисала с края подноса. Когда Челищев направился к выходу, дьяк незаметно перекрестил его спину.

Посол вернулся к вечеру в одном нижнем белье, босиком. Под правым глазом зловеще выделялся багрово-чёрный синяк. Илья устало опустился на землю, сделал знак дьяку. Тот молча протянул ему братину с вином. Челищев с жадностью выпил.

— Вот видишь, Андрюха, каково приходится послам великого князя.

— Что подеялось?

— Подеялось то, что и следовало ожидать. Когда шёл я к хану Ислам-Гирею, то сторожа загородили мне дорогу посохом. И было мне у того посоха много истомы не на малый час: все требовали у меня посошной пошлины, но я их не послушал. Когда я назад хотел идти, то меня не пустили. Аппак-мурза меня не выручил: дважды он к хану наверх ходил, но, туда идучи и оттуда, все меня бранил, что я не плачу посошной пошлины. Однако я не послушался и, как велено было мне великим князем, не заплатил. Тогда татары ободрали меня как липку. Мало того, татарин стал за мною на лошади с плетью гоняться, лошадью топтать. Чуюло моё сердце, что будет нам здесь одно бесчестье.

Ночью Андрей проснулся от громких криков. Татары напали на посольский двор, связали охранявших его людей и теперь вспарывали мешки с добром. То были люди Исламова брата Сагиб-Гирея.

— Ступай, мил человек, по своим делам, — сказал наутро Илья Челищев. — Нечего тебе здесь делать, пропадёшь ни за что. Побывай сначала в Бахчисарае, найди дом Аппака и передай ему просьбицу Михаила Васильевича Тучкова. Авось он чем-нибудь тебе поможет.

С робостью ступил Андрей на дорогу, ведущую в Бахчисарай. Первоначально он вздрагивал при каждом громко произнесённом татарами слове, пытался прикидываться слепцом, но оказалось, что никому до него не было дела. И тогда Андрей стал с любопытством присматриваться к тому, что творилось вокруг.

Бахчисарай поразил его шумом и великолепием ханского дворца. Ослепительно белый дворец возник, словно сказочное видение, в окружении садов и фонтанов. А рядом — множество построенных из глины, щебня и дикого камня саклей с нахлобученными крышами, отчего жилища татар напоминали кочевые кибитки. Единственная узкая улочка продиралась сквозь эти строения к дворцу, совсем недавно построенному Гиреями. А по сторонам — множество лавок с пёстрыми восточными товарами. Андрей даже рот разинул от изобилия ярких шёлков, украшений, склянок с благовониями, пряностей, бараньих туш, сияющих на солнце лезвий и кинжалов. И среди всего этого моря товаров гудит разноязыкая толпа. Кого только тут нет: турецкие воины, паломники, полуголые татарчата, слуги хана и его вельмож, фряжские послы, ногайцы, индусы. Все наперебой что-то кричат, требуют, но голоса тонут в грохоте кузниц, лязге оттачиваемого железа, звоне меди, кашле верблюдов. А с высоты минаретов звучат пронзительные призывы муэдзинов. От всего увиденного и услышанного Андрей ошалел, притомился. Он пристроился в тени сакли и задремал, но вскоре очнулся от громких криков. Усатый турок в малиновой феске и такого же цвета свирепым лицом гнался за вёртким татарчонком, что-то прячущим под мышкой. Татарчонок юркнул в щель между саклями, а турок, не заметив его исчезновения, набросился с кулаками на такого же мальчишку, беспечно наблюдавшего за погоней.

— Он же не виноват, не виноват! — закричал Андрей и стал оттащить турка от его жертвы, но тот как клещ вцепился в неё. Видя, что турок разъярился до безумия, Андрей с силой ударил его по жирному загривку. Тот ойкнул и медленно осел на землю. Со всех сторон сбежались татары. Один из них, хромой на правую ногу, схватил татарчонка и, убедившись, что он невредим, обратился к Андрею:

— Пойдём, урус, отсюда, набегут турки, худо будет тебе.

По узкому проходу между саклями прошли к дому хозяина. На пороге их встретила тёмноволосая женщина в телогрее и шароварах.

— Вот, Гайдула, принимай гостя. На Темучина ни с того ни с сего турок злой напал, так он спас нашего сына от гибели.

Гайдула, поворковав над Темучином, засуетилась, стала ставить на стол варёное мясо, финики, большой кувшин с кумысом. В дверь заглянули две девочки. У обеих похожие на вишни тёмные и блестящие глаза, волосы заплетены в тонкие косички.

— Это мои невесты: младшая Хоэлунь, а старшая — Темулунь, — пояснил хозяин, разрезая мясо на кусочки.

Девчонка лет двенадцати под взглядом Андрея смутилась, зарделась как маков цвет, а потом, словно застыдившись своего смущения, вскинула голову и улыбнулась, показав ровные чудесные зубы.

«Шалунья... — подумалось Андрею, — совсем уж взрослая девушка... А какие ресницы!»

— Тебя как зовут? — спросил хозяин, протягивая на кончике острого ножа кусок мяса.

— Андреем.

— А меня Хачигунем. Ты сегодня спас моего сына, которого я люблю больше, чем себя, потому всё, что в этом доме есть, — твоё. Какие дела привели тебя в Крым?

— Приехал я из Москвы вместе с посольскими людьми. А дело моё к Аппак-мурзе. Не знаешь ли, где живёт он?

— Дом Аппак-мурзы всяк знает. Я сам провожу тебя к нему. Если что нужно, всё для тебя сделаю.

Дружеское расположение Хачигуня пришлось по душе Андрею, и он решился спросить о главном, вдруг татарин что-нибудь знает о Марфуше?

— Мар-фу-ша... — нараспев произнёс хозяин, — хорошее имя Марфуша. Но не знаю я женщины, которую звали бы этим именем. А кем она тебе доводится?

— Женой. Жили мы с ней в Зарайске, да пришли татары из Крыма, когда меня не было дома, и увели её в полон. Вот я и пришёл сюда, авось найду её где.

— Ай-ай-ай, — горестно покачал головой Хачигунь, — много бед причиняют мои соплеменники русским людям. Я не одобряю их. Народ должен кормиться трудом рук своих: сеять хлеб, пасти скот, ткать полотна, работать в кузне. Да мало ли дел придумано Аллахом! А то племя, которое живёт грабежами, отнимает плоды труда другого племени, никогда не будет процветать. Сожалею я, что мои соплеменники причинили тебе горе. Но ты, Андрей, не падай духом, авось Аппак-мурза поможет тебе. А не поможет Аппак — я помогу тебе. Каждому, кто остановит тебя в Крыму, отвечай, что ты друг Хачигуня из Бахчисарая. Меня многие знают. А не поверят твоим словам — покажи мой подарок... — Хачигунь встал и

провёл Андрея в соседнюю комнату, где была его мастерская. В горне ещё дотлевали угли, а в тигле, закреплённом в треножнике, застывало расплавленное серебро. Мастер взял со стола не завершённый ещё браслет, и через несколько минут он был весь расписан узорчатой арабской вязью. — Покажешь этот браслет, и всяк по надписи узнает, кто сделал его и что ты мой самый лучший друг.

Утром следующего дня Хачигунь проводил Андрея к дому Аппак-мурзы. Возле забора, за которым виднелся окружённый виноградником большой одноэтажный дом, он остановился и, глядя в глаза, спросил:

— Ты к нам опять придёшь?

— Обязательно приду, Хачигунь.

— Якши, я так и скажу.

Перед домом Аппака был фонтан, воды которого стекали в водоём, выложенный мраморными плитками. Андрей залюбовался рыбками, сновавшими в водоёме.

— Чего тебе нужно? — услышал он гортанный окрик.

— У меня дело к Аппак-мурзе, — по-татарски ответил Андрей.

— Аппак-мурза не имеет дела с русскими.

— Меня послал Илья Челищев.

Привратник молча направился ко дворцу, сделав Андрею знак следовать за ним. Однако лишь часа через два его впустили внутрь дворца.

Аппак-мурза, развалившись на диване, с неприязнью посмотрел на гостя.

— Зачем пожаловал? Кто тебя звал? Посол Илейка Челищев никому поминков не привёз. Будет ли его дело делаться? И меня великий князь забыл. Литовский король нашему хану посылает пятнадцать тысяч золотых, не считая платья и сукон. А царицам, царевичам, сеитам [163], уланам и князьям, мурзам особенно король посылает, всем довольно. Никто на короля хану за поминки не жалуется. Абдыр-Рахману же от короля идёт две тысячи золотых, кроме платья и сукон. Да ещё получает Абдыр-Рахман казну для передачи от себя царевичам, князьям и мурзам добрым для королевского дела. Как королевскому делу тут не делаться? Сколько раз король просил меня: отстань от московского князя, служи мне и приказывай, чего от меня хочешь, — всё тебе дам. Великий же князь сам себе худо делает, коли не посылает поминков верным людям.

Андрей вынул из кармана дорогой перстень, подаренный ему Иваном Овчиной, и протянул его мурзе. Глаза Аппака жадно блеснули. Он быстро схватил перстень, бегло осмотрел его и неуловимым движением спрятал под подушку.

— Передай Илейке, что орда разделилась между Сагибом и Исламом. Ислам дал королю слово быть с ним заодно на всех неприятелей. Летом намерен он идти на Русь. Вот и всё. Ступай прочь.

Андрей запомнил слова Аппак-мурзы, хотя и не всё понял, сказанное им.

— Я пришёл в Крым, чтобы отыскать жену.

— Какую ещё жену?

— Свою.

— Она что, в моём гареме?

— Я не знаю, где она.

— Так зачем же ты пришёл ко мне?

— Боярин Тучков приказал мне бить челом: не поможешь ли ты, Аппак-мурза, отыскать её в Крыму?

— Ишь чего захотел! Не хватало старому, уважаемому Аппак-мурзе разыскивать среди рабынь жён всяких бродяг. Ступай прочь, не то велю продать тебя на невольничьем рынке в Кафе!

...Направляясь к Хачигуню, Андрей тяжело переживал отказ Аппак-мурзы помочь в поисках Марфуши и потому не засматривался по сторонам. И всё же одна из лавок привлекла его внимание. На прилавке лежали большие круги воска, а со стен свисали связки беличьих, лисьих, песцовых шкур. В дверях стоял русобородый новгородец, негромко разговаривавший с фрязином. Вид русского человека обрадовал Андрея, и он стал проталкиваться сквозь толпу к лавке. Когда же очутился рядом с фрязином, то с удивлением узнал в нём Илью Челищева.

Увидев Андрея, посол смутился, но тут же рассмеялся:

— Не ожидал встретить тебя в Бахчисарае. Думал, ты уж пол-Крыма обежал в поисках своей Любаши.

— Марфуши.

— Мафуши или Любаши — всё едино. У Аппака был?

— Был, да он наотрез отказался помочь мне.

— Этого следовало ожидать: не простое дело найти среди сонма русских пленников нужного человека.

Андрей рассказал о своей беседе с Аппаком.

— Старый козёл хочет продать залежалый товар. То, что он сказал об Исламе и Сагибе, нам давно уже ведомо. Для нас хорошо, что орда разделилась между двумя Гиреями. Не новость для нас и то, что Ислам пишет Жигимонту. Но это ещё не означает, что Сагиб-Гирей для нас лучше. Хрен редьки не слаще. Ислам в своей борьбе с Сагибом нуждается в помощи не только литовского короля, но и русского великого князя. Ему мы и будем помогать. А вот то, что Ислам намерен идти на Русь, мы немедленно отпишем великому князю. Спасибо тебе, Андрей. А о пропавшем перстне не жалею, я тебе два взамен дам.

Илья повертел перед носом Андрея пустой ладонью и тотчас же на ней, как по волшебству, появились два перстня.

— Они тебе в орде ой как пригодятся, потому как долго придётся здесь пробыть. Ну а ежели нужда одолеет, явись к этому человеку, — Илья показал на купца, — зовут его Прокопием Окатовым.

Новгородец приветливо кивнул Андрею.

По совету Ильи Челищева поминки, предназначенные для крымского хана, были доставлены из-под Путивля Ислам-Гирею. Правда, князь Василий Иванович Стригин-Оболенский, узнав о зловещих заключениях русского посла в татарщине, решил увильнуть от опасной поездки в Крым. В своём письме на имя великого князя он сообщал:

«Ислам отправил к тебе послом Темеша, но этого Темеша в Крыму не знают и имени ему не ведают; в том Бог волен да ты, государь: опалу на меня положить или казнить велишь, а мне против этого Исламова посла Темеша нельзя идти».

Великий князь положил на Стригина-Оболенского опалу и вместо него велел идти в Крым князю Мезецкому.

Глава 7

Михаил Львович вошёл в покои княгини Анны Глинской. Та не ожидала его прихода. Торопливо спрятав в холщовый мешок буроватые коренья, лежавшие на столе, она пристально посмотрела в глаза гостя.

— Вижу: огорчён ты, Михаил Львович.

— Да как же не огорчаться, Аннушка. Твоя дочь, а моя племянница стала русской великой княгиней, однако власти у нас с тобой как не было, так и нет.

— Власти нет, — эхом повторила старуха.

— Всем у нас заправляют бояре, назначенные покойным Василием Ивановичем: Захарьин, Тучков, Шигона да безвестные дьяки иже с ними. А я, великой княгини дядя, должен лишь соглашаться со всем, что им вздумается. Что ни скажу в боярской думе, всё тотчас же подвергается поношению и отвергается. А великая княгиня с ними в единомыслии, вот что обидно! Будто и не родственники мы вовсе. Никакого уважения к славному нашему роду Глинских. Мало того, своими деяниями она порочит наш род. Ни для кого не тайна её богопротивная связь с этим кобелём Иваном Овчиной. Продажная шлюха! Ещё и сорочины по мужу не справила, а уж любовником обзавелась, в постель свою пустила! Ныне же совсем обнаглела: повсюду вместе с новоявленным конюшим бывает, что он ни скажет, со всем тотчас соглашается. А мы, Глинские, должны спокойно сносить весь этот позор!

Всё, о чём говорил Михаил Львович, было уже известно княгине Анне.

— Что верно, то верно, — кивнула она, — великое бесчестие творит Елена. И то правда, что власти мы никакой не имеем. А ведь покойный князь Василий Иванович в своём предсмертном слове к боярам особо указал, что ты, Михаил, есть его прямой слуга, а потому они, бояре, должны чтить и уважать тебя. Ныне же воля великого князя оказалась порушенной.

— Попыталась бы ты, Аннушка, облагоразумить свою дочь.

— Пыталась уже, и не раз, да она и слышать ничего не хочет. Призналась, что безумно любит Ивана Овчину, а потому вся в его власти.

Лицо гостя скривилось в злобной гримасе.

— Придётся убрать этого кобеля!

— Смотри, как бы он тебе наперёд шею не свернул. Ведомо мне, что многие бояре поддерживают его.

— Может быть, сначала бояре и поддерживали Ивана Овчину, да ныне многие отступились: не всем по душе его власть, преступная связь с великой княгиней.

— Что же ты, Михаил, намерен делать?

Глинский помолчал, раздумывая, раскрывать свои мысли перед матерью великой княгини или нет.

— Думаю я столкнуться с боярами, недовольными великой княгиней и её любовником. Таких сейчас немало. Затем мы схватим Ивана Овчину и посадим его за сторожи.

— А с Еленой что будет?

— Великая княгиня должна будет принять наши требования. Ежели она проявит благоразумие, ей нечего бояться. Я враждую не с ней и не с сыном её, а с боярами, отторгнувшими меня от власти вопреки воле покойного государя.

Княгиню Анну успокоили его слова.

— А может, дать кобелю выпить какой травки?

— Дело не только в нём. Нужно сделать так, чтобы другие, противные нам бояре и дьяки, не посмели больше перечить.

— Да поможет тебе Бог! — Анна Глинская высохшей рукой перекрестила гостя.

...Михаил Львович дивился своему состоянию: лицо горело, а пальцы ног леденил холод. Уж не захворал ли он? Болезнь была бы ой как некстати!

«В своей борьбе за власть я хочу заручиться поддержкой Новгорода и Пскова. Московские великие князья лишили их вольницы. Ежели я через наместника Михаила Воронцова пообещаю новгородцам прежнюю вольную жизнь, то можно надеяться, что они клонут на эту приманку и примут мою сторону. Конечно, в этом деле и Жигимонт всегда поддержит меня, чтобы ослабить Русь... — Но тут князю стало вдруг страшно. Ему представилась темница возле великокняжеской конюшни, в которой он провёл многие годы. Михаил Львович поспешно перекрестился. — Не приведи Господи!»

Липкий пот струился по его спине. Неожиданно перед его мысленным взором мелькнула отрубленная, вся в крови голова заклятого врага Яна Заберезского, освещённая трепетным светом факелов. В ту давнюю ночь, когда Глинский с семьями конных ратников, переправившись через Неман, явился в Гродно, недалеко от которого жил оскорбитель, и окружил его двор, два пришлых человека решили стать орудием жестокой мести: немец Шлейниц ворвался в спальню пана, а турок, имя которого Михаил Львович запомнил, отсек Яну Заберезскому голову. Верные слуги с шутками преподнесли ему на кончике сабли голову бывшего маршалка земского, а он, Глинский, приказал нести её перед собой на древке четыре мили до озера, а затем утопить. И вот сейчас, спустя два с половиной десятка лет, ему вдруг представилось это ночное шествие во всей его неприглядности.

Михаил Львович ещё раз перекрестился и, тяжело поднявшись, приблизился к двери, но долго не решался открыть её.

«Почему все так ненавидят меня? Да, я не страшился пролить кровь ради достижения

поставленной цели, был жесток по отношению к своим врагам. Но разве я отправил на тот свет литовского господаря Александра? Зачем злые языки разносят ныне по Москве ядовитый слух, будто мною отравлен Василий Иванович? Это всё происки завистников, которых было немало как при короле литовском, так и при русском великом князе. Будучи совсем ещё молодым человеком в Италии, Франции и Испании, при дворе австрийского императора Максимилиана, я всюду приобрёл расположение благодаря совершенству ума, обширным знаниям ратного дела, внешности, которая нравилась всем, и мужчинам, и женщинам, благородству манер. Мало кто знал, что я — потомок татарского чингизида Ахмата, выехавшего в Литву при Витовте. Моим другом был сын курфюрста саксонского Альберта, магистр Тевтонского ордена Фридрих. Ещё в молодые годы я прославился ратными подвигами в армии Альберта, а за две седмицы до кончины короля Александра избавил Литву от свирепых татар, одержав над ними блистательную победу под Клетцком. Разве не я преподнёс Василию Ивановичу Смоленск?[164] Но где же достойная награда трудов моих? Почему словно псы голодные ополчились на меня паны литовские и русское родовитое боярство, эти малосведущие бездари, неспособные ни к какому делу, нигде не бывавшие, кроме своих провонявших навозом поместий? Каждое отдельно взятое ничтожество не представляет опасности, но свора ничтожеств, присосавшихся к власти, во все времена и повсюду — погибель для всего разумного, светлого. И главное их оружие — клевета. Что подумают обо мне те, кто будет жить после меня? Сумеют ли они отделить плевелы клеветы и лжи от правды? Оценят ли по достоинству мои деяния? Вряд ли: всяк мыслит только о себе. И если человек хочет отмыться от грязи, понапрасну возведённой на него клеветниками, он должен победить или умереть. Ибо победителей не судят, а об умерших говорить плохо не принято».

Успокоившись, Михаил Львович открыл дверь в палату, где собрались приглашённые им люди.

Первым, кого он увидел, был князь Семён Фёдорович Бельский. С важным видом взирал он на присутствующих, положив обе руки на набалдашник красивого резного посоха. Рядом с ним расположился его брат воевода Иван Фёдорович, неоднократно участвовавший в походах против крымских и казанских татар. Вид у него утомлённый, на бледном рыхлом лице — печать озабоченности.

«До сих пор зол на меня Иван за Казань, за опалу, наложенную Василием Ивановичем, да только судьба распорядилась так, чтобы быть нам единомышленниками, а не ворогами».

Третий из братьев Бельских — воевода московский Дмитрий Фёдорович — отсутствовал, поскольку находился на береговой службе в Коломне.

В стороне от братьев Бельских сидел окольный Иван Васильевич Ляцкий, человек самолюбивый, заносчивый. В бытность Василия Ивановича он был в опале, однако после рождения первенца великий князь помиловал его. Присутствие окольного было приятно Михаилу Львовичу, вселяло веру в успех задуманного дела. Ведь Ляцкий в родстве с влиятельным родом Захарьиных, доводился двоюродным братом Михаилу Юрьевичу. Недоволен он тем, что его, искушённого в грамоте, умудрённого в ратном деле, правительница послала в Коломну вторым воеводой сторожевого полка после князя Романа Ивановича Одоевского, более молодого и не столь прославившегося. А ведь не кто иной, как немецкий посол Сигизмунд Герберштейн, во время вторичного пребывания на Руси в 1526 году обратился к нему, Ивану Васильевичу Ляцкому, с просьбой составить описание Московии. В том же году он стал окольным и в этом чине отправился к Жигимонту в составе русского посольства для заключения перемирия с Литвой. Все помнят блистательную победу, одержанную им под Опочкой в октябре 1517 года над литовскими войсками, возглавляемыми Константином Острожским. За эту победу Василий Иванович воздал Ляцкому великую честь. И тем не менее этот прославленный воевода назначаем был вторым воеводой, а первыми были то Семён Фёдорович Курбский, то Иван Фёдорович Ушатый, то Иван Михайлович

Воротынский, то Роман Иванович Одоевский. Не раз приходилось ему быть и четвёртым воеводой. Даже наместником во Псков он был назначен вторым при князе Василии Андреевиче Микулинском. Видать, не очень-то доверяли ему Василий Иванович и его супруга Елена Васильевна. Вот и разобиделся на них окольниковичий.

Кроме того, в палате были князя Иван Михайлович Воротынский и Богдан Александрович Трубецкой. Вместе со своим дядей Семёном Фёдоровичем Воротынским Иван Михайлович бил челом великому князю Василию Ивановичу, чтобы тот принял его под свою руку. Произошло это по возвращении Михаила Львовича в Литву после странствий по Франции, Италии и Испании. Лет Воротынскому немало, но никто не ведаёт о том: силён, крепок и статен князь, даже седины не видно в его тёмных кучерявых волосах. Ростом он невысок да в плечах широк, в бою бывал неукротим. Ещё в Литве подружился Глинский с Иваном Воротынским. Спустя полтора десятка лет после отъезда Воротынских на Русь они вновь встретились, теперь уже в Москве. Дружба их возродилась и с годами не слабела.

Иван Михайлович был женат на Анастасии Захарьиной, от которой имел трёх сыновей — Михаила, Владимира и Александра. Однако жена его двенадцать лет назад скончалась по болести, и тогда Воротынский женился на дочери боярина Василия Васильевича Шестунова. Сыновья Ивана Михайловича как на подбор — ловкие, способные к ратному делу. Михаил Львович любил их больше, нежели своего Ваську, которому было пять лет от роду. Василий Иванович, желая покрепче привязать литовского перебежчика к Русской земле, сразу же после освобождения его из нятства женил на пышнотелой, задержавшейся в девках дочери Ивана Васильевича Немого-Оболенского Марии. Молодая жена обожала своего пожилого супруга, всячески угождала ему и всё же не была любима им. Не любил он и рождённого ею через год после свадьбы сына Василия. А вот сыновей своего друга нередко баловал дорогими подарками.

Из всех присутствующих самым молодым был князь Богдан Трубецкой. По молодости лет да и по скромности своей он молчаливо сидел в дальнем углу.

— Трудные времена настали для нас, — обратился к гостям Михаил Львович, тщательно закрыв за собой дверь, — потому и позвал вас, надеясь услышать слова мудрости из уст ваших.

— Да, времена ныне худые, — согласился Семён Бельский, — и всё из-за чего?..

— Вестимо из-за чего, — прервал его Иван Ляцкий, — властью вас обделили. Никто не считается ни с Бельскими, ни с Ляцкими, ни с Глинскими. У власти ныне сосунок Иван Овчина да безвестные дьяки. Вертят они великой княгинею как хотят!

Лицо Михаила Львовича пошло красными пятнами.

— Как ни прискорбно, но это действительно так. Хотя великая княгиня из нашего славного рода, мы, Глинские, ныне не у дел. Верно молвил Иван Васильевич: власть держат те, кто недостойн её.

— Как же ты, Михайло Львович, муж многоопытный и умудрённый, допустил, чтобы твоя племянница поступала тебе в ущерб? — Семён Бельский пристально уставился на Глинского. Тот криво усмехнулся.

— Женщиной управляет не разум, а чувство. Чувства же не всегда бывают подвластны человеку.

— Выходит, кобель Овчина дороже великой княгине, чем все Глинские?

— Выходит так, Семён Фёдорович.

— Согласны ли вы, князья, помочь Михаилу Львовичу? — Семён Бельский спросил так, как будто он был главным среди собравшихся.

— Помочь мы согласны, — заговорил Иван Бельский, — только дело то непростое. Вороги наши сильны. Что будет, ежели Иван Овчина прознает о наших намерениях?

— Ныне Иван Овчина не так силён, как кажется, — произнёс Михаил Львович. — Ведомо мне: многие бояре недовольны тем, что большую власть взял он над великой княгиней. К тому же и силы у нас немалые, у каждого под рукой рать.

— Это верно, — вмешался в разговор Иван Ляцкий, — только мы, явившиеся сюда, должны быть уверены в том, что в случае успеха станем первыми около великого князя.

— Клянусь, — торжественно произнёс Михаил Львович, — что это так и будет.

— Тогда не станем мешкать. — Семён Бельский величественно поднялся. — Пусть каждый из нас приведёт в Москву из своих владений верных людей. Дней через пять, как только все будут в сборе, мы схватим Овчину и принудим великую княгиню поступать по нашей воле.

Более полугодом прошло с той ночи, когда Елена впервые познала любовь Ивана Овчины, но каждый раз она с нетерпением ждала его прихода. И дело было не только в интимной связи. Она была спокойна за себя и сыновей, если рядом был он, такой сильный, уверенный в себе, улыбочивый, внимательный. Утомлённая его ласками, Елена засыпала, положив руку на мерно вздымающуюся грудь, ощущая биение его сердца. Как убога была её жизнь без этой любви!

Летом 1534 года, как и обычно, Овчина был на береговой службе и поэтому не мог видаться с Еленой каждый день, но раз в седмицу обязательно наведывался в Москву. Вот и сегодня, в день Прохора и Пармёна [165], он явился к ней, и ласкам не было конца. И всё же Елена почувствовала его холодность и внутренне насторожилась.

— Уж не разлюбил ли ты меня, мой милый? — шутливо спросила, а в глазах мелькнула обида.

— Нет, — искренне возразил Иван, — чем лучше тебя познаю, тем больше люблю. Да только нынче тревога гнетёт меня.

Елена переполошилась.

— Что-нибудь случилось?

— Пока ещё нет.

— Коли что-то нежелательное может произойти, но ещё не свершилось, нельзя ли воспротивиться тому?

— Ведомо стало мне, что твой немец [166] замышляет против нас недоброе.

— Чем же мы не угодили ему? Разве не я освободила его из темницы, умолив великого князя?

— Михаил Львович относится к тем людям, которые мало ценят сделанное им добро. Он всегда стремился и стремится к неограниченной власти. Жажда власти и побуждает его к совершению дурных деяний.

— Что же он замыслил?

— Пока я был в Коломне, собрал он своих дружков, князей Бельских, Ивана с Семёном, Воротынского Ивана, Ивана Ляцкого да Богдана Трубецкого. Порешили они схватить меня, а тебя заставить творить по их воле.

— О, ты делаешь большие успехи! Давно ли противился тому, чтобы возле Андрея Старицкого были наши видоки и послухи, а ныне ведаешь, что творится в укромных покоях моего дядюшки.

— С волками жить — по-волчьи выть. К тому же по службе, как конюшему, положено мне ведать обо всем, что может угрожать великому князю и тебе, государыня.

— Уж коли помянул ты о службе, надлежит спросить мне, почему же ты медлишь при виде опасности? Нужно упредить врагов. Вели верным людям немедленно схватить их как изменников делу великого князя!

Иван подивился перемене, свершившейся в Елене. Только что, ласкаясь, она была в полной его власти, а сейчас смотрит холодно, не колеблясь, требует взять под стражу своего кровного дядю.

— Взять их не так-то просто. Держатся они купно. К тому же у каждого на подворье скопилось немало вооружённых людей. Моё же воинство в Коломне: не ведал я, в Москву направляясь, что здесь такое вершится.

— А что, если кликнуть на помощь верных бояр?

— Верных бояр не так-то уж много. Пока они позовут в Москву ратников из своих владений, твой дядюшка сумеет свершить задуманное.

— Ты говоришь об этом так спокойно, будто уже смирился со своей участью или решил, что всё это тебя не касается. Между тем Михаил Львович люто ненавидит тебя и сделает всё, чтобы предать самой жестокой казни. Я хорошо знаю, на что способен мой дядюшка! Что же нам делать?.. Придумала! Нужно заставить наших врагов покинуть пределы Москвы.

Ивана рассмешила её наивность.

— Их теперь из Москвы и дымом не выкуришь!

— Ничего, выкурим! Наутро нужно поднять на ноги всю Москву ложной вестью о нашествии литовцев или крымцев. Все бояре со своими ратниками обязаны будут выступить к Серпухову и Кашире на охрану рубежей наших. Пока они разберутся, что к чему, мы соберём в Москве своих людей.

Первоначально задумка Елены показалась Ивану несерьёзной, затем, однако, он изменил своё мнение.

— Ну что ж, давай подшутим над нашими злоумышленниками.

— Тогда приступай к делу. Помни: гонцов должно быть несколько: один пусть явится к дядюшке, а другой — к Шигоне. Михаил Львович обязан будет доложить мне о грозящей опасности. Ну а ежели не доложит о приближении Жигимонта, то будет пойман за единомыслие с ним. Ступай. Да покличь ко мне Аграфену.

Едва дверь закрылась за Иваном, явилась его сестра.

— Слушай, Аграфена: утром придут ко мне Михаил Львович Глинский да Иван Юрьевич

Шигона. Так ты первым пусти ко мне дядюшку, а Шигона, коли явится первым, пусть обождёт.

Аграфена до утра не сомкнула глаз. Странное что-то творится вокруг. Иван покинул Елену ни свет ни заря, пришёл и ушёл с думой на лице, да и княгиня чем-то встревожена, речь вела с ней, Аграфеной, какую-то неясную насчёт Глинского да Шигоны.

Первым явился во дворец Шигона. И тоже как бы не в себе, встревоженный. Потребовал немедленно доложить о нём великой княгине.

— Голубчик ты мой, Иван Юрьевич, так ведь солнышко только-только выглянуло, великая княгинюшка почивать ещё изволит. Вчера вечер головушка у неё разболелась, уж так она, бедная, маялась, ну просто беда. Заснула под самое утречко. Никак не могу я лишить её сна. Грешно, право.

Шигона с раздражением покосился на дородную Аграфену, подумал в сердцах: «Знаю, отчего государыня до утра не заснула, — с братцем твоим миловалась. Слух был, будто вчера он в Москву заявился, так, поди, первым делом под бочок к вдовушке».

Да только разве скажешь такое Аграфене. Тотчас же доложит Елене да своему братцу. А тогда жди немилости. Поэтому Шигона тяжело вздыхает и терпеливо ждёт, когда государыня соизволит проснуться да заняться важными государственными делами. Пробили часы на Фроловской башне. Все добрые люди давным-давно уже на ногах.

— Аграфена, встала, поди, великая княгиня. Никогда прежде так поздно не пробуждалась она. Да к тому же и дело у меня срочное.

— Иван Юрьевич, голубчик мой сизокрылый, — сладко запела Аграфена, — потерпи ещё чуток. Встало, встало наше солнышко — Елена Васильевна. Так ведь у нас, баб, сколько делов-то, прежде чем народу показаться: умыться, причесаться, наряды одеть. Скоро, совсем уж скоро кликнет тебя великая княгинюшка.

Шигона совсем изнервничался. Заслышав, что часы вновь пробили, торопливо подходит к Аграфене. В это время в дверях показался Глинский. Аграфена с любопытством уставилась на него. Да Михаил ли Львович явился? Глаза лихорадочно блестят, лицо жёлтое-жёлтое!

«Чегой-то они все взволновались вдруг?» — мелькнуло в голове.

— Михайло Львович, голубчик, Елена Васильевна ждёт тебя. Проходи, проходи, мой милый.

Шигона с негодованием и удивлением посмотрел на Аграфену, но смолчал.

— Доброе утро, Михаил Львович! — Елена приветливо улыбнулась. И гость даже не заподозрил, что она провела бессонную ночь, так свежо было её лицо, так спокойно и ясно смотрели на гостя большие тёмные глаза.

— Здравствуй, государыня.

— Какие новости на сегодня?

— Новости не совсем приятные. Прибыл ко мне гонец из Коломны от Дмитрия Фёдоровича Бельского с вестью о том, что Ислам-Гирей объявился на берегах Оки.

Елена изменилась в лице.

— Господи, оборони и спаси нас от свирепых крымцев! А сколько тысяч ведёт с собой Ислам?

— Гонец точно не ведает, татары только-только вышли к Коломне, но уверяет, будто их немало.

В палату вошла Аграфена Челяднина.

— Простите меня, что явилась без зова. Там, государыня, Иван Юрьевич Шигона рвётся к тебе, ну прямо удержу нет, говорит, будто дело у него срочное.

— Так что же ты, Аграфена, не пускаешь его ко мне? Зови и помни: дело прежде всего!

Тотчас явился Шигона.

— Государыня, прибыл гонец из Серпухова, рассказывает, будто Жигимонт двинул свои полки на Москву.

— Этого следовало ожидать. Ведь ещё весной наш посол Иван Челищев предупреждал о возможном нападении на Русь Ислам-Гирея. Он же писал великому князю о том, что Ислам ищет союза с Жигимонтом. Видать, сговорились наши вороги, а это для нас — большая опасность. Согласны ли вы со мной?

— И мы так же мыслим, государыня, — поспешно ответил Шигона.

— В таком случае нам надлежит принять все меры к защите отечества. К тебе, Михаил Львович, как к самому ближнему человеку обращаюсь: срочно проведай, достаточно ли укреплена Москва, много ли у нас пушек и иного воинского припаса.

Глинский, согласно кивнув головой, вышел.

— А ты, Иван Юрьевич, не мешкая собери боярскую думу. Да позови на сей раз помимо всех прочих Ивана и Семёна Бельских, Ивана Воротынского, Ивана Ляцкого да Богдана Трубецкого.

Михаил Львович явился в думу последним. Увидев среди собравшихся братьев Бельских, Воротынского, Ляцкого и Трубецкого, он удивился и обеспокоился, но Елена не позволила развиться его мысли.

— А вот наконец и Михаил Львович пришёл. По воле великого князя он смотрел, хорошо ли укреплена Москва на случай нападения врагов. Нынешним утром князь первым принёс весть о разбойном нападении крымцев на Коломну. Впрочем, пусть он сам поведаёт нам о том, что свершилось.

— Утром прибыл ко мне гонец от воеводы московского Дмитрия Фёдоровича Бельского с вестью о том, что около Коломны появились толпы татар. Точное их число пока неизвестно.

— Ко мне только что явился гонец с новыми вестями: наши разъезды подсчитали, что Ислам привёл на Русь пятьдесят тысяч всадников, — добавил Иван Овчина.

— Сила немалая, — вздохнул Василий Васильевич Шуйский. — С такой силищей можно и саму Москву одолеть, не только Коломну и Серпухов.

— Не верится мне, — усомнился Тучков, — что Ислам смог привести на Русь столько людей. Орда разделилась между Исламом и Сагибом. К тому же Ислам совсем недавно возвысился

над Сагибом, ему нельзя надолго покидать Крым.

— Мы не выслушали ещё вести, полученные Иваном Юрьевичем Шигоной, — остановила Тучкова Елена. — Он поведал мне утром, будто к Серпухову движутся Жигимонтовы полки.

— Надобно было заключить длительный мир с Жигимонтом, как я и советовал, тогда бы мы не оказались перед лицом двух врагов. — Михаил Юрьевич Захарьин произнёс это очень тихо, но Елена услышала его слова и усмотрела в них оскорбление для себя и потому, хотя ссора с Захарьиным была сейчас очень некстати, не смогла сдержаться:

— Жестокие беды терпим мы от Жигимонта. До нас дошли вести, что его гетман Юрий Радзивилл вместе с татарами опустошили окрестности Чернигова, Новгорода-Северского, Радогоща, Стародуба, Брянска. И все эти беды проистекают от советов твоих, Михаил Юрьевич, да Дмитрия Фёдоровича Бельского. Покойный великий князь Василий Иванович велел вам да дьяку Григорию Путятину вести литовские дела. Вы же вершили их так, что позволили Жигимонту укрепиться и наносить нам большой урон. Потому великий князь Иван Васильевич устраняет тебя, Михаил Юрьевич, да Григория Путятину от ведения литовских дел.

«Так их, Елена!» — возрадовался Михаил Львович. В душе его зародилась надежда, что наконец-то правительница одумалась, решила удалить от себя недостойных советников, а его поставить на их место.

— Кто же будет вести литовские дела? — спросил Тучков. Елена ответила уклончиво:

— Тот, с кем вынужден будет считаться Жигимонт. Глаза её и Ивана Овчины встретились. Конюший едва заметно согласно кивнул головой.

— Когда мы посылали Тимофея Заболоцкого в Литву, то хотели, чтобы Жигимонт отправил своих больших послов в Москву для заключения мира. Он же вместо того прислал опасную грамоту для наших послов. Кроме того, он сказал Заболоцкому: «Хочу быть с великим князем в богатстве и приязни точно так же, как отец наш Казимир король был с дедом его, великим князем Иваном Васильевичем. И если он на этих условиях захочет быть с нами в братстве и приязни, то пусть шлёт к нам своих великих послов, да чтоб не медлил». Мог ли великий князь согласиться с этим? Со времён Ивана Васильевича и Казимира много воды утекло. Великий князь Василий Иванович на иных условиях договаривался с Жигимонтом. Вот на этих условиях мы и должны вести речи с Жигимонтом, в противном случае нам пришлось бы отказаться от Смоленска и иных наших владений. А Михаил Юрьевич с Дмитрием Фёдоровичем толкали нас на уступки Жигимонту, с чем великий князь Иван Васильевич никак не согласен.

Иван Овчина любовался Еленой: лицо её разрумянилось, глаза блестели.

— А как же нам быть, государыня, с гонцами из Серпухова и Коломны? — напомнил Тучков.

— Великий князь Иван Васильевич решил отправить в Серпухов для обороны города от Жигимонта боярина Семёна Фёдоровича Бельского и окольного Ивана Васильевича Ляцкого, а в Коломну супротив татар — воеводу Ивана Фёдоровича Бельского, князей Ивана Михайловича Воротынского да Богдана Александровича Трубецкого. Мужики они добрые, пусть поспедают навстречу врагам.

Услышанное сильно обеспокоило Михаила Львовича.

— Государыня, позволь и мне отправиться на поле брани под Серпухов или под Коломну. Опасность велика!

— Именно потому и оставляю тебя в Москве для защиты юного великого князя.

— А конюший? — невольно вырвалось у Глинского.

— Иван Овчина тоже пока останется в Москве. — Елена улыбнулась князю самой обворожительной своей улыбкой, обнажив острые ровные белые зубки.

«У лисы, когда она скалится, точно такие же зубы видны», — подумалось Михаилу Львовичу.

Глава 8

В самом конце июля на смену знойным дням пришли умеренно-погожие дни с кратковременными дождями, духовитыми вечерами, ясными утренними зорями. В такую пору при виде созревающих хлебов, буйной зелени лесов в душе русского человека устанавливается особая ясность, покой. Угомонились прилётные птицы, вывели потомство и теперь жируют перед дальней дорогой. Зовут их в путь неспешно плывущие в безбрежной сини пышные ослепительно белые облака. А по ночам беззвучно полыхают зарницы, будто кто-то бродит среди полей и время от времени наклоняется над нивой, чтобы определить, спелы ли колосья.

С Петрова дня вдоль дорог загорелись голубые чаши на гибких длинных хлыстах. Потому называют эту траву петровыми батогамы [167]. С утра до вечера её соцветия обращены к дневному светилу, смотрят на него, не насмотрятся. И так на протяжении всего июля. А рядом желтеют тугие соцветия полевой рябинки [168]. Листья у неё уж больно похожи на рябиновые, потому эту траву так и прозвали. Зацветает она в июле и до самой осени украшает обочины тропок и дорог. Разотрёшь в руке жёлтую пуговку, и резкий запах шибанёт в нос. А вот порезная трава [169] заслонилась от солнца щитком из белых цветков. В народе бают, будто соком этой травы травознаи излечили внука Дмитрия Донского, страдавшего от носовых кровотечений. Крутом такая благодать, что сердце переполняется радостью и с трудом верится в то, что среди этих благоухающих трав можно обрести смерть от стрелы, пущенной неприятелем.

Александр Воротынский, ещё безусый, по-юношески гибкий, с распахнутыми от удивления глазами под круто изогнутыми бровями, пришпорив коня, далеко обогнал группу неспешно трусивших нарядно одетых всадников.

— Сашко! Не гони шибко, на татар наскочишь.

Юноша, услышав крик брата, обернулся. Съехались, дружелюбно улыбаясь друг другу. Владимир снял шелом, тёмные длинные волосы кольцами рассыпались по плечам. Братья отличались годами и внешностью, каждый был красив по-своему. Владимир — в отца, настоящий уже воин, крепкая грудь выпирает из-под кольчуги. И рука, сжимающая шелом, крупная, сильная. А взгляд ещё юношеский, шаловливый.

— Сашко, давай пустим стрелы вон в то дерево, узнаем, кто из нас метче.

Не слезая с коней, натянули луки. Стрела Владимира вонзилась в ствол, Александра постигла неудача. Выпустили ещё по две стрелы. Все они угодили в цель.

— Молодец! — похвалил брательника Владимир.

Наперегонки помчались собирать стрелы. Оказалось, дерево росло на обрыве, а внизу раскинулось селение. От домов к реке бежали голые люди: мужики, бабы, дети и старики-все

вместе. Вот толпа вошла в воду. Священник с берега осенял купавшихся крестом.

— Что это? Неужто татары на них напали?

Владимир прыснул от смеха.

— Не татары это, а первый Спас. После крестного хода народ в ердане купается. — Юноша с любопытством рассматривал девушек, стоящих в воде.

Когда люди выбрались из воды и оделись, к селению подъехали князя Иван Бельский, Иван Воротынский и Богдан Трубецкой со свитой. Тотчас же их окружила толпа селян.

— Что же это вы так беспечно купаетесь в ердане? Разве не ведаете, что татары близко? — спросил их Бельский.

— Какие татары?

— Слуха о татарах не было!

— В Москве гонец был, сказывал, что татары под Коломной объявились.

Коломна была рядом, потому люди переполошились. Священник успокаивал их:

— Ежели бы на самом деле пришли татары, то нас огнями оповестили бы или гонца прислали. А коли ни того ни другого не было — значит, татары вспять повернули.

Так же решили и воеводы.

Въезжая под вечер в Коломну, путники не обнаружили следов тревоги. Пастухи гнали с пастбища коров, а хозяйки, стоя возле домов, окликали своих бурёнок:

— Милка, Милка, да куда ты запропастилась, стерва!

— Зорька, подь сюды, моя милая!

Подъехали к дому Бельского — ветхому сооружению со множеством пристроек, из которых при виде гостей тотчас повыскакивали люди. На красное крыльцо вышел — словно колобок выкатился — приветливо улыбающийся Дмитрий Фёдорович Бельский. Он крепко обхватил толстыми ручищами брата. Иван Фёдорович от такой нежности поморщился.

— Татары уже ушли?

— Какие татары?

— Те самые, о которых ты через гонца оповестил Михаила Львовича Глинского. — В словах Ивана Фёдоровича звучало раздражение.

Дмитрий Фёдорович растерянно топтался на месте.

— Не посылал я гонца к Михаилу Львовичу, вот те истинный крест.

— Не посылал, говоришь? А откуда же он появился в Москву?

— Не ведаю, братец.

— Так татар не было?

— Не было. Никто их не видел, Ваня. Правда, в мае толпы татар появились в рязанских местах на Проне-реке, так ведь князя Семён Пунков с Гатевым побили их наголову.

— Это всё он!

— Кто «он»?

Иван Фёдорович, ничего не ответив брату, направился в свою палату. Следом вошли Иван Михайлович Воротынский, Богдан Александрович Трубецкой и Владимир Воротынский. Александра Иван Фёдорович остановил в дверях:

— Ты пока погуляй, мальй...

— Вот так втюрились мы! Ловко нас Овчина провёл: кого в Серпухов послал, кого в Коломну, а кого в Москве оставил. Без ножа разрезал на три части, — произнёс Воротынский-старший.

— Надо бы в Москву немедля воротиться.

— Лета не те у нас, Богдан, чтобы без сна туда-сюда мотаться. А вот гонца к Глинскому послать следует. Кого пошлём?

— Да Володьку моего и пошлём. Поедешь, сынок, в Москву?

— Поеду, отец.

— Иван Фёдорович, грамоту напишешь или устно что велишь ему передать Михаилу Львовичу?

— Не будем терять время на грамоту. Ты, Владимир, устно скажи: обхитрил нас Иван Овчина, гонец от Дмитрия Фёдоровича Бельского с вестью о пришествии татар оказался ложным. Его послал сам Овчина, а может, ещё кто. Поведай также, что мы завтра по росе возвращаемся в Москву, чтобы свершить над Овчиной суд праведный. По делам своим он заслуживает самой лютой казни. Ложный гонец дорого ему обойдётся!

— Иван Фёдорович, пусть Михаил Львович срочно пошлёт гонца в Серпухов к Семёну Фёдоровичу да Ивану Васильевичу, чтобы они тоже возвращались в Москву.

...Семён Фёдорович Бельский и Иван Васильевич Ляцкий в сопровождении ближних людей подъезжали к Серпухову. Справа от дороги среди зарослей кустарников поблёскивали воды Нары. К самой воде сбегали домишки посада, так называемый Подол. Это лишь небольшая толика обширного серпуховского посада, три части которого называются Ильинская, Егорьевская и Фроловская. На холме, высоко поднявшемся над рекой, стоит серпуховская крепость. За Нарой-рекой видны избы Благовещенской и Зелёной слободы. Два десятка церквей украшали город, а на его окраине рядом с начинающимся бором стоял Владычный монастырь с каменным собором Введения во храм и трапезу. К обители примыкала подмонастырская слободка.

Велик Серпухов, богат, славен железных дел мастерами, кожевниками и гончарами. Серпуховский уклад [170] везли в Москву и Тулу, Вологду и Устюг, в белозерский край. Потому серпуховчане с гонором, самомнением норовят самой Москве подражать: в Москве торжище находится у Фроло-Лаврских врат, а в Серпухове — у церкви Фрола и Лавра; главные же ворота, как и в Москве, прозываются Фроловскими.

— Чует моё сердце, Иван, что поездка наша добром не кончится. — Семён Бельский остановил коня. — В городе тихо, литовцами не пахнет. Надо бы подушечку подложить, чтобы мягче упасть.

— О чём это ты?

— Да о Жигимонте. Ну как Овчина пронюхал о нашем сговоре с Глинским? В таком разе от

греха подале нам следует в Литву податься.

— Как бы нам в Литве хуже не стало.

— О том тоже надлежит позаботиться. Нужно немедля отправить Жигимонту грамоту, что ежели он хорошо примет нас, то многие князья и дети боярские, не желающие служить пеленочнику, последуют за нами.

— Хорошо удумал, Семён.

— Тогда пишем грамоту, отправляем её Жигимонту, а уж потом вступаем в Серпухов. А то один Бог ведает, что ждёт нас в этом граде.

Сменив коня, Владимир отправился в обратный путь. Мысль, что ему доверено знатными людьми столь важное дело, пьянила голову. Встреча с татями или лесными обитателями не страшила его.

Михаил Львович выслушал гонца внимательно и, не произнеся ни слова, позвонил в колокольчик. Тотчас же в палату вошёл щеголевато одетый бравый молодец.

— Вот что, Николай, ты хорошо разглядел гонца, приехавшего на днях из Коломны от Дмитрия Фёдоровича Бельского?

— Помню, Михаил Львович, усатый такой, глаза небольшие под густыми бровями. Ростом высок.

— А на лбу с правой стороны родинка. Так?

— Да, была у гонца родинка на лбу, добрая у вас память, Михаил Львович.

— Вот этого самого гонца нужно разыскать во что бы то ни стало. Возьми людей и с ними всю Москву переверни, а найди его. Он, оказывается, и не из Коломны вовсе. Проведай, нет ли оного среди людей конюшего Ивана Овчины. Да пошли гонца в Серпухов к князю Семёну Фёдоровичу Бельскому с сообщением, что весть из Коломны оказалась ложной: не было под Коломной татар. Пусть сообщит немедля, как у них в Серпухове, были ли литовцы.

— Слушаюсь, господин. — Николай подчёркнуто вежливо поклонился и вышел.

— Спасибо за службу, — обратился князь к Владимиру. — Пока ступай, притомился, поди, с дороги.

Княжич и вправду валился с ног. Глаза его слипались. Сев на коня, он неспешно направился к своему дому.

Смеркалось. Темнота ласково обволакивала деревья, избы, амбары, храмы, сглаживая их очертания. Солнце давно уже скрылось, а края облаков всё ещё горели, словно их раскалили в огнедышащей небесной печи. Умиротворённо лаяли собаки, галдели ребятишки. Неожиданно конь остановился. Его держал под уздцы рослый детина.

— Вот этот парень и прикончил вчера Емельку-купца. А ну слазь!

— Никого я не убивал, — ответил Владимир и дёрнул за поводья. Конь, однако, не сдвинулся с места, в руках детины была сила немалая. Десяток таких же молодцов окружили всадника.

— Где решёточный прикащик [171]? Слазь, парень, подобру-поздорову. Коли не ты убил Емельку, так решёточный прикащик тебя отпустит. Мы слуги великого князя.

Владимир повиновался. Его втолкнули во двор, огороженный высоченным забором, ввели в избу с наглухо закрытыми окнами.

— Разболокайся! — приказал детина.

Владимир, решив, что это грабители, рванулся и сильно ударил детину в поддых. Тот схватился за живот и, скривившись от боли, присел. Тотчас же остальные кинулись на княжича, но он, крутанувшись, разметал их по избе. Детина поднялся и с перекошенным лицом двинулся на Владимира.

— Ну, от меня-то ты не уйдёшь!

Юноша шагнул ему навстречу, но кто-то подставил ногу, и он, споткнувшись, упал. Детина ловко скрутил ему руки.

С пленника сняли всё, кроме исподних полотняных портов, и в таком виде спустили по лестнице в подвал, подвели к стене и при помощи ремней закрепили в распятом положении.

Владимир осмотрелся. Справа за грязным столом сидел писарь и со скучающим видом чинил перо. Слева пылала какая-то странная печь, а перед ней на низком приступочке были разложены железные прутья, клещи, сверкающие лезвиями ножи. Полуобнажённый человек с могучей грудью лениво шевелил кочергой угли. Молодцы, приведшие Владимира, удалились.

«Где же это я? Уж не в преисподней ли? Или, может, во сне видится мне всё это?»

— Как тебя звать, молодец?

Владимир вздрогнул. Перед ним стоял неизвестно откуда взявшийся человек в чёрном одеянии. Взгляд у него липкий, блудливый.

— Владимир княж Воротынский сын Иванович.

— Знатная птичка ко мне прилетела. Пошто приходил к Михаилу Львовичу Глинскому? — Вопрос прозвучал резко, отрывисто, словно бич щёлкнул.

Владимир вспомнил наставления отца.

— Много знать будешь — скоро состаришься, — спокойно произнёс он.

Допытчик с удивлением уставился на него.

— Да знаешь ли ты, сволочь, куда попал? Молодой князь побелел от обиды.

— Сам ты сволочь!

В подвале установилась чуткая тишина, слышно было, как потрескивают в печи уголья. Писарь отложил очищенное перо, с любопытством уставился на пытаемого. Человек в чёрном подошёл совсем близко, проговорил хрипло:

— Я тебе покажу «сволочь»! Ты у меня, щенок, на всю жизнь запомнишь эту ночь. — Почти без замаха он сильно ударил в поддых. Красные шары поплыли перед глазами Владимира. Он из всех сил рванулся, но путы прочно удерживали его руки и ноги.

— Теперь, поди, припомнил, зачем приходил к Глинскому?

— Нет!

И вновь сильный удар в живот. Закружилась голова.

— Вспомнил?

— Пока я жив, ты не услышишь, зачем я приходил к Михаилу Львовичу.

— Ха-ха! Да мы из тебя такое сделаем, что тебе самому жить на белом свете не захочется. Эй, Кузьма, подай мне клещи, я у этого красавца нос откушу.

Полуобнажённый Кузьма сунул в печь клещи с длинными рукоятками, а когда концы их раскалились добела, подал человеку в чёрном. Тот медленно стал приближать клещи к лицу Владимира.

— Ну так ты скажешь, сволочь, зачем приходил к Глинскому?

— Сам сволочь! И тебе, сволочи, никогда не доведётся услышать, зачем я приходил к Глинскому.

— Стой, Савелий! — прозвучал в подвале громкий голос. И в самый раз: кат почти ухватил раскалёнными клещами нос княжича. — Ступай прочь! Эдак вы тут всех русских красавцев перекалечите. Некому будет плодить настоящих воинов.

Писарь угодливо захихикал. Савелий, скрипнув зубами, швырнул клещи на приступок печи. Громко хлопнула за ним дверь.

— Экий ты ладный, парень. — Овчина острым ножом перерезал ремни, удерживавшие руки и ноги Владимира — Ведаешь, кто я?

— Ведаю. Иван Фёдорович Овчина ты, конюший.

— Вот и хорошо. Я тебя тоже знаю, Владимир Воротынский. Напрасно тут Савелий допытывался, зачем ты явился к Глинскому, мне и без того всё ведомо. Смотри мне в глаза! Мужик ведь, а не баба! Глинский вкупе с братьями Бельскими, князем Трубецким и твоим отцом замыслил убить меня. Так? Гляди мне в глаза!

— Да.

— И ты единомыслен с ними?

— Да.

— А скажи, Владимир, разве я сделал тебе нечто плохое, что ты готов прикончить меня?

— Нет.

— Так, может, отцу твоему, князю Ивану Михайловичу Воротынскому — славному русскому воину, я чем-то навредил?

— Нет.

— Так за что же вы хотите лишить меня живота? Владимир густо покраснел.

— Смотри мне в глаза!

— Про тебя многие говорят плохо, потому что... ну в общем, из-за великой княгини...

— Скажи, Владимир, у тебя есть девушка? Юный князь смутился ещё больше.

— Есть.

— И ты любишь её?

— Люблю.

— А ежели на твою девушку насильники нападут, ты домой убежишь?

Владимир сжал кулаки, в глазах его плеснулось негодование.

— Нет! Умру, а Ксюшу в обиду не дам!

— Молодец! Так и должно быть. Для того и мужик, чтобы слабую бабу защищать. Вот и я, Владимир, люблю великую княгиню, как ты свою Ксюшу. Кстати, — конюший лукаво улыбнулся, — это какая же Ксюша-то, уж не Ивана ли Васильевича Ляцкого дочка?

Лицо княжича словно огнём опалило.

— Видел её, знатная девица. Всем взяла: и статью, и на лицо хоть куда. Да не о ней сейчас речь... Великая княгиня тоже меня любит. Так ведь не в любви только дело. Поклялся я крепить дело юного великого князя и его матери, защищать их от происков врагов. Что же в этом плохого? И ежели вы, дружки Михаила Львовича Глинского, удумали убить меня, то тем самым вы взяли порушить дело великого князя. Вот почему ты здесь оказался. Потому как замыслил противозаконное дело. Неясно мне, ты-то как стал дружком Глинского и братьев Бельских? Ты — русский человек, а они пришлые люди, вот их и мотает ветром в разные стороны: то туда, то сюда. Ведомо ли тебе, что Ивана Бельского покойный Василий Иванович в темнице держал?

— Ведомо. — Владимир внимательно слушал конюшего.

— А за что? За то, что в ратном деле нерадив был, с татарами сговор имел, чем Русской земле немалый ущерб нанёс. Михаил Глинский тоже ведь немало лет в темнице скучал. И всё из-за неукротимой, гордыни. Человек он видный, знающий, свет повидавший, в ратном деле преуспевший. И потому литовский великий князь Александр души в нём не чаял, полгосударства ему в управление отдал. А тому всё мало. После смерти Александра очень хотелось Михаилу Львовичу занять его место, да паны радные, видя чрезмерное честолюбие князя, избрали великим князем Жигимонта. И тогда обиженный Глинский ударил челом Василию Ивановичу, чтобы тот взял его под свою руку. Только ведь Русь — не Литва. И городов и людей здесь поболее. Потускнела на Руси звезда Михаила Львовича, и тотчас же он в бега ударился, назад в Литву восхотел. Ему всё равно кому служить — в Литве или на Руси, — лишь бы власти поболее иметь. Исконно русскому человеку поступать так непристойно. Вот ты и помысли: кого в дружки себе взял. А теперь скажи: явились вы в Коломну и узнали, что Дмитрий Фёдорович Бельский гонца в Москву не снаряжал. Так?

— Да.

— И тогда пожелал Иван Бельский послать тебя в Москву к Михаилу Львовичу Глинскому.

— Да.

— Был ли в единомыслии с вами воевода Дмитрий Фёдорович Бельский?

— Нет. Иван Фёдорович не позвал его к себе для беседы.

— Намеривались ли князя, бывшие в сговоре с Глинским, возвратиться в Москву?

— Да.

— Ты грамоту передал Михаилу Львовичу или устно сказывал?

— Устно сказывал.

— И что же тебе ответил Михаил Львович?

— Ничего.

— Ничего?

— Спасибо сказал и велел спать идти.

— Никто не был во время вашей беседы в палате Михаила Львовича?

Владимир замешкался с ответом.

— Смотри мне в глаза! Кого призывал Михаил Львович?

— Слугу своего, какого-то Николая.

— И что велел ему?

— Велел сыскать ложного гонца.

— Ясно. Что ещё приказывал Глинский Николаю?

— Приказал послать гонца в Серпухов.

— К Семёну Бельскому?

— Да.

— Всё?

— Всё.

— Спасибо тебе, коли всё сказал без утайки. Ты провинился перед великим князем и потому будешь наказан малой казнью: поведут тебя по торгу и станут бить путами [172]. Отец же твой, Иван Бельский и Богдан Трубецкой будут посажены за сторожи. Они взрослые люди и ведали, что творят.

— Брата моего, Сашку, не наказывайте, он ни в чём не виновен.

— Молодец, что брата своего любишь и защищаешь. По молодости лет мы его прощаем. — Иван Овчина повернулся к писарю. — Пытать пытайте, а ломать людей не смейте!

На Исакия Малинника [173] Семён Бельский отправился во Владычин монастырь. Игумен — ветхий старичок с крючковатым носом и округлыми, словно птичьими, глазами на безбровом лице — встретил князя подобострастно: не каждый день в его обитель являются столь важные особы.

— Обитель нашу заложил сам митрополит Алексей. — Звонкий голос старца гулко звучал под сводами каменного собора. — Святой был человек, чудотворец. Он вельми много трудился над украшением земли Русской монастырями, собирал силы для одоления нехристей бусурманских...

После службы в соборе Введения во храм и трапезы Семён Бельский вышел на крыльцо.

Порыв холодного ветра обдал его каплями дождя.

— На Исакия вихри — к крутой зиме, — произнёс игумен при виде пригнувшихся к земле деревьев.

— Спаси тебя Бог, святой отец. Молись за меня. — Князь сунул старцу увесистый кошелёк.

— Каждый день буду просить Господа Бога о даровании благодати рабу Божию Симеону. Каждый день...

Семён, тяжело опираясь на посох, сошёл с крыльца и медленно направился по дорожке, протоптанной среди сосен. Неожиданно из-за дерева выступил человек с протянутой рукой, гнусаво затынул:

— Подай милостыньку ради Христа...

Бельский сунул в протянутую руку мелкую монету и хотел было пройти мимо, но человек заступил ему дорогу.

— Спаси тебя Бог, боярин, за щедрость, позволь передать весточку от короля Сигизмунда.

Семён Фёдорович, приняв грамоту, поспешно спрятал её под одежду.

— Здоров ли Жигимонт?

— В здравии пребывает.

— Не велел ли он передать мне что-нибудь устно?

— Велел сказывать, что ждут тебя и Ивана Васильевича Ляцкого с нетерпением. Земли, тебе принадлежавшие, тебе же и возвращены будут. Когда ждать тебя?

— Придёшь ко мне под вечер. Мы с Иваном Ляцким дело это обмыслим и скажем тебе, как намерены поступить.

Человек кивнул и словно растворился среди деревьев. Бельский ускорил шаги. Выйдя из леса, увидел торопливо идущего навстречу Ляцкого.

— Что стряслось, Иван?

— Явился гонец из Москвы от Михаила Львовича Глинского. Оказывается, и из Коломны весть была ложной — татар там не видели.

— Выходит, обхитрил нас Иван Овчина. Что же делать будем? Я вот тут грамоту от Жигимонта получил. Ждёт он нас с тобой, Иван. Или в Москву воротимся?

— В Москве нас тотчас же схватят и упекут за сторожи. Негоже, Семён, в Москву возвращаться.

— И я так же мыслю. Эх, жаль, отпустил я до вечера гонца Жигимонтова, а то и отправились бы к королю тотчас же. Чего мешкать?

— Я здесь, паны. — Человек, вручивший Бельскому грамоту, появился из-за деревьев.

— Вот и хорошо, что ты здесь. Сейчас же сядем на коней и в путь.

Авдотья разбудила безмятежно спавшего зятя.

— Слышь, Афонюшка, по всей Москве только и разговоров, что о татарском нашествии. Бают, будто проклятуший Ислам столкнулся с Жигимонтом и идут они оба с невиданной силой на Москву. Будто бы гонец из Серпухова доставил ту весть великому князю.

— Не будет никакого нашествия, — спокойно ответил Афоня и перевернулся на другой бок.

— Откуда тебе знать, Афонюшка?

— Конюший сказывал, он обо всем ведает.

— Будет или не будет нашествие, а всё равно страшно: великий князь юн. То ли дело было при покойном Василии Ивановиче! Жили как за каменной стеной.

— А разве при Василии Ивановиче татары не хаживали на Русь?

— Случалось, приходили на Русь татары, так ведь Василий Иванович всегда гнал их в шею. А нынче кто нас оборонит?

— А великая княгиня на что?

— Баба — она и есть баба, что тут говорить. Да ещё грешница великая. Не успела мужа схоронить, Василия Ивановича, а уж с конюшим схлестнулась. Придут татары или не придут, а побережься не помешает. Бережёного, говорят, и Бог бережёт. Надо бы хоть добро собрать да припрятать. Придёт татарин, куда мы денемся, старые да малые?

Семья у Афони немалая, и все мужики. Зимой Ульяна двойню принесла — Мирона с Нежданом, а Якимка с Брошкой раньше родились.

— Ты бы, Афонюшка, на торг ходил, — донёсся с печи голос Петра, — там все вести сразу проведаешь, узнаешь, идут татары или нет. Да попытай, какие цены нынче установились на всё. Коли хлеб свежий не дорог, можно было бы прикупить.

Не хотелось Афоне на улицу выходить, сердце, видать, чуюло беду, да не посмел он перечить тестю, которого любил и почитал за отца родного. Потому быстро оделся — и за дверь. Только за калитку вышел, как тут же нос к носу столкнулся с рыжим кожемякой Акиндином, жившим через два дома от него. Незнамо почему невзлюбил Акиндин Афоню сразу же, как только тот поселился в Сыромятниках, и при каждой встрече говорил ему что-нибудь плохое. Ну а как выпьет хмельного, так и драку затеять готов, грозит здоровенными кулачищами. Афоня на рожон не лез. Не потому, что кулаков Акиндиновых боялся, — хотелось мирно-любо с соседом жить. Кое-кто из соседей намекал: дескать, оттого Акиндин на новосёла взъелся, что на Ульяну когда-то засматривался, а та Афоню ему предпочла.

— Эй, Афоня-воин, не тебя ли тут тиуны выискивали? Сказывали, будто прикинулся некий человек гонцом из Серпухова и почал в народе слух ложный пущать, будто идут на Москву татары. Народ взбаламутил, а сам исчез И человек тот на тебя, Афонька, похож: такой же усатый, бровастый, а на лбу родинка. Я им и говорю: так это же сосед мой ложным гонцом прикинулся, народ взбаламутил. Жаль, не поверили мне: пьян, говорят. А то увели бы тебя в земскую избу да клеймо приляпали бы на твою рожу. Ха-ха...

— Пьян ты, Акиндин, потому и мелешь языком, что Емеля. Ступай, отоспись!

— А ты мне не прикащик! Я тебя сам как-нибудь прикончу, попадись мне в глухом месте. У... у... сволочь!

Афоня незаметно огляделся по сторонам. Казалось, никто не обратил внимания на их перепалку. Только один человек показался подозрительным. Увидел, что Афоня на него смотрит, и отвернулся. Идти на торг расхотелось. Надо бы конюшого проведать, предупредить его о словах Акиндина. Случись что, Иван Овчина заступится. И Афоня направился в сторону Варварки.

Пройдя сотню шагов, он оглянулся и увидел, что сзади идут трое, среди которых и тот, показавшийся ему подозрительным. Афоня прибавил шагу. Только бы миновать глухое место между Сыромятниками и Солянкой, выйти на многолюдную Конскую площадь — и тогда ищи-свищи в поле, можно легко схорониться в толпе.

— А ну стой! — услышал он резкий крик. Перед ним как из-под земли выросли трое.

«С шестерыми не сладить, надо на время покориться, а там, может быть, что и придумаю».

— Чего вам, ребята?

— Ищем мы человека, который народ мутит, страшает людей ложной вестью о приходе татар. И ты с тем человеком очень схож.

— Не мутил я народ, вот вам истинный крест! А чьи вы, ребята, будете?

— Из земской избы мы, — ответил щеголеватый молодец, улыбаясь.

— Слышал я, будто уже поймали того человека, которого вы ищете.

— Коли поймали — значит, тебя отпустим. А пока ступай с нами и зубы нам не заговаривай.

— Ну раз велите, пошли до земской избы, там правда сыщется.

Совсем немного прошли, сзади подкатила крытая повозка.

— Садись! — приказал щеголеватый молодец.

В тесном возке было душно. Сквозь крохотные щели трудно было рассмотреть, куда они держат путь. По голосу возницы, временами тихо переговаривавшегося с щеголеватым молодец, Афоня решил, что это люди из Литвы.

«Не иначе как в лапы Михаила Львовича Глинского угодил. Много о нём нехорошего по Москве бают. Не человек — зверь. Пощады от него не жди. Да что же это творится на белом свете? Сколько раз ходил против ворогов- цел-невредим остался, даже стрелой не оцарапало ни разу. А тут среди ясного дня хватают тебя прямо на улице и волокут Бог весть куда, погибели ждать приходится. Денёк-то вон какой пригожий, по примете. На Андрея Стратилата [174] — день тепляка. Так говорят в народе. Ныне и в самом деле тепло. От такого тепла овсы быстро доспевают. Не зря сказывают: «Стратилатов день пришёл — овёс дошёл».

Возок въехал во двор большой усадьбы, окружённой глухим забором, и остановился в дальнем углу возле сарая. Афоню втокнули в сарай, скрутили ремнём руки и ноги. Двери захлопнулись. Спустя непродолжительное время загремел замок, двери широко распахнулись, и в проёме показался Михаил Львович Глинский. Торопливо, почти бегом, подскочил к пленнику и впился в его лицо тёмными, лихорадочно блестящими глазами.

— Он! — коротко произнёс князь и, размахнувшись, изо всех сил ударил Афоню по лицу. Глинский бил остервенело, истерично, поспешно и потому вскоре притомился, но сгоряча не заметил этого и продолжал наносить удары. Жёлтое лицо его стало пунцовым, казалось, что он вот-вот расплчется.

Афоня терпеливо ждал, когда старик окончательно лишится сил, и лишь косился на его послужильцев, которые могли вскоре сменить Михаила Львовича. Вот тогда-то ему не поздоровится.

Неожиданно в воротах громко закричали, и вскоре в проёме дверей показался Иван Овчина, за спиной которого кучно стояли вооружённые люди.

— Михаил Львович, кого это ты тут избиваешь? — Овчина говорил спокойно, с насмешкой. — Кончай это дело, да пойдём, дорогой, в ту самую темницу возле великокняжеской конюшни, где ты провёл немало дней. Она по тебе дюже соскучилась.

Глинский в изнеможении повалился на чурбак, обхватил лицо руками.

— Господи, за что караешь меня, грешного... всю жизнь я стремился... стремился к власти... по заслугам своим, а чего достиг? Видать, под несчастливой звездой я родился. Казалось, вот она, цель моего бытия! А пришёл этот вислоусый — и всё прахом пошло, рассыпалось как песок. И так всю жизнь: все мои тщательно обдуманые намерения рушились от нелепой случайности... — Между узкими пальцами текли слёзы.

— Нет, Михаил Львович, не случайности тебя доконали. Ты — носитель зла, а люди, сама сыра земля, звери в лесах, птицы в небесах, рыбы в водах зла не приемлют. Вспомни хоть одну сказку, где зло над добром торжествует, — нет такой! И в жизни так же бывает. Зло лишь на время может одолеть добро.

— Лжёшь ты, Овчина! В молодости не помышлял я о зле, о мести кому-либо. Это люди крутом словно лютые звери...

— В молодости потому и встречали тебя с распростёртыми объятиями всюду. Любили тебя и курфюрст саксонский Альберт, и император австрийский Максимилиан, и даже литовский Александр. Но ты, получив от Александра во владение пол-Литвы, замахнулся на большее и для достижения своей цели прибег к помощи зла и насилия. Вот оно — начало твоего конца. Вставай, князь, темница ждёт тебя.

Воины увели Михаила Львовича. Овчина вместе с Афоней вышли из сарая.

— Здорово досталось тебе, Афоня?

— Не очень. Яростно колошматил меня князь, да сил в его руках немного уже.

— Это злоба всю силу у него съела, а в молодости, говорят, удал был. Восхищаюсь тобой, Афоня, ловко ты сумел прикинуться ложным послом, даже эта старая лиса ни о чём не догадалась.

Афоня пожал плечами.

— Дело нехитрое, не раз мне гонцом приходилось быть, сам ведь нередко посылал.

— Спаси тебя Бог за усердие, за помощь юному великому князю и великой княгине.

— Тебе спасибо, князь. Коли б не явился ты вовремя, прикончили бы меня у Глинских в сарае.

Распрощавшись с конюшим, Афоня вышел на улицу и осмотрелся по сторонам как-то особенно пристально. Над головой синело бездонное августовское небо, неспешно, словно лебеди, плыли облака. В небесной синеве торжественно сияли купола храмов, желтели листья деревьев. И оттого на душе было ясно, покойно.

А рядом, на торжище, шум необычный стоит, малая казнь совершается. Два тиуна ведут полуобнажённого красивого парня. У провинившегося сильные руки, бугристая грудь, живот впалый, тёмные кольца волос рассыпаны по плечам. Сзади шествует третий тиун, время от времени взмахивает хлыстом и бьёт парня по заднему месту. Бьёт несильно — не в этом казнь, а в том, что ведут княжича Воротынского через торжище как виновного. Лицо у парня совсем ещё юное, огнём полыхает от смущения. А кругом мальчишки улюлюкают, кто смеётся, кто ярится на осуждённого, кто жалеет его. А одна девица закатилась в безутешных рыданиях. И никто не поймёт отчего: в первый раз увидела парня, казнимого малой казнью, а так разжалобилась, что удержу нет.

Глава 9

Дорога от Бахчисарая до Кафы — самая лучшая из крымских дорог. Сперва Андрей шёл на Ак-Мечеть, затем к бойко торгующему Карасу-базару, в старом разрушающемся, заброшенном Солхате любовался золотом и голубой эмалью на стенах мечетей. Дорога привела его к морю, к розовым стенам большой крепости, над которыми возвышались четырёхугольные башни. Из-за дальней горы всходило солнце, и поэтому гора эта казалась малиновой, а над ней словно растеклось расплавленное золото. Малиновые и золотые отблески играли на стенах башен, и оттого весь город казался необычным, сказочным. Крепостные стены тянулись по скалистому склону горы и оканчивались огромной башней с въездными воротами у самой воды. Но что это за вода! Зеленовато-голубая гладь простёрлась до самого края неба. И поперёк неё от восходящего светила по направлению к Андрею пролегла ослепительная мерцающая дорожка.

«Так вот оно какое — море, увидеть которое мне так захотелось, когда мы с отцом, спасаясь от грозы, ехали мимо Панского двора в Москве!» Андрей долго рассматривал кафинскую бухту, стоявшие в ней корабли, сам город. Много удивительного повидал он в Крыму, но Кафа поразила его воображение. Здесь было всё иное. Если Бахчисарай — сокровенное гнездо воинского разбоя и местообиталище хана, то Кафа — истинная столица Крыма.

Внутри стен виднелись великолепные дворцы, фонтаны, широкие улицы, от которых ответвлялись узенькие переулочки и тупички, около семи десятков минаретов возле мечетей, островерхие латинские и увенчанные маковками православные церкви. Сначала Андрей решил, что ему померещилось, но, прислушавшись, он отчётливо различил тихий перезвон колоколов. Оттого Кафа вдруг перестала быть непонятным чужим городом. Путник старательно запомнил приметы того конца города, где стояли церкви. Наверняка там должно располагаться русское поселение. На одной из площадей виднелось скопище торговых палаток. Это был кафинский огромный рынок, в этот утренний час постепенно наполняющийся народом, похожий на потревоженный муравейник.

Пройдя по каменному мосту над глубоким рвом, выложенным камнем, Андрей оказался на просторной улице, застроенной домами, которые вблизи оказались ещё более красивыми. За изящными арками виднелись роскошные лепные украшения. Во дворах время от времени возникали люди, совсем не похожие ни на татар, ни на турок, в необычных фряжских одеждах. Турецкие и татарские женщины в сопровождении ребятни несли узлы, в которых видны были тазики, полотенца, склянки с благовониями. Они направлялись в построенные из мрамора бани.

А вот и кафинское торжище. Его нельзя было сравнить с бахчисарайским по числу лавок и обилию, разнообразию товаров. Но что это? Кривоногий татарин, громко покрикивая, вёл два десятка измождённых, с потрескавшимися губами людей, которые были соединены друг с

другом длинной верёвкой. Андрей всмотрелся в лица полонянников. Первым шёл рослый мужик — по-видимому, крестьянин. За ним два паренька, испуганно смотревшие по сторонам. Затем старик, весь седой, но ещё крепкий на вид. За стариком, ни на кого не глядя, шла молодая баба с младенцем на руках. Лицо у неё обветренное, усталое, но ещё красивое. Следом семенила девочка лет десяти, похожая на тростиночку, с худенькими ручонками. Затем показался низкорослый мужичок, тоже, видать, крестьянин. Он о чём-то тихо говорил с девушкой, запеленавшей, несмотря на жару, большим платком голову. И вновь мать: одной рукой она держит младенца, а другой — шестилетнего глазастого малыша. Последним шёл безрукий мужик, по виду похожий на воина.

Сам не ведая зачем, Андрей стал проталкиваться в толпе вслед за полонянниками и вскоре очутился в таком месте, где было их видимо-невидимо. Стоял невообразимый шум. Татары орали, расхваливали товар, а турки, греки, фрязины, евреи и другие люди, незнамо какой народности, его хулили, требовали сбросить цену.

— Да что же это творится, Господи?

Услышав родной говор, Андрей оглянулся. Перед ним, судя по одежде, был церковный служка.

— Уж не русский ли ты, коли речь мою понял?

— Русский.

— А откуда?

— Из Москвы.

— Пошто сюда из Москвы заявился? Купец, что ли?

— Пришёл я с послом Ильёй Челищевым, а тот снарядил меня сюда, к купцу Парфёну Кожемяке. Не слыхивал ли о таком?

— Как не слыхивать? Парфён рядом с нашей церковной слободкой жительствоует. Там и другие русские купцы обитают. Купно-то жить в чужом городе безопаснее.

— Сам-то как тут оказался?

— А я, мил человек, под Пронском крестьянствовал. Да пришли татарове и увели меня в Крым, как их, болезных. — Служка ткнул пальцем в сторону полонянников — Да, видать, Бог пришёл мне на подмогу. Увидел меня вот на этом самом месте поп Леонтий — пошли ему, Господи, здравия — да и выкупил у татарина. С тех пор в Кафе и жительствоую. Вот уж десяток лет минуло. И как пойду на торжище, обязательно здесь побываю, всё спрашиваю, нет ли кого из-под Пронска. Два года назад появилась одна бабёнка, она в суседней от нас деревне жила, так я её выкупил на все деньги, что у меня были. С того времечка с ней и жительствоуем вместях. И других бы всех выкупил, да денег нетути. Иной раз, грешным делом, мыслю: надоумь, Господи, клад сыскать. Сыщу тот клад и весь без остатка употреблю на спасение душ христианских... Глянь-ка, мужика-то египтянин торгует. Коли купит — сгинет человек. Увезут его в далёкую страну, куда про Русь и слух не доходит, и заставят в войске служить.

Важный египтянин в белом одеянии, подпоясанном голубым кушаком, приблизился к мужику, который шёл во главе полонянников, и стал ощупывать его руки, грудь, а потом полез пальцами в рот, чтобы проверить зубы. Закончив осмотр, что-то закричал гортанно.

— Сорок динаров даёт, — перевёл церковный служка Андрею.

Татарин, размахивая руками, тоже стал сердито кричать:

— Да разве можно за такого честного, неиспорченного раба предлагать сорок динаров? Восемьдесят динаров, и ни динара меньше!

— Может, ты слепой? Разве не видишь, что этот раб стар? У него же половины зубов нет!

— Не обманывай меня! Я сам проверял его зубы, они все целёхоньки!

— Так и быть, пятьдесят динаров я дам за этого старика, но не больше!

— Да какой же это старик? Посмотри на его руки. Такой рукой быка поднять можно! Так и быть, уступлю тебе десять динаров.

— Шестьдесят, и ни динара больше!

— Да разве хороший русский пленник стоит шестьдесят динаров? Всегда за таких рабов я получал по восемьдесят. А я уступил уже тебе десять динаров.

Сговорились на шестидесяти пяти динарах.

К женщине с двумя детьми подошёл усатый турок в широченных шароварах. На бабу он не глянул, а принялся ощупывать мальчика. Быстро сговорившись с татаринном, сунул ему деньги и поволок малыша.

— Куда ты уводишь моё дитячко? Не отдам, не отдам Ванятку! — закричала мать.

Подошёл татарин, с размаху ударил её по лицу. Мальчик жалобно заплакал, но турок уже уводил его.

— Пропал для Руси Ванятка, — скорбно произнёс служка, — обратят его в магометанство, забудет он и мать свою, и землю родную, а коли росточком да силой удастся, станет злым янычаром, верным стражем Сулеймановым.

К паренькам, испуганно глазевшим на толпу, направился пожилой перс. Борода у него угольно-чёрная с проседью. Сдёрнув с них порты, внимательно осмотрел сзади и спереди. Ребята стыдливо прикрылись руками, но перс, сердито закричав, ударил по рукам палкой. Он увёл с собой одного из них.

Молодой турецкий воин с крючковатым носом заинтересовался девушкой, голова которой была туго повязана платком. Он сдёрнул платок, и прекрасные золотистого цвета волосы рассыпались по её плечам. Турок, довольно зацокав языком, рванул полотняную рубаху. Мелькнули упругие белые груди с торчащими розовыми сосками. Девушка тотчас же прикрылась рукой. Турок намеревался увести её, но татарин заломил за пленницу такую цену, что тот взвыл по-звериному: столько денег у него не было. Тут же из толпы вышел богато одетый генуэзец и, заплатив татарину сполна, увёл смущённую девушку с собой.

«Неужто и Марфушу вот эдак-то?» — У Андрея закружилась голова от внезапно ударившей мысли.

— Ну, этой, считай, повезло — будет жить в богатом фрязинском доме в Кафе.

— Как знать, может, ей всю жизнь дом родной будет сниться.

— Может, и будет, — миролюбиво согласился служка, — только ведь я её судьбу с судьбой других пленников сличаю. Всем им придётся до скончания дней своих тяжко трудиться: строить мечети, дома, бани, пасти стада, растить сады, поля и огороды. Труд раба ужасен,

побои обильны, а еда скудна... Пойдём, добрый человек, к морю, поглазеем, как наших людей в неволю увозят. Тебе ведь это в диковинку.

Проданных на кафинском торжище людей гнали в порт. Здесь стояло великое множество судов, отличавшихся размерами, отделкой, окраской парусов. К самому берегу пристало длинное узкое судно с парусами и рядами вёсел с обеих сторон. Только на одной стороне Андрей насчитал около шести десятков вёсел. На скамьях, расположенных поперёк судна, видны были полубогажённые люди, сидевшие и лежавшие в разных позах.

— То судно — самое ужасное, каторгой его зовут, — пояснил служка, — Люди, что сидят на лавках, — гребцы. Им никуда нельзя отлучаться: прикованы они к своему месту цепями. Потому и едят и спят тут же. И так покуда не помрут либо случаем не сбегут. Только редко кому спастись удаётся.

В это время к каторге подвели связанных одной верёвкой десятка два людей. Были тут молодые парни да крепкие на вид мужики. С корабля спустился пузатый турок с тяжёлым бичом в руках, что-то отрывисто прокричал. Надсмотрщики, сопровождавшие полонянников, освободили их от пут. Тут же рабы разделись донага. С корабля спустился человек с ворохом тонких полотняных подштанников. Полонянники надели их. Два брободея острыми ножами стали ловко срезать с их голов волосы. Турок, спустившийся на берег первым, щёлкнул бичом, и полонянники по одному начали подниматься на корабль.

— Сгнули люди ни за что ни про что, — пожалел их служка.

— Авось сбегут с каторги да на Русь проберутся. Мне вот с одним коломенским плотником довелось свидеться. Сбежал он с этой самой каторги, на Русь возвратился. Правда, под Зарайском чуть было снова в лапы татар не угодил, да Бог миловал, наши подоспели.

— Бывает, убегают люди с каторги. Знавал я одного беглеца, он три раза с каторги улепётывал. За то дело турки всего его изувечили... Вот ещё одно турецкое судно причаливает.

— Откуда ты узнал, что оно из Турции пожаловало? А может, ещё откуда?

Служка ткнул пальцем в сторону прибывающего корабля.

— Глянь на маковку-то, зришь там тряпицу? По такой полощущейся тряпице можно издали распознать, чьё это судно: турецкое, фрязинское, египетское или ещё чьё.

С причалившего корабля стали спускаться на берег богато одетые люди. В одном из прибывших Андрей признал знакомого. От изумления он протёр глаза.

— Глянь, никак русский человек идёт?

— Ну да, богатый, видать, боярин.

— Ты не ведаешь, кто он?

— Впервые зрю.

— Так ведь это же боярин Семён Бельский! Знатная особа. Надо же, где свидеться довелось! Пойду окликну его — Андрей бросился наперерез Бельскому, которого сопровождали трое слуг. — Здравствуй, Семён Фёдорович!

Бельский был одет в нарядный охабень из розового китайского шёлка. Услышав окрик, он недоверчиво посмотрел на Андрея.

— Ты кто?

— Андрей Попонкин я, тучковский послужилец. В свинцовых глазах князя мелькнул испуг.

— А здесь что подделываешь? Зачем тебя Тучков в Крым послал?

— Явился я в Крым жену свою поискать, её татары в полон угнали.

Бельский по-прежнему смотрел недоверчиво, недружелюбно. Узнав причину пребывания Андрея в Крыму, он, по-видимому, потерял интерес к нему, повернулся спиной и стал подниматься в город.

— Загулялись мы с тобой, парень. Пойдём к купцу, который тебе нужен. Тут так заведено: в самой пекло все дома прохлаждаются, так что не на торжище будем искать Кожемяку, а в нашей слободе.

Русобородый Парфён Кожемяка встретил Андрея приветливо, долго расспрашивал его о пребывании в Крыму.

— Видать, не так давно ударился ты в купечество, коли тебя Кожемякой кличут?

— Что верно, то верно, — добродушно засмеялся купец-Отец мой мял кожи, силой необыкновенной наделён был.

— Да и тебе, видать, силушки немало перепало.

— Есть маненько, на здоровьице не жалуюсь. Нам, купцам, по нынешним опасным дорогам без силушки никак нельзя.

— Сегодня у моря повстречал я боярина московского Семёна Фёдоровича Бельского. Не ведаешь ли, Парфён, чего он тут делает? Может, посольство правит?

— Семён Бельский? Так ведь он в Литву бежал после того, как Михаила Глинского за сторожи посадили.

— За что же?

— А ты разве не ведаешь?

— Давно ведь я Москву покинул. Не было ещё слуха про Глинского.

— Он власти хотел лишить юного великого князя. А кто баает: отравой уморил Василия Ивановича. Бельский же, убежав в Литву, почал всячески вредить Русской земле, во главе Жигимонтовых полков на наши города ходил.

— Вот ведь гад какой! — невольно вырвалось у Андрея. — У него в Москве ещё два брата есть. Несколько лет назад приходилось мне слышать об одном из них — воеводе Иване Фёдоровиче. Так о нём ратники тоже нелестно отзывались. Будто бы когда воевали Казань, он за большие поминки татарам продался, не довёл ратное дело до конца.

— Воевода Иван Бельский ныне вновь угодил в темницу. Оба они с Семёном хотят по старинке жить, когда удельные князья в силе были.

— Для Руси от удельных князей одна поруха.

— Что верно, то верно. А потому должны мы, насколько можем, препятствовать иудиному делу. Следует тотчас же отправить восточку нашему послу Наумову, что Семён Бельский в Крыму объявился. Боюсь, неспроста он здесь, вновь какую-нибудь пакость затевает.

Едва Семён Бельский остановился у ворот красивого большого дома, видневшегося за глухим забором, тотчас же выбежали слуги. Боярин не спеша вошёл во внутренний дворик. Сквозь ажурную виноградную листву пробивались солнечные лучи. Падая на мраморные плиты, они высвечивали розовые жилки, пронизывающие камень. В центре дворика тихо журчал фонтан.

Бельский присел на прохладную мраморную скамью возле фонтана и задумался. Мысленно он оказывался то в Москве, то в Вильке, то в Царьграде, откуда только что явился. Намерен он во что бы то ни стало объединить в единое целое всех врагов Руси. Главный из них конечно же султан турецкий. Князь заручился его полным расположением и поддержкой. Велел Сулейман двум пашам, силистрийскому и кафинскому, выступить с ним, Бельским, в поход на Русь. Оба паши могут выставить более сорока тысяч воинов. Кроме того, в распоряжении Бельского собственные люди, которых он затребовал к себе под Перекоп из владений, расположенных в Литве, а также белгородские [175] казаки. Теперь важно привлечь к походу на Русь Жигимонта и крымских татар.

И тут возникли у него трудности. Жигимонт, потерпев ряд поражений от русских полков, возглавляемых Иваном Овчиной, Никитой Оболенским, Василием Шуйским, Борисом и Михаилом Горбатыми, стал помышлять о мире с юным великим князем. Не такого конца войны ожидал он, отправляя в поход на Русь гетмана Юрия Радзивилла, Андрея Немировича, польского гетмана Тарковского и его, Семёна Бельского. Прибыв в Литву, Семён Бельский и Иван Ляцкий много говорили Жигимонту о нестроении на Руси, о смуте среди бояр, о неспособности думы управлять государством в малолетство сына Василия Ивановича. Но всё вышло иначе. И тогда Жигимонт явил им свою немилость: Ляцкого заключил под стражу, а с ним, Бельским, обходился так, что он, пылая ненавистью к Руси, посчитал за благо уехать в Царьград искать защиты и покровительства Сулеймана. Разумеется, Жигимонт не выпустил бы его из Литвы, если бы ведал о таких намерениях. Поэтому Семёну пришлось сказать ему, будто он отправляется в Иерусалим к святым местам для исполнения некогда данного обета. И только уже из Крыма он сообщил Жигимонту о намерении посетить Сулеймана. Что касается крымских татар, то тут тоже не всё было гладко. Раскол орды между Сагибом и Исламом отнюдь не благоприятствовал осуществлению его замыслов.

Семён хлопнул в ладоши. Тотчас же появился опрятно одетый человек с бумагами в руках.

— Не было ли в моё отсутствие вестей от Жигимонта?

— Были, господин. — Слуга подал князю грамоту с королевской печатью.

Семён вскрыл грамоту и, далеко отставив её от глаз, начал читать:

«Ты отпросился у нас в Иерусалим для исполнения обета, а не сказал ни слова, что хочешь ехать к турецкому султану; когда сам к нам придёшь и грамоту султанову к нам привезёшь, тогда и сделаем как будет пригоже. Ты просишь у нас грамоты для свободного проезда в Литву, но ведь ты наш слуга, имение у тебя в нашем государстве есть, так нет тебе никакой нужды в проездной грамоте: все наши княжата и панята свободно к нам приезжают; слуг же твоих мы немедленно велели к тебе отпустить».

«Ты наш слуга, ты наш слуга...» — звенело в ушах Семёна Фёдоровича. Уклончивый ответ Жигимонта привёл Бельского в ярость, он со злостью швырнул королевскую грамоту в водоём. «Ничей я не слуга! Я князь Бельский и Рязанский! Никто мне не господин: ни московский юнец, ни престарелый Жигимонт, ни турецкий султан! Моя мать, княгиня рязанская, была племянницей великого князя Ивана Васильевича. По пресечении мужской линии князей рязанских я теперь единственный наследник этого владения. Присоединив его к

Бельскому княжеству, я сравняюсь по силе с Литвой и Русью. Надо лишь одолеть малолетка московского, и тогда все вынуждены будут признать мои права. Старая лисица намерена таскать из огня орехи чужими руками! Ей наплевать на то, что сейчас выдался самый благоприятный случай одолеть Русь. Турецкий султан и Сагиб-Гирей гораздо лучше понимают это, нежели престарелый властитель Литвы, а потому готовы оказать мне любую помощь. Жигимонт же настолько слеп, что ничего этого не видит. Я просил его направить на Русь великих гетманов вместе со всеми полками, а он что мне пишет?»

— Ну, а из Бахчисарая, от Ислама, какие вести, Матвей?

— Неважные, господин. Не успел ты уехать в Царьград, а он уж послал грамоту русскому великому князю с заверением в дружбе.

— Напиши Исламке грамоту, дескать, Сулейман намерен воевать русские земли, а потому велел силистрийскому и кафинскому пашам выступить по весне вместе со мной. Султан велел и Исламу идти войной на русского великого князя. Сагиб всё ещё в Киркоре?

— Там, господин.

«Не случайно русские послы везут поминки Исламу, а не Сагибу: мил им Ислам. Оттого Сагиб зол на Русь. Надо бы помочь ему убраться Ислама».

— Бурондай, человек Сагибов, в Кафе?

— Да, господин.

— Пусть сегодня вечером явится ко мне... А посол Наумов не отбыл в Москву?

— Нет, господин.

— Сообщи ему, что я хотел бы возвратиться на Русь, ежели великая княгиня меня простит и даст мне опасную грамоту. Как только получу я её, так немедля устремлюсь в Москву, чтобы заглядеть вину перед великой княгиней усердной службой.

Матвей изумлённо глянул на князя, но спросить ни о чём не посмел. Семён Фёдорович лишь загадочно улыбнулся.

Бурондай вошёл, угодливо улыбаясь, низко склонился перед хозяином дома.

— Как там у Ислама?

— Ислам-Гирей держит руку Москвы. Нынче отправил он русскому великому князю грамоту, в которой всячески поносит тебя, пресветлый князь, пишет, будто столкнулся ты с турецким султаном и Сагиб-Гиреем о походе на Русь.

«Вот собака! — мысленно выругался Бельский. — Едва задумаешь дело, а уж русскому великому князю спешат донести о твоих тайных намерениях. Нужно обязательно освободиться от ненавистного Ислама».

— Ислам — заклятый враг Сагиб-Гирея. Почему же тот до сих пор не прикончит его?

— Не простое это дело, пресветлый князь. Ислам-Гирей очень осторожен. Проникнуть к нему нет никакой возможности. Верные люди Исламовы берегут его как зеницу ока.

— Ведомо стало мне, что завтра вечером Ислам-Гирей намеревается тайно встретиться с одним ногайским ханом недалеко от Чуфут-Кале. Желает он привлечь ногаев на свою

сторону в борьбе с Сагиб-Гиреем.

— Ногаи клятву дали Сагиб-Гирею быть с ним в дружбе и братстве, вместе стоять против Ислам-Гирея.

— Ну а ежели Ислам перетянет ногаев на свою сторону, хорошо ли это будет Сагиб-Гирею? Так что ему лучше воспрепятствовать этой встрече. И не только воспрепятствовать, но и... — Семён Фёдорович провёл рукой поперёк горла. Бурондай понимающе кивнул. — Ступай и передай Сагиб-Гирею мои слова.

Бельский извлёк кошелёк и бросил его к ногам Бурон-дая. Тот подхватил его и, пятась задом, вышел.

Посол Наумов, сидя за колченогим столом, писал грамоту в Москву:

«Приехали к Исламу твои козаки, и вот князя и уланы начали с них платье снимать, просят соболей; я послал сказать об этом Исламу; а князя и уланы пришли на Ислама с бранью: ты у нас отнимаешь, не велишь великому князю нам поминков посылать; а Ислам говорил: какое наше братство! Нарочно великий князь не шлёт к нам поминков, не хотя со мною в дружбе и в братстве быть; а князьям сказал: делайте, как вам любо! И они все хотят Козаков твоих продать».

В дверь тихо постучали. Наумов быстро спрятал исписанные листы в ларец, повернул ключ.

— Войди!

В горницу, сторожко оглядываясь по сторонам, вошёл неприметный мужичок в потёртой одежде.

— Ты кто?

— Сидорка Оплевин я — церковный служка из Кафы. А ты кто будешь?

— Посол великого князя Наумов.

— Вот тебя-то мне, любезный, и надобно. Купец Парфён Кожемяка, живущий в нашей церковной слободке, послал меня по твою душу, велел поведать, что в Крыму объявился злодей Семён Бельский. Так ты бы, любезный, отписал о том великому князю. Страшимся мы, не натворил бы сей злодей какой пакости.

Наумов засмеялся.

— Ведаю о том, что Семён Бельский в Крыму обитает. А всё равно спасибо тебе, русский человек. И купцу Парфёну Кожемяке передай мою благодарность. Вижу, верные вы люди земли Русской. И впредь будьте такими же.

Церковный служка вышел. Посол открыл ларец и извлёк грамоту Бельского к великой княгине с просьбой разрешить ему возвратиться на Русь. Недоуменно покачал головой: с чего бы это вдруг отъезжнику вздумалось назад проситься?

Вновь послышался стук в дверь. Вошёл слуга, доложил о прибытии Аппак-мурзы.

Аппак был не по обычаю вежлив; только когда осматривал голые стены да пустые углы, улыбнулся с насмешкой.

— Великий Ислам-Гирей сожалеет, что князя и уланы пограбили твоих людишек. Просил он

передать грамоту для брата своего, великого князя Ивана. И в той грамоте велит ему остережиться турецкого султана. Властолюбие и коварство Солемана всем хорошо ведомы. Хочет он поработить северные земли христианские: Русскую и Литовскую; велел он пашам и Сагиб-Гирею собрать многочисленную рать, чтобы изменник государев Бельский шёл с ней на Русь. Один Ислам стоит в дружбе к русскому великому князю и мешает их замыслу. Пусть великий князь ведаёт, что оттоманы люди лихие. Султан начинает это дело вовсе не для князя Бельского, он не думает о том, пригоже ли Бельскому княжение или не пригоже, лишь бы только камень о камень ударил, лишь бы только ему при этом что-нибудь к себе приволочь. Султан и нашей земле покоя не даёт, с таким устремлением живёт, не рассуждая, кто ему земли достаёт, от холопа или рабы родился — ему всё равно, лишь бы земли доставал.

Вести, принесённые Аппаком, были очень важными, поэтому Наумов не стал выговаривать мурзе за учинённый татарами разбой.

«Так вот он каков, Бельский, на самом деле. Сговорившись с турецким султаном о походе на Русь, пытается обмануть великую княгиню, прикидывается невинной овечкой. Ну и ловок, пройдоха!.. А Ислам нам ещё пригодится».

— Получил я грамоту, Аппак, от великого князя всея Руси Ивана Васильевича. Ведаёт он о кознях, чинимых князем Бельским против Русской земли в Литве, Крыму и туретчине. А потому великий князь просит своего брата Ислама выдать ему перебежчика Семёна Бельского живьём либо самому казнить его за совершённые преступления.

Аппак замялся.

— Трудное твоё дело. Семён Бельский не какой-нибудь безвестный человек. Из-за него Ислам может поссориться с Солеманом и Жигимонтом. До Руси далеко, а от туретчины близко. Сам ведаешь, турки под боком, в Кафе и во всех приморских городах сидят.

— Так ведь Семён Бельский может и случайно принять смерть, без ведома Ислама.

— О том можно подумать. Только очень большие поминки потребуются. Семён Бельский — не простой человек.

Едва ушёл Аппак, заявился ещё один человек из Кафы. Он сообщил очень важную весть: Сагиб-Гирей удумал убить Ислама.

Тёмная южная ночь спустилась над Альмой-рекой, над обширными яблоневыми и грушевыми садами, когда из ворот посольского двора на дорогу, ведущую в Бахчисарай, выехал всадник. Пришпорив коня, он быстро исчез в темноте.

Вечером следующего дня из ворот бахчисарайского дворца, расположенных в сторожевой башне, выехали всадники. Человека в тёмном одеянии, ехавшего на белом коне, сопровождали два воина. Они быстро устремились по глубокой лесной лощине, вверх по течению Чурук-Су, по направлению к крепости Чуфут-Кале. Сухой ветер врывается в лощину меж каменных завалов, напевала в кустах весёлую песенку быстроводная речушка, всё вокруг дышало покоем. Вот всадники достигли крепости Чуфут-Кале, где в древности жили крымские ханы, но не въехали в крепостные ворота, а поскакали дальше.

Дорога углубилась в довольно густой лес. Молодой месяц показался над вершинами деревьев, и всё вокруг озарилось неверным багровым светом. Неожиданно из чащи леса навстречу всадникам выбежала толпа вооружённых людей, которые не мешкая пустили стрелы. Несколько стрел вонзилось в человека, ехавшего первым на белом коне. Тело его

безжизненно свесилось с седла.

— Ислам-Гирея убили! — гулко разнёсся по лесу крик его спутников. Один из них ухватил за повод белого коня, развернул его и помчался назад, к Бахчисараю.

Наутро по всему Крыму только и разговоров было о коварном убийстве Ислам-Гирея. Быстро весть домчалась до Кафы. Семён Фёдорович Бельский тотчас же отправил к султану своего человека с известием, что Ислам-Гирея не стало. Ту же весть повёз по велению Сагиб-Гирея и Бурондай.

В ожидании вестей из Царьграда Бельский был в хорошем расположении духа. Он слал грамоты в Белгород, в свои литовские владения, в Перекоп, где обосновались его люди из Литвы, готовившиеся к походу на Русь. С получением известия от Сулеймана он и сам намеревался перебраться поближе к своим людям. А пока князь расхаживал по внутреннему дворику, любовался великолепием и пышностью распускающихся роз, вдыхал их прекрасный аромат. Молодой слуга подошёл так тихо, что Семён Фёдорович, услышав его негромкий голос, вздрогнул.

— Господин, явился посол великого князя всея Руси Наумов.

— Напужал ты меня, Матвей! Что это вдруг Наумову вздумалось ехать ко мне в Кафу из-под Бахчисарая?.. Может, насчёт опасной грамоты? Ну так зови его.

Во дворике показался человек среднего роста с русой бородкой и ясными серыми глазами. Простой вроде бы человек, но Семён Фёдорович сумел уловить в нём умение постоять за себя, поэтому постарался придать своему лицу выражение доброжелательности.

— Великий князь всея Руси Иван Васильевич и великая княгиня Елена в ответ на твою просьбу дать опасную грамоту для проезда на Русь изволили прислать ответ. — Наумов говорил спокойно, немного глуховато, но отчётливо. — Велено мне сказать тебе, Семёну Бельскому: мы тебя жаловать хотим и гнев свой отложим; вины твоей, которую ты сделал по молодости лет, памятовать не хотим, а ещё больше прежнего пожалуем тебя нашим великим жалованием. Ведаешь и сам, что и прежде некоторые наши слуги ездили от нас к нашим неприятелям, опять назад приезжали и этим отечества своего не теряли, предки наши их жаловали и опять их в родовой части восстанавливали. И ты б ныне поехал к нам без всякого опасения.

Закончив речь, посол едва заметно усмехнулся. Вряд ли Семёна Бельского ждут на Руси с распростёртыми объятиями. Уж больно насолил он великому князю своими происками в Литве, Турции и Крыму.

— Никогда не сомневался в щедрости великого князя Ивана Васильевича и его матери великой княгини Елены. Премного благодарен я за присланную ими опасную грамоту.

— Твои слова, князь, следует понимать так, что ты, воспользовавшись опасной грамотой, незамедлительно возвратишься в отечество?

Чувствовалось, что Бельский растерялся.

— Да, я намерен вернуться в свои исконные владения. — Князю вдруг захотелось хоть чем-то уколоть этого спокойного, полного достоинства, ясноглазого посла. — Дошла до меня весть, будто вороги прикончили Ислама и его место занял Сагиб-Гирей.

Наумов улыбнулся.

— То был ложный слух, Ислам-Гирей жив-здоров. Убит же его слуга, неосмотрительно отправившийся ночью к Чуфут-Кале.

Лицо и шея Бельского покрылись бурыми пятнами.

— Очень рад, что Ислам-Гирей не пострадал. Вижу, верно служишь ты... Исламу.

— Служу я великому князю всея Руси Ивану Васильевичу, великой княгине Елене Васильевне и земле Русской.

— Земле? Да как же можно... земле служить?

— То не понять тебе, князь. — Наумов, не попрощавшись, вышел.

Спустя несколько дней вернулся из Царьграда слуга с грамотой от турецкого султана. Ответ Сулеймана был краток: «Если только Ислам жив, то нашему делу стать нельзя». Этот ответ удивил и озадачил отъезжика, он означал крах всех его грандиозных планов.

Глава 10

Из Кафы Андрей направился назад, к Бахчисараю, но иной дорогой, через селения, в которых ещё не был. Иногда отчаяние охватывало его. Воспоминания об увиденном в Кафе жгли душу, и чем сильнее, тем меньше оставалось веры в успех задуманного дела. Марфушу могли отправить на кораблях Бог весть куда, убить, загнать в гарем, где её никакой мужчина, кроме хозяина, не увидит.

Нередко ему приходилось спать под открытым небом — так было безопаснее, и, если случалась безоблачная ночь, он долго не мог уснуть, всё вглядывался в загадочную темноту южного неба, в яркие мерцающие, похожие на украшения, подвешенные на золотых нитях, звёзды и мучился вопросами: под какой из них родился, какие звёзды счастливые, а какие — злые? Иногда ему начинало казаться, что звёзды поют удивительную песню, которая то стихает, уносится далеко-далеко, то начинает звучать громко, гулко, будто в храме. От этой песни в его душе вскипали слёзы, отчего звёзды начинали мерцать сильнее, становились расплывчатыми, лучистыми. В эти минуты Андрей не мыслил себя без Марфуши, жизнь без неё казалась невозможной, бессмысленной. А когда одолевали сомнения, звёзды казались чужими, холодными, равнодушными, немymi. И думалось тогда, что они вечны, а жизнь человеческая ничтожно мала, никчёмна. Вот так же звёзды светили и тогда, когда его, Андрея, ещё не было на белом свете. И потом, после него, они по-прежнему будут, мерцая, совершать свой загадочный круг по небосклону, подгоняемые неведомой силой. Что значит человеческая жизнь по сравнению с бесконечной жизнью звёзд? Ничтожное короткое мгновение, мельчайшая песчинка среди гор песка. Так стоит ли ещё более сокращать это мгновение погоней за призрачным счастьем? Не лучше ли отдаться на волю судьбы, всей грудью вдыхать этот прекрасный воздух, впитывать благотворное тепло, любоваться каждой былинкой и тварью, ползающей по лику земли, высоко ценить каждый миг быстротекущей жизни?

Из селения, что расположилось внизу, под нависшей скалой, которую Андрей облюбовал для ночлега, доносились гортанные крики детей, квохтанье кур, блеяние овец. При порывах ветра ощущался горьковатый запах дыма, человеческого жилья, навоза. Где-то поблизости шумел ручей. Его монотонное журчание прерывалось звонкими шлепками: кто-то стирал бельё. Не будь гортанных криков, кизячного запаха, можно было бы подумать, что находишься где-то на берегу Москвы-реки, Оки или Клязьмы: так стирать бельё могла только русская баба.

Эта догадка подтвердилась, когда Андрей услышал хорошо знакомую ему печальную песню:

Уж что это у нас, в Москве, приуныло,
Заунывно в большой колокол звонили?
Уж как князь на княгиню прогневился,
Он ссылает княгиню с очей дале,
Как в тот ли во город во Суздаль,
Как в тот ли монастырь во Покровский...

Андрей затаил дыхание, напряг слух. Он так взволновался от звуков этого удивительного, грудного, по-детски звонкого голоса, что задрожали руки, а в ногах возникла слабость, словно они стали ватными, непослушными ему. Дрожащей рукой раздвинул кусты и увидел внизу... Марфушу, слегка располневшую, округлившуюся. Кончив стирать, она ловко подхватила таз с бельём и по крутой тропке начала подниматься к тому месту, где он лежал. Андрей тотчас же прикинулся слепцом.

— Здравствуй, Божий человек. Издалека ли идёшь? — услышал он родной голос совсем рядом.

— Из Суждаля я, из Спасо-Ефимьевской обители. Иду ко святым местам ради исцеления слепости.

— Из Суждаля, говоришь? — Голос Марфуши зазвучал взволнованно, тревожно. — А не ведомо ли тебе, странник, в здравии ли игуменья Покровской обители Ульянея?

— Матушку Ульянею я видел два года назад. Была она в здравии, но шибко печалилась о некоей белице, покинувшей её.

— Печалится, говоришь? — Голос Марфуши дрогнул, слёзы покатались из её глаз. — Да как же ты видел игуменью, если слеп и от слепоты исцеления ищешь?

— А вот так, как тебя вижу, так и её видел. Марфуша пристально глянула на Андрея и, изменившись в лице, закричала:

— Андрей, Андрюшенька, дорогой ты мой, милый! Прости, что сразу тебя не признала.

— Диво ли то? Ведь десять лет минуло, как нас судьба разлучила. И ты тоже не прежняя.

Марфуша смутилась, поправила волосы, одёрнула юбку.

— Ты-то как здесь, в татарщине, оказался?

— Тебя пришёл искать.

— Меня? — Марфуша всплеснула руками, прижала ладони к пылающим щекам. — Не достойная я того!

— Очень даже достойная. Гляжу на тебя и радуюсь, что ты цела-невредима. Все эти годы мечтал о встрече с тобой. Где только побывать не пришлось! Утром просыпаюсь, о тебе думаю, вечером перед сном опять ты на уме.

Марфуша судорожно обхватила Андрея за шею, горько зарыдала.

— Милый ты мой, верный-преверный! И я всё время о тебе мыслила, каждое слово, сказанное тобой, передумала, каждое мгновение, проведённое нами вместе, вспомнила. Как же мы были бы с тобой счастливы, не случись татарского нашествия!

— Наше счастье и ныне возможно. Воротимся на Русь, заживём не хуже прежнего.

Андрей ожидал, что при этих словах радостью озарится её лицо и они тотчас же отправятся на Русь-матушку. Что может удерживать её в проклятой татарщине? Муж? Так ведь он злодей, насильник!

Марфуша, однако, не спешила с ответом. Серые глаза её вдруг померкли, стали свинцовыми, лицо сморщилось от душевных страданий.

— Милый ты мой, любый-прелюбый! Слышу я сердце твоё — как колокол оно гудит, чувствую любовь твою верную, бесконечную. Послушай моё сердце: оно тоже поведает, что люблю я тебя по-прежнему. Только не могу я на Русь-матушку воротиться. Крепко люблю я тебя, а детей кровных — ещё больше.

Долго искал Андрей свою жену, и во время странствий по-всякому представлялась ему встреча с ней. Думал он и о том, что могли у неё народиться дети. Как быть тогда? Это был трудный вопрос, но Андрей после длительных размышлений решил так: недостойно матери отказываться от своих малюток. Коли Марфуша будет его любить по-прежнему, дети, родившиеся в неволе, не станут помехой их счастью.

— Дети твои нас разлучить не могут. Коли любишь меня по-прежнему, всё вернётся на круги своя.

Марфуша раздумчиво покачала головой.

— Их ведь у меня шесть душ. Старшенькому Хубилаю десятый годочек пошёл, а младшенькому Таяну — второй годик. Все крепенькие, здоровенькие. Люблю их — мочи нет. Бросить никак не возможно. С собой взять тоже нельзя. С такой оравой не убежишь, от погони под кустом не спрячешься. К тому же детям отец родной нужен. Нет, ты не перебивай меня, дай всё сразу сказать, как есть. Детям родной отец нужен, к которому они с рождения привыкли. А отец Тукаджир, добрый, сильный. Детей больше себя любит. Да и дети без него дня прожить не могут. Даже Кудеяр, дитё великой княгини Соломонии, которого я за своего выдаю, его почитает и любит. Тукаджир Кудеяра от своих детей не отличает. Нет, не могу я бросить кровных детушек, век казнить себя буду. А и взять их на Русь нельзя. Видать, судьба мне такая выпала: до конца дней своих жить на чужбине, среди татар. Иногда проснусь ночью, вспомню родные места, суждальские, берёзки кудрявые, стога сена духовитые — и так тяжко на душе станет! До утра, бывало, проплачу. А как встану утром да увижу детей своих — печали как не бывало, радость одна. Вот и посуди теперь, могу ли я на Русь возвратиться.

Голова Андрея поникла. За десять лет он многое передумал. По-разному представлял себе эту встречу. Иногда казалось ему, что повстречает он Марфушу калекой, немощной, изуродованной. Но ни на миг не усомнился Андрей в том, что, какой бы она ни стала, он обязательно возьмёт её с собой, будет любить по-прежнему. Мысленно он готовил себя к преодолению самых тяжких препятствий, которые могли выпасть на их долю при возвращении на Русь. Но никогда и в мыслях не было того, что предстало на самом деле. Правду говорят: человек предполагает, а Бог располагает. Что ответить Марфуше? Сказать, что грешно предавать родную землю, места, где покоятся пращуры? Но ведь она любит их, в этом он не сомневался. Сказать, что она предала веру, что грех тяжкий взяла на душу? Так ведь она и сама ведаёт о том. К чему же усугублять её страдания? Или сказать, что без неё нет ему ни дня, ни ночи, ни радости, ни печали, нет жизни!

— Слишком сложно всё, Марфуша, и с маху вершить такое дело не следует. Потому надлежит нам, и тебе и мне, обмыслить всё как следует. Явлюсь я сюда ровно через седмицу, тогда и решим, как быть. А пока прощай.

Марфуша согласно кивнула головой, тяжело поднялась с земли и медленно пошла к селению, сильно изогнувшись в одну сторону под тяжестью таза с бельём. Андрей долго смотрел ей в след, по щёкам его текли слёзы.

Неожиданно из кустов выпорхнул татарчонок лет пяти.

— Мама! — закричал он по-татарски, увидев незнакомого ему человека.

«Уж не Марфушин ли сын?» — подумалось Андрею. Он спросил малыша:

— Как называется это селение?

— Черкес-Кермен, — прочирикал тот и тотчас же исчез, словно под землю провалился.

Через неделю Андрей с Марфушей вновь встретились на том же самом месте. Внутренняя борьба, совершавшаяся в каждом из них, лишила сил, затуманила головы, притупила чувства. Потому они больше молчали и лишь время от времени говорили о чём-то второстепенном, несущественном.

«Решать должна Марфуша, а не я. Вижу, однако, осталась она при своём мнении. Так нужно переубедить её! Но где слова, которые заставили бы её думать иначе? В душе один пепел, усталость, мрак. Нельзя, однако, молчать, не пришлось бы потом, когда время минует, пожалеть, что в этот самый миг молчал, не сыскал нужных слов... А нужны ли слова, коли она обо всем позабыла и знать ничего не желает? Сравнить ли её с Авдотьей Рязаночкой, которая ради близких людей в Орду направилась, отыскала их и на Русь увела? Велик подвиг Авдотьи Рязаночки, потому столько лет помнят её по всем городам и весям. А вспомнят ли тех, кто, подобно Марфуше, навсегда в Орде остался, детей наплодил, веру поменял, землю родную забыл? И не прав ли Илья Челищев, утверждавший, что баба, как кошка, возле любого мужика пригреется, в любом доме жить будет, было бы в нём ей сытно да тепло? Нет, Марфуша совсем не такая! Да разве знаю я её толком? Почему так различны судьбы её и Параша, Гришиной жены? Нет, нет, я не хочу, чтобы она, подобно ей, покончила с собой, лишь бы в полон не быть уведённой, с мужем любимым не разлучённой! Хочу, чтобы она была жива. И всё же: почему они поступили неодинаково? Может, в любви все дело, одна больше любила, другая — меньше? Так ведь Марфуша и сейчас клянётся, что любит меня. Но любит ли она на самом деле? А если любит меня, то, выходит, не любит Тукаджира? Но ведь он «добрый и сильный»! И можно ли без любви столько детей народить?.. Господи, да что это дурь всё в голову лезет! Только с Марфушей буду я счастлив, только с ней! Где же речи, способные переубедить её?..»

— Ты ничего не рассказал мне о матушке Ульянее.

— Жива матушка Ульянея, только вот о тебе сильно горюет. Старая стала, немощная.

— А Аннушка, подружка моя милая?

— Постриглась она.

— Постриглась? Вот уж не думала, что ей такая судьба уготована. Озорная она была, не по охоте в Покровской обители жила, по нужде. А Каменка как?

— Как и прежде.

— И одолень-трава в ней всё так же растёт?

— Растёт...

— Вижу, не мила тебе беседа со мной, а ведь столько лет не виделись!

— Та ли это беседа, Марфуша? Разве ради того я два года по Крыму ходил, чтобы об одолень-траве, в Каменке растущей, поведать?

— Согласна с тобой, Андрюшенька, не о том мы беседу ведём. Всю седмицу страдала я, обо всем передумала, только вот ничего нового не надумалось.

— Хотел бы я увидеть Кудеяра.

— Уж не намерен ли ты увести его с собой на Русь? Не отпущу!

— Не твоё это дитё, а великой княгини Соломонии. Я ей крест целовал, что приложу все свои силы к отысканию его. Страдает она без него, сильно печалится. Понять её нужно. Мы сами с тобой виновны в том, что не сберегли его от татарской напасти.

— Ой, да как же я отпущу его, сиротиночку? Стал он мне родней родного. — Из глаз Марфуши полились слёзы.

— Никакой он не сиротиночка, у него мать, Богом данная, есть. Слёзно просила она вернуть ей его, жить без него не может. Сама порывается идти в татарщину. Коли своих детей по правде любишь, понять её должна. Не можешь ты препятствовать возвращению Кудеяра к его родной матери.

Марфуша залилась слезами пуще прежнего.

— Не терзай себя понапрасну. Сама говорила, что родную мать или родного отца никто заменить не может.

— Ведаю, что не в моей власти противиться возвращению Кудеяра к родной матери. Как ни жаль, а придётся с ним расстаться. Только всё нужно подготовить как следует. Ведь Кудеяр ничего не слышал о своей родной матери, для него эта весть вряд ли приятной будет. К тому же, если Тукаджир проведаёт о пропаже Кудеяра, то поднимет всех на ноги и постарается возвратить его. Берегись этого. Послезавтра Тукаджир уезжает к своим дальним родственникам, праздник у них, сабантуй. Так ты не мешкая приходи к вечеру на это самое место. Мы с Кудеяром будем ждать тебя.

Задолго до урочного часа Андрей был в условном месте. Время тянулось медленно. Казалось, раскалённый огненный диск застыл на одном месте и не думает нынче скатываться к горизонту.

«Это хорошо, — успокаивает себя Андрей, — ведь сегодня я увижусь с Марфушей в последний раз. Мы никогда-никогда не увидимся больше с ней. Так пусть же каждое мгновение этой встречи запечатлится в моей памяти!»

Наконец солнце, раздувшееся и покрасневшее, словно от натуги, стало быстро скрываться за выступом скалы. Протяжным гортанным криком муэдзин призвал с минарета верующих к молитве. На дороге, ведущей из селения, показались двое: закутанная в шаль женщина и десятилетний мальчик, по-юношески гибкий, одетый в тёмно-зелёные шаровары и красную шёлковую рубаху. Они тихо разговаривали.

— Ну вот, Кудеярушка, настала пора нам с тобой расстаться. Ждёт тебя твоя родная матушка.

— Какая ещё матушка? Никого не хочу знать, кроме тебя!

— Матушка у тебя хорошая, ласковая, добрая...

— Почему же она отказалась от меня?

— Отказалась на время, чтобы спасти тебя от верной гибели.

— Где же живёт моя матушка?

— В Суждале-граде.

— Это далеко?

— Очень далеко.

— Как же я доберусь до неё?

— А вот этот дядя отведёт тебя на Русь. Его твоя матушка за тобой прислала.

Кудеяр исподлобья посмотрел на Андрея:

— Не хочу я никуда идти, мне и здесь хорошо!

— На Руси будет тебе ещё лучше.

— Здесь хорошо: можно по горам лазить, на лошадях ездить.

— Зато в Суждале есть речка Каменка, — улыбаясь своим воспоминаниям, произнесла Марфуша — В ней ребята купаются и рыбу вершами ловят.

— А на ночь, — дополнил Андрей, — они выгоняют лошадей в ночное...

Кудеяр не знал, чем бы ему ещё отговориться от поездки в неизвестный, а потому не желанный для него Суздаль. Нахмутив широкие брови, он всё так же исподлобья рассматривал Андрея.

— Ну что ж, прощай, Марфуша. Будь навек счастлива! Марфуша прильнула к Андрею:

— Прости меня, Андреюшка!

— Бог простит. Знай только, что любил я тебя одну и до конца дней своих любить буду.

Слёзы хлынули из её глаз.

— Не говори так! Ты достоин самой доброй любви. Вернёшься на Русь, найдёшь верного человека гораздо лучше меня. Ну что во мне, дура, хорошего? — Марфуша грустно улыбнулась. — А я буду день и ночь молить Бога за тебя и Кудеяра. Да поможет он вам в трудной дороге! Поклонись от меня светлой обители Покровской, доброй игуменье Ульянее, родным берёзкам, всей земле Русской!

Андрей взял Кудеяра за руку, и они молча направились в сторону Бахчисарая. Одинокая женская фигура, завёрнутая в шаль, вскоре растаяла в сиреневых вечерних сумерках.

Когда совсем стемнело, путники расположились на ночлег на широком сухом камне возле говорливой речушки. Андрей опасался, что Кудеяр удерёт от него назад в Черкес-Кермен,

поэтому всю ночь не смыкал глаз и время от времени посматривал в сторону расположившегося неподалёку мальчика. Грустные размышления не покидали его, и, наверно, поэтому звёзды в ту ночь не пели, а светили холодно, равнодушно. Но вот они постепенно померкли, наступил серый предрассвет. Край дальней скалы постепенно как бы раскалялся, становился золотисто-рудым. Неожиданно из-за него возник сноп солнечных лучей, направленных не вниз, а вверх, и всё в природе преобразилось, серая окраска предметов сменилась многоцветной, праздничной.

Теперь Андрей мог рассмотреть лицо Кудеяра. Мальчик спал, поджав колени к животу, подложив обе руки под голову, плотно сомкнув веки, опущённые длинными ресницами. И тут Андрея словно молния ударила: он увидел, как из уголка глаза показалась круглая слезинка и покатила к переносице, оставляя блестящий мокрый след. А вот ещё одна, третья...

Андрей переполошился, хотел было разбудить Кудеяра, спросить, почему он плачет: по Марфуше или что страшное во сне явилось? Но потом раздумал. Мальчик уже большой, смутится, ежели ему про слёзы сказать. Плакать же есть от чего: оставил дом, к которому привык, близких людей и устремился неизвестно куда с незнакомым совсем человеком. Да к тому же и весть пренеприятную узнал: женщина, которую он за мать почитал, и не мать вовсе. Как тут не переживать?

Андрей едва не задохнулся от нежности, охватившей его. Он и не предполагал, что в нём гнездится столько ласки, любви. Наверно, это проснулось нерастратенное чувство к семье, детям. Ему захотелось приласкать Кудеяра, ободрить его, но он не решился даже руки протянуть, чтобы коснуться его тёмно-русых, слегка вьющихся волос. Не приняты среди мужиков телячьи нежности. Приласкаешь, а вдруг Кудеяру это не по душе придётся? Так и лежал он до тех пор, пока мальчик сам не проснулся.

— По-доброму ли спал, Кудеяр? — бодрым голосом спросил его Андрей. — Что тебе снилось, худое или хорошее?

— Не помню, — ответил мальчик, подумав.

— Ну тогда пойдём к речке, ополоснёмся — да и за трапезу.

Перекусив, продолжили путь. Впереди замаячила крепость Чуфут-Кале. Неожиданно послышались громкие крики, конский топот. Выехавшие из ближнего ущелья татары направились к ним.

— Стой! — приказал один из всадников.

— Слушай внимательно! Ежели спросят, кто мы, сказывай, что я слепец, а ты мой поводырь, — приказал Андрей Кудеяру. Тотчас же он закатил глаза, неуверенной рукой ухватился за спутника, запел гнусавым голосом псалом.

Подъехали татары.

— Кто будете? — заорал один из них.

— Паломники мы, Божьи люди. Ходили по святым местам, в Ерусалим-град. А теперича к Бахчисараю пробираемся, а оттудова — на Русь. Ходили мы ко гробу Господню ради исцеления слепоты, да, видно...

Татарам надоела болтовня слепого старика, они куда-то спешили.

— А ты откуда идёшь с этим слепцом?

— От самого Ерусалима-града.

— В одном селении малец сгинул. Не видели его?

— Нет, мил человек, не видели, да и глаз-то у нас только два на двоих, всего-то и не усмотрим...

Татары пришпорили коней, быстро пропали из виду.

— Слава тебе, Господи, пронесло, — перекрестился Андрей.

Кудеяр изумлённо смотрел на него.

— Ловко же ты слепым старцем прикинулся, татар вокруг пальца обвёл.

— Я ещё и не то умею, — похвалился Андрей. — Хочешь, научу?

— Хочу.

— Вот и хорошо. Только мы потом этим займёмся, путь ведь у нас долгий. А пока нам бы до Бахчисарая побыстрее добраться. Там, в толпе, нас не сыщут.

Из предосторожности путники обошли крепость Чуфут-Кале стороной, а когда направились вниз по течению Чурук-Су, то выбирали места поукромнее, под сенью деревьев и кустарников.

Бахчисарай встретил их шумом и многолюдством. Путники подкрепились и направились в тот конец торжища, где ногайцы продавали лошадей. Деньги, которые Тучковы дали на выкуп Марфуши с Кудеяром, они решили потратить на покупку двух коней, которые облегчили бы им возвращение на Русь. Весть о том, что у него будет своя лошадь, обрадовала Кудеяра. Он со знанием дела осматривал животных, их зубы, хлопал рукой по крупу. Его внимание привлёк молодой жеребчик, ещё неуклюжий, нескладный, но резвый и задиристый. Однако Андрей, едва взглянув, забраковал его:

— Этот нам не подойдёт. Путь у нас дальний, а потому нужна надёжная лошадь.

Мальчик не стал возражать. Андрей приобрёл для себя крупную спокойную кобылу, и теперь, водя её в поводу, они кружили по торжищу, выбирая лошадь для Кудеяра, но тому ни одна не была мила. Наконец остановили выбор на пегом коне с высокой красивой шеей. Хозяин запросил за него немалые деньги, и поэтому Андрей медлил с покупкой. Неожиданно к Кудеяру подошёл сзади длинноногий жеребчик и доверчиво положил свою голову ему на плечо. Огромный бархатистый глаз лошади, обрамлённый шелковистыми ресницами, с любопытством рассматривал подростка. Лошадь сама нашла своего хозяина, и это обстоятельство решило дело. К тому же и Кудеяру она сразу почему-то пришлась по душе. Мешкать больше не стали. Солнце уже покатилося по небосклону вниз, а до посольского двора на Альме-реке предстояло одолеть восемнадцать вёрст.

К резиденции русских послов подъехали уже в полной темноте и, если бы Андрей не приметил огонёк в одной из построек, притаившейся за высокой оградой, могли бы проскочить мимо. Постучали в ворота. Тотчас же скрипнула дверь, и двое вооружённых стражников подошли к ограде.

— Кто там?

— Русские мы. Я — Андрей Попонкин, явившийся в Крым с послом Ильёй Челищевым по делу боярина Тучкова. Теперь вот на Русь возвращаюсь. А хочу я ведать, здесь ли русский посол и скоро ли он намерен отбыть в Москву?

— Опоздал ты чуток, мил человек, посол Наумов сегодня поутру выступил на Русь. Коли

поспешать будешь, можешь ещё догнать его.

Андрей поблагодарил стражников, и путники вновь пришпорили коней, благо дорога к Перекопу, проторённая многими тысячами пленных русских людей, была так широка, что даже в полной темноте можно было ехать без опаски заблудиться. Около Перекопа они настигли посольский поезд, вместе с которым и продолжили путь к Москве.

Глава 11

Князь Андрей Иванович Старицкий, брат покойного Василия Ивановича, в назначенное время явился в Среднюю палату на встречу с великим князем. Его племянник сидел на отцовском месте, ноги его не доставали до пола, поэтому под них была подставлена изящная скамеечка. Мальчик свысока, с неприязнью поглядывал на дядю: после смерти отца вокруг него о старицком князе говорили только плохое.

Справа от мальчика сидела его мать Елена Васильевна, нарядно одетая, украшенная драгоценными камнями. В бытность Василия Ивановича никто и голоса её не слышивал, скромна была, неприметна. А ныне ведёт себя не по обычаю, не по старине. Казалось, она приветливо улыбается Андрею Ивановичу, но, присмотревшись внимательнее, можно было заметить, что глаза её холодны и строги.

Рядом с Еленой, слегка подавшись вперёд, громоздился митрополит, одетый во всё чёрное. Сухие мосластые руки его крепко сжимали посох. Оттого старицкому князю он померещился вороном, ухватившимся за насест. Даниил был посредником в переговорах великого князя и его матери с владельцем Старицы. Без его поруки Андрей Иванович не соглашался явиться в Москву для переговоров — боялся козней правительницы, памятуя о судьбе брата Юрия Ивановича и Михаила Львовича Глинского. Совсем недавно, на Исакия Малинника, в темнице отдал Богу душу брат Юрий, а спустя немногим более месяца, на Никиту Репореза, скончался и Михаил Львович. Схоронили Юрия в Архангельском соборе — ровеснике их самостоятельности: он построен в год, когда Василий Иванович стал великим князем, а они с Юрием получили в управление уделы. Глинский же был захоронен без всякой почести в церкви Святого Никиты за Неглинною, но потом правительница одумалась, приказала вынуть его из земли и отвезти в Троицкую обитель, где была изготовлена достойная могила для деда великого князя. Впрочем, Андрей Иванович не очень-то полагался на митрополичье слово. Всем ещё памятно, что через год после утверждения на митрополии Даниил дал Василию Шемячичу — потомку Калиты — охранную грамоту для проезда в Москву по зову великого князя, однако тот был схвачен и заточён Василием Ивановичем в темницу.

Слева от юного правителя сидел конюший Иван Фёдорович Овчина. Он спокойно смотрел на вошедшего, но мнительному Андрею Ивановичу его спокойствие казалось самодовольным, высокомерным. После похорон Василия Ивановича он впервые видел его в чине конюшего. Ближние люди все уши прожужжали удельному князю о шашнях Ивана Овчины с женой его покойного брата, и оттого не мил ему конюший, ой как не мил!

«Не этот кобель, а я должен был бы сидеть возле юного великого князя, как самый ближний к нему человек!»

В палате находились также князь Иван Васильевич Шуйский и дьяк Григорий Меньшой Путятин, недавно приехавшие в Старицу для успокоения её владельца, напуганного вестями о намерении великой княгини схватить его. Зная о вероломстве Глинских, он решительно отказался от их предложения приехать в Москву для встречи с великим князем и правительницей. Пришлось Шуйскому с Путятиным ехать в Москву за грамотой, в которой

Елена заверила его, что по прибытии в Москву ему ничего худого сделано не будет. Но и после этого Андрей Иванович упорствовал и уступил лишь после того, как митрополит Даниил согласился быть посредником в переговорах. Однако и теперь старицкий князь не был спокоен за свою судьбу. Он был убеждён, что похитители власти готовы на любую мерзость. Они не знают ни чести, ни совести. В больших серых глазах его, выделявшихся на бледном худом лице, застыла тревога.

— По-доброму ли доехал, князь Андрей Иванович? — Звонкий голос племянника разорвал царившую в палате тишину.

— Спасибо, великий князь, доехал я без заминки.

На этом беседа с юным великим князем закончилась. Затем полагалось говорить его матери. Так было заведено и при приёме послов, которых мальчик вопрошал одно и то же: «Здоров ли мой брат такой-то?»

— Дошли до нас вести, будто ты, Андрей Иванович, на нас в обиде.

— Слышал я, будто великий князь и ты, Елена Васильевна, хотите положить на меня опалу.

— Нам про тебя также слух доходит, что ты на нас сердишься; и ты бы в своей правде стоял крепко, а лихих людей не слушал да объявил бы нам, что это за люди, чтобы впредь между нами ничего дурного не было.

Андрей Иванович замешкался с ответом. После смерти Василия Ивановича он обратился к его сыну и жене с просьбой увеличить удел присоединением новых земель Волоцкого уезда. При этом он ссылался на духовную грамоту своего отца Ивана Васильевича. Елена, однако, отказалась удовлетворить его притязания. Вместо городов и земель ему были пожалованы на память о покойном шубы, кубки, кони с сёдлами. Но разве он, властитель Старицы, беден? Андрей Иванович покинул Москву неудовлетворённым. О его неудовольствии стало известно правительнице. В свой черёд об этом узнал старицкий князь из грамоты, полученной от князя Ивана Семёновича Ярославского. Он-то и писал, будто Елена велела схватить его. Удельному князю польстило, что на его сторону стал человек из старого рода Ярославских, отец которого, Семён, был воеводой во времена княжения Ивана Васильевича и не раз водил русские полки на Казань. В бытность Василия Ивановича Иван Ярославский вместе с Семёном Трофимовым ездил послом к испанскому королю Карлу V, который щедро наградил их тяжёлыми золотыми ожерельями, цепями, золотой испанской монетой и многими другими дарами. Однако Василий Иванович по возвращении послов на родину приказал сразу же всё отобрать у них. Мог ли Андрей Иванович выдать своего московского доброхота? Разумеется, нет! Ведь Елена тотчас же велела бы схватить его, посадить за сторожи, а то и казнить.

— Мне самому так показалось, великая княгиня.

— Очень жаль, Андрей Иванович. Великий князь зла на тебя не имеет и опалы на тебя класть не намеревался, потому ты можешь быть спокойным, хотя многое в твоих действиях вызывает у нас недоумение. Когда ходили мы на литовцев, крымцев или казанцев, ты никогда в тех походах с нами не был. А ведь покойный брат твой, Василий Иванович, в своём предсмертном слове велел тебе в ратных делах против недругов сына его и твоих стоять сообща, заодно, христианство от недругов беречь. Почему ты так делаешь?

— Войско моё мало, да и нездоров я был.

— Летом будущего года желаем мы идти на Казань, чтобы наказать за разбой Сафа-Гирея. Он убил верного нам хана Еналея, сжёг сёла возле Нижнего Новгорода, напал на Балахну, вторгался в костромские волости. Будешь ли ты со своей ратью вместе с нами?

— Пойду, ежели не захвораю.

— Мы на тебя, Андрей Иванович, зла не имеем и хотим, чтобы и ты на великого князя и на меня лиха в мыслях не держал.

— Коли вы на меня зла не держите, так и я на вас в обиде не буду.

— Хотим мы, чтобы ты, услышав от своих князей, бояр или дьяков о лихе, замышляемом против великого князя, о том нам отписывал. А кто станет ссорить тебя с нами, так ты бы о тех людях сказывал нам. И если кто из бояр, князей или дьяков вознамерится отъехать от нас к тебе, так ты бы тех людей не принимал. Согласен ли в том?

— Согласен.

— Ты Василию Ивановичу перед смертью крест целовал, что государства под великим князем Иваном хотеть не будешь. Верно ли твоё слово?

— Слово моё нерушимо.

— Коли ты, Андрей Иванович, согласен со всем, что здесь было сказано, то мы хотели бы получить с тебя запись о верности великому князю. Григорий, подай князю грамоту.

Григорий Путятин передал Андрею Ивановичу лист с записью. Тот внимательно прочитал её.

— К чему эта запись, коли я ничего дурного великому князю не сделал?

— К тому, Андрей Иванович, чтобы не вышло меж нами так же, как случилось с князем Юрием Ивановичем.

«Ах вон оно что! После смерти Юрия я стал для вас опасен, вот вы и требуете от меня целовальной записи. Пока был жив старший брат, я не мог претендовать на великое княжение, а ныне вправе поступить с племянником Иваном так же, как его отец Василий обошёлся с Дмитрием. И вы боитесь этого!»

— Но ведь я давал уже целовальную запись по смерти Василия Ивановича.

— После той целовальной записи меж нами возникло недоверие, и, чтобы мы вновь могли доверять друг другу, ты и должен подписать эту грамоту.

— Недоверие возникло не по моей вине, а по вашей, поскольку слух возник, будто вы вознамерились меня схватить.

— Слух породил тот, кто хотел бы поссорить нас, и мы пожелали, чтобы ты назвал имена тех людишек, но ты заперся, не желаешь выдать их и говоришь, будто тебе самому так показалось. Недоверие меж нами явилось не потому, а из-за твоих притязаний на расширение удела. Так что не мы, а ты в том виноват.

«Они поступили как воры, не исполнили волю покойного брата Василия, завещавшего расширить мой удел, а я, оказывается, ещё и виноват!»

— Тогда и вы дайте мне запись.

— Какую ещё запись?

— О том, что не станете вредить мне.

— Присутствуют здесь митрополит и многие бояре, и все они подтвердят, что мы против тебя зла не имели и худого тебе ничего не делали. Какая запись ещё нужна? Великий князь волен

казнить и миловать своих слуг!

— Тогда и я волен не давать записи.

Андрей Иванович повернулся и вышел из палаты.

Удельный князь был вне себя от гнева, читая грамоту, привезённую из Москвы от правительницы князем Борисом Щепиным-Оболенским. Год назад Елена обратилась к Андрею Ивановичу с просьбой принять участие в намечавшемся казанском деле. Он тотчас же отписал, что не может прибыть в Москву из-за болезни, и просил прислать в Старицу опытного лекаря. Вскоре из стольного града явился известный врач Феофил, который осмотрел больного и, по всей вероятности, сообщил в Москву, что болезнь у него неопасная, лёгкая: на стегне появилась небольшая болячка. Тогда Елена снарядила в Старицу сына боярского, князя Василия Фёдоровича Оболенского. Ему Андрей Иванович вновь жаловался на болезнь и просил его передать, что не может поехать. Правительница не поверила и отправила к удельному князю нового человека — Василия Семёновича Серебряного. Больной, однако, упорствовал и дал великокняжескому посланцу такой ответ: «Нам к тебе, ко государю, ехать не мочно». Очередной отказ выполнить требование правительницы был чреват опасностью, поэтому Андрей Иванович направил в Москву для переговоров воеводу Юрия Андреевича Оболенского-Большого. Он должен был бить челом Елене, чтобы великий князь «гневу своего не подержал». Но Елена была неумолима и послала в Старицу князя Бориса Дмитриевича Щепина-Оболенского, который доводился троюродным братом её любовнику Ивану Овчине и князьям Оболенским, служившим в уделе. Он привёз Андрею Ивановичу грамоту с требованием явиться в Москву без промедления единолично, в каком бы состоянии ни был. Одновременно правительница приказала снарядить войско в Коломну на береговую службу во главе с воеводой Оболенским-Большим. Не приглянулся он Елене своей верностью удельному князю. Андрей Иванович понимал, что посылкой войска в Коломну его хотят ослабить, лишить надёжной защиты Старицу. Но мог ли он не подчиниться требованию великого князя и его матери? Ведь им только и надобен был повод для расправы с человеком, способным притязать на великое княжение. Поэтому войско было отправлено в Коломну, причём князь Щепин-Оболенский находился в Старице до тех пор, пока оно не выступило в поход. Что же касается приказа явиться в Москву, то его выполнять удельный князь не хотел: он был убеждён, что по прибытии туда его ждёт судьба брата Юрия.

Войско покинуло Старицу, князь Щепин-Оболенский уехал в Москву, а Андрей Иванович, обуреваемый одновременно страхом и раздражением, гневом и растерянностью, как затравленный зверь метался по горнице.

— Эй, кто там! Покличь князей Фёдора Пронского и Василия Голубого-Ростовского, боярина Бориса Палецкого, дворецкого и стольника!

В горнице, притаившись в тёмном углу, был лишь карлик Гаврила Воеводич. Он опрометью бросился исполнять приказание. Когда все собрались, Андрей Иванович немного успокоился.

— Позвал я вас, верных мне людей, вот для чего... Хочу собрать воев моего удела в Старицу. Всех до единого! Тотчас же отправь, Юрий, вестников в селения, нам принадлежащие.

Дворецкий Юрий Андреевич Оболенский-Меньшой согласно кивнул головой. Он был в родстве с удельным князем: его жена доводилась родной сестрой Евфросинье Хованской — жене Андрея Ивановича.

— Для чего, господин, нужны сии люди? — Голубой-Ростовский подобострастно всматривался в лицо князя.

— Сами ведаете, что по настоянию правительницы мы отправили нашу рать во главе с воеводой Юрием Оболенским-Большим под Коломну. Старица же осталась беззащитной: любой враг без труда захватить её может.

Осторожно высказался Андрей Иванович, но присутствующие поняли, о каких врагах идёт речь, поскольку ни для кого не стали тайной приказы, привезённые Щепиным-Оболенским из Москвы.

«Надо будет сегодня же отправить в Москву Еремку с вестью, что удельный князь начал действовать, — подумалось Голубому-Ростовскому, — но прежде надлежит узнать, насколько серьёзны его намерения».

— Славный наш господин Андрей Иванович, не велишь ли снарядить гонца в Коломну к воеводе Юрию Андреевичу? Не пора ли войску, отбывшему туда, воротиться в Старицу?

Андрей Иванович недоверчиво уставился в лицо Василия, но оно выражало такое подобострастие, что сомнения его рассеялись. Он и сам намеревался послать гонца в Коломну, но только втайне от всех, даже самых близких людей, чтобы раньше времени не выдать своих истинных целей. К чему, однако, таиться? Не минет и трёх седмиц, как в Старице соберётся вся его рать, причём она не будет малочисленной. К тому же наслышан князь, будто на Руси только и ждут его призыва служить не пеленочнику, а ему. А на днях явился в Старицу тайный посланник от Жигимонта и поведал, что тот знает о притеснениях, чинимых Андрею Ивановичу матерью великого князя Еленой Глинской, и готов оказать ему всяческое содействие. Опираясь на своё воинство, поддержку народа, недовольного юным великим князем, и помощь Жигимонта, он легко может захватить Москву. Чего же бояться?

— Надо бы... Надо бы и к Юрию Андреевичу направить нашего человека. Пусть не мешкая покинет Коломну и со всем воинством направляется в отчину.

— Будет исполнено, господин. — Голубой-Ростовский подобострастно склонился в поклоне. Он больше не сомневался в истинных намерениях удельного князя.

— Ступайте все, а ты, Фёдор, останься.

Когда советники удалились, Андрей Иванович указал Пронскому на лавку:

— Садись, Фёдор, будем с тобой писать грамоту великому князю и матери его Елене. Пиши: «Ты, государь, приказал нам с великим запрещением, чтоб нам непременно у тебя быть, как ни есть; нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно; а прежде, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носилках волочили».

Фёдор испуганно глянул на удельного князя. Тот стоял у окна бледный, пот струйками бежал по его щекам.

— Пиши дальше, Фёдор: «И я от болезни и от беды, с кручины отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, пожаловал, показал милость, согрел сердце и живот холопу своему своим жалованьем, чтоб холопу твоему наперёд было можно и надёжно твоим жалованьем быть бесскорбно и без кручины, как тебе Бог положит на сердце».

Андрей Иванович торопливо пробежал глазами написанное, приложил печать и сунул грамоту в руки князя.

— Отвезёшь сию грамоту великой княгине, подавиться бы ей рыбьей костью! Возьмёшь с собой сына боярского Сатина, дьяка Варгана Григорьева и людей для охраны.

Едва Фёдор Пронский вышел от удельного князя, а человек Василия Фёдоровича

Голубого-Ростовского уже мчался кратчайшей дорогой в Москву с вестью о том, что Андрей Иванович велел своим людям собираться в Старице, а воеводе Оболенскому-Большому — возвращаться из Коломны. Поздним вечером он тихо постучал в дом Ивана Овчины. Слуга без промедления впустил его в покои конюшего.

— С чем прибыл, Еремка?

— Дивлюсь твоей памяти, господин, ведь один только раз виделись...

— Ты о деле молви.

— Моему господину стало ведомо, что князь Андрей Иванович начал действовать: велел своим людям собираться в Старице, всем до единого, кто оружие в руках держать может. А воеводе Оболенскому-Большому приказал покинуть Коломну.

— Важные вести принёс ты, голубчик. А что же потом Андрей Иванович намерен делать?

— О том мне не ведомо, князь Андрей ещё не сказывал, в какое место он намерен идти.

— И на том спасибо тебе. А пока ступай, великий князь не забудет о твоей услуге.

Едва закрылась дверь за Еремкой, Иван Овчина начал одеваться, чтобы идти в великокняжеский дворец. В покоях Елены он застал митрополита Даниила.

— Вижу, что-то случилось? — обратилась Елена к конюшему. Беседа с занудой митрополитом утомила её.

— Старицкий князь, получив твоё грозное послание, приказал собирать войска.

— Какие войска? На днях возвратился из Старицы князь Борис Щепин-Оболенский и поведал нам, что войско Андрея Ивановича со многими детьми боярскими и воеводой Юрием Оболенским-Большим выступило из Старицы. Вчера явился из Коломны гонец с вестью о прибытии старицкого воинства. И я тотчас же приказала московским воеводам и детям боярским принять его под охрану, чтобы оно не могло уже невзначай воротиться в свою отчину. Но ты, я вижу, недоволен тем, как я написала князю Андрею? — В голосе Елены прозвучало едва сдерживаемое раздражение.

— Да. Надо было оставить его в покое. А с татарами мы и без него управились бы. Пользы-то от этого вояки как от козла — молока.

Лицо правительницы покраснелось и сейчас было неприятно Ивану Фёдоровичу.

«Вряд ли пристало бабе быть воеводой. Власть не украшает, а портит её. Но может, Елена такова уж есть — слишком много в ней лютой злобы».

— Нет, не могу я позволить, чтобы кто-то пренебрегал волей великого князя, будь то удельный князь или... юродивый!

— Ты хочешь сказать, что не позволишь пренебрегать твоей волей?

— И моей тоже. Вот они, братья покойного государя! Крест целовали верно служить великому князю, а на самом деле только и мыслят, как бы навредить ему. Где уж тут поддерживать своего кровного племянника, помочь мне в управлении государством.

— Андрей Иванович нам не опасен. Надо было в своё время дать ему то, что он просил, и не было бы ныне этой занозы.

— Ты всё о том же! Я приняла решение и от него не отступлюсь. Андрей Иванович идёт по

тому же пути, что и его брат Юрий.

— Не слишком ли много крови?

— Чем больше крови, тем прочнее власть государя!

— Не могу согласиться с этим.

— Открой пошире глаза и увидишь, что во всем мире власть утверждается мечом и ножом. Разве не слышаны мы о деяниях Генриха Тюдора в Англии? Два года назад он казнил выступившего против его намерений ближнего человека Мора [176]. Не он ли отнял у монастырей земли, а тех, кто противился тому, жестоко покарал? Сей правитель по уши погряз в крови. А разве мало крови пролил император Карл Габсбургский?

Митрополит с изумлением смотрел на правительницу и её любовника, он впервые присутствовал при их ссоре.

— Ты вот твердишь, что Андрей Иванович нам не опасен. А хорошо ли будет, ежели он в Литву сбежит? Сам сказывал, что был у него тайный человек от Жигимонта. Дядя великого князя — и сбежал к его врагам! Прекрасная весточка для литовцев, поляков, ливонцев и других народов. Пусть уж лучше вместе со своими братьями будет! К тому же хотя Андрей Иванович и трус, да людьми силён добре. Не впервой видоки доносят мне, что в Старице у князя Андрея скопились прибылые люди, которых раньше у него не было. Выходит, он давно уже готовит силы для борьбы с нами. Не потому велела я старицкому князю послать свои полки под Казань и Коломну, что мы без них обойтись не можем, а чтобы лишить строптивца воинской силы.

— Но ведь Андрей Иванович выставил свои полки на рубеж. Его воевода Юрий Оболенский-Большой стоит уже в Коломне со многими детьми боярскими.

— Если бы я не послала в Старицу князя Бориса Щепина-Оболенского, чтобы он самолично присмотрел за отправкой полков в Коломну, Андрей Иванович и не подумал бы послушаться меня. Теперь же, когда он вознамерился собрать воинскую силу, мы должны жестоко покарать его.

Даниил, гулко прокашлявшись, промолвил:

— Не так давно скончался Юрий Дмитровский. Ныне на краю гибели Андрей Старицкий. А ведь Господь Бог милосерден.

— Я, святой отец, защищаю себя и юного князя от посягательств со стороны братьев покойного государя. Не я, а они плетут козни, норовят захватить власть. Нам надлежит выставить полки по всем дорогам, кои ведут в Старицу. Что будет с нами, коли князь Андрей заручится подмогой Жигимонта и двинет свои полки со стороны Старицы и Коломны? Ведомо мне, что многие московские князья и бояре держат его руку, не желая видеть на престоле моего юного сына. О нет, я не верю тому, будто старицкий князь для нас не опасен! Он подобен дракону со многими головами. Так нужно немедля рубить эти головы! Что же вы присоветуете мне делать?

— Пусть окольный Иван Карпов встанет на Истре, чтобы не пропустить его на Москву, а воевода Никита Оболенский поспешает к Волоку, имея намерения обойти Старицу и воспрепятствовать соединению мятежника с Жигимонтом.

— Добро. Отправь полки немедля.

— Время у нас ещё есть: пока-то гонцы Андрея Ивановича по весеннему бездорожью достигнут всех его селений, там соберут оружие, съестные припасы, корм для лошадей, а

затем воины доползут до Старицы...

— Сделай так, чтобы никто не проведал о том, куда направляются наши полки. Князь Андрей дюже мнительный, коли прознает о движении полков к Старице, то сразу же побежит к Жигимонту, а этого допустить никак нельзя. Да и про нас почнут говорить худое, будто мы ни с того ни с сего решили его поймать.

— И всё же с помощью святой церкви следует попробовать облагоразумить Ондreja Старицкого.

— Одно другому не мешает, святой отец. Мы пошлём воинов во главе с Никитой Оболенским. Ты же снарядишь своих людей.

— Воины пусть выступают немедля, а я отправлю в Старицу владыку крутицкого Досифея, архимандрита Симонова монастыря Филофея и духовника князя Ондreja протопопа спасского Семиона. Пусть они поручатся перед удельным князем, что ни у великой княгини, ни у великого князя лиха в мыслях нет никакого. Если же князь Ондрей не послушается речей наших посланников и не захочет поехать к великому князю, то святые отцы от моего имени предадут его проклятию.

Фёдор Пронский не особенно торопился в Москву. Он знал, что грамота Андрея Ивановича вряд ли понравится великой княгине и боярам, а потому на него, посланника удельного князя, могут положить опалу.

«В старые-то добрые времена, — думал Фёдор, покидая в день Василия Парийского [177] Старицу, — удельный князь был в большой силе, ныне же совсем не то. А потому в окружении князя Андрея появилось немало неверных людишек, льстивых и хитрых. Много таких, которые с потрохами готовы продать его. Над теми же, кто верно служит ему, потешаются. Потому незачем торопить коня».

К вечеру тёплого апрельского дня Пронский с небольшой свитой оказался на опушке берёзовой рощи. Недалеко виднелись избы сёла Павловское, сбежавшие к берегу реки Истры. Под копытами коней пестрели ранние цветы: белые ветреницы, сиренево-розовые медуницы, жёлтые ключики [178]. Глубокая тишина царила в мире, прерываемая лишь самыми первыми трелями соловья.

— Лепота-то какая вокруг! — тихо обратился князь к сыну боярскому Сатину. — Здесь, возле села Павловское, переночуем, а поутру снова в путь. До Москвы осталось всего тридцать вёрст.

Воины начали устраиваться на ночлег. Судок Сатин расположился на самом краю глубокого, поросшего кустарниками оврага, из которого веяло холодом и доносились особенно неистовые трели соловья.

Красота окружающего мира, весенняя прохлада, запах распускающихся берёз, пение соловья, воспоминания о мимолётных встречах с юной боярышней волновали душу Сатина. Если бы не воля удельного князя Андрея Ивановича, со всех ног кинулся бы он назад, в Старицу, пробрался бы к оконцу своей возлюбленной и... Что должно было произойти дальше, Сатин ещё не знал.

— Ведаешь ли ты, отчего эти цветочки ключиками называются? — услышал он чей-то голос.

— Нет, — ответил воин, поивший коня.

— Ну так слушай. Однажды лукавый вознамерился подделывать ключи от рая да наполнить

райские кущи всякой нечистью.

— Какой нечистью?

— Вестимо какой: лешаками, русалками, ведьмами, домовыми, чурами. Апостол Пётр, хранитель ключей от рая, прознав про козни лукавого, так огорчился, что с горя обронил свои ключи. Там, где они упали на землю, и выросли эти жёлтые цветочки. Уж больно они похожи на связку ключиков.

— Эту траву ещё баранчиками прозывают.

— Верно.

Сатину, внимательно вслушивавшемуся в беседу воинов, вдруг почудилось, будто поблизости движется множество людей. Тревожный крик взорвал тишину.

— Эй, кто такие?

— Мы вой великого князя. А вы кто?

— А мы слуги старицкого князя Андрея Ивановича.

— Куда путь держите?

— В Москву, везём великому князю грамоту от Андрея Ивановича.

— Ведомо ли вам, что старицкий князь поднял меч против юного великого князя?

— Не слышали мы о том.

— Бросайте оружие!

— А мы вам неподвластные!

— Вы пришли на землю великого князя как тати, а потому будете посажены за сторожи. Эй, вой, вяжите их!

На опушке завязалась борьба. Судок Сатин, оставаясь незамеченным, скатился в овраг и со всех ног припустился бежать назад, в Старицу.

В эти дни Старица напоминала потревоженный улей. Вокруг княжеского дворца — громоздкого сооружения со множеством шпилей и выступов — поднялись шатры прибылых начальных людей. Вдоль полуразвалившейся городской стены, прорехи которой были заделаны частоколом, теснились шалаши простых воинов.

В палате старицкого князя собрались на совет наиболее близкие люди. Здесь были дворецкий Юрий Андреевич Оболенский-Меньшой, стольник князь Иван Васильевич Ших-Чернятинский, боярин Борис Иванович Палецкий, князь Василий Фёдорович Голубой-Ростовский. Шут Гаврила Воеводич попытался было проникнуть в палату, но его пинком выставили вон. Решался весьма важный вопрос: какие действия следует предпринять против великого князя и его матери Елены в связи с поиманием посольства князя Фёдора Пронского. Сегодня утром из-под Павловского прибежал боярский сын Судок Сатин с вестью о том, что вой великого князя под начальством Ивана Карпова, схватив Фёдора Пронского с товарищами, идут в Старицу, чтобы полонить удельного князя. Мнения присутствующих разделились.

— Великий князь мал, он не скоро ещё сможет самостоятельно управлять государством, — первым высказался дворецкий, — поэтому наш государь, Андрей Иванович, по праву должен занять великокняжеский стол. Ныне, как никогда, всё благоприятствует этому. Во-первых, среди московских бояр немало недовольных Еленой Глинской и её любовником Иваном Овчиной. Во-вторых, проведав о неприязни между правительницей и нашим господином Андреем Ивановичем, многие устремились сюда, в Старицу, стали на нашу сторону. Вчера приехали к нам бояре новгородские, а из Москвы прибыл князь Иван Ярославский. В-третьих, в Коломне находится наша рать, которую мы послали по требованию великого князя для охраны русских рубежей от татар. Воевода Юрий Оболенский-Большой в любой момент может повернуть её на Москву. Ударив с двух сторон, мы можем легко одолеть наших врагов. Не надо только медлить, а как можно быстрее выступить на Москву!

Однако другие не поддержали его. Иван Васильевич Ших-Чернятинский возразил:

— Недовольных матерью великого князя Еленой и впрямь много, однако и сил у Москвы немало. К тому же Иван Овчина не дурак. Хоть и молод он, да удачлив в боях. Наконец, и воины московские посноровистее наших в ратном деле. Двигаться на Москву с небольшими силами нам не резон. Моё мнение: следует заручиться подмогой литовского великого князя Жигимонта. К нему мы и должны направить свои стопы.

Боярин Борис Иванович Палецкий советовал иное:

— Хорошо ли нам, русским, просить подмоги у Жигимонта? Мне думается, следует направиться к Новгороду. Там ведь особенно много недовольных Москвой, лишившей новгородцев вольницы. Не сомневаюсь, что они будут рады тебе, Андрей Иванович, и при твоём приближении дружно встанут на твою сторону. Крепкие стены Новгорода помогут нам успешно противостоять наступлению московских полков. А там как Бог даст.

Князь Голубой-Ростовский в разговоре не участвовал, а всё буравил своими свинцовыми глазками говоривших, словно пытался получше запомнить их слова. В это время в палату вошёл ближний дворянин Каша Агарков и что-то тихо сказал на ухо удельному князю. Тот посмурнел лицом.

— Пусть войдёт немедля.

В палату быстрым шагом вошёл гонец из Москвы.

— Великий князь Иван Васильевич и его мать великая княгиня Елена Васильевна послали меня к тебе, Андрей Иванович, с вестью, что князь Фёдор Пронский, посланный тобой с грамотой для великого князя, благополучно прибыл в Москву и расположился на твоём дворе.

— А мне тут сказывали, будто вои Ивашки Карпова схватили его и посадили за сторожи.

— То ложная весть, князь. Придумана она злыми людьми, желающими поссорить тебя с великим князем и его матерью, которые с радостью в сердце узнали о прибытии в Москву твоего слуги. Ныне между великим князем и Фёдором Пронским начались переговоры. При этом ему было сказано, что на тебя, Андрей Иванович, никакого худого мнения нет. Боярин Иван Васильевич Шуйский, дворецкий Иван Юрьевич Шигона и дьяк Григорий Меньшой Путятин крест целовали перед Фёдором Пронским, что у великого князя Ивана Васильевича и великой княгини Елены Васильевны лиха в мыслях нет никакого. О том же скажут тебе посылаемые митрополитом Даниилом служители церкви — владыка крутицкий Досифей, архимандрит Симонова монастыря Филофей и твой духовник протопоп спасский Семион. Они должны были отправиться вслед за мной в Старицу.

На бледном лице Андрея Ивановича появилась робкая улыбка.

«Здорово, видать, перепугалась Елена, когда узнала, какая силища скопилась у меня в Старице. Достаточно натерпелся я от этой беспутной бабёнки. Не бывать больше тому!»

Вновь в палате появился Каша Агарков и, бесшумно приблизившись к господину, прошептал несколько слов ему на ухо. Андрей Иванович насторожился.

— Пусть войдёт.

Каша молча указал пальцем на великокняжеского гонца.

— Ничего, пусть и он услышит эту новость.

В палату вошёл боярский сын Яков Веригин, без шапки, запыхлённый, уставший от длительной скачки.

— Государь, великая беда приключилась! Вои великого князя, коими начальствует воевода Никита Оболенский, объявились на Волоке. А идут они тебя имати. И воев тех видимо-невидимо.

Бледное лицо старицкого князя стало белее снега.

— Кому же мне верить? Вот только что человек из Москвы уверял меня, будто у моего племянника и его матери в мыслях нет лиха никакого, и в то же время Никита Оболенский со многими людьми объявился на Волоке, чтобы меня имати. Или это не лихо для меня?

— Не верь, князь, злым людям, желающим поссорить тебя с великим князем Иваном Васильевичем и его матерью Еленой Васильевной. Лжёт тебе этот человек!

— Ты вот что, Яков, поклянись пред образом Спаса Нерукотворного, что молвил мне правду. Сам ли ты видел людей Никиты Оболенского?

Яков Веригин встал перед иконостасом на колени, осенил себя крестом и торжественно произнёс:

— Клянусь всеми святыми угодниками, что я сказывал здесь чистую правду. По велению Андрея Ивановича отправились мы в Волок для покупки у тамошних кузнецов оружия. Собрались уж назад возвращаться, да тут по торгу слух прошёл, будто Городенку, недалеко от Волока, вброд переходит московская рать. Я тотчас устремился к тому месту и засел в кустах, чтобы проведать, куда направляется московское войско. Один из воев молвил, что ведёт рать воевода Никита Оболенский, а другой сказал так: «Вот поймаем Андрея Ивановича, и тогда нам придётся в Серпухов идти на береговую службу». Выбрался я из кустов и осмотрелся по сторонам: московских людей было очень много. Сел я на коня и, опередив обоз с оружием, устремился в Старицу.

— Господи, да что же это на белом свете подеялось? — Андрей Иванович поднял руки над головой. — Митрополит Даниил заверяет меня в том, что великий князь и его мать зла мне не причинят, а те в это время рать на меня натравили. Где же правда на белом свете?

— Ложь это всё, происки злых людей...

— Ах, ты, оказывается, ещё здесь! — Андрей Иванович живо повернулся к великокняжескому гонцу. — Ты, ты лжёшь мне, мерзавец! Эй, люди, хватайте его и волоките в темницу. Нет у меня к нему веры!

Московского гонца увели из палаты.

— Понял я, почему Никита Оболенский оказался в Волоке: спешит он обойти Старицу

стороной, чтобы пресечь нам путь к Жигимонту. И нам не следует мешкать. В день безвинно убиенных Святополком Окаянным князей Бориса и Глеба [179] велю всем покинуть Старицу. Не уподобились ли и мы с Юрием этим страдальцам?.. — Андрей Иванович помолчал, поражённый неожиданной мыслью, — А не назовут ли на Руси нынешнего государя, как и Святополка, Окаянным?

— Куда же мы двинемся, господин? — вкрадчиво спросил Голубой-Ростовский.

— Пока что я и сам не ведаю о том. Как Бог мне положит на душу, так и поступим.

Андрей Иванович направился в покои жены. Здесь было тихо, как в погребке. Евфросинья, стоя перед иконами на коленях, усердно молилась. Услышав скрип двери, она поспешно поднялась и быстро, почти бегом приблизилась к мужу. Неказиста жена удельного князя худая, лицо бледное, а на нём лихорадочно поблёскивают тёмные глаза.

— Дивлюсь и радуюсь твоей решительности, Андрей. Днём и ночью молю Господа Бога помочь тебе. Ты явился с вестью о походе на проклятых агарян?

— Да, Евфросиньюшка. И тебе с Владимиром придётся следовать за мной — в Старице оставаться опасно Елена послала по наши души большую рать, и рать та уже близка.

— Мы повсюду последуем за тобой, Андрей! Ежели Господь Бог даст тебе доблесть и мужество, ты повергнешь своих врагов и станешь великим князем всея Руси. Как Василий Иванович одолел племянника Дмитрия, так и ты сковырнёшь худородного отпрыска Ивана, зачатого не на великокняжеском ложе, а в грязи прелюбодейства. Не бывать сыну Овчинину великим князем! Лишь ты один достоин престола! Потому с тобой Бог, Андрей!

Князь с изумлением смотрел на богомольную жену Правду, видать, говорят, что в душах великих смиренников таится огромная гордыня. Только к добру ли это? Сказывают, будто от той самой гордыни терпят они одни беды да лишения.

— Куда же мы двинемся, Андрей?

— Путь у нас один, Евфросиньюшка, — к Великому Новгороду.

Ночью слуга Василия Фёдоровича Голубого-Ростовского Еремка оповестил конюшего Ивана Овчину о том, что Андрей Иванович намерен выступить из Старицы в Борисов день.

— Куда же он собирается путь править?

— О том, господин, мне не ведомо. Князь Андрей никому не сказывал, в какое место хочет податься.

— Ишь каким скрытным стал Андрей Иванович! Путь у него один, Еремка. Ты езжай назад в Старицу, а оттуда гони следом за воинством удельного князя. Скажи своему господину, чтобы он оставил Андрея Ивановича и другим посоветовал бы поступить так же.

Узнав о назначении старицким князем дня выхода из своей отчины, Елена перекрестилась:

— Спаси и сохрани нас, Боже, от этой беды. Незнамо почему, страшно мне вдруг стало. До сих пор не ведаем мы, куда намерен идти князь Андрей. Ну, как он поразит рать Никиты Оболенского? Тебе, дорогой, надобно быть там — когда ты при полках, я всегда бываю спокойна. Надлежит послать к Старице и другие наши полки с воеводами Романом Одоевским, Дмитрием Оболенским-Курлятевым, Василием Оболенским-Лопатиным, Дмитрием Слепым.

— Думается мне, что Андрей Иванович двинется к Новгороду. К Жигимонту его Никита не

пустит.

— Ежели князь Андрей пойдёт к Новгороду, то тебе с названными воеводами нужно идти следом за ним, а Никита Оболенский со всей ратью пусть обойдёт старицкое войско и спешит к Новгороду. Нельзя допустить, чтобы мятежник укрылся за его крепкими стенами. Ступай, дорогой, нельзя нам мешкать. Да хранит тебя Бог!

Глава 12

В Борисов день Андрей Иванович вместе с семьёй и всем своим народом выступил из Старицы по направлению к Торжку. По мере продвижения войско удельного князя мало-помалу росло: по дороге к нему присоединялись владельцы ближних погостов со своими людьми. Многотысячное войско растянулось на несколько вёрст.

Первый стан был в боярском селе Бернове Новоторжского уезда, известном своим торжищем. А когда собрались продолжить путь, то оказалось, что нет князя Василия Фёдоровича Голубого-Ростовского. Очевидцы сказывали, будто ночью в стане объявился его слуга — разбитной парень Еремка. Наутро ни того, ни другого нигде не нашли, словно под землю провалились. Никто об исчезновении князя не горевал, однако в стане мятежников после этого стало как-то неуютно, тоскливо, каждый невольно задумался о своей судьбе. Начались пересуды, куда они идут, и Андрею Ивановичу пришлось объявить, что направляются они к Новгороду. В тот же день несколько человек, обогнав старицкую рать, повезли новгородцам грамоты удельного князя, в которых было сказано: «Князь великий молод, держат государство бояре, а вам у кого служить? Я же рад вас жаловать». Третье становище мятежный князь приказал разбить на берегу небольшой чистой речки. Ночь пришла прохладная, звёздная. Нарождавшийся месяц словно золотой серп повис над спокойными водами. Утомлённое дневным переходом, воинство быстро отходило ко сну. Лишь около одного костра продолжалась тихая беседа. Пожилой бородатый воин рассказывал о своих походах на татар.

— С татаринoм воевать — дело понятное. Землю свою от ворогов оборонить нужно. Плохо, когда усобица между князьями зачинается. Тут славы не жди. Для ворогов лишь потеха.

— Усобица усобице рознь, — возразил рослый мужественный воин со шрамом на лбу, — случается, князья из-за такой чепухи враждуют, что смех берёт. Ныне же совсем не то. По смерти великого князя Василия Ивановича государством стал править несмышлёный юнец. Какой от него прок? Бояре, конечно дело, постарались взять власть в свои руки. А наш князь, Андрей Иванович, не у дел остался. Можно ли такое стерпеть? Говорят, просил он великого князя к его владениям городов прибавить. Убыло бы от того у великого князя? Ан нет, матери его, Елене Глинской, жаль стало тех городов. Вот и разгорелся сыр-бор.

Молодой, безусый ещё ратник поддержал воина со шрамом:

— К тому же бают, великая княгиня очень обидела Андрея Ивановича, потребовав, когда он был болен, явиться на Москву. Холоп он ей, что ли? Всем ведомо, что Андрей Иванович человек хворый, болезный. Так нужно ли такого на ратное дело силком волочи?

Бородач не стал возражать своим более молодым товарищам, хотя и не был согласен с ними. Он заговорил, казалось, совсем об ином:

— Соловьи-то, соловьи-то как заливаются! Видать, тепло почуяли. От тепла земля-матушка взопреет, семян хлебородных запросит. Да только кто ныне те семена в землю метать

станет? Кто урожай соберёт? Ноет моё сердце, кровушкой обливается, чует: быть беде в каждом крестьянском доме. Потому как не зря в народе говаривают: не отсеялся на Бориса — с Бориса и сам боронися!

Эти слова были понятны и близки всем сидящим у костра. Поход был явно не ко времени, отрывал крестьянина от забот о земле-кормилице. Грустно поник головой воин со шрамом. Да и молодой призадумался. В это время вдалеке возник неясный шум — и из темноты появились всадники.

— Эй, кто это там? Уж не лазутчики ли пожаловали? Эй, стой, стой, говорят!

Громкий возглас разбудил спавших воинов. Загремело оружие. Всадники между тем пришпорили коней.

— Врёшь, не уйдёшь! — прохрипел воин со шрамом и ловко метнул аркан в сторону проезжавшего мимо всадника. Резкий рывок, и всадник, выбитый из седла, оказался на земле. Воины окружили его, возбуждённо обсуждая происшествие.

— Да это же боярский сын Андрейка Валуёв! А мы-то думали — московский лазутчик...

— Чего ж он голоса не подавал, когда его окликали?

— Тёмное, видать, дело.

— Веди Андрейку ко княжескому шатру!

Старицкий князь ещё не ложился спать. В своём шатре он старательно отбивал поклоны перед иконой Георгия Победоносца. Услышав шум, Андрей Иванович испуганно поднялся с колен, прислушался.

— Что там такое подеялось? — сорвавшимся голосом спросил он у явившегося дворянина Каши Агаркова.

— Вои поймали боярского сына Андрейку Валуева. Отъезжик он!

— Один ли отъехать удумал или ещё кто в сговоре с ним был?

— Не один он в бега ударился. Только тех других не словили.

— Спроси Андрейку с пристрастием, куда он путь держал да с кем в сговоре был. Утром поведаешь мне о том.

Покинув княжеский шатёр, Каша приказал воинам отвести отъезжика в лес. Здесь, на берегу лесного озера, он намеревался учинить допрос.

— Так куда же ты, Андрейка, путь правил? Тот шмыгнул носом и промолчал.

— Нет, ты отвечай, а то хуже будет.

— А чего мне отвечать? Никуда мы не отъезжали, ехали на конях, никому не мешали...

— Ах ты, невинная овечка! А почему ты молчал, когда тебя вои окликали?

Андрейка опять шмыгнул носом, не зная, что соврать. — Отвечай, с кем в сговоре был? Молчишь? Так я заставлю тебя говорить! Эй, вои, сымите с него одежду, свяжите ноги да бросьте в озеро, пусть немного охолонится, может, одумается. Воины сдёрнули с Андрейки порты, связали ноги и посадили в ледяную воду в одной сорочке, выставив на берег голову, чтобы отъезжик не задохнулся под водой. Минут через пять сильная дрожь охватила

паренька, ноги свело судорогой, застучали зубы.

— Выньте м-меня из воды, выньте м-меня, я всё скажу, ничего не ут-таю!

— Быстро же ты одумался. Валяй, говори, с кем был в сговоре?

— Решили мы в Москву податься на службу к великому князю. А было нас много: брат мой Васька, Проня Бекетов, сын Дедевшина, Вешняк Дурной Ефимов, сын Харламова, братья Машковы...

Долго перечислял единомышленников Андрейка Валуёв.

..Андрей Иванович до утра не сомкнул глаз. Ночное происшествие взволновало его. Он понял, что далеко не один Андрейка Валуёв готов предать его в трудную минуту. Почему они так делают? Как воспрепятствовать отъезду ближних бояр? Старицкий князь не мог ответить на эти вопросы. Утро застало его перед иконой Георгия Победопосца. Тихо вошёл дворецкий Юрий Андреевич. Два Юрия Оболенских были в услужении у Андрея Ивановича, и оба они по отчеству Андреевичи. Чтобы различить их, одного прозвали Меньшим, другого — Большим.

Оболенский-Меньшой молча поклонился князю. Лицо у него сумрачное, какое-то жёлтое с тёмными пятнами.

— Признался ли Андрейка Валуёв, куда путь правил да с кем в сговоре был?

— Всё рассказал, князь. Решили они в Москву податься.

— Кто — они?

По мере перечисления участников сговора брови Андрея Ивановича поднимались всё выше и выше.

— Чем же я не угодил им? Всю жизнь жаловал великим жалованьем, держал в чести. Думал, имею верных слуг. А они в трудную для меня минуту отъехать вознамерились, поправ Бога и правду. Видать, совсем ума лишились, забыв, кто дал им богатство.

— Как прикажешь, князь, поступить с заговорщиками?

— Как поступить, говоришь? Казнить бы их нужно лютой казнью за измену. Да только эвон их сколько! Всех не перевешаешь. Мы, Юрий Андреевич, сделаем вид, будто ничего не случилось, будто имена заговорщиков нам не ведомы. Сами же путь к Новгороду продолжим. Авось там всё образуется.

Дворецкий вышел, но вскоре вернулся радостный, улыбающийся.

— Пресветлый князь! Приятную весть принёс я. Из Коломны только что явился мой тёзка.

— Вот радость-то какая! Пусть тотчас же зайдёт ко мне.

Рослому воеводе пришлось низко согнуться, чтобы попасть в шатёр старицкого князя. В шатре сразу стало тесно. Преклонив колени перед Андреем Ивановичем, воевода преданно глянул в его глаза.

— Как проведаль я, княже, про обиды, чинимые тебе великим князем и его матерью Еленой, так сразу же поспешил в Старицу. Сердцем чуял: не сможешь ты вынести чинимые притеснения! Верю, что одолеем мы всех ворогов.

Глаза Андрея Ивановича увлажнились.

— Спаси тебя Бог, воевода, за верную службу. Обещаю пожаловать тебя, наградить дарами многими. Учиню тебе честь великую перед всеми. — Мятежный князь хотел было пожаловаться новоприбывшему на отъезжиков, решивших покинуть его, но вовремя одумался.

— Подъезжая к лагерю, княже, сильно дивился я многочисленности твоей рати. С таким воинством мы любого врага одолеем.

— А твои полки, кои мы под Коломну послали, все ли к нам воротились?

Голова воеводы поникла.

— Как проведал я о том, что ты, княже, пошёл из своей отчины, помолился я за тебя перед образом Спасовым и Пречистой Его Матери и, утаясь от воевод великокняжеских, с незначительной ратью выехал из Коломны. Около Дегунина перевезся через Волгу и потопил суда, чтобы те не достались преследовавшим нас врагам.

Старицкий князь горько усмехнулся.

«Видать, и там перебежчиков оказалось немало. Ну что ж, нам лишь бы до Новгорода добраться, там с Божьей помощью обретём силу и уверенность», — подумал он.

Напрасно Андрей Иванович надеялся, что новгородцы с распростёртыми объятиями примут его. Полвека назад перестала существовать новгородская вольница. С присоединением к Москве в этом городе произошли многие перемены. Новгородское боярство, на которое надеялся опереться в своей борьбе Андрей Старицкий, в год его мятежа уже не представляло сколько-нибудь значительной силы. Городом управлял наместник, присланный из Москвы, московские воеводы возглавляли воинство, и даже духовный пастырь — архиепископ Макарий — был сторонником московского единоначалия, часто гостил в стольном граде и во время пребывания там нередко навещал великого князя и мать его Елену.

Не успел мятежный князь выступить из Бернова, а уж в Москве стали известны его замыслы. Посоветовавшись с думными боярами, Елена Глинская отправила воеводе Никите Хромому-Оболенскому грамоту, в которой велено было ему обогнать войско Андрея Ивановича и как можно быстрее спешить к Новгороду. Правительница не могла допустить, чтобы крепкие стены древней крепости стали бы опорой мятежнику. Потому Никите Оболенскому предписывалось всеми силами защищать город, а в случае потери посада сесть в осаду в новгородском кремле до прихода подкрепления из Москвы. Другой гонец повёз грамоту конюшему Ивану Овчине с требованием идти следом за старицким князем. В дополнение к тем полкам, которыми он располагал, из Москвы была отправлена большая рать.

Утро дня Иова Горошника [180] выдалось ясное, солнечное. Новгородские бабы, вышедшие спозаранку на огороды, чтобы сеять горох, с радостью обнаружили на траве обильную росу. Сведущие люди говорили: чем сильнее роса в этот день, тем больше уродится огурцов. Вот почему его называют в народе по-иному: день Иова Огуречника, Иова Росенника.

К полудню на Московской дороге показался всадник, бешено погонявший коня. Гонец великого князя проехал на владычин двор, расположенный на Софийской стороне, и спешил к покоям новгородского архиепископа Макария.

В покоях Макария в это время находился Василий Михайлович Тучков. Не так давно он приехал в Новгород по велению правительницы. Елена Глинская поручила ему собрать

«детей боярских новгородских помещиков» и отправить их на службу в Москву. Княжич успешно справился с возложенным на него поручением: новгородцы были собраны и вчера отправлены в стольный град.

Во время пребывания в Новгороде Василий сблизился с архиепископом Макарием. Он восхищался умом, начитанностью, красноречием новгородского первосвященника. С кем бы ни встречался Василий здесь, все с восторгом говорили ему о Макарии. Когда он впервые явился в Новгород, то стал часто беседовать с народом, рассказывать людям Священное писание, и все поражались его божественному дару говорить просто, доходчиво, так что каждый понимал речь архиепископа. Известно стало Василию Тучкову, что многие опальные люди предпочитают обращаться к великому князю с просьбой о помиловании не через митрополита Даниила, который редко решался печаловаться о них, а к архиепископу новгородскому Макарию. Приезжая в Москву, он во время своих бесед с великим князем и Еленой не забывал напомнить им об опальных людях.

Обширное книгохранилище Софийского дома привело в восторг московского книжника. С особой гордостью Макарии показал ему знаменитую новгородскую Кормчую, написанную два с половиной века назад. В ней были переводы византийских законов, а также русские дополнения к переводным греческим законам, в том числе и древний список Русской правды. Когда Новгород был лишён вольницы, Кормчую в числе других книг увезли в Москву, но в год бракосочетания великого князя с Еленой Глинской по личной просьбе Макария Василий Иванович возвратил её с указанием положить книгу в Софии «по старине». Это событие сразу же расположило новгородцев к новому архиепископу. При нём софийские книжники, среди которых выделялся известностью Дмитрий Герасимов, перевели на русский язык сочинения епископа Бруно, Иеронима, блаженного Августина, Григория Великого, пресвитера Беды Кассиодора. Неудивительно, что Василий Тучков с глубоким почтением смотрел на новгородского первосвященника.

В свою очередь и Макарию приглянулся гость из Москвы. Он сразу же высоко оценил его начитанность, честность, скромность, способность противостоять греховным соблазнам, почтительное отношение к церкви и всему тому, что с ней связано. Между хозяином и гостем шли длительные доверительные беседы о делах мирских и церковных. Несмотря на разницу в возрасте, они с полуслова понимали друг друга, а потому беседы доставляли им обоим истинное наслаждение.

— В своих проповедях, — звучным, приятным голосом говорил Макарий, — я стремлюсь внушить людям новгородским мысль об устройении земском, о тишине на Руси. Я молю Господа Бога даровать здоровья великому князю всея Руси Ивану Васильевичу. Да пошлёт ему Бог милость свою, возвратит гнев свой и избавит богоспасаемый град Москву и Великий Новгород и все грады и страны христианские от межусобной брани. Ныне дошёл до меня слух, будто брат покойного государя Андрей Иванович поднял смуту в нашем государстве. Но никогда ещё подобные смуты не приносили счастья людям, одно лишь горе и печаль великую. Хороший урок тому даёт житие преподобного Михаила Клопского. Некогда, во времена Василия Тёмного, Дмитрий Шемяка попытался захватить великое княжение. Здесь, в Новгороде Великом, хотел он найти себе опору. Но святой старец Михаил Клопский, с помощью Господа Бога прозревший будущее, сказал ему вещее слово о трехлакотном гробе, ожидающем его за то, что он поднял мятеж против московского великого князя. Новгородскому же посаднику Немиру поведал старец о победе великого князя Ивана Васильевича над мятежными новгородскими боярами и о карах, ожидающих их за сотворённую крамолу.

— Ведомо мне, святой отец, о деяниях преподобного Михаила Клопского. Добрые дела творил он, утверждая власть великого князя, борясь со смутой. Сила государства нашего в единении вокруг Москвы, а не в межусобных бранях.

Эти слова пришлись по душе Макарию, он посмотрел на гостя ласково, каким-то особым взглядом.

«От чистого сердца очи чисто зрят», — с благоговением подумал Василий Тучков.

— Верно молвил, сын мой. И я так же мыслю. Потому не жалею сил своих, утверждая единство Руси. Слыша добрые слова твои, вот о чём я подумал. Житие Михаила Клопского давно было писано. Ныне нужда великая в том, чтобы заново составить его. Новое житие должно стать назиданием для ныне живущих, должно прославлять московских государей и решительно осуждать межусобные брани. Глубоко верю, что старицкого князя Андрея Ивановича ждёт участь Шемяки. Но кто воздвигнет на себя бремя написания нового жития Михаила Клопского? Думается мне, что таким человеком должен стать ты!

— Я? — растерялся Василий Михайлович. — Справлюсь ли я с таким превеликим делом, святой отец?

— Горячо верю в талант твой. Книжная мудрость подвластна тебе. Иного, кто бы мог справиться с этим делом, не вижу.

Василий Тучков был польщён доверием новгородского архиепископа. Встав на колени, он поцеловал край его мантии.

— Спасибо на том, святой отец.

— Вознамерился я собрать все книги, которые в Русской земле обретаются. А земля наша книгами изобильна. Вот уже три года трудимся мы над Великими Четъи-Минеями [181], и пока конца нашего труда не видно. Великие Четъи-Минеи должны единить русских людей, все русские земли.

— Великое то дело, святой отец! Благодарные люди всегда будут почитать твои деяния.

В дверь постучали.

— Что нужно?

В палату вошёл келейник Макария Селиван.

— Прибыл гонец великого князя со срочным делом.

— Пусть войдёт не мешкая.

Гонец был запылённый, смертельно уставший после дальней дороги, он еле держался на ногах.

— Владыка новгородский! Великий князь и его мать великая княгиня послали меня к тебе с известием о движении мятежного старицкого князя к Новгороду. Велено мне сказывать, что детей боярских, кои должны были явиться на службу в Москву, надлежит оставить для защиты города.

— Так ведь их ещё вчера направили в Москву.

— Тогда следует возвратить воев, недалече они ушли.

— А разве ты не встретил их по дороге?

— Должно быть, где-то разминулся.

— Тотчас же снаряжу гонца, пусть вернёт новгородцев.

— Воеводе новгородскому велено выступить вместе с ратью и огневым боем навстречу мятежникам. Воеводе Никите Хромому-Оболенскому послана грамота, чтобы он быстрым ходом шёл к Новгороду и всеми силами оборонял город. А людям новгородским следует возвести вокруг Торговой стороны крепостную стену, которая воспрепятствовала бы захвату мятежником досада.

Макарий кивнул головой:

— Всё будет сделано по воле великого князя и его матери, великой княгини Елены. Ступай отдохни с дороги.

Не прошло и часа после прибытия гонца из Москвы, как тревожный перезвон колоколов взбудоражил весь Новгород. Жители поспешно бежали к площади, на которой некогда собиралось вече.

С незапамятных времён город делился на две стороны: Торговую и Софийскую. На Ярославле-дворе, окружённом постройками и полуразрушенной каменной оградой, находились двор новгородского наместника, который ныне занимал князь Борис Иванович Горбатый, дьяческие избы. В непосредственной близости от Ярославля-двора гудел торг, поражающий всех, прибывших в Новгород, своими размерами, обилием торговых рядов, одно перечисление которых занимало немало времени: Белильный, Бобровный, Большой, Ветошный, Заволоцкий, Иконный, Кафтанный, Котельный, Красильный, Кривой, Льяной, Мыльный, Овчинный, Пирожный, Прибыльный, Пушной, Рыбный Свежий, четыре Сапожных, Серебряный, Сермяжный, Скорняжный, Средний, Сумочный, Сыромятный, Терличный [182], Тимовный [183], Хлебный, Холщовый, Чупрунный, Шпанный, Шубный...

Деревянный мост соединял Торговую сторону с Софийской. Здесь возвышался массивный каменный кремль, опоясанный глубоким рвом, наполненным мутной ржавой водой. Главной святыней Великого Новгорода почитался Софийский храм, расположенный в северном конце кремля. Вокруг собора в беспорядке теснились различные строения, предназначенные для проживания и обихода новгородского архиепископа.

От Софийского дома во все стороны, словно лучики, разбежались узкие улицы города, выстланные бревенчатой мостовой. Вокруг города вдоль волховских берегов пролегали обширные заливные луга, болотистые, труднопроходимые. На невысоких пологих холмах пристроились небольшие селения и монастыри.

Макарий поднялся на возвышение. Был он подвижен, худощав. Тёмные живые глаза, цепко пробежали по лицам людей, собравшихся на площади.

— Слушайте, люди новгородские, владыка будет говорить с вами! — разнёсся над площадью голос бирича. Толпа притихла.

— Славные новгородцы! Ведомо стало нам, что удельный князь Андрей Старицкий, нарушив крестное целование, выступил против юного великого князя. Собрав силы, движется он к Новгороду, чтобы овладеть им.

— Не бывать этому! — громко прозвучал голос из толпы.

— Не хотим старицкого князя!

— Князь старицкий, — уверенно продолжал Макарий, — посылает в Новгород и в новгородские земли льстивые грамоты, в коих смущает людей, призывает новгородцев служить ему.

— Плевали мы на его грамоты! — Над толпой взметнулся лист бумаги. Кто-то поймал его,

разодрал в клочки. Толпа разъярённо топтала кусочки бумаги.

Владыка взмахнул рукой:

— Повелеваем мы воеводе и дворецкому новгородскому Ивану Никитичу Бутурлину со многими людьми и пушками выступить на защиту Великого Новгорода от посягательств со стороны старицкого князя. А вам, новгородцы, великий князь всея Руси Иван Васильевич велел немедля приступить к постройке защитных стен вокруг Торговой стороны.

Толпа дружно поддержала своего пастыря. Все понимали, что в случае прихода Андрея Старицкого Торговая сторона, не защищённая стенами кремля, станет его лёгкой добычей. В тот же день после молебна новгородцы, руководимые заместником Борисом Ивановичем Горбатым, а также дьяками Яковом Шишкиным и Русином Курцовым, дружно взялись за дело. Всего за три дня вокруг посада были возведены оборонительные сооружения.

А на следующий день после прибытия гонца из Москвы новгородский воевода Иван Бутурлин покинул город и, расположившись в Бронницах, в тридцати верстах от Новгорода, надёжно преградил путь мятежному князю.

Андрей Иванович ехал бок о бок с дворецким и воеводой. Из всех приближённых они казались ему наиболее надёжными и верными людьми. Ничто как будто не предвещало беды. До Новгорода осталось чуть больше тридцати вёрст. Правда, дозорные доносили, что следом за войском старицкого князя идут полки Ивана Овчины, однако Андрей Иванович надеялся, что первым войдёт в Великий Новгород, стены которого надёжно защитят его от преследователей.

Из-за поворота показался всадник, погонявший коня. Увидев Андрея Ивановича, он приблизился к нему и, спешившись, доложил:

— Беда, княже! Под Бронницей стоит большое войско с огневым нарядом во главе с воеводой новгородским. Что велишь делать?

«Так-то новгородцы встречают меня! А ведь мои людишки, ездившие к ним с льстивыми грамотами, сказывали иное: дескать, ждут меня новгородцы, не дождутся». Старицкий князь вопросительно глянул на советников.

Воевода Оболенский-Большой молодцевато подкрутил ус:

— Вели, княже, ударить по новгородцам! Сила у нас немалая, а среди противников наших наверняка многие тебя ждут.

«Вряд ли кто ждёт меня... Да и огневой бой при них...»

— Опасное это дело, — поёжился Андрей Иванович. — Едва мы ввяжемся в драку с новгородцами, как сзади кинется на нас Овчина. Потому велю повернуть к Старой Руссе.

Свернув с проторённой дороги, воинство удельного князя пошло ещё неспешнее, кони вязли в болотистой почве, да и люди притомились. Преследователи сразу же поняли намерения старицкого князя и, прибавив ходу, начали постепенно настигать его. Не успели мятежники пройти и пяти вёрст от Заячьего Яма по направлению к селу Тюхоли, как вплотную сошлись с московскими полками.

— Ничего не поделаешь, — стал убеждать Андрея Ивановича его воевода, — пора, княже, начать драку. Иначе хуже будет.

Старицкий князь, казалось, не слушал его. Он задумчиво смотрел на дальние перелески, на мирно плывущие по синему небу облака.

— Хорошо, вели войску изготавиться к бою.

Яростно взревели трубы. Казалось, уже невозможно избежать большого кровопролития. Однако до сражения дело всё же не дошло. Когда воевода Юрий Андреевич Оболенский-Большой отдавал последние распоряжения перед боем, к шатру старицкого князя прибыл посланник конюшего. Поклонившись Андрею Ивановичу, он произнёс.

— Князь Иван Фёдорович Овчина-Телепнев-Оболенский обращается к тебе, князь Андрей Иванович, чтобы ты против великого князя не стоял и крови христианской не проливал. А государь князь великий Иван Васильевич и его мать, великая княгиня Елена, тебя пожалуют, отпустят на твою отчину невредимо вместе с твоими боярами и детьми боярскими.

Андрей Старицкий верил и не верил сказанному от имени конюшего. Он мало надеялся на благополучный исход затеянного дела, поэтому воспринял слова Ивана Овчины с облегчением и надеждой. Но можно ли верить любовнику великой княгини? Уж не ловушка ли это?

— Передай Ивану Фёдоровичу Овчине, что я не намеревался сотворить зла великому князю и его матери, великой княгине Елене.

— Иван Фёдорович Овчина верит тебе, князь, но ты должен распустить своё войско и явиться в Москву для переговоров с великим князем.

— Пусть Иван Фёдорович даст правду [184], что великий князь Иван Васильевич и его мать, великая княгиня Елена, не причинят мне зла и позволят невредимо вернуться в свою отчину с боярами и детьми боярскими.

— Хорошо, я скажу о том Ивану Фёдоровичу.

Гонец удалился. Наступил вечер, а за ним и ночь, тревожная для старицкого князя. До утра он не сомкнул глаз, много молился, но молитва не принесла душевного покоя. Мысли путались в голове. Неожиданно припомнилась беседа с хворым братом Василием в Колпи, его слова: «Как Евфросинью Бог милует?.. Ловок ты, братец, давно ли женился, а уж Всевышний смилостивился над тобой...» И тут перед мысленным взором возник четырёхлетний сын Владимир, да так явственно, что Андрей Иванович вздрогнул: личико бледненькое, без кровинки, большие глаза смотрят с состраданием, испуганно. Но вот что-то тёмное и неотвратимое надвинулось на малютку и поглотило его. Некоторое время князь видел протянутые к нему ручки и рот, искривлённый безмолвным криком.

Андрей Иванович очнулся от видений, несколько раз осенил себя крестом. Что ждёт его? Уж не жребий ли брата Юрия? За тяжкими размышлениями мятежный князь не заметил, как настало утро. Тихо вошёл воевода Оболенский-Большой, участливо глянул в глаза.

— Померещилось мне, будто шумели на дворе какие-то люди. Что там подеялось?

— Мерзкие людишки, княже, удумавшие отъехать в Москву.

— Кто ещё покинул меня?

— Константин — сын Фёдора Пронского, ключник погребной Волк Ушаков, а с ними и другие люди.

Слова воеводы окончательно растревожили старицкого князя. Он растерянно осмотрелся по сторонам:

— Что-то я Гаврилку-шута не вижу, хоть бы он что весёлое сказал.

— Видать, тоже переметнулся к нашим врагам. В шатёр вошёл дворецкий Оболенский-Меньшой:

— Явился, князь, Иван Овчина. Андрей Иванович засуетился:

— Зови, зови его сюда...

Вид старицкого князя поразил конюшего: вокруг глаз — огромные тёмные круги, ослепительно белые руки с длинными худыми пальцами дрожат. При виде такого смятения ему стало неловко от безмятежно проведённой ночи и впервые в душе зародилось сомнение в правильности своих действий. Казавшиеся ранее нелепыми, незначительными и даже смешными поступки великокняжеского родича, его метания во главе многочисленной, но совсем не грозной рати то в одну, то в другую сторону сейчас предстали совсем по-иному, в ужасной своей безысходности. Кто ведаёт, чем кончится это дело? Обещая Андрею Ивановичу возвращение в свой удел, Овчина основывался на том, что так в старину водилось в бытность Василия Ивановича: князь Юрий, вознамерившийся переметнуться в Литву, прощён был и остался в своём Дмитрове. Отправляясь из Москвы преследовать мятежника, он спросил Елену, как ему поступить с ним, когда Андрей Иванович будет пойман. Та как-то чудно посмотрела на него и ответила коротко:

— Привезёшь в Москву.

Неужели она поступит с ним так же, как с Юрием? Но ведь старицкий князь отличается от дмитровского как небо от земли. Можно ли опасаться их одинаково? Кое-кто осуждал Елену за смерть брата покойного великого князя, но многие винили в том не её, а Михаила Львовича Глинского, скончавшегося в темнице полгода назад на Никиту Репореза, пережившего дмитровского князя всего на месяц. А есть и такие, кто за смерть и Юрия Дмитровского, уморённого в темнице голодом, и Михаила Глинского вину валит на него, Ивана Овчину. Всем, и в особенности Шуйским, не по душе его любовь к Елене. Распускают они в народе ядовитый слух, будто бы он все дела вершит без ведома других бояр, запершись в опочивальне с великой княгиней. Но так ли это? Каждое лето отправляется он на поле брани по своей охоте, да и не без старания думных бояр. И тогда все дела вершит Елена в согласии с Шуйскими, Захарьиным, Тучковым, Шигоной. Кое-что и ему, разумеется, делать приходится. После того как Елена отстранила Михайлу Захарьина и Гришку Путятину от ведения литовских дел, эта забота легла на его плечи. И всё равно нельзя сказать, что он всем в государстве заправляет. Ложь это. Никогда не стремился он занять место великого князя, да и Елена не из тех, кто властью поступится. Хоть и любят они друг друга вот уже более трёх лет, а всё равно иногда кажется Ивану, будто незримая преграда разделяет их. И одолеть ту преграду никак не удаётся, даже в самые счастливые минуты их близости. То ли Елена не доверяет ему до конца, а может, чересчур властолюбива и делиться властью с кем бы то ни было не намерена. И тем не менее конюший не сомневался в том, что сможет убедить Елену в необходимости безобидно отпустить старицкого князя в свой удел. Ей же самой от того будет лучше, нежели заточить его в темницу или казнить. Тиранов не любят ни приближённые, ни народ.

— Иван Фёдорович, сердечно рад видеть тебя в добром здравии.

— И я рад видеть тебя, Андрей Иванович. Сказывал мне гонец, будто ты внял словам моим и согласился явиться с повинной перед великим князем Иваном Васильевичем и матерью его, великой княгиней Еленой.

— Согласен я явиться к великому князю, но прежде хотел бы получить от тебя и ещё от кого-нибудь правду, что позволено будет мне невредимо вернуться в свою отчину вместе с боярами и детьми боярскими.

— Я явился не один, а с воеводой Никитой Оболенским. Так ежели ты, Андрей Иванович, веришь нам, мы дадим правду, что великий князь Иван Васильевич и мать его, великая княгиня Елена, зла тебе не причинят никакого и отпустят назад в свою отчину.

Старицкий князь согласно кивнул головой. Иван Овчина вышел из шатра и тотчас же возвратился вместе с долговязым хромоногим Никитой Оболенским. Конюший и воевода целовали крест перед старицким князем. В тот же день Андрей Иванович вместе с ними и ближними людьми отправился в Москву.

Глава 13

Пока Иван отсутствовал в Москве, скопилось немало дел. Главная его забота — Литва. Он должен знать всё, что там творится. Потому пишет он своему слуге Якову Снозину в Дорогобуж грамоту.

«Да наказывал я тебе, как будешь в Вильне, и до Вильны едучи и назад пойдёшь, чтоб пытал про тамошние дела. А доведётся вести беседу, и ты Бога ради слушай о тамошних делах, кто, что станет говорить, а сам никого не пытай, чтоб в том на тебя никакого слова не было, что ты лазучишь и пытаешь про всё. А кто станет тебе говорить о тамошних делах, так ты того слушай да узнаешь, что он тебе прямит, а не от тебя уведати хочет, и ты его о чём воспроси маленько, чтоб он что сказал, а прямо, однолично не пытай. Если кто похочет великому князю служить и нашего добра к себе похочет, так ты сперва его послушай...»

Закончив письмо к Якову Снозину, Овчина взялся за грамоту посла Василия Григорьевича Морозова, посланного в конце апреля к Жигимонту ради присутствия при крестном целовании короля на перемирных грамотах.

Донесение было написано чётким ровным почерком. Тотчас же представился осанистый боярин с окладистой седой бородой. Взгляд у него честный, открытый. Да и смелости не занимать Василию Григорьевичу. В бытность Василия Ивановича правил он посольство в Крым к Менгли-Гирею и там, как велено было ему великим князем, никому в пошину ничего не давал, не дрогнул даже перед свирепым Кудаяр-мурзой и царевичем Ахмат-Гиреем, пригрозившим, что, ежели посол недодаст поминков, он велит привести его к себе на цепи. На это смелый боярин ответил: «Цепи твоей не боюсь, а поминков не дам, поминков у меня нет». Ныне в своей грамоте Василий Григорьевич Морозов писал, что король полностью отказался заключить перемирие с воеводой волошским Петром и освободить пленных.

Воевода волошский Пётр Стефанович метался посреди трёх огней: Литвы, туретчины и Крымской орды. Хотя он и платил лёгкую дань султану, но всё ещё именовался господарем вольным. Лишь единоверная Русь могла вступить за него в Вильно, Константинополе и Тавриде. Да только далеко Москва от Молдавии. В то время, когда Иван Овчина читал о том, что Жигимонт, дозволив русским послам беспрепятственно ездить через Литву к королю венгерскому и австрийскому императору, не разрешил пропускать их к волошскому господарю Петру, ссылаясь на то, что он есть мятежник и злодей Литве, грозный Солеман уже приступил к опустошению Молдавии, требуя урочной, знатной дани и полного подданства её народа Турции.

Пленные — ещё одна забота Ивана. Вот уже два года в плену у литовцев томится его двоюродный брат Фёдор Васильевич. Был наместником в Стародубе и мужественно оборонял город от явившихся врагов. Но Жигимонтовы воеводы вырыли тайный подкоп и взорвали стены. Ужасный грохот потряс город, дома запылали. Сквозь пролом в стене неприятель ворвался на улицы. Фёдор Васильевич Телепнев вместе с князем Сицким и

дружиной героически бился с врагами, дважды гнал литовцев до их стана, но, стеснённый густыми толпами пеших и конных воинов, был взят в полон. Пал в той битве и знатный муж, князь Пётр Ромодановский, а Никита Колычев скончался от ран через два дня. Около тринадцати тысяч осаждённых погибло от огня и меча, лишь немногие спаслись и своими рассказами навели ужас на всю землю Северскую. Не раз предлагали русские послы обменяться пленными, но литовцы отговаривались, что в руках у короля знатные люди московские и ему невыгодно поменять их на незнатных своих подданных.

«Какая прибыль, — возражали литовским послам русские бояре, — пленных не отпустить и своих не взять? Ведь они люди, и если люди, так смертны; были да не будут, — и в том какая прибыль? У вашего господя в плену добрые люди, а у нашего молодые, да зато их много: так бы на большинство натянуть, меньших людей больше взять. В больших душа и в меньших душа же, обои погибнут — и в том какая прибыль для обеих сторон?» Но Жигимонтовы послы никак не могли взять в толк все их доводы.

Перемирие заключено с Литвой на пять лет с Благовещенья дня 1537 года до Благовещенья дня 1542 года. Магистр Ливонского ордена фон Брюггеней и рижский архиепископ от имени всех златоносцев, немецких бояр и ратманов убедительно молили великого князя всея Руси о дружбе и покровительстве. Два года назад с Ливонией утверждён мир сроком на семнадцать лет. Послы шведского короля Густава Вазы, побывав с приветствием в Москве, отправились в Новгород, где заключили шестидесятилетнее перемирие. По договору Густав обязался не помогать ни Литве, ни Ливонскому ордену в случае войны с ними. Иван Овчиин мог гордиться своими успехами. Хотя великий князь и молод, Руси беда ничто не угрожает.

Вошёл слуга с вестью, что Елена желает видеть конюшого. Иван тотчас же оставил свои дела и отправился в великокняжеский дворец.

Елена была не одна: в палате находился её семилетний сын — худощавый высокий мальчик, приученный вести себя по-взрослому. При виде Овчины глаза его радостно блеснули, но он сдержал свою радость и степенно поздоровался. Княгиня же приветствовала вошедшего подчёркнуто холодно.

«Какая муха её укусила?» — с недоумением подумал Иван.

— Ведомо стало мне, — начала разговор Елена, — что ты вместе с Никитой Оболенским от имени великого князя и моего имени целовал крест Андрею Ивановичу на том, что мы невредимо отпустим его в свою отчину вместе с боярами и детьми боярскими. Правда ли это?

— Правда, княгиня.

— А разве великий князь или я велели тебе, нашему слуге, давать правду старицкому князю, целовать перед ним крест?

— Нет, княгиня.

— Почему же ты так поступил?

— Я полагал, что для нас гораздо лучше не затевать брани со старицким князем, а решить дело полюбовно. Худой мир всегда лучше хорошей драки. К тому же Андрей Иванович учинял мятеж не оттого, что хотел этого, а побуждённый оскорблениями и страхом.

— Вон как! Выходит, это я виновата в том, что удельный князь учинил мятеж с целью захвата великокняжеской власти?

— Андрей Иванович не намеревался первоначально захватывать власть.

— Ложь! Вот грамота, посланная им в Новгород. В той грамоте писано: «Князь великий молод, держат государство бояре, и вам у кого служить? Я же рад вас жаловать». Старицкий мятежник спит и видит себя великим князем!

— Свара учинилась оттого, что в своё время мы не согласились увеличить его удел, а потом ещё и оскорбили потребовав больным явиться на службу к великому князю.

— Удельный вотчинник должен по первому зову являться на службу великого князя. Андрей же лишь притворился больным, а сам начал тайно созывать в Старицу своих людей. Для чего? Да ради того, чтобы лишить власти племянника! Ныне же, когда он пойман, оказалось, я не могу судить его, а должна с честью отпустить в свой удел. Не бывать тому! Немедленно велю посадить мятежника за сторожи и уморить под железной шапкой! А те новгородцы, которые перебежали от нас к старицкому князю, будут повешены вдоль дороги от Москвы до самого Новгорода, чтобы другим неповадно было. Сообщники же мятежника, знавшие его думу, будут пытаны жесточайшей пыткой! — Лицо правительницы было бледно, без кровинки, рот приоткрылся, обнажив мелкие зубы.

«Баба, наделённая властью, уже не баба, но ещё и не мужик Ведомо всем: власть портит человека, особенно если человек тот носит не порты, а юбку».

Иван перевёл взгляд на мальчика. Тот умоляюще смотрел на мать глазами, полными слёз.

— Матушка! Не вели казнить дядю, он не виноват, он добрый!

— Да как ты можешь заступаться за человека, который намеревался лишить тебя власти?

— Не хочу я власти, не хочу! Не надо казнить дядю, я прошу тебя!

— Ты ещё мал и многого не понимаешь. Твой дядя очень плохой человек и будет наказан за свои злодейские козни.

Конюший положил свою большую ладонь на голову мальчика и ощутил дрожь от сдерживаемых рыданий. Сердце его болезненно сжалось.

— Государыня! Я вместе с Никитой Оболенским крест целовал перед Андреем Ивановичем на том, что великий князь и ты, великая княгиня, невредимо отпустите его в свою отчину. Нехорошо будет, ежели крестное целование порушится.

— Ни я, ни великий князь не приказывали тебе целовать крест перед мятежником. Ты поступил самовольно, не посоветовавшись с нами, а потому достоин опалы. Я никогда не прощу старицкому князю его мятежа. Ступай!

— Не сотвори зла, Елена! Помни: злой человек от зла и погибнет.

— Не я творю зло, а братья покойного Василия Ивановича. Оттого им не жить. Ступай прочь!

Удельный князь остановился, как и обычно, когда приезжал в Москву, на своём подворье в Кремле. Первым его приветствовал выбежавший на крыльцо князь Фёдор Пронский. Из-за его плеча широко улыбался ключник Волк Ушаков, рядом с которым колобком катился карлик Гаврила Воеводич. Увидев своих людей, Андрей Иванович повеселел.

— А мне сказывали, будто тебя московские вои поймали, а ты, вишь, здесь.

— Поймали меня, дорогой Андрей Иванович, возле села Павловское и привезли сюда, повелев никуда не отлучаться.

— Поди, допрос учинили?

— Допрос учинили, но малый. А потом начались переговоры с Иваном Васильевичем Шуйским, который вместе с Иваном Юрьевичем Шугой и дьяком Григорием Меньшим Путятиным крест целовали передо мной, что тебе, Андрею Ивановичу, великий князь и великая княгиня зла не сотворят. Правда, незадолго до Борисова дня обо мне как будто забыли, и вот уже месяц сюда никто не является, а нам отлучаться не велено.

Андрей Иванович глянул на Волка и Гаврилу, строго спросил:

— А вы куда запропастились под Старой Руссой? Почему в Москве оказались?

— А мы с Гаврилой, — маслено улыбаясь, елеиным голосом ответил ключник, — как сошлись московские полки со старицкими, со страху чуть в порты не наклали, решили, что быть сече великой. Кинулись в лесочек да и заплутались малость. Пока назад воротились, глядь, а никого уж нетути. Повспрошали мы, куда ты, сокол наш ясный, стопы направил, да и следом, следом...

Андрей Иванович не стал слушать болтовню ключника, вошёл в покои. Здесь уже спешно накрывали столы, расставляли кубки да братины, сулеи с фряжским вином. Всё было как и раньше, ничто, казалось, не предвещало беды. Но на душе у старицкого князя неспокойно.

Наутро, в четверг, беспокойство усилилось. Вроде бы всё по-старому на подворье удельного князя, да и не так, какбывало. Никто из московских доброхотов не спешит сюда повидаться с родичем великого князя. Невидимая грань опалы отгородила мятежников от всего мира.

В палате Андрея Ивановича говорят тихо, словно в доме покойник или тяжелобольной. Скрипнула дверь. Это вошёл дворянин Каша Агарков, которого Андрей Иванович посылал к мирополиту Даниилу с просьбой о заступничестве и посредничестве в переговорах с великим князем и его матерью Еленой.

— Митрополит Даниил не принял меня. Слуга его, Афанасий Грек, сказывал, будто святой отец болен.

Андрей Иванович поник головой:

— Даже митрополит отказывается говорить со мной. Видать, плохи наши дела.

— Не горюй, княже, — попытался утешить его воевода Юрий Андреевич Оболенский-Большой. — Иван Овчина с Никитой Оболенским крест целовали, что великий князь и его мать не причинят нам зла. Как же можно через крестное целование перешагнуть! Не может так поступить Иван Овчина, знаю его как доброго воина.

— Не верю я этим Глинским. Уж больно злы они. Покойный князь Михаил Львович дюже лют был. Врага своего, Яна Заберезского, жестокой казнью умертвил. Говорят, будто литовского государя Александра он злыми чарами на тот свет отправил. Да и брата моего, покойного Василия Ивановича, царство ему небесное, будто бы зельем опоил. А племянница его, Елена, жестокостью всех превзошла. Не успел великий князь скончаться, как она брата нашего, Юрия, в темницу заточила. Теперь, видать, мой черёд.

— Подождём, может, Фёдор Пронский, посланный нами к Овчине, принесёт добрые вести.

— Вон он, лёгок на помине.

В палату вошёл Фёдор Дмитриевич. По его виду стало ясно, что добрых вестей не будет.

— Сказывали мне, будто Иван Фёдорович Овчина отбыл из Москвы неведомо куда.

Длительное молчание последовало за этими словами. Все напряжённо думали о том, кто же может помочь опальному князю.

— Ежели кто нам и может помочь, так это князя Шуйские, — раздумчиво произнёс дворецкий. — Род Шуйских велик и знатен. К тому же они всегда стояли на стороне братьев покойного великого князя Василия Ивановича. Сразу же после его кончины Андрей Шуйский попытался было отъехать к Юрию Ивановичу, за то и подвергся опале. Андрей Иванович вострепнулся:

— И вправду следует послать человека к Василию Васильевичу Шуйскому. Может быть, он решится заступиться за нас перед великой княгиней. Фёдор Дмитриевич, немедля отправляйся, голубчик, к Шуйским!

Василий Васильевич Шуйский после сытного обеда беседовал с братом Иваном. Вместительное чрево выпирало из-под расстёгнутой на груди рубахи. Тёмные жирные волосы, разделённые пробором, ниспадали на морщинистый лоб. Короткопалые широкие руки вдавились в бархат скамейки. Иван Васильевич, напротив, худощав, выглядит моложе своих лет, одет опрятно и даже щеголевато. Он только что прибыл с береговой службы.

— Не нравится мне эта бабёнка Елена, — густым басом бубнил Василий. — Много зла причинить может. Сначала я думал, что нам, боярам, легко будет ею вертеть. Ан ошибся. Покойный князь Василий Иванович хитро удумал: собрал возле своей супружницы таких людей, кои его волю правят. Князь Михайло Тучков, Михайло Захарьин, Иван Шигона да дьяки Меньшой Путятин с Фёдором Мишуриным твёрдо стоят за дело великого князя. Был ещё в думе Михайло Глинский, да не удержался, сам потянулся к власти и погорел. Крепко помог Елене и её любовник Иван Овчина. Ныне она сама вошла в силу, вершит дела по своему усмотрению, не советуясь с нами, думными боярами. Утресь собрались мы, чтобы решить судьбу старицкого князя. Всем ясно: виновен он. С этим мы спорить не стали. Разошлись в том, как с ним поступить. Когда наша блудница поведала о том, что она удумала, у многих думных бояр волосья дыбком на голове встали. Сам я крут, но такого зверства ещё не видывал. Вознамерилась она всех новгородцев, переметнувшихся к Андрею Ивановичу — а таких ведь немало, — повесить вдоль дороги от Москвы до Новгорода. А ведь новгородцы до сих пор нас, Шуйских, за своих благодетелей почитают, потому как предок наш, мой тёзка Василий Васильевич Гребёнка, был последним воеводой вольного Новгорода. Случись что, новгородцы к нам за подмогой обращаются. И мы, памятуя о нашем славном предке, должны помогать им. Вот я и говорю Елене: негоже так жестоко новгородцев обижать. А эта беспутная бабёнка разоралась на меня — потомка самого Рюрика. Ну погоди, сучка, я с тобой ещё посчитаюсь!

— Твоя правда, Вася. У нас, Шуйских, свои счёты с Еленой. Родственника нашего, Андрея, она в темницу уpekла.

— Ну ничего, найдём и на неё управу. Но слушай, что правительница ещё удумала. Удельного князя Андрея Ивановича она вознамерилась посадить за сторожи и уморить под железной шапкою. Мыслимое ли это дело? Могло ли такое стать в бытность Василия Ивановича? Если такое случится, Еленке несдобровать. Нам, боярам, Андрей Иванович во как нужен! — Князь провёл рукой по горлу. — Нынешний великий князь мал. Случись что с ним, кто его на престоле сменит? Наследников у него пока нет, и не скоро они предвидятся. Брат Юрий управлять государством по болести не может. Это и слепому ясно. Может, тогда Жигимонта нам на русский престол посадить? Или Сагибку-Гирея? Или турка Солимана? Да дело-то ведь не только в этом. Испокон веков так повелось: не понравилось боярину у великого князя, так он волен был переметнуться к удельному князьку. Правда, Иван Васильевич и сын его Василий Иванович сильно укоротили ту боярскую вольность. А всё

равно и в их бытность немало бояр перешло в уделы. Не станет Андрея Ивановича — нам, боярам, нигде защиты не будет Потому я вновь не смолчал и сказал Еленке, что негоже казнить Андрея Ивановича. Хватит с нас крови его брата Юрия Дмитровского. И вновь сучка наорала на меня. Мыслимое ли дело, чтобы покойный Василий Иванович так со мной обходился? Никогда не прощу блуднице её слов!

— Не станет старицкого князя, Елена ещё большую власть возьмёт. И до чего ведь коварна, ехидна! Велела своему любовнику Ваньке Овчине крест целовать перед Андреем Ивановичем, дескать, ни она, ни великий князь ему никакого зла не причинят, заманили его в Москву, как в ловушку, а теперь намерены казнить вместе с ближними людьми, Дивлюсь я Ваньке Овчине: пошто ему-то грех тяжкий брать на душу?

— А всё власть, Ваня. Это она портит людишек. Отец Ивашки Овчины и не помыслил бы так сделать. А наш кобелёк как оседлал великокняжескую постель, так и возомнил, что ему всё дозволено: сегодня можно крест целовать, а завтра наплевать на него. Найдём мы и на Ивашку Овчину управу!

В дверь просунулась голова слуги.

— Боярин, там явился человек от старицкого князя.

— Только его нам сейчас и не хватало! Гони его, скажи: нет меня. Эй, ладно, пусть войдёт, коли пришёл.

В горнице появился князь Фёдор Пронский.

— Что поведаешь нам, Фёдор Дмитриевич?

— Князь Андрей Иванович снарядил меня к тебе, Василий Васильевич, чтобы ты заступился за него перед великим князем и его матерью, великой княгиней Еленой.

— Эка чего захотел! Дело старицкого князя решённое... Пронский насторожился.

— ... ему теперь один Бог поможет.

— Что же Андрею Ивановичу делать?

— Пусть делает то, что он ещё может сделать. А пока прощай.

«Думал ли я, что стану клятвопреступником? Кто в том повинен? Хотел я только счастья для Руси, спокойствия и мира, процветанья. А получилось вон что... Казалось, многого уже достиг, а вышло — ничего! Злая воля бабы перечеркнула все мои благие побуждения. Елене мнится: ежели она прикончит поскорей князька удельного, то станет тем сильнее. Ошибочно намеренье её, итог плачевный будет. Из зла добро не явится, из зла лишь зло родится. А мне приходится помышлять о том, как грязь бесчестья смыть с себя. Елена утверждает: не велено мне было крест целовать перед Андреем Ивановичем. Но ведь в моём присутствии людей митрополита она просила сказывать старицкому князю: да ехал бы ты к государю и к государыне без всякого сомнения, а мы тебя благословляем и берём на свои руки. Не по этому ли наказу я поступал? Как всё у бабы просто: сначала обмануть, заманить в ловушку, а потом расправиться со своей беззащитной жертвой. И невдомёк ей, что ежели она нынче кого-то обманет, то завтра её саму облапошат точно так же. Воистину: волос долог, да ум короток!..»

— Звал меня, воевода?

Иван Овчина вздрогнул: за размышлениями он не заметил прихода Афони.

— Звал, Афоня. Все ли дома у тебя здоровы?

— Тесть давно хворает, а остальные на хворь не жалуются.

— Сколькими детьми тебя Господь Бог наградил?

— Четверо у меня, воевода.

— Ишь какой плодовитый! И когда только успел, всё в походах, да и женился недавно.

— Это не я, а жена моя Уляша плодовитая. Последний раз двойней разродилась.

— Таковую жёнушку на руках носить нужно.

— Я так и норовлю делать: с утра до ночи на закорках её таскаю.

— Небось тяжела жёнушка-то, замучился?

— Своя ноша не тянет.

— Хорошо, коли так. А позвал я тебя, Афоня, вот для чего. Ведаешь ли ты, где подворье старицкого князя Андрея Ивановича?

— Вестимо где, в Кремле, воевода.

— Так ты сказал бы ненароком князю: пусть нынешней же ночью бежит из Москвы куда хочет — к себе, в Старицу, к Жигимонту или ещё куда, только пусть не сидит сиднем, беда ждёт его неминуемая. А случится та беда — грех тяжкий, незаменимый ляжет на мою душу. Понял?

— Понял, воевода.

— Самому тебе к старицкому князю, может, и не доведётся попасть. Так ты слугам его скажи — воеводе или дворецкому. Их одинаково кличут, оба они Юрии Оболенские. Ну, ступай с Богом, не мешкай!

Простившись с конюшим, Афоня направился в Кремль. На торжище было уже малоллюдно — завтра большой торговый день суббота, а потому купчишки, позёвывая и незлобиво переругиваясь, пораньше расходились по домам. У Фроловских ворот все книжные лавки были закрыты. В сумерках Афоня осторожно приблизился к подворью Андрея Ивановича и сразу же понял, что опоздал: со всех сторон оно было окружено вооружёнными стражниками, схоронившимися, чтобы их не было видно из окон дома. Он и так и эдак прикинул: попасть к мятежникам не было никакой возможности. Афоня совсем было отчаялся выполнить поручение Овчины, но тут заметил сарай, вплотную примыкавший к ограде старицкого подворья. Правда, по ту и другую сторону сарая возле стены, притаившись, стояли стражники, но если забраться на крышу, то с неё можно соскочить во двор. Пока стражники залезут на забор, он будет уже внутри дома.

Афоня подтянулся на руках и оказался на крыше сарая. Но тут из чердачной щели кто-то цепко ухватил его за ногу.

«Ого, да их тут что тараканов за печкой! Глянь, и во дворе во всех щелях понапихано, даже возле крыльца стоят двое».

— Брось шалить, — спокойно произнёс Афоня, — своих не признал, что ли?

— Это ты, Прошка?

— Ну я...

Рука на мгновение отпустила ногу.

— Да это не Прошка вовсе, а старицкий лазутчик. Хватай его!

Однако Афоня уже был на земле, притаился за углом. Кто-то, тяжело дыша, бежал с противоположной стороны. Подставлена нога, и преследователь, чертыхаясь, грузно повалился в крапиву. Короткая перебежка, но за спиной совсем близко слышится хриплое сопение. Резко развернувшись, Афоня с силой ткнул кулаком в темноту. Стражник, охнув, осел на землю. Теперь можно идти спокойно. А вот и Успенский собор, народ валит из дверей после вечерни. Кто сыщет его в этой толпе?

...Трудную загадку загадал Василий Шуйский старицкому князю. Сподвижники Андрея Ивановича и так и эдак прикидывали, что такое они должны предпринять. Фёдор Пронский, сам слышавший Шуйского, конечно же понял смысл его слов, но сначала отмалчивался, чтобы не огорчить своего господина. Наконец он сказал:

— Думается мне, что нынешней ночью следует тебе, Андрей Иванович, бежать из Москвы.

— Бежать? — испуганно произнёс старицкий князь и перекрестился. — Но ведь Иван Овчина крест целовал...

— Иван целовал, да Елена согласия на то не давала.

— Не может такого быть. Всем ведомо, что Иван Овчина большую власть над Еленой имеет. Выходит, они обманули меня, заманили в ловушку! Что же теперь будет?

— Что будет, я пока не ведаю, то один Господь Бог знает. Ясно одно: надо как можно быстрее бежать отсюда.

— Но ведь ежели я сбегу, то вина моя перед великим князем усугубится.

— Семь бед — один ответ...

В полночь Юрий Андреевич Оболенский-Большой попытался выйти на двор. Дверь оказалась припёртой снаружи. Воевода нажал посильнее. Дверь не поддавалась.

— Эй, кто там шалит? — послышался сердитый окрик.

— Открой, мне надобно выйти во двор по нужде.

— Внутрих рундук есть, обойдёшься.

— Так там занято.

— Не велено никого пущать.

— Кем «не велено»?

— Великим князем и его матерью, великой княгиней Еленой.

Воевода возвратился в покои старицкого князя. Дворянин Каша Агарков тотчас же забрался на чердак и вскоре доложил, что дом, все постройки и само подворье окружены большим числом стражников. До утра никто из старицких людей не сомкнул глаз. Прикидывали, как им следует поступить, но так ни до чего и не додумались: плетью обуха не перешибёшь.

Утром дверь распахнулась, на пороге появился дьяк, сопровождаемый вооружёнными

стражниками.

— Мне надобен старицкий князь.

Андрей Иванович поспешно поднялся, растерянно посмотрел по сторонам.

— Закуйте мятежника в оковы и отведите в темницу! Стражники увели удельного князя, а следом за ним жену Евфросинию с малолетним сыном. Евфросиния истошно голосила.

Затем очередь дошла до бояр старицкого князя. Фёдор Пронский, дворецкий Юрий Оболенский-Меньшой, воевода Юрий Оболенский-Большой, князь Борис Палецкий, а также князья и дети боярские, которые были в избе у Андрея Ивановича и знали его думу, были пытаны, казнены торгового казнью, закованы в оковы и посажены в Наугольную стрельницу Кремля.

Тридцать помещиков новгородских, перешедших на сторону удельного князя, в числе которых Андрей Пупков, Гаврила Колычев, были биты в Москве кнутом и потом повешены по Новгородской дороге на равном расстоянии друг от друга вплоть до самого Новгорода.

Андрей Иванович и полгода не прожил в неволе. Он был уморен под железным колпаком.

Глава 14

Василий Шуйский проснулся от страшного грохота и поначалу ничего не мог понять. Босиком прошёл в соседнюю горницу, где не горели лампы, прильнул к окну, но тут же отпрянул в испуге: все в округе осветилось вдруг каким-то необычным синим сиянием, так что стали отчётливо видны листья на пригнутых ветром деревьях, пазы в стене соседнего дома, кресты на ближайших церковках, и тотчас же страшный удар грома потряс избу.

«Свят, свят, свят... Спаси меня, Господи, от гибели, обойди гневом своим».

Перекрестившись, боярин возвратился в опочивальню. Но спать уже не хотелось. Василий сел на постель, почесал волосатую грудь. «И что это в мире подеялось? Неделю назад был у меня человек из Торжка и сказывал, будто под вечер на Аграфену Купальницу явилась с заката [185] туча превеликая с сильным громом и страшными молоньями. И от молоньи запылал город Торжок и сгорело в нём восемь десятков домов да три стрельницы. Не иначе как Господь Бог прогневился на русскую землю. Вот и на Москву грозу напустил, беды не было бы. А всё отчего? Оттого, что правительница наша Бога гневит. Эх она с новгородцами-то люто обошлась! Богопристойное ли дело обещать удельному князю милость свою, а как явился он, так его в поруб. Три с половиной года минуло по смерти Василия Ивановича, а сколько зла совершилось! Оба великокняжеских брата упрятаны за сторожи. Одного уже не стало, а другой, того и жди, Богу душу отдаст. Вот Бог-то и гневится на нашу правительницу. Смута повсюду началась превеликая. В народе только и разговоров что об убийствах, ограблениях, пожарах, учинённых неизвестно кем. На каждом крестце страшные старцы предрекают конец света, пугают людишек неминуемыми бедами. А всё из-за этой злой бабёнки...»

Вновь страшный грохот потряс дом. Василий перекрестился, пошарил рукой по постели. Жена его недавно скончалась по болести, лет-то ведь им обоим немало, а боярина всё ещё к бабе тянет.

«Надо бы сказать дворецкому, чтобы привёл назавтра девку попригожее да погорячее».

Молния блеснула с такой силой, что померк свет лампад перед иконами, словно яркое солнце заглянуло в окно.

«Свят, свят, свят... Прости, Господи, думы мои грешные. Отчего так бывает: нечто страшное вокруг творится, а в душе желания непотребные зарождаются?.. От греха все беды наши. А самая большая блудница — наша правительница. Не успела сорочин по мужу справиться, как с Иваном Овчиной схлестнулась. Во всем ныне этот молодой кобель со мной, Василием Шуйским, сравнялся. Явился по зову великой княгини в Москву татарский царевич Шиг-Алей, так его у саней встречали я, Шуйский, да Иван Овчина. Прислал грамоту Сагиб-Гирей, а в той грамоте просит снарядить большого посла, князя Шуйского или Овчину. Мало того, многие ставят Ивана Овчину выше меня. Литовский гетман Юрий Радзивилл все свои грамоты посылает любовнику Елены, а обо мне, Шуйском, и не вспоминает. И ливонцы и свои так поступают. Ну не бесчестье ли это? А год назад правительница вообще устранила меня с Иваном от всех дел».

Василий Васильевич кряхтя слез с кровати, проковылял к оконцу. На улице тьма, ни зги не видно. Только слышно, как дождь ровно шумит.

«Слава тебе, Господи, утихомирилась гроза-то... — Но мысль снова и снова возвращается к правительнице: — А вчера и того хуже. Вредная бабёнка при всех боярах и думных дьяках наорала на меня, а когда я встречу пошёл, вон отослала. Это меня-то — потомка славного рода Рюрика! Ну погоди, стерва!»

Василий Васильевич вышел в сени, с силой пнул спавшего слугу:

— Ступай и немедля призови сюда непотребную бабёнку Аглаю!

Кто не знает на Москве чернокнижницу Аглаю? Промышляла она приворотными да ядовитыми зельями. Случится кому неудачно влюбиться — спешат к ней за подмогою.

Срочный зов к Василию Шуйскому в эдакую непогодь озадачил и встревожил Аглаю. Не смея послушаться, она незамедлительно явилась к боярину. Бормоча никому не ведомые слова, насторожённо оглядываясь по сторонам, чернокнижница вошла в горницу, где на лавке сидел Василий Васильевич. Князь испытующе исподлобья уставился на неё, отчего та испугалась ещё больше.

— Зачем звал, боярин?

— Потребность в тебе возникла, вот и позвал.

— Нешто не ведаешь, что на воле творится? В такую непогодь раздолье для нечисти, а тут иди Бог весть куда.

— Тебе-то чего непогоды страшиться? Все ведьмы — подружки твои закадычные, все лешаки — твои дружки.

— Будет тебе, боярин, напраслину на меня городить, пошто звал-то? Уж не влюбился ли в какую красавицу? — вкрадчиво улыбнулась Аглая, отчего жёлтое лицо её стало похоже на сморщенное подмороженное яблоко. — Так я мигом приворожу её!

— В любовных делах без тебя, ведьмы, обойдусь. Зелье мне надобно, от которого на тот свет отправляются.

— Зелья есть разные. Одни мужика убивают, другие — бабу, а иные для умерщвления малюток несмышлёных предназначены. Какое зелье тебе надобно?

— То, что бабу длинноязыкую, на тебя похожую, уморить может.

Аглая перекрестилась:

— Многие зелья мне ведомы. Примешь одно, и тотчас же душа с телом расстается. Другое не сразу себя проявляет. День ото дня человек худеет, не ест ничего и лишь через год погибает.

— Такое зелье сготовь, которое травит не быстро, но бесследно. Чтобы никто не подумал, будто покойницу зельем опоили. Сумеешь ли сделать такое?

— Суметь-то сумею, да страшно стало. Ты бы, боярин, не ко мне обратился. Есть на Москве суцкая ведьма, в зельях весьма искушённая...

— Не о Глинской ли Анне бормочешь?

— О ней, касатик, о ней, родимый.

— Не подойдёт мне эта ведьма. Без неё обойдусь.

— А кого травить-то, любезный, нужно?

— Дочь Анны Глинской!

Аглая отпрянула в страхе:

— Елену или Анастасию?

— Правительницу нашу.

— Трудное твоё дело, боярин, ой какое трудное! Шуйский вытащил из-под подушки увесистый кошелёк, швырнул к ногам отравительницы. Аглая подхватила его, ловко упрятала под манатю.

— Так будет сделано по-моему?

— Будет, сокол мой ясный, обязательно будет, голубчик, ты уж не сумлевайся. Я ведь сама эту ведьму проклятущую Анну Глинскую ненавижу. Раз призывает она меня и велит в Суздаль ехать, там о ту пору у бывшей жены великокняжеской Соломонии сын родился. Так она вознамерилась выкрасть малютку.

Василий Васильевич внимательно слушал чернокнижницу.

— Ну а дальше-то что было?

— Явилась я в Суздаль, а там как раз того малютку отпевают, призвал его к себе Господь.

— Поди, это ты его зельем опоила?

— Вот тебе истинный крест, не я! По болести, говорят, дитё скончалось. Всяк в Суздале то подтвердит... Ну, значит, являюсь я к Анне Глинской и все честь по чести рассказываю. Так эта ведьма за мои труды даже полуденьги не дала! Дитё, говорит, скончалось по болести, а не от твоего усердия, за что же тебе награда? Жаднющая, стерва!

— Ладно, ступай и не мешкай с моим делом.

Если идти от Боровицких ворот Кремля по Знаменке, а затем по Арбату или Сивцеву Врагу,

попадёшь к Арбатским воротам, от которых начинается путь на Смоленск. Возле этих ворот правее Арбата находится местечко, прозывающееся «в Плотниках», к которому примыкает Поварская улица. Здесь обитают дворцовые служители, в том числе и повара. Одна из подслеповатых избёнок принадлежит поварихе Арине, проживающей вместе с престарелой глухой матерью и пятилетним сынишкой Ивашкой. Два года минуло с той поры, как ушёл Аринин мужик в поход на Жигимонта да так и сгинул. Никто не ведаёт, что с ним: то ли в бою полёг, то ли в полон угодил. Так и живёт Арина — ни вдова, ни мужья жена. Живёт себе тихо. Еды в достатке: на службе и сама поест, и домой что-нибудь прихватит. Семья невелика, много ли еды надобно? Да только без мужика весь дом рушится. По весне один угол совсем осел. Да и сарай щелями светит. Скорей бы уж Ивашка выростал, мужиком становился, тогда, может, полегче станет.

А нынче беда стряслась. Явилась Арина вечером домой, а Ивашки нигде нет. И сразу тревога резанула по сердцу словно ножом. Кинулась она к матери, спрашивает её о сынишке, да с глухой какой спрос? Ей про Фому, а она про Ерему. Арина всю Поварскую обежала — нигде нет мальчонки, никто не ведаёт, где он есть. Сказали лишь, будто видели его утром с ребятами. Устремилась повариха к Москве-реке, она тут рядом о берег полощется, но и здесь его не оказалось. Арина рыданий сдержат больше не может, идёт и воет истошным голосом. Явилась домой, и всю ночь из покосившейся избёнки доносился плач, похожий на стон.

Под утро дверь тихо скрипнула. Арина встрепенулась, слабая надежда затеплилась в её сердце. Крадущейся походкой в горницу вошла баба в монашеском одеянии с бегающими глазами. Осмотревшись по сторонам, тихо заговорила:

— Пришла тебя утешить, Аринушка, в твоём превеликом горе. Тяжко лишиться сына, ой как тяжко. Да не всё, Аринушка, потеряно. Трудно спасти твоего сына, но возможно.

— Выходит, жив он?

— Жив пока твой малютка, но... — Гостья горестно покачала головой.

— Скажи, что за погибель грозит ему?

— Попал твой сынишка в руки лихих людей. Намерены они изувечить его зверски, а потом прикончить. Глаза выколуют, руки и ноги отрежут, живого в котёл кипящий бросят!

Услышав такие страсти, Арина завывала по-звериному:

— Бедный мой Ивашечка... а...

— Не кричи так громко, — шёпотом убеждала её Аглая, — криком делу не поможешь. Торопись спасти Ивашку, не то поздно будет!

— Да чем же я могу ему помочь?

— А вот чем. Слушай меня внимательно: когда станешь готовить еду для великой княгини, добавь в неё вот это...

Ловким движением монашка извлекла из-под манатки крохотный узелок и протянула его Арине. Та отшатнулась:

— Упаси меня Бог от этого!

— Не хочешь? Ну так прощайся со своим Ивашкой. Разве ты не слышишь, как он горько рыдает?

Арина напрягла слух, ей и в самом деле померещилось, будто кто-то далеко-далеко плачет.

От этого плача сердце её совсем зашлось, а в голове словно туман растёкся.

— Вижу, не жаль тебе своего кровного детища. Узнает он, что ты его, несчастного, не пожалела, навек проклянёт. Потом почнешь волосья на голове рвать, да поздно будет. Прощай! — Монашка сделала вид, будто уходит.

— Пстой, не уходи... Не могу с мыслями собраться, в голове словно туман, всё перепуталось.

— Да ты успокойся, Аринушка, — ласково обняла её Аглая, — ты только добавь это зелье в еду, кою Елена приемлет. И тотчас же твой Ивашка возвратится. Заживёте с ним лучше прежнего.

— Так ведь еду-то, прежде чем Елене подать, раза два пробуют!

— Ну и пушай себе пробуют. Если мало его съесть, человек и не почувет ничего. Да и не сразу оно действует, все подумают, что государыня скончалась по болести, а не от зелья. Не сумлевайся, голубушка!

— Чует моё сердце — не сносить мне головы. Да лишь бы Ивашечку от лютой смерти спасти. Давай зелье!

— Я виновата пред тобой, Иван! Последние дни тоска гнетёт меня и все о смерти думается. К чему бы это? А когда смерть рядом, все почему-то иным представляется. Раньше я мыслила: не будет Андрея Ивановича — и смуте конец, наступит мир и согласие в государстве. А вышло по-твоему. Вчера еду в возке по Лубянке, а народ увидел меня и давай кричать всякую непотребщину, впору хоть уши затыкать. Раньше-то совсем не то было, с почтением люди относились ко мне, с любовью. Едучи в возке, каких страстей не повидала я! И откуда только явились на свет Божий эти ужасные старицы, безносые, безрукие, безногие старцы, калики перехожие, юродивые? Как вороны на падаль, так и они слетаются со всех сторон. Ох душно, душно мне, Ваня! И все стращают людей немислимыми бедами. А тут на днях слух разнёсся, будто в церкви на Ваганькове, которую Василий Иванович собственноручно закладывал, Богородица горькими слезами плакала. Ездил я в ту церковь, но ничего такого не видела. А люди в толпе при мне крест целовали на том, что Богородица плакала... То в жар меня бросает, то в холод. Потрогай мою руку — как лёд она. Обними меня, Ваня, покрепче, как раньше бывало, может, тогда я согреюсь... Вот так, хорошо.

— Что лекарь Феофил о твоей болести сказывал?

— Лихорадка, молвил, у меня. А мне мнится, иная у меня болезнь, от которой спасения нет.

— Мнительна ты стала, Еленушка. Минует болезнь твоя.

— И сны какие-то страшные являются. На днях привиделся вдруг покойный Андрей Иванович: вошёл в опочивальню и встал у оконца, освещённый луной. Глаза закрыты, в лице ни кровинки, а на теле — ржавые пятна от оков. Их ведь, сказывали мне, перед погребением в Архангельском соборе пришлось долго оттирать... А то лежу до утра не сомкнувши глаз, жизнь свою вспоминаю. Вчера вот о свадьбе с Василием Ивановичем думалось. Повенчались мы с ним, а сына все нет и нет. Между тем четыре года миновало. Много мы ездили тогда по монастырям: и в Переяславль, и в Ростов, и в Ярославль, и в Вологду, и на Белоозеро. Пешком ходила в святые обители, раздавала богатые поминки, со слезами молилась о чадородии. И вот, наконец, юродивый по имени Дементян сказал мне, что буду я матерью Тита Широкого Ума. И вправду вскоре понесла я и в день апостола Тита родила Ваню... Коли случится что со мной, так ты, голубчик, о нём позаботься, заместо отца родного стань. Он

ведь Василия Ивановича почти не помнит, а тебя любит всем сердцем, так и рвётся к тебе. На Юрия надежда какая? Блезный он, не быть ему государем. Так ты и его побереги.

— Не тревожься понапрасну. Заместо отца стану твоим детям. Да только рано ты умирать собралась. Поедем с тобой по святым местам, и вновь помогут тебе старцы, исцелишься от хворобы, как прежде здоровой будешь.

В глазах Елены загорелся огонёк надежды.

— Хорошо бы так-то. Поедем, Ваня, в Можайск, давно я там не была, а ведь город сей монастырями своими славен: Иоакима и Анны, Сретенский, Борисоглебский, Троицкий, Петропавловский да два девичьих — Петровский и Благовещенский. А всего более хочу побывать в церкви Рождества Богородицы Лужецкого монастыря. В той обители архимандритом был Макарий — нынешний архиепископ Новгородский. Повсюду о нём слышны добрые речи.

— Отец Макарий немало потрудился над укреплением Новгорода Великого для защиты его от воинства Андрея Ивановича.

— Большого ума человек. Верила я ему, потому и гонца посылала к архиепископу с наказом об укреплении города... Как же не хочется умирать, Ваня! Столько дел намеревалась совершить, чтобы сыну моему крепкое государство досталось. Потому сразу же после кончины Василия Ивановича велела оградить московский посад рвом и стеной с четырьмя стрельнями. По моему приказу заложены города Мокшан в Мещере, Буйгород в Костромском уезде, крепость Балахна у Соли, Пронск на старом городище, отстроены после пожаров Пермь, Ярославль да Тверь, городская стена во Владимире, возведены новые укрепления в Вологде и Новгороде Великом.

— Запоматовала, государыня, ещё два города, построенных по твоему приказу на литовском рубеже, — Себеж и Заволочье.

— То не моя заслуга, а твоя, Иван. Благодаря твоему усердию в ратном деле и Литва, и Ливония, и Швеция перестали угрожать нам.

— Потому надлежит послать наши полки с литовского рубежа на Владимир и Мещеру, дабы уберечь их от происков ненасытного Сафа-Гирея казанского.

— Согласна, дорогой.

— Да не ты ли народ успокоила, взволновавшийся порчей денег?

— Резать деньги начали при покойном Василии Ивановиче. Злые люди, наученные врагом рода человеческого, стали делать из гривенки не двести пятьдесят, а пятьсот и даже более денег новгородских. Оттого в народе смятение великое приключилось: одни хвалили новые деньги, другие хулили. Крики и непотребная брань оглашали торжища. Василий Иванович повелел жестоко наказывать злых людишек: незадолго до его кончины в Москве казнили много москвичей, смолян, костромичей, вологжан, ярославцев и других городов жителей. Иным лили в рот олово, иным руки секли. Да только не помогло это, зло все усиливалось, и тогда я по смерти Василия Ивановича приказала делать новые деньги, поддельные и резанные деньги заповедать. Из гривенки стали чеканить по триста денег новгородских, а на тех деньгах был изображён всадник с копьём в руке, отчего деньги стали называть копейными. После того людишки успокоились...

— Да ты, я вижу, совсем притомилась. Отдохни, и сразу полегчает тебе.

— Да, да, может, вздремну я немного. Только ты не отлучайся, будь рядом, с тобой мне не

так страшно...

Глава 15

Во второй половине августовского дня двое всадников подъезжали к Зарайску. Андрей жадно всматривался в открывающиеся перед ним дали, в берёзовые перелески, снежно-белые облака, бесконечной чередой плывущие по голубому небосклону. Вот она, русская земля, с которой он расстался почти три года назад. Нет тебя в мире краше! Нет тебя в мире милее!

— Что это за город? — спросил Кудеяр, указывая вперёд.

Андрей всмотрелся, но город был ему неведом. В центре его возвышался каменный кремль, совсем ещё новёхонький. За пределами крепости раскинулись обширные слободы посада.

— Ничего не пойму. По времени мы должны подъезжать к Николе Зарайскому. Сей город я хорошо знаю: он невелик, рублен из дерева. А в этом, каменном, — не мене шести-семи сотен дворов. Уж не сбились ли мы с дороги?.. Эй, мил человек, скажи нам, как прозывается этот город? — обратился он к бородатому вознице, вышагивающему рядом с телегой, тяжело гружённой брёвнами.

— А это Зарайск-городок.

— Десять лет назад был я в городе Николы Зарайского. Куда он подевался?

— Я тут человек новый, но сказывали мне: десять лет назад разорили татары город Николы Зарайского и на том месте по приказу покойного князя Василия Ивановича был построен каменный город. Он перед тобой.

Андрей до рези в глазах всматривался в постройки, норовя отыскать приметы прошлого, которые напомнили бы ему об изведанных здесь минутах счастья, о несбывшихся надеждах, о татарском нашествии, исковеркавшем его жизнь. Все было новое, незнакомое.

— Смотри, Кудеяр, здесь совсем ничего не было, все татары пожгли и пограбили, всех людей погубили либо в полон угнали. А город стоит, как будто и не было того татарского нашествия. Видать, сильна Русь, коли способна так быстро возрождать города из пепелища.

Кудеяру передалось его волнение.

— В Крыму я слышал сказку о птице, называемой Феникс. Она живёт долго, сотни лет. Но когда приходит старость, устраивает на дереве гнездо из благовоний, усаживается в это гнездо и поджигает его. А потом возрождается из пепла совсем молодой.

— Страна, куда мы пришли, подобна той птице. Со всех сторон враги лезут, чтобы погубить её, сжигают города и селения. Но Русь возрождается из пепла ещё более прекрасной и могучей. Скажи, мил человек, где тут у вас кладбище?

— А вон там, за городом, у самого лесочка.

Андрей с Кудеяром из конца в конец прошли кладбище, но не смогли отыскать могил тех, кто пал, защищая Зарайск от татар. Вернулись в город, зашли в храм Николы Зарайского, чтобы помянуть их. Поп, служивший вечерню, оказался Андрею знакомым: был долгонос и похож на грека. Только вот волосы стали иными — словно посеребрёнными. А ведь были когда-то чёрными как смоль. После службы Андрей подошёл к нему, рассказал о своём деле.

— Город наш населён пришлыми людьми, потому новых могил не так много, а старые захоронения я все хорошо помню. Завтра покажу тебе, кто где лежит. Где вы остановились?

— Никого у нас тут нет. Но мы люди привычные, где-нибудь на воле переночуем.

— Зачем же на воле? Ночи холодными ныне стали. Ступайте ко мне, попадья вас накормит и напоит да и спать на сеновал положит.

Кудеяр, забравшись на сеновал, тотчас же уснул, а Андрей до утра не сомкнул глаз. Была такая же августовская ночь, как и тогда, когда они с Марфушей сидели на порожке своего нового дома. Так же звучала песня. Это где-то за городом пели молодые девушки и ребята, вышедшие в поле проводить закат. Так же светили крупные августовские звёзды, пахло спелыми яблоками. Слезы навернулись на глаза, и далёкая звезда пустила длинные золотые лучики, а все вокруг стало туманным...

Наутро поп отвёл их на кладбище. Недалеко от входа он указал на ухоженную могилу:

— Вот тут покоятся наместник Данила Иванович Ляпунов и жена его Евлампия.

Прошли чуть дальше, и открылась могила, украшенная дивным крестом, выкованным в виде устремлённого ввысь лебедя. На холмике лежал скромный букетик полевых цветов.

— А здесь лежит храбрый воин Григорий со своей верной супругой Прасковьей. Когда воина убили татары, супруга, не желая разлучаться с мужем и быть плененной, смерть приняла, пав грудью на кинжал. Все жители нашего града свято чтут их память, а возлюбленные являются к их могиле и дают обет верности друг другу.

«Так вот вы где, милые мои Гриша и Параша... Как завидую я вашему счастью. Ничто не смогло разлучить вас, даже сама смерть. Вечная вам память, други мои!»

На тучковском подворье радостное оживление. Только что из Новгорода возвратился Василий Михайлович, которого великая княгиня Елена посылала собрать детей новгородских помещиков для отправки в Москву. Княжич стоял перед отцом возмужавший, счастливый первой творческой удачей, прижимая к груди написанную им книгу — житие Михаила Клопского. Он с упоением рассказывал о новгородском архиепископе Макарии, который дерзнул доверить ему такое трудное дело.

— Прочитав мой труд, святой отец трижды облобызал меня и даже прослезился. Сказал, что именно таким он мыслил его. Макарий велел писцам переписать его и разослать во все монастыри. Он уверил меня, что многие поколения людей, читая мой труд, станут внимать его мудрости. Да, да, он так и сказал, отец!

— О чем же ты поведал в своём труде?

— Я призвал людей не заводить в Русском государстве смуты, верно служить великому князю, ибо в единении вокруг великого князя наше счастье и сила. Межусобная же брань есть страшнейшее и ужаснейшее из наказаний, посылаемых Богом за грехи человеческие. Всякая власть от Бога. И тот, кто посягает на неё, кто на Руси брани межусобные зачинает, тот врагу человеческому радость сотворяет, служит дьяволу!

Михаил Васильевич недоверчиво покачал головой:

— Слишком юн он, наш государь. Нелегко придётся ему. Ныне на Москве беспокойно, брожение среди людишек. Многие недовольны жестокостью великой княгини.

— Слышал о том, отец, — с горечью произнёс Василий, — не к добру такая жестокость.

— Все бы ничего, да кто-то людишек московских мутит. Мнится мне, это дело рук Шуйских. Они так и норовят оттеснить всех от власти.

Пока отец с сыном мирно беседовали между собой, во двор вошли Андрей с Кудеяром.

— Никак Андрюха из Крыма воротился? — удивился Василий.

— Как будто он. Неужто рядом с ним сын Соломонии?

Княжич радостно приветствовал Андрея.

— В Крыму был?

— Был.

— Жёнушку свою разыскал?

— Разыскал.

— Так где же она? Хочу тотчас же видеть ту, ради которой ты себя смертельной опасности подвергал!

— Нету её.

— Как — нету? Преставилась?

— В Крыму пожелала остаться.

— Вот те на! Что же ты её с собой не увёл?

— Не захотела.

Михаил Васильевич пристально рассматривал Кудеяра. «Уж как похож на брата своего Ивана Васильевича! Как будто одна мать их породила».

— Как тебя звать?

— Кудеяром.

— Ты разве татарин?

— Нет, я русич.

— Почему же тебя так кличут?

— Мы с матушкой... то есть с тётей Марфой, в Крыму жили, так у всех детей имена татарские.

Михаил Васильевич многозначительно глянул на Андрея:

— Он самый?

— Да.

— А не обознался ты?

— Нет. Марфуше ни к чему было меня обманывать.

«Да, сомнений нет, это и есть старший сын Василия Ивановича. Что же теперь с ним делать? Объявить всем, что именно он должен быть великим князем? Смута начнётся. А её и без того хватает. Отправить к матери в Покровскую обитель? Появление его понаделает там шуму. И опять смута приключится. Оставить при себе? Большой опасности себя подвергнешь. Ну, как великая княгиня проведает? Не сносить тогда головы!»

Боярин отвёл Андрея в сторону:

— Скажи, Андрюха, как жизнь свою думаешь устроить? Ну где жить хотелось бы тебе?

— Хочу просить тебя, боярин, отпустить меня в монастырь. Родители мои померли, к крестьянскому делу меня не тянет, быть послужильцем тоже не к лицу — стар стал. Жену свою разыскал в Крыму, да она счастье своё там нашла, на Русь воротиться не захотела. А другой жены мне не надобно. Вот и решил я в святой обители век свой окончить.

— Хорошее дело удумал. В какой же монастырь поступить хочешь?

— Да в тот, что подальше от шумной Москвы. В заволжский скит постучусь. Может, там примут.

— И то верно. Воле твоей перечить не стану. — Михаил Васильевич вытащил из-за пояса кошелёк с казной. — Хочу, Андрюха, отблагодарить тебя за верную службу. Сам ведаешь: в монастырь с пустыми руками не суйся. Так ты отдай эти деньги игумену, то и будет твой вклад в обитель. А как устроишься, дай знать, чтобы мы ведали, где ты есть. Мальца с собой возьми да пуще глаза береги. В Суздаль не ходи и Соломонии не говори, что сын её нашёлся, — беда может приключиться. Когда подрастёт он, тогда и скажем ей. Понял?

— Понял, боярин. — Слова Михаила Васильевича пришлись по душе Андрею. За долгий путь уж так он прикипел сердцем к Кудеяру, что и представить не мог, как расстанется с ним. И впрямь опасно показать его Соломонии: баба она и есть баба, закричит, плакать почнет. Прознают про Кудеяра Глинские, тотчас прикончат его вместе с матерью. Нет уж, при нём Кудеяру ничто не грозит. Уйдут они в дальнюю обитель, что стоит потаённо среди заволжских лесов, — ищи их тогда! Только вот Суздаль никак миновать нельзя — надобно матушку Ульянею проведать, рассказать ей о Марфуше. Стара Ульянея, да и о Марфуше дюже убивается. А чего убиваться-то? Живёт она в Крыму, детей растит, ничто ей не угрожает. Так пусть матушка Ульянея успокоится и понапрасну не страдает.

— Да поможет тебе, Андрюха, Господь Бог.

Андрей поклонился Тучковым и, взяв Кудеяра за руку, направился к воротам. Тучковы молча смотрели им вслед.

— Сам ведь сказывал, — словно оправдываясь, произнёс Михаил Васильевич, — нельзя заводить на Руси смуты.

— Ты прав, отец.

— Кудеяр старше Еленина сына, потому имеет больше прав на престол. Но пока он ещё мал. Придётся подождать немного, а тем временем надлежит готовить народ. Шуйские всячески поносят правительницу, и я в том полностью с ними согласен: не успела сорочин справить по мужу, как любовника в постель пустила!

Василий с изумлением глянул на отца:

— Но разве не ты ратовал за то, чтобы Елена и Ваня Овчина полюбили друг друга?

— Я хотел, чтобы Иван Овчина защитил её и юного великого князя от происков Михаила

Львовича Глинского. Но я вовсе не желал разврата. А ведь она с Иваном Овчиной словно с Богом данным мужем повсюду на людях появляется, мало того — по святым обителям с ним ездит! Это ли не святотатство, не надругательство над обычаями, стариной утверждёнными! Вот Бог-то и прогневался на неё, напустил хворь непонятную, так что чахнуть она стала, то в жар её бросает, то в холод. Дела позабросила, все по монастырям да по пустыням ездит со своим дружкой, грехи тяжкие замаливает. Или ты не согласен с тем, что она, словно гиена свирепая, растерзала великокняжеских братьев и даже своего дядю Михаила Львовича?

— Согласен. — Василий в душе часто расходился с отцом во мнении, не любил его грубость, резкость суждений, нахрапистость, но как-то всегда выходило так, что он вынужден был соглашаться с отцом.

А Михаила Васильевича забавляла эта игра в кошки-мышки. Он знал, что в душе сын не приемлет его образа мышления, но разве он может не согласиться с ним, столь искущённым в житейских делах? Потому, посмеиваясь в душе над сыном, он поддал ещё жару:

— Когда ехал из Новгорода в Москву, поди, вволю налюбовался на мертвецов, развешанных по деревьям Еленой. Да разве кто сравняется с ней в изуверстве? Согласен со мной?

— Согласен, отец.

— Ну вот и хорошо. Сердечно рад приезду моего разумного сына... С Шуйскими нам пока по пути: чем громче они поносят Елену, тем больше нелюбви в народе к ней и её сыну. Ну а когда правительницы не станет, тут-то мы предъявим всем сына Соломонии. Мы с ним, а Шуйские будут вот с чем! — Боярин сделал кукиш и громко расхохотался. — А пока можно потихоньку говорить, что сын Соломонии жив и скоро объявится.

Андрей нарушил наказ Тучкова. По пути в Заволжье они с Кудеяром заехали в Суздаль.

Остановились у Аверьяновых, долго вспоминали и памятный кулачный бой на Каменке, и сказку про Крупеничку, и про все минувшее. Дочери Фёдора и Лукерьи выросли, вышли замуж и теперь живут отдельно от родителей. А при них остался лишь Гришутка — рослый улыбчивый парень с чистым лицом и ясным взглядом серых глаз. Андрей сообразил, что, когда он впервые явился в Суздаль, ему было столько же лет, сколько теперь Гришутке. И оттого он показался ему ещё пригожее.

Оставив лошадей у Аверьяновых, отправились в Покровский монастырь. Не надо бы этого делать — вести Кудеяра туда, где обитает его мать, но Андрею захотелось почему-то обязательно показать ему если уж не саму Соломонию, то хотя бы место, с нею связанное. И все же он не решился вести мальчика во двор обители. Мало ли кого там можно случайно повстречать! Оставив его возле главных ворот.

Андрей строго-настрого приказал никуда не отлучаться, даже в том случае, если он сам припозднится. Подумалось вдруг: ну, как матушка Ульянея надолго задержит его своими расспросами о Марфуше?

Едва миновал Святые ворота с Благовещенской церковью над ними, как услышал, что кто-то окликнул его. Оказалось, Аннушка. Шла к службе в собор и вдруг заметила Андрея.

— Вот уж не чаяла увидеть тебя, думала, в Крыму сгинул.

— Жив-здоров, как видишь.

— Марфушу, значит, не повстречал, коли один заявился, — печально произнесла Аннушка.

— Почему не повстречал? Свиделись с ней в селении Черкес-Кермен. Только она возвратиться на Русь не пожелала.

— Не верю тому! Не могла Марфуша забыть родную землю, предать веру православную. Не такой она человек.

— Понимаешь, Аннушка...

— Меня теперь Агнией кличут.

— Понимаешь, дети у неё родились, шесть душ, мужик татарин, к тому же хороший, Тукаджиром кличут. Добрый, говорит, сильный...

— Тьфу, нечестивица! Да как она могла нехрестя бусурманского полюбить! Как детей от него заимела? Вот уж никак не думала не гадала, что такое может стать.

— Хочу о Марфуше матушке Ульянее поведать.

— Опоздал ты, Андрей, нет больше матушки Ульяinei.

— Как нет?

— А так — умерла седмицы три назад. Вместо матери родной она мне была... — Аннушка горько расплакалась — Пойдём, покажу её могилку.

Прошли в подклет Покровского собора, остановились возле свежего надгробия.

— Вот здесь и покоится матушка Ульянея, пусть земля станет ей пухом. Сильно печалилась она о Марфуше. Сказывают, будто Марфуша была её родной дочерью. А может, зря так болтают. И тебя нередко вспоминала, все молила Господа Бога помочь тебе в дальней дороге. Прощай, Андрей, пора мне, скоро служба начнётся.

Аннушка стала подниматься по лестничному входу, и тут Андрей увидел Кудеяра, с любопытством рассматривавшего собор, и хотел было окликнуть его, но сдержался, заметив среди монахинь, идущих от келий к собору, Соломонию. Нельзя было допустить, чтобы она увидела его сейчас, особенно вместе с Кудеяром, поэтому Андрей спрятался за мощный круглый столп, на который опиралась угловая арка входа. Отсюда хорошо было видно и Кудеяра, и Соломонию.

Приблизившись к мальчику, монахиня внимательно всмотрелась в его лицо.

— Как тебя зовут, голубок?

— Кудеяром.

— О, да у тебя татарское имя. Где же твой дом?

Кудеяр замешкался с ответом.

— В Суждале, матушка.

— Что же я тебя раньше не видела?

— А мы лишь вчера здесь объявились, а остановились у Аверьяновых.

— Знаю я Аверьяновых. Так ты приходи сюда, голубок, приятно мне видеть тебя.

— Приду, матушка.

— Да поможет тебе Бог.

Соломония поправила на Кудеяре рубашку, Андрей весь напрягся: что будет, ежели она увидит под рубахой знакомый ей крест? Соломония, однако, ничего не заметила. Она сунула в руку Кудеяра монетку и направилась в собор. Пройдя десяток шагов, остановилась и оглянулась.

— Какой славный мальчик, — услышал Андрей её шёпот. Соломония стала подниматься по лестничному входу, по щекам её текли слёзы.

Вот последняя монашка прошла в собор, началась служба. Андрей вышел из-за каменного столпа, окликнул Кудеяра.

— Зачем ты пришёл сюда? Я же просил подождать у Святых ворот. — От пережитого волнения он говорил несправедливо резко.

Кудеяр с удивлением посмотрел на него:

— Я долго ждал и решил зайти во двор посмотреть эту дивную церковь. Ты недоволен мной, но разве я в чем провинился?

— Нет, ты ни в чем не виноват, просто я обеспокоился за тебя, вдруг бы мы разминулись.

— Когда мы уходили из Черкес-Кермена, ты сказывал, будто меня в Суждале-граде ждёт родная матушка. Где же она?

Андрей давно ждал этого вопроса, но все равно он прозвучал неожиданно. Как ответить на него? Правду сказать нельзя, а неправду говорить не пристало. Кудеяр волен знать свою родную мать. Стоит лишь подождать вот здесь совсем немного, и она явится к нему. И тогда радости их не будет конца! Но ведь боярин Тучков не велел показывать Соломонии Кудеяра. Да и самому Андрею не хочется расставаться с ним. Не в нём, однако, дело. Приказал бы Тучков вернуть сына Соломонии, тут бы и делу конец. Нельзя. Не дозволено. Как же быть?

— Опоздали мы с тобой, Кудеяр, всего на три седмицы. Скончалась твоя матушка, схоронили её вот здесь, в подклете. Пойдём, я покажу тебе.

Они прошли в подклет собора, и Кудеяр увидел свежую каменную плиту. Она не вызвала у него особых чувств, потому что он не знал ту, что лежит под ней. Какая была у него мать: добрая или злая, красивая или уродливая? Мальчик молча стоял над холодной плитой.

Печальное пение доносилось в подклет из собора, где шла служба. И это пение так подействовало на Андрея, что он не мог больше сдерживать себя. Повалившись на могилу Ульянеи, он безудержно разрыдался. В этот миг он навсегда прощался со своей несбывшейся любовью, с мечтой о земном счастье, которое только слегка согрело его и прошло мимо.

— Не надо, дядя Андрей, не надо... — Рука Кудеяра коснулась его спины. И это прикосновение вернуло Андрея к жизни, оно словно отрезало то, что миновало. Надо было начинать новую жизнь.

Из Суздаля через Шую и Дунилово путники вышли к Плёсу. Вечерело. Перед ними, переливаясь множеством золотых блёсток, спокойно и плавно несла Волга свои могучие воды из дальней дали, скрытой туманной пеленой, к морю Хвалынскому [186].

У Кудеяра дух захватило от открывшегося перед ним простора. На противоположном берегу до самого края неба тянулись леса, опалённые осенним увяданием. В свете заходящего солнца они казались огромным кострищем, охватившим Заволжье. Над этими лесами, над волжским простором распростёрлись на полнеба пепельно-серые облака. Края облаков, обращённые к солнцу, горели ослепительным янтарным сиянием.

— Что это за река? — В голосе Кудеяра слышался восторг.

— Это Волга.

Мальчик соскочил с кручи к самой воде. Набежавшая волна обожгла его ноги холодом.

— Осторожно, не застудись, — предупредил Андрей.

В чистой, прозрачной воде что-то огромное слабо шевельнулось—большие круги пошли по воде.

— Рыба играет на вечерней заре, — пояснил Андрей.

— Как же мы переправимся на тот берег?

— Сказывали мне, будто в Плесе есть перевоз через Волгу. Только найдём ли мы охотника плыть через реку на ночь глядя?

— А вы что, очень торопитесь на тот берег? — раздался поблизости старческий голос.

Путники огляделись и только тут заметили рыбака, изготовившегося развести костерок. Рыбак был стар, худ и лыс. Лицо и шея его изрезаны глубокими морщинами.

— Хотелось бы сегодня переправиться на тот берег.

— А что в том толку? Все равно ночевать придётся хоть на этом, хоть на том берегу. Тут, однако, люди есть. Вы куда путь держите?

— В заволжские скиты идём.

— В монашество, значит, решили податься... Не пойму я, зачем люди туда стремятся? Лёгкой жизни, видать, жаждут. Встал, помолился, поел, опять помолился... А жизнь идёт своим чередом... — Старик притащил из лодки, спрятанной возле берега, три большущие рыбыны, ловко очистил внутренности, нарезал большими кусками и бросил в котелок. Туда же добавил горсть муки и очищенную луковицу. — А по мне, что темница, что монастырь — все едино. Нет ничего лучше вольной жизни. Я вот днём рыбку промышляю, а к вечеру костёр разведу, ушицы наварю. Слышь, дух-то какой пригожий!

У Кудеяра от запаха ухи аппетит разыгрался. Он с нетерпением заглядывал в котелок, в котором весело булькала вода и время от времени всплывали соблазнительные рыбы куски.

— Что может быть вкуснее наваристой ушицы? — продолжал старик, помешивая в котелке деревянной ложкой. — Ночью заснёшь в шалаше на свежем воздухе. Звёзды над тобой сияют, пахнет всякими травами...

— Жена-то у тебя есть? — полюбопытствовал Андрей.

— Жена-то была, да лет восемь как скончалась по болести. Один я теперя. Зимой в Плесе живу, изба у меня там, а до поздней осени возле реки промышляю. Ну что ж, ушица, кажись, поспела. Садитесь, гости дорогие, к горшку.

Андрей с Кудеяром не заставили себя упрашивать. Старик не спеша продолжал рассказывать о себе:

— Раньше я бобров добывал, видимо-невидимо их в Плесской волости было. Ныне же совсем не то. Великий князь не так давно дал плесским бобровникам грамоту, разрешающую им ловлю бобров, а в грамоте той писано: коли не добудут они зверя, то должны платить великому князю денежки. Вот я и бросил бобровый промысел. Зверя-то мало осталось, а деньги платить понапрасну кому охота? Да и откуда им у меня взяться, денежкам-то? Места же здешние дюже пригожие. Главное украшение — Волга привольная. Глядишь на неё с утра до ночи, не налюбуйешься. Взад и вперёд купеческие струги снуют, разные товары везут.

— Как тебя звать-то?

— Яковом кличут.

Костёр прогорел. Солнце скатилось в дальний лес, и темень сразу же спеленала окрестности.

— Залазьте в шалаш, там ночь переждём, а утресь перевезу вас в Заволжье.

В шалаше было сухо и тепло. Духовито пахло сеном. Где-то вдалеке, в нагорной части, громко ухнуло.

— Что это? — сквозь одолевавшую его дремоту спросил Кудеяр.

— А это лешак по лесам бродит, деревья ломит, зверей гоняет да ухает. Не хочет, лохматый, спать ложиться. Теперича ему на глаза не суйся, лют он на всех. Таким до Ерофеева дня [187] будет. А как придёт Ерофей, хватит лешака по башке, тот в землю зароется и станет крепко спать до Василия Парийского.

— А к нам лешак не придёт?

— Не бойся, к нам не пожалует. Однажды, сказывают, мужик захотел подсмотреть, как леший под землю будет проваливаться. Многое он ведал, но этого не знавал. Утром Ерофеева дня пошёл он в лес да и повстречал лешака. Мужик не сробел: шапку долой, а и ему челом. Леший ничего не сказал гостю, стоит да смеётся. Человек стал пытаться его: «А есть ли у тебя, Иваныч, хата да жена-баба?» Повёл леший мужика к своей хате по горам, по долам, по крутым берегам. Шли, шли и пришли к озеру. «Не красна же твоя изба, Иваныч! — молвил удалой мужик. — У нас, брат, изба о четырёх углах, с крышей да с полом. Есть в избе печь, есть полаты, где с женой спать, есть лавки, где гостей сажать. А у твоей хаты, прости Господи, ни дна ни покрышки». Не успел мужик домолвить свои слова, как леший бух о землю! Земля расступилась, туда и леший пропал. С тех пор удалой стал дураком: ни слова сказать, ни умом пригадать. Так и умер.

Яков громко зевнул. Кудеяр, не дослушав конца рассказа, уснул. Андрею не спалось. Он чутко вслушивался в ночные звуки. Невдалеке равномерно бились о берег волны. Казалось, будто река слабо дышит во сне. Вот хрустнула ветка. Неведомый зверь остановился возле шалаша, шумно вздохнул и стал лакать воду.

«Никак лешак пожаловал», — подумал Андрей и глянул в отверстие шалаша. На фоне серого неба проступила огромная ветвь. То были рога сохатого, спустившегося к реке на водопой.

Много монастырей повидал на своём пути Андрей, но нигде не приглянулось ему. В середине октября вышли они с Кудеяром к тихой речке, за которой на ровном месте вздымалась поросшая лесом гора. На вершине её из сосновой зелени торчала маковка церкви, а по

склонам были разбросаны скитские постройки.

День был пасмурный, тихий. Из набежавшей тучки брызнул дождик и убежал на противоположный берег реки, покрыв пузырями её поверхность. Тропинка, петляя между деревьями, вывела путников к узенькому мостику, переброшенному через реку. Остановившись посреди моста, Андрей осмотрелся по сторонам и впервые был поражён красотой невзрачного дерева рябины.

Многие деревья уже полностью обнажились, другие ещё щеголяют в ярких нарядах, которые, однако же, обветшали, расплзаются на глазах, легко рвутся бесстыдником-ветром. В октябрьскую пору красота как бы стекает с деревьев на землю: с каждым днём гаснут, меркнут, мрачнеют кроны, но зато какими замечательными праздничными теремами предстают муравейники, молодые стройные ёлочки! И вот наконец наступает осенний день, когда во всей своей красе является людям рябина — замечательнейшее дерево русского леса. Словно кто-то запалил по опушкам и полянам огромные, никого не греющие костры.

— Красота-то здесь какая! Тишина, покой...

— Смотри-ка, монахи рыбу в речке ловят.

Возле самой горы речка разлилась широко, и в заводи виднелись две лодки, в которых неподвижно сидели монахи с удочками в руках.

— Хорошо здесь?

— Мне тут поглянулось.

— Ну что ж, попробуем упросить игумена принять нас в свою обитель.

Игуменом оказался один из монахов, ловивших рыбу. Отдав келарю добычу, он позвал гостей в свою келью. Отец Пахомий был приземист, седобород, медлителен в движениях. А глаза имел шустрые, любопытствующие.

— Вижу, — ласково заговорил он, — издалека вы к нам пожаловали, очень даже издалека. Что же вас привело сюда, в эдакую глушь?

— Просим, отец Пахомий, принять нас в свой монастырь.

— Эвон чего захотели! Монастырь — не гостиный двор. К монастырской жизни способность надо иметь.

— Но и желание тоже.

— В монастырях многие жить желают, думают, будто здесь хлеб самый дешёвый. Коли вы лёгкой жизни хотите, ищите себе другой монастырь. Я же лежебок не терплю. Всяк у нас своё дело делает: кто рыбу ловит, кто грибы собирает, а кто дровишки на зиму заготавливает. Иные столярничают, бондари кадушки да бочки мастерят.

— Не на даровые хлебы мы пришли. Вместе с другими работать станем.

— Скажи, мил человек, а где тебе побывать пришлось?

— Был в Крыму, в Зарайске, Коломне, Волоке Ламском... Во многих городах и весях довелось быть.

— А я вот всю жизнь на одном месте прожил. Интересно мне будет тебя послушать. Только вот молод ты для монашеской жизни. Лет тридцать, поди?

— Угадал, отец Пахомий. Годами-то я молод, да душой состарился.

— Отчего так?

— Трудная жизнь выпала на мою долю.

— А баб ты знавал? — Игумен с любопытством уставился на Андрея.

— Знавал, отец Пахомий.

— Большой соблазн в них. Боюсь, по молодости лет грешить начнёшь.

— Не бойся, отче. Полюбил я всем сердцем одну девицу. Поженились мы, год душа в душу прожили. Да тут татары нагрянули, когда я в отлучке был. Возвратился, а ничего и нет: ни кола, ни двора, ни любимой жены. В полон татары её угнали. Не мог я без неё жить, в татарщину следом пошёл. Долго в Крымской орде искал свою любимую жёнушку. Наконец повстречал её, да поздно: отказалась она на Русь возвратиться, детей своих, в татарщине рождённых, бросить не пожелала, а их у неё шесть душ. Так что ни с чем я на Русь, воротился. Ныне какая мне жизнь? Оттого и решил в монастырь податься.

Игумен сочувственно вздохнул:

— Примем тебя в святую обитель. В ней обретёшь ты душевный покой и радость.

— Об одном ещё прошу, отец Пахомий. Разреши оставить в обители отрока Кудеяра. Родители его померли, а я как к сыну родному к нему привязался. Вместе с ним мы из Крыма на Русь пришли.

— Пусть будет по-твоему. Трудись в поте лица, расти отрока Кудеяра.

Глава 16

Марья — пустые щи [188] с незапамятных времён повсеместно сливёт днём всяческого обмана, не зря на Руси сказывают: «На Марью — заиграй овражки и глупая баба умного мужика на пустых щах проведёт и выведет». Незлобиво подшучивают друг над другом в этот день москвичи, хохочут над теми, кого провести на мякине доведётся. От того весёлого шума домовой просыпается в добром расположении духа, ласковым до хозяев. Ну а там, где хозяйева злы и неприветливы, там и домовой лют.

В марте заканчивается у крестьян запас кислой капусты, потому апрельские щи прозываются пустыми, а про тех, кто хочет чего-то необычного, говорят: «Захотел ты в апреле кислых щей».

Под яркими лучами солнца быстро тают снега. На все лады — то звонко, то бурливо, то чуть слышно — трезвонят повсюду ручьи, спешат донести талые воды до рек и речушек, а те, переполнившись, вздымают потрескавшийся синевато-серый лёд, крушат его и несут постепенно уменьшающиеся в размерах льдины к далёкому синему морю.

Радует сердце крестьянина, коли на Марью разольётся полая вода. Значит, быть большой траве и раннему покосу! Вот и просят повсюду: «Марья — зажги снега, заиграй овражки».

А вслед за Марьей — Поликарпов день. Об эту пору начинается весенняя бесхлебица, потому говорят: «Ворона каркала, да мужику Поликарпов день накаркала».

За Поликарповым днём — Никитин день. Те, кто по Оке живут, смотрят с надеждой на реку: коли на Никиту лёд не пошёл, то лов рыбы будет плохой. В этот день водяной от зимней спячки просыпается. Увидит над собой лёд — и таким лютым становится, всю рыбу истребляет и разоряет. Потому рыбаки спешат умилостивить его, угостить гостинцем — в полночь топят в реке лошадь или льют в воду масло. «Не пройдёт на Никиту-исповедника лёд — весь весенний лов на нет сойдёт».

Хоть и голодно, но всюду на Москве веселье. Только в великокняжеских покоях печаль да тревога — правительница при смерти. Утром Никитина дня, в среду, пришла Елена в сознание и как будто почувствовала себя лучше. Ярко светило весеннее солнце. Под окнами великокняжеского дворца звонкую радостную песню напевал ручей. Солнечные блики, отражённые движущейся водой, весело приплясывали на потолке.

Василий Шуйский пристально вглядывался в бледное, с синими подтёками лицо великой княгини.

«Так тебе и надобно, скверная бабёнка! Будешь знать, как меня, первостатейного боярина, поносить...»

Елена приоткрыла глаза.

— День-то какой нынче славный, — тихо проговорила она, — да, видать, не для меня светит солнышко, не жилец я на белом свете.

— Тебе, государыня, хуже? — озабоченно спросила Аграфена Челяднина.

— Нынче мне лучше стало, да сердце чует: не к добру то. Потому попрощаться хочу со всеми.

Елена глянула в сторону сыновей. Аграфена держала за руку младшего — Юрия, Ваня стоял между Иваном Овчиной и Фёдором Мишуриным. У дьяка тёмные волосы над высоким лбом, широкие густые брови, а борода огненно-рыжая.

— Тебе, Аграфена, сыновей своих доверяю. Береги пуще глаза.

— Не изволь беспокоиться, государыня, все исполню, как велишь.

Елена перевела взгляд на Ивана Овчину:

— А ты, Иван, стань детям моим заместо отца.

Василий Шуйский скрипнул зубами.

«Выходит, я старался ради того, чтобы этот кобель стал над нами. Не бывать тому!»

Новый приступ боли исказил лицо правительницы. Лекарь Феофил, склонившись, тихо спросил:

— Что у тебя болит, государыня?

— Все у меня болит. Словно огнём внутренности жжёт...

Михаил Тучков не сомневался, что Елену отравили: с чего бы молодой бабе вдруг расхвораться неизвестно какой болезнью? Ни поветрия, ни простуды не было. Правда, сам Феофил, лекарь добрый, опытный, не уверен в том, потому об отраве не заикается. Скажи — и копать придётся, кто зелье дал. А злодей, может, рядом стоит и над мучениями

правительницы сейчас злорадствует. Кто отравил её? Михайло Захарьин? Шигона-Поджогин? Гришка Путятин или Фёдор Мишурин? Вряд ли они могли пойти на убийство Елены. Ни к чему им это.

Михаил Васильевич посмотрел на митрополита, Аграфену Челяднину и её брата Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского. Этим совсем уж не пристало травить великую княгиню. А вот братья Шуйские... Тучков пристально глянул в глаза старого воеводы. Василий Васильевич тяжело вздохнул и, повернувшись к образам, начал усердно креститься.

В это время Елена громко закричала и, резко оборвав крик, затихла.

— Мама, мамочка! — Юный великий князь бросился в объятия Ивана Овчины.

А по широко раздавшейся Москве-реке плыли голубовато-зелёные на изломе льдины. Толпы людей наблюдали за ледоходом. Заметив на льдине стоявшего столбиком зайца, москвичи дружно захохотали, заулюлюкали, засвистели. Радостью полнятся сердца молодых: лёд сойдёт, тепло явится, запоют в лесах соловьи-пташечки, покроются листвою деревья, распустятся цветы лазоревые. То-то будет по лесам любви да веселья!

Примечания

1

Бердыш — широкий топор на длинной рукоятке.

2

Балясы — точеные столбики.

3

Полушка — самая мелкая серебряная монета в Москве в первой четверти XVI века. Она равнялась 1/4 гривны или 1/400 рубля.

4

Видок — очевидец виденного.

5

Послух — очевидец слышанного.

6

Взять хотя бы Юрия: и с литовцами супротив тебя сносился. — Речь идет о событиях 1507 г., когда Сигизмунд пытался заключить договор с Юрием Ивановичем о братстве и мире помимо великого князя Василия.

7

Гульбище— балконы и проходы между ними.

8

Ж и л о — надстройка, род этажа.

9

Нестяжатели — религиозно-политическое течение в Русском государстве в конце XV — начале XVI века. Проповедовали аскетизм, уход от мира; требовали отказа церкви от земельной собственности. Идеологи Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и др. осуждены на церковных соборах 1503, 1531 гг.

10

Иосифляне — церковно-политическое течение в Русском государстве конца XV — середины XVI века, идеолог Иосиф Волоцкий В борьбе с нестяжателями отстаивали незыблемость церковных догм, защищали церковно-монастырское землевладение.

11

Идти встречу — возражать.

12

Гостиник (гостинник) — лицо, ведавшее приемом посетителей в скиту или монастыре.

13

Исидор — (? — ок. 1462) — русский митрополит с 1437 года. На Флорентийском соборе 1439 года выступил за унию с католической церковью. По возвращении в Москву заключен в тюрьму, в 1441 году бежал в Италию, стал кардиналом.

14

Иона (? — 1461) — русский митрополит с 1448 года.

15

Епитимья — церковное наказание.

16

..вместе со своим двоюродным братом князем Даниилом Щеней водил русские полки на Вязьму и покорил этот город... литовцы поспешили заключить с Москвой мир. — События относятся к 1493 г. А в начале 1494 г. был заключен с Литвой мирный договор, скрепленный свадьбой Александра, князя литовского, с Еленой, сестрой Василия III.

17

Поминок— подарок.

18

23 июня (здесь и далее по старому календарю).

19

Поруха — ущерб, убыток, вред.

20

Докончанье — договор.

21

Собор — совет.

22

Берсень-Беклемишев — боярин, казненный в 1525 году за непочтительные речи о великом князе Василии Ивановиче и его матери Софье Палеолог, а также о его внутренней и внешней политике.

23

Речь идет о соборе 1503 года.

24

Кормчая (Кормчая книга) — сборник церковных и частью гражданских законов и правил.

25

Позднее — Кексгольм.

26

Свадьба состоялась в 1505 году.

27

Летник— нарядная одежда русских женщин. Надевали его через голову и не подпоясывали. Рукава сшивали сверху только до локтя, а ниже они висели длинными полотнищами (накапки). Концы рукавов и перед летника украшали нашивками из более дорогих тканей (вошвы).

28

Убрусец— нарядный головной платок.

29

К и к а — женский головной убор, повойник.

30

Рынды — телохранители, парадная стража.

31

Крестец — место пересечения улиц.

32

Панский двор — местожительство литовских послов.

33

Ширинка— отрезок ткани, которым пользовались либо как шейным платком, либо как полотенцем.

34

Сулея — сосуд в виде большой бутылки с пробкой, которая завинчивалась. Вместо рукоятки у сулеи бывали цепи, прикрепленные к бокам.

35

Голова — выборное должностное лицо.

36

Исключая самые главные праздники (Светлое воскресенье, Рождество Христово, Троицын день и некоторые другие), простому народу во времена Василия III запрещалось употреблять опьяняющие напитки.

37

Фроловские— Спасские ворота.

38

Волостель — в XVI веке и раньше представитель княжеской власти на местах, правитель волости с очень широкой и малоопределенной властью.

39

Тиун (тивун) — княжеский или боярский слуга, управляющий.

40

Праветчик — должностное лицо судебного ведомства, пристав.

41

Доводчик (доводник) — агент наместников и других должностных лиц, ведавший следствием и судом.

42

Волость — владение, административная единица.

43

Наместник — представитель центральной власти на местах, облеченный широкими, но малоопределенными полномочиями.

44

Вира — денежный штраф за убийство.

45

27 июля. К этому дню на капусте вилки в кочаны обычно начинают завиваться.

46

Заселшина — деревенский житель, невежда.

47

Лепота— красота.

48

Читать по толкам — читать бегло, в отличие от чтения по слогам.

49

15 сентября.

50

Кат— палач.

51

Пытка в старину начиналась с палок (длинников), речи назывались «подлинными». Затем заставляли говорить правду «подноготную», забивая под ногти гвозди.

52

14 ноября.

53

Куколь — черный островерхий наголовник с нашитым спереди белым крестом.

54

Пополоветь — побледнеть.

55

Каптан (каптана) — зимний закрытый возок.

56

Стегно — бедро, ляжка.

57

Витень — факел, свитый из смоленой пеньки на длинной палке.

58

Белица — обительница монастыре, еще не постриженная в монахини.

59

Аksamит — бархат.

60

Сырная седмица — масленица. Каждый день этой недели назывался по-особому: понедельник — встреча, вторник — заигрыши, среда — лакомка, четверг — разгул, перелом, широкий четверг, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины посиделки, воскресенье

— проводы, прощанье.

61

Пожаром до XVII века называли Красную площадь.

62

Заматеревшая — неспособная стать матерью за преклонностью лет.

63

Манатья— монашеская мантия.

64

1 января.

65

В старину думали, что гадания на Васильев день всегда сбываются.

66

Калита— сумка, которая подвязывалась обычно к поясу.

67

Учат и, учети — начать, стать.

68

Братина— сосуд для питья, род ковша.

69

Свeteц — железный держатель для лучин.

70

Рухлядь— платье, шубы, меха.

71

Жигимонт— Сигизмунд.

72

Речь идет о битве, имевшей место около Дорогобужа в июле 1500 года.

73

Угодив в засаду на Митьковом поле, на речке Ведроше, Константин присягнул служить великому князю всея Руси Ивану Васильевичу, а сам при первой же возможности убежал в Литву. — Убедившись, что Александр не держит обещания о непринуждении Елены, своей жены, к перемене веры, и, имея такие же жалобы и просьбу принять их на службу от князей Бельских, Иван III послал Александру грамоту об объявлении войны. Литовское войско под началом гетмана Константина Острожского встретилось с войском Ивана III на Митьковом поле, на р. Ведроше, 14 июля 1500 г. Благодаря тайной засаде, решившей дело, московские воеводы одержали полную победу. Гетман Острожский был взят в плен и отправлен в Вологду, где присягнул служить великому князю, и получил свободу. Но бежал из Москвы и перешел на службу к королю Сигизмунду.

74

...Острожский, имея в два раза меньше ратников, одолел русское войско под Оршей. — Битва произошла в сентябре 1514 г.

75

...из темницы, где он (Глинский) томится уже десять лет. — В 1523 г. Василий III завоевал Смоленск. Сыгравший решающую роль в этом событии Глинский надеялся, что великий князь отдаст ему этот город. Но этого не произошло. Обидевшийся Глинский решил тайно бежать в Оршу к Сигизмунду, но в пути был схвачен и в кандалах доставлен в Москву.

76

Камка— цветная шелковая ткань с узорами и разводами восточного происхождения.

77

Конюший считался первым боярином в государстве.

78

Свадьба Василия III и Елены Глинской происходила 21–28 января, в неделю «блудного сына».

79

Мыльня — баня.

80

23 апреля.

81

В ветошном ряду торговали одеждой.

82

Воевода виленский Ян Заберезский во время пребывания Михаила Львовича Глинского в Литве громко обзывал его изменником. Оскорбленный князь, установив связи с Василием Ивановичем, явился со своими людьми к замку, где жил Ян Заберезский. Слуги Глинского ворвались в спальню пана, отсекли его голову и на сабле поднесли господину. Михаил Львович приказал утопить ее в озере.

83

Град Николы Зарайского — Зарайск.

84

Подклет— нижний этаж.

85

30 июля.

86

8 июня.

87

Охлуп — конек крыши.

88

Колтуны — нарывы.

89

Сухотная болезнь — чахотка, туберкулез.

90

Провожали закат солнца в Спас-Преображения, 6 августа. Считалось, что в этот день природа преображается.

91

7 сентября.

92

Постройка Коломенского кремля, начатая в 1525 году, была завершена в 1531 году.

93

Замет — дощатый забор, в котором доски вкладывались в прясла столбов.

94

Охабень— широкая нарядная одежда из шелка на легкой подкладке из тафты с длинными узкими рукавами, которую надевали поверх кафтана. Спереди охабень застегивался на пуговицы, сделанные из шелкового шнура.

95

Наряд — артиллерия.

96

Переяславль-Рязанский — Рязань.

97

Хорошо, очень хорошо (тат.).

98

То есть 9 сентября. В старину существовал обычай угощения новобрачными своей родни 8 сентября, поэтому день называли «поднесеньев день».

99

Сурна — духовой музыкальный инструмент.

100

Домовина — гроб.

101

То есть в 1522 году.

102

Временные книги— летописи.

103

Речь идет о составлении летописного свода, получившего у историков название Никоновского.

104

Пасхалия — таблица для вычисления дня Пасхи.

105

Дигиталис — родовое латинское название наперстянки.

106

Крин полской — старое русское название ландыша.

107

Айда— татарское слово, означающее «пойдем», «догоняй».

108

Нятъе, нятство — заключение, арест.

109

9 июля.

110

14 июля.

111

Посошные — люди, привлеченные на военную службу для подсобных работ в соответствии с повинностью, разложенной по сохам.

112

Бирич, бирюч — вестник, глашатай.

113

Перед воротами казанской крепости ты ни за что не хотел уступить мне право первому войти в город. — Поход на Казань состоялся летом 1530 г.

114

Шесть лет назад я посылал тебя, Иван Федорович, на Казань. — Это произошло летом 1523 г.

115

Сором — срам.

116

Речь идет о походе крымского хана на Москву 1521 года.

117

Омофор — часть епископского облачения, надеваемая на плечи.

118

Резоимцы — ростовщики (от слова «резы» — рост, проценты на занятые суммы).

119

Разболокайся — раздевайся.

120

Лас, ласис, имтелас, кукушкины слезки — ятрышник пятнистый (*Orchis maculata*). Это растение широко встречается по болотам, лугам, светлым лесам. На его листьях имеются темно-красные или бурые пятна, определившие видовое название ятрышника.

121

Петров день — 29 июня — праздник солнца Апостол Петр считался покровителем полей. На него перешли многие черты языческого бога Перуна — низводителя дождя, растителя злаков и творца урожая.

122

11 августа.

123

15 августа.

124

16 августа.

125

18 августа.

126

Флоры, флоровы цветики — худые, щуплые колоски, цветки, сорные травы.

127

Супрядки — сбор женщин на совместное прядение.

128

1 сентября.

129

Неясыть — сова.

130

23 августа.

131

24 августа.

132

Волосник — головной убор замужней женщины в виде вязанной из тонких шелковых, серебряных или золотых нитей сетки.

133

25 сентября.

134

6 октября.

135

2 февраля.

136

Выжлятники — старшие псари, которые водили собачью стаю, напускали ее на зверя, а потом сзывали ее.

137

Маршалок дворский — глава придворной гвардии.

138

Кормление— взимание с населения жалованья натурой.

139

Сурож — богатая византийская колония на Крымском побережье, на месте нынешнего Судака.

140

Ектения — моление, прошение.

141

21 ноября.

142

Санник — лошадь, приученная ходить в санях.

143

Епитрахиль — часть облачения священника, расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой.

144

12 декабря.

145

Сорочины- 40 дней после смерти.

146

Одолень — трава — белая водяная лилия, кувшинка.

147

Здесь и далее описываются архитектурные сооружения Владимиро-Суздальского княжества в том виде, какой они имели в прошлом.

148

Майолика— вид керамики, изделия из обожженной цветной глины, покрытые глазурью.

149

Хоры— балкон внутри здания.

150

Киворий— небольшое крытое сооружение в форме беседки.

151

Ты ведь слышала, наверное, как убили князя Андрея? — Убийство князя Андрея Боголюбского произошло в ночь с 29 на 30 июня 1174 г.

152

Печуры — ниши для складывания молитвенных принадлежностей.

153

От татарского слова «шерть» — присяга на подданство.

154

Романя, ренское, аликант, мушкатель — привозные западноевропейские вина, подававшиеся на стол московской знати XVI века.

155

Веред — кожное заболевание, болячка, нарыв, опухоль.

156

27 декабря.

157

Постные щи, заправленные молоком.

158

Живот — жизнь.

159

Гривна — почти фунт серебра.

160

Не здороваётся.

161

Соответственно: Евпатория, Судак, Балаклава, Гурзуф, Керчь, Алушта, Ялта.

162

Мост— большие холодные сени между передней и задней избой.

163

Сеит — глава духовенства.

164

Разве не я преподнес Василию Ивановичу Смоленск? — Глинскому приписывают большое участие во взятии Смоленска. Иностранные источники говорят, что он вступил в переговоры со смолянами, привлек многих из них на свою сторону и эти люди заставили жителей сдаться великому князю.

165

28 июля.

166

Прозвище Михаила Львовича Глинского на Руси.

167

Цикорий.

168

Пижма.

169

Тысячелистник.

170

Сталь, которую «укладывали», наваривали на лезвия столярных и иных орудий.

171

Решетки, которыми на ночь перегораживались московские улицы, и решеточные прикащики заведены в Москве в 1494 году.

172

Пуга — кнут, плеть, хлыст.

173

3 августа.

174

19 августа.

175

Здесь и далее речь идет о Белгороде-Днестровском (Аккермане).

176

Лорд-канцлер с 1529 года Т. Мор, выступивший против Реформации, был казнен в 1535 году.

177

12 апреля.

178

Ключики — народное название первоцвета весеннего.

179

2 мая.

180

6 мая.

181

Помесячные чтения.

182

От слова «терлик», обозначающего «узкий кафтан».

183

От названия растения тмин, ладанный ряд.

184

Дать правду — дать гарантии, принести клятву.

185

Закат— запад.

186

Каспийское море.

187

4 октября.

188

1 апреля.